

НОВАЯ МИРА

4



1996

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 4(852)

Апрель, 1996 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“»

СОДЕРЖАНИЕ

- ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ — И вечный зашумит камыш, стихи 3
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ — Медя и ее дети. Семейная хроника. Окон-
чание 7
ГЕНРИХ САПГИР — Жар-птица, стихи 80
СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ — Ловушка, рассказ 83
ВЕЧНЫЕ КНИГИ И ВЕЩИЕ СНЫ — Семен Гринберг. Я поселил-
ся посреди земли. Вступительное слово и примечания Михаила Го-
релика. Эльмира Котляр. Роскошное местечко. Михаил Кравцов.
И бесплодное семя приносит плоды, стихи 110

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

- ТОРНТОН УАЙЛДЕР — К небу мой путь, роман. Продолжение. Пе-
ревел с английского А. Гобузов 125

ПУБЛИЦИСТИКА

- ЕВГЕНИЙ СТАРИКОВ — Разные русские 160

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

- ИГОРЬ ДЕДКОВ — «Как трудно даются иные дни!» Из дневниковых
записей 1953 — 1974 годов. Публикация и примечания
Т. Ф. Дедковой 173

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

- В. ШЕНТАЛИНСКИЙ — Яшка Кошелек и Владимир Ленин 191

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ — Мужики и баре. Старая тема и новая ли-
тература 202
ТАТЬЯНА КАСАТКИНА — «Но страшно мне: изменишь облик ты...» 212

ПО ХОДУ ДЕЛА

- ВАЛЕРИЙ СЕНДЕРОВ — В мутном зеркале дикописания 220

(См. на обороте)

Вл. Славецкий. Реставрация ведется.
Татьяна Казарина. В поисках своей стороны.
Олег Мраморнов. Старший Бахтин.
Юрий Кублановский. Последние годы Густава Шпета.

КОРОТКО О КНИГАХ:

Андрей Василевский. — Игорь Гергенредер. Птенчики в окопах. Повесть. Игорь Гергенредер. Комбинации против Хода Истории. Повесть. ♦

Галина Башкирова. — Анна Левина. Брак по-эмигрантски. ♦

Дмитрий Бак. — I. Елена Толстая. Поэтика раздражения. Чехов в конце 1880-х — начале 1890-х годов. II. Татьяна Николеску. Андрей Белый и театр. III. И. Корецкая. Над страницами русской поэзии и прозы начала века. IV. Мандельштам и античность. Сборник статей

239

КНИЖНАЯ ПОЛКА

248

ПЕРИОДИКА

251

SUMMARY

256

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в А/О «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novy Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 тысяч экземпляров журнала «Новый мир».

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ



И ВЕЧНЫЙ ЗАШУМИТ КАМЫШ

Ночная песня

Шумел камыш, деревья гнулись...
Не отшумел — еще шумит
Средь городских полночных улиц,
И сызнава в груди щемит.

Вновь безнадега и разруха
И без пардона нищета,
Со счастьем полная разлука,
А старость только начата.

И все ж возлюбленная пара,
Мне стиснув сердце, как тиски,

Выталкивает вроде пара
Излишки хмеля и тоски.

И от бессонницы нет средства,
И ждешь, как милости, зари,
И никуда тебе не деться,
Хоть эмигрируй, хоть умри...

Ведь все равно и в отдаленье
От лежбища, где опочишь,
Согнутся сызнава деревья
И вечный зашумит камыш.

Возница

На козлах развалился сатана,
Ему тысячелетье что минута,
Была бы только скорость задана —
И никакого дела до маршрута,

И все равно что завтра, что вчера
(Недаром преуспел он в стольких кознях...),
И все равно что пропасть, что гора, —
Покрасоваться только бы на козлах!

Пока большой и добрый, как медведь,
Его хозяин спит без передыха,
Ему просторно одному сидеть,
И хлещет, хлещет он по одрам дико.

Обманщик, обирала, шарлатан,
Едва ли понимает, жалкий дьявол,
Куда наш разнесчастный шарабан
Он, радуясь и пакостя, направил...

По нашей улице...

Откровенной усмешки не пряча,
Телесами окрестность маня,
Шла по улице нашей удача
Не навстречу, а мимо меня.

Не навстречу — по-прежнему мимо,
Молода, дерзновенна, грешна,
Но затравленному нелюдиму
Черта в ней и какого рожна?..

Поглядела хотя бы вполглаза!..
Но не смотрит, не видит в упор
И по улице нашей, зараза,
Все идет, все плывет с давних пор

Гнет меня от годов и от ветра,
Не хватает ни сил, ни огня,
А удача плывет, словно стерва,
Не навстречу, а мимо меня.

Сызнова...

Все острия и бездны,
Бездны и острия
Стали мне нелюбезны,
Постарел для них я.

Мне б не стихи, а песни,
Что-нибудь из старья.
...Но снова тянет в бездны
Или на острия.

Пожар

В ней было столько жара,
Надрыва и размаха,
Что вечно ей мешала
Последняя рубаха.

Взыскуя вместо Града
Вселенского пожара,
Металась до упада,
Так, что Земля дрожала.

От края и до края,
От моря и до моря,
От ада и до рая
С кем только можно споря,

И, как тайга, как джунгли,
Во всем великолепье
Сгорела... Даже угли
Исчезли в сером пепле.

В Македонии

Македонская держава —
Красота да благодать:
Бездна слева, круча справа,
Если путь на юг держать.

Так что круча или бездна
Заблудиться не дадут.

Ни разъезда, ни объезда —
На страну один маршрут,

Эту римскую дорогу
Проложили до Христа...
Вот и выбору не много:
Пропасть или красота.

Молитва

Шепотом — совсем не напоказ,
Напрямую — не вокруг да около:
— Господи! — взываю в первый раз,
Но прошу как будто бы немногого...

Я обижен, утомлен, я стар,
Отдан весь на растерзанье хворостям...
Впрочем, знаю: Ты и сам устал
И не мне с Тобой тягаться возрастом.

Отпустил я веник бороды:
Прикрываю язвины да оспины —
Все равно лишился доброты,
Вороти ее обратно, Господи!..

Я люблю жену и дочерей —
 Выведи меня из круга личного!
 Прежде чем начну кормить червей,
 Возлюбить дай дальнего, как ближнего.

Медведь

Взявши кофе на десять левов —
 Меньше порции не дают! —
 Два часа под открытым небом
 Изучал я софийский люд.

Все болгарки и все болгары —
 Любо-дорого поглядеть! —
 Были, как на подбор, поджары,
 Не поджар был один медведь.

Против храма Свята Неделя,
 Разнесчастный, на солнце зяб,
 И казалось, что в самом деле
 Четырех ему мало лап.

Это даже была не старость —
 Старым было кольцо в носу,
 Ну а старость давно осталась
 Непонятно в каком лесу.

Два часа продрожав от зноя
 И не выклянчив ничего,
 Увели его два изгоя,
 Подряхлей его самого.

И остывшую дрянь глотая,
 На столешницу опершись,
 Я примеривался, какая
 Перед смертью бывает жизнь.

Лорд

Не пойму, за что тебя прозвали — Лорд?
 Не на лорда, а на бомжа ты похож,
 И, ей-богу, среди всех собачьих морд
 Плоше и неблагородней не найдешь.

В Доме творчества сегодня не творят,
 Протрезвели, обесплодели творцы,
 О собаках и о ценах говорят,
 А еще о тех, кто выстроил дворцы.

Самый гордый стал давно уже не горд,
 Кто в фаворе был, теперь попал впросак...
 Оттого-то, трусоватый грязный Лорд,
 Ты дороже нам породистых собак.

Ненасытный, ты любому рад куску,
 Приближаешься к нему на трех ногах.
 ...Знаешь, псина, я бы взял тебя в Москву,
 Если б сам не захворал и не одрях.

Холодает, мокрый ветер бьет в окно,
 Осыпает листья красные с ветвей.
 ...До свиданья, старый Лорд, — еще одно
 Оправдание бессонницы моей.

Младшей дочке

Не деспот, не укротитель,
 Не скаред и не стервец,
 Но все ж я плохой родитель,
 Совсем никакой отец.

Пусть ампула не защита
 И гадостью не колюсь,
 А все-таки как защита
 Навряд ли тебе гожусь...

Увидев, что на обидах
Зацикливаться — беда,
Ты, битая, всех небитых
Отзывчивее куда.

В такую худую пору
Мы злее зверей зимой,

А ты все равно опору
Находишь в себе самой.

И греет меня и мучит
Безгрешность судьбы твоей,
Что ты всех на свете лучше,
Доверчивей и добрей.

* *
*

Бей в барабан и не бойся беды,
И маркитантку целуй вольней!
Вот тебе смысл глубочайших книг,
Вот тебе суть науки всей.

Гейне.

Снова бесплодная эра,
Жизни со смертью ничья,
Перевороты, холера
И напоследок — Чечня...

Втиснуться в щели и в кельи
И на холодное дуть?..
Но объяснил Генрих Гейне,
В чем философии суть.

Пусть вертолеты и танки
Ржавы от крови и слез
И никакой маркитантки
И лобызаний взасос,

С пользою или без пользы,
Пан или вовсе пропал —
Бей в барабан и не бойся,
Если бьешь в барабан.



ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ



МЕДЕЯ И ЕЕ ДЕТИ

Семейная хроника

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

13

Родиной Валерия Бутонова было Расторгуево. Он жил со своей матерью Валентиной Федоровной в приземистом частном доме, давно грозившем развалиться. Отца не помнил. Мальчиком он был уверен, что отец погиб на фронте. Мать не особенно на этом настаивала, но и легенды не разрушала. Недолгий муж Валентины Федоровны еще до войны нанялся по контракту куда-то на Север, прислал оттуда одно незначительное письмо и навсегда растворился в заполярных далях.

Все свое долгое детство Валера, как и большинство его сверстников, провел, висая на хлипких заборах или вбивая в стоптанную пригородную землю трофейный перочинный нож, главную драгоценность жизни. В занятии этом ему не было равных, все царства и города, разыгрываемые на вытертой площадке позади автобусной станции, он брал своим ножом легко и весело, как Александр Македонский. Соседские ребята, убедившись в его полном превосходстве, перестали играть с ним, и он проводил многие часы во дворе своего дома, засаживая ножичек в бледное бельмо спеленной нижней ветки огромной старой груши и отступая при этом все дальше и дальше от цели. За эти долгие часы он постиг мгновенье броска, знал его наизусть и кистью и глазом и испытывал наслаждение от огненного мгновенья этого соотношения руки с ножом и желанной точки, завершавшееся дрожанием черенка в сердцевине цели.

Иногда он брал другой нож, тяжелый, кухонный, и выбирал другую цель, и нож с хрустом, или со стоном, или с тонким свистом входил в нее. Старый материнский дом, и без того ветхий, был весь в шрамах от его мальчишеских упражнений. Но совершенство оказалось скучным, и он забросил ножи.

Новые возможности открылись, когда он перешел из начальной школы в новую десятилетку, где было много диковинного: писуары, фарфоровые раковины, чучело совы, картина с голым, без кожи, человеком, стеклянные чудесные посудинки, железные приборы с лампочками. Но любимым и самым притягательным местом стал хорошо — по тем временам — оборудованный спортивный зал. Перекладина, брусья и кожаный конь стали его любимыми предметами с пятого класса.

В нем открылась античная телесная одаренность, столь же редкая, как музыкальная, поэтическая или шахматная. Но тогда он не знал, что его талант ценится ниже, чем дарования интеллектуальные, и наслаждался успехами, все более заметными с каждым месяцем. Преподавательни-

ца физкультуры направила его в секцию ЦСК, и к Новому году он уже участвовал в первых соревнованиях. Тренеры изумлялись его феноменальной хватке, врожденной экономности движений и собранности — он сразу приходил к результатам, которые обыкновенно вытаптываются годами.

К четырнадцати годам он был замечательно сложенный юноша, с правильным лицом, коротко, по спортивной моде, стриженный, дисциплинированный и честолюбивый. Он состоял в юношеской сборной, тренировался по программе мастеров и нацеливался на предстоящих всесоюзных соревнованиях занять первое место.

Но первого места на всесоюзных соревнованиях он не получил.

Он не знал важных вещей, прекрасно известных его тренеру: тайной механики успеха, высоких покровительств, судейских зажимов, бесстыдства и продажности в спорте. Две десятые балла, отодвинувшие его на второе место, показались ему столь жестокой несправедливостью, что он, скинув с себя в раздевалке бесплатное цээсковское барахлишко, поехал в Расторгуево в школьных брюках на голое тело.

Один из его старших сотоварищей — Бутонов был в сборной самым юным — раскрыл ему тайную сторону этого несправедливого поражения. Это был сговор, и тренер был припутан. Того, кто получил первенство, тренировал зять главы федерации, и судейская коллегия была предвзята — не то чтобы купленная, но связанная по рукам и ногам. Теперь Валерий и сам прозрел.

Начались летние каникулы, ни на какие сборы он не поехал. Целыми днями он лежал под грушей, все обдумывая, как так произошло то, что произошло, и получил через неделю откровение: нельзя ставить себя в положение зависимости от других людей или от обстоятельств. Окажись над ним смоковница, может быть, откровение имело бы более возвышенный характер, но от русской груши большего ждать не приходилось.

Через две недели он был зачислен в цирковое училище. Какое же это было чудо! Каждый день Бутонов приходил на занятия — и каждое утро испытывая восторг пятилетнего мальчика, впервые приведенного в цирк. Учебный манеж был вполне настоящий: так же пахло опилками, животными, тальком. Шары, разноцветные кегли и стройные девушки летали в свободном воздухе. Это был особый, единственный в своем роде мир — вот что чувствовал Бутонов каждой клеткой своего тела. О соревновании не могло быть и речи, каждый стоил столько, сколько стоила его профессия: воздушный гимнаст не мог плохо работать, он рисковал жизнью. Никакое родство с начальством не могло остановить медведя, когда он, со своей неподвижной, совершенно лишенной мимики мордой, встав на дыбы, шел ломать дрессировщика могучими лапами и чугунными когтями драть с него мясо. Никакая поддержка сверху, никакой телефонный звонок не помогали крутить обратное сальто.

«Это не спорт, — размышляя опытный Бутонов, — в спорте продажность, здесь — не так».

Он не смог бы сам до конца это сформулировать, но глубоко понимал, что на вершине мастерства, в пространстве абсолютного владения профессией, располагается крошечная зона независимости. Там, на вершине Олимпа, находились звезды цирка, свободно пересекающие границы стран, одетые в невообразимо прекрасную одежду, богатые, независимые.

Цирковое училище и по сей день вспоминает Бутонова. Всю цирковую науку он осваивал играючи — акробатику, жонглирование, эквилибр, и каждая из этих наук претендовала на Бутонова. В гимнастике ему не было равных.

С первых же месяцев учебы его звали в готовые номера. Он отказывался, потому что уже точно знал, кем он хочет быть — воздушным гимнастом. Все, что он ни делал, он соизмерял с броском ножа, со знакомым ему с детства мгновением истины — дрожанием черенка ножа в сердцевине цели...

Учителем Бутонова был теперь немолодой циркач смутной крови из цирковой династии, с внешностью и повадками плебейского коробейника, но с итальянским именем Антонио Муцетони. По-простому звали его Антоном Ивановичем. Родился он в трехосном фургоне, на лянцовой синекрасной попоне шапито, по дороге из Галиции в Одессу, от наездницы и акробата. Многие глубокие морщины вдоль и поперек покрывали его лицо и были столь же затейливы, как и многочисленные истории, которые он о себе рассказывал.

К концу второго года обучения Бутонов сильно преуспел в знаниях, умениях и красоте. Он все более приближался к собирательному облику строителя коммунизма, известному по красно-белым плакатам, нарисованным прямыми линиями, без затей, горизонтальными и вертикальными, с глубокой поперечной ямкой на подбородке. Некоторая недоработка намечалась в малоприметной утиной вытянутости носа к кончику, но зато разворот плеча, неславянская высота ног и невесть откуда взявшееся благородство рук... и при всем этом неслыханный иммунитет к женскому полу.

А цирковые девочки, как прежде школьные, липли к нему. Все здесь было так обнаженно, так близко: выбритые подмышки и паховые складки, мускулистые ягодицы, маленькие плотные груди. Его сверстники, юные циркачи, наслаждались плодами сексуальной революции и артистической свободы, процветающей на задних дворах социализма, в оазисе Пятой улицы Ямского Поля, а он смотрел на девочек брезгливо и насмешливо, как будто дома, в Расторгуеве, поджидала его каждый вечер на продавленном диване сама Брижит Бардо.

Антон Иванович вводил его в программу своего сына. Джованни — Ваня, хотя и не обладал талантом отца, был отцовской выучки, с малолетства летал под куполом цирка, крутил свои сальто, но истинной страстью его были автомобили. Он был одним из первых цирковых, кто ввез в Россию иномарку — красный «фольксваген», устаревший для Германии, но опережавший медленно текущий отечественный прогресс на три десятилетия.

Заботливо подложив под свою дорогостоящую спину старое одеяло, он часами пролеживал под машиной, а его злая блядовитая жена Лялька язвила:

— Если бы я под ним столько лежала, сколько он под своей машиной, цены б ему не было...

С отцом у младшего Муцетони отношения были непростые. Хотя сыну было сильно за тридцать и в глазах Бутонова он был уже не молод, да и по цирковым понятиям это был уж возраст, пенсионный для «воздуха», отца он боялся, как мальчишка. Много лет они работали вместе, Антон Иванович побил все рекорды циркового долгожительства под куполом, осваивал одним из первых самые рискованные трюки. Ваня же был спокоен и неинициативен. Однажды в присутствии Бутонова Антон Иванович сказал с раздражением:

— Что Ваня умеет делать в совершенстве, так это падать...

Эта часть профессии была чрезвычайно важна: работали они под куполом, и хотя страховка была двойная — лонжи, пристегнутые к поясам карабинами, и сетка, — разбиться можно было и об сетку. Младший Муцетони был виртуозом падения, старший, по своей природе, первопроходцем. Когда-то он был первым, кто освоил тройное сальто с пируэтом, и только один гимнаст, Н. Н., через несколько лет стал повторять этот номер. Сейчас, когда все цирковые готовились к большому цирковому фестивалю в Праге, Антон Иванович приступил к сыну как с ножом к горлу: восстановить тот старый номер, с которым он прославился еще до войны. С неохотой подчинился Джованни отцу — заставил-таки его старик работать с полной отдачей. У Валерия, постоянно присутствующего на репетициях, просто мышцы дрожали — так хотелось ему себя попробовать в этом длинном и сложном полете, но Антон Иванович и говорить об этом не хотел. Держал его в паре с племянником Анатолием, делали они встречные

полеты синхронно, четко, но этим никого нельзя было удивить — все воздушные гимнасты этот номер работали.

Подготовка была длинной, репетиции заняли полгода, но наконец настал день, когда поехали в Измайлово, в Центральную дирекцию, сдавать программу художественному совету. Решалась поездка в Прагу — для Бутонова первый выезд за рубеж.

В дирекции стояла большая суматоха — съезд цирковых звезд и циркового начальства. Все нервничали. Время уже близилось к показу, Антон Иванович полез наверх, осмотреть крепеж, который частично был за куполом, и дотошно проверял каждую гайку, каждый болт, прощупывал тросы. Инспектором манежа был старый его конкурент Н. Н., и хотя должность его была такова, что он своей свободой отвечал за технику безопасности, Антон Иванович был в напряжении.

Ване была отведена отдельная уборная, Валерию с Толей — другая, в третьей разместились женщины, их было трое: две молодые гимнастки и двенадцатилетняя Нина, дочь Вани, несомненная будущая прима. Артисты уже надевали малиновые с золотыми звездами трико, когда Валерий услышал из коридора ругань: какой-то въезд был перекрыт Ваниной машиной, фура не могла проехать. Ваня что-то отвечал, голос что-то требовал. Анатолий подошел к двери, послушал:

— Чего они к нему привязываются, нормально он поставил...

Валерий, не вмешивающийся в чужие дела, даже не выглянул. Все затихло. Через несколько минут в их уборную постучали, всунулась Нина:

— Валер, тебя Тамара зовет.

Тамара, молодая гимнастка, подкатывалась: это Валере одновременно и льстило, и раздражало.

Валерий заглянул к ней.

— Валер, как тебе мой грим? — подставила она свое круглое личико под Валерин взгляд, как под солнышко. Грим был обыкновенный, как всегда: желтовато-розовая основа, а на ней два нежно-малиновых крылышка искусственного румянца да густообведенные синим, подтянутые к вискам глаза.

— Нормально, Тамар. Модель «очковая змея»...

— Да ну тебя, Валер, — кокетливо передернула залитой лаком, как у пупса, головой Тамара, — всегда только гадости говоришь!

Валерий развернулся, вышел в коридор; из двери Ваниной гримуборной вышел седой человек в комбинезоне и клетчатой шотландской рубашке. Валерий не обратил тогда на это внимания и вспомнил об этой встрече в коридоре значительно позже. Через десять минут был выход.

Все шло точно, было разыграно по секундам: вырубка музыки, свет, прыжок, вырубка света, толчок, трапеция, дробь, пауза, музыка, свет... Партитура была вытвержена, даже до вдоха-выдоха, и все шло отлично. Джованни в этом номере берегся, стоял враспор, под куполом, на верхотуре, как бог, держал на себе свет, пока молодежь порхала. Работали чисто, грамотно, но ничего выдающегося не было; «коронка» — тройное сальто с пируэтом — была за Джованни. Не все члены художественного совета видели этот номер, он уже лет десять не исполнялся.

В режиссуре старый Муцетони очень понимал, все обставил эффектно: свет гибкий, плавает, музыка поддерживает, потом разом — полный обрыв, весь свет на Джованни, под купол, арена в темноте, вырубка музыки на самом максимуме звучания. Джованни весь блестит, голова в золоте, на ногах — поножи: хороший художник ему придумал такую обувь, чтобы скрыть врожденную кривоноготь. Тихая дробь. Джованни вскидывает золотую голову — демон, чистый демон... Мгновенное движение руки к поясу — проверка карабина.

Валерий ничего не заметил, а у Антона Ивановича чуть сердце не остановилось — слишком долго он карабин проверяет, что-то не так... Но пока все во времени, без опоздания. Дробь смолкла. Раз, два, три... лишняя секунда... трапеция уходит назад... замерла... толчок... прыжок... Джо-

ванны еще в полете, и никто еще ничего не понял, но Антон Иванович уже видит, что группировка не завершена, что не докрутит он последнего переворота... точно...

Толя вовремя посылает ему трапецию, но Ваня мажет сантиметров на двадцать, не успевает, тянется в полете за трапецией, пытается догнать — чего никогда не бывает — и вылетает из отработанной геометрии, летит вниз, к самому краю сетки, куда приземляться опасно, где натяжение всего сильнее — тряхнет, сбросит... Об край... точно...

Сетка спружинила, подбросила Ваню — не наружу, внутрь, внутрь. Умеет все-таки падать... Провал, конечно, провал... но не разбился...

Но — разбился. Опустили сетку. Первым подскочил Антон Иванович, схватился за карабин — собачка была ослаблена. Он тихо выругался. Ваня был жив, но без сознания. Травма тяжелая — череп, позвоночник? Положили на доску. «Скорая» пришла через семь минут. Повезли в лучшее место по черепным травмам — в Институт Бурденко. Антон Иванович поехал с сыном.

Валерий увидел своего мастера только через две недели. Известно было, что Ваня жив, но неподвижен. Врачи колдовали над ним, но не обещали, что поднимут на ноги.

Антон Иванович исхудал так, что стал похож на борзую. Черная мысль не покидала его: он не мог объяснить себе, как случилось, что Ваня заметил ослабевший карабин только перед самым прыжком. Про себя он знал, что его такой случай не сбил бы, смог бы нервы удержать. Да и было у него когда-то такое же, сходное, когда снял он с себя пояс, отстегнулся и пошел... А Ваня психанул, потерялся — и «рассыпался»... Странность была еще и в том, что перед самым выходом вызвали его переставлять машину, хотя стояла она на месте, Антон Иванович потом сам проверял: проходила фура...

Когда Антон Иванович свое неясное подозрение высказал Валерию, тот выдавил из себя:

— А к Ване не только рабочие с хоздвора приходили...

Антон Иванович схватил его за рукав:

— Говори...

— Когда он ушел машину переставлять, к нему в уборную Н. Н. заходил. То есть я из коридора видел, как он оттуда выходил.

К этому времени Валерий уже знал, что человек в шотландской рубашке и был инспектор манежа Н. Н.

— Ё-мое.. хорош же я, старый дурак, — схватился за свое обвислое лицо Антон Иванович. — Вот оно какое дело... Самое оно...

Валерий навел Ваню в госпитале. Тот был в гипсе, как в саркофаге, — от подбородка до крестца. Волосы поредели, две глубокие залысины поднялись ото лба вверх. Моргнул — привет.

Почти не разговаривал. Валерий, проклиная себя, что пошел, просидел минут десять на белой гостевой табуретке, пытался что-то рассказать. Беме — и замолчал. Он не знал до этого, как хрупок человек, и ужасался.

Стояла глухая мокрая осень. Расторгуевская груша облетела, стала черная, как будто горелая, и не мог Бутонов полежать под ней, послушать, не явится ли ему новое откровение. До окончания училища оставалось полгода. Прага, на которую Бутонов огромные надежды возлагал, пролетела. Пролетало и училище. Тусклые Ванины глаза не выходили из головы Валерия. Вот только что был Ваня — Джованни Муцетони, знаменитый артист, каким хотел быть Бутонов: богатым, независимым, выездным, — и машина под ним ходила самая лучшая из всех, что Бутонов видел, — давно уже не красный горбатый «фольксваген», а новенький белый «фиат». И так все рухнуло, в один миг. Не было, оказывается, никакой независимости — одна видимость. И неподвижное инвалидство до самой смерти...

Зимнюю сессию, последнюю, Бутонов сдавать не пошел. Были в училище кроме специальных обыкновенные школьные предметы, и диплом без сдачи этих презренных наук не давали. Бутонов вообще больше не по-

шел в училище. Полгода пролежал на диване, ожидая повестки в армию. В феврале ему исполнилось восемнадцать, и в начале мая его забрили. Предложили сначала идти в ЦСК — сработал его первый разряд по гимнастике, но он, к большому изумлению военкома, отказался. Все Бутонову было безразлично, но в спорт возвращаться он не хотел. Пошел как все...

Вернулся он в Расторгуево через три года, прибавив восемь килограммов весу и три сантиметра росту, и дембель его был аккуратен, без затяжек, почти день в день. И что самое существенное, он опять точно знал, что ему надо делать. Наскоро и без труда он получил в экстернате диплом об окончании школы и в то же лето был зачислен в Институт физкультуры. Всех перехитрил — на лечфак.

Настоящий учитель встретился Бутонову в институте, на третьем курсе. Это был мелкий, неказистый человек, из кавэжэdistов, с маскировочной фамилией Иванов, с темным и извилистым прошлым. Родился он, как сам говорил, в Шанхае, знал в совершенстве китайский, годами жил в Индии, посещал Тибет и представлял в нашей полу-Европе таинственную Азию. Он знал толк в восточных единоборствах, которые тогда только входили в моду, и преподавал китайский массаж.

Иванов восхитился необыкновенным бутоновским чутьем к телесности; в пальцах его было много независимости и ума, он мгновенно схватывал, где смещение дисков, где гребешок отложения солей, где просто мышечная контрактура.

Если бы Бутонову хватало слов и определенной гуманитарной культуры, он мог бы рассказать о бодром настроении спины, о радости ног, об уме пальцев, так же как и о лени в плечах, нерасположенности к усилиям бедер или сонливости рук, и все эти особенности жизни тела в данный момент он умел распознавать в лежащем перед ним на массажном столе человеке.

Иванов пригласил его в гости в полупустую однокомнатную квартиру, увешанную тибетскими иконами. Тонкий знаток Востока, он пытался заинтересовать незаурядного ученика благородной йогой, мудрой «Бхагавад-гитой», изящным китайским учением ба-гуа. Но к области духа Бутонов оказался совершенно глух.

— Это все слишком умственное, — говорил он и делал легкое движение правой кистью.

Учитель был разочарован. Зато практическую йогу и китайский точечный массаж Бутонов освоил очень быстро и со всеми нюансами. Сам Иванов имел в те годы большой успех не только как великий массажист, услугами которого пользовались разные редкие знаменитости — чемпион мира по поднятию тяжестей, гениальная балерина, скандальный писатель. Он участвовал в разных семинарах на дому — изысканных развлечениях тех лет, — вел специальные занятия по йоге. Он и Бутонова привлек к своей деятельности, по крайней мере к той ее части, которая видна была с поверхности. К другой, осведомительской, стороне его деятельности Бутонов был непричастен и только через многие годы вообще смекнул, какие погоны невидимо лежали на учительских плечах.

Учитель произвел Бутонова в помощники. Он вел любителей йоги, своих слушателей, высоким путем освобождения прямо в мокшу, а Бутонов корячился на коврике, обучая их позе лотоса, льва, змеи.

Одна из групп собиралась в большой квартире большого академика, у академической дочери. Участники собрания все, как один, были сделаны из тестообразной плоти, и Бутонов должен был обучить их тому самочувствию тела, в котором сам так преуспел. Все они были ученые — физико-химико-математики, и Бутонов испытывал ко всем совершенно необъяснимое чувство легкого презрения. Среди них была высокая полная девушка Оля, математик, с тяжелыми ногами и грубоватым лицом, которое из нежного природно-розового во время упражнений становилось угрожающе красным. Через два месяца после знакомства, к неодобрительному изумле-

нию друзей с обеих сторон, они поженились. Хозяйка квартиры, узнав о намечающемся брачном союзе, щелкнула языком:

— И что с этим роскошным зверем будет делать бедная Олечка!

Но Оля с ним ничего особенного не делала. Она была человеком довольно холодным и головным: к этому времени она уже защитила диссертацию по топологии — заповедной области математики, и ювелирная умственная работа была главным содержанием ее жизни.

Валерий не испытывал особого почтения к маленьким крючкам, которые, как птичьи следы на снегу, покрывали бумаги на женином столе, он только хмыкал, глядя на лист, покрытый мелкими значками и редкими человеческими словами с левой стороны: определение, пример, предложение, задача...

Характер у Ольги был покладистый, немного вялый. Валерий бесконечно удивлялся ее малоподвижности и бытовой лени: она ленилась делать даже те несколько йоговских упражнений, которые избавляли ее от запоров.

Валентина Федоровна, Валерина мать, невестку невлюбила, во-первых, за то, что она была четырьмя годами его старше, а уж во-вторых — за бесхозяйственность. Но Оля только равнодушно улыбалась и даже, к досаде Валентины Федоровны, этого нерасположения просто не замечала.

Супружеские радости были весьма умеренными. Валерий, с детства устремленный к мускульным удовольствиям, совершенно упустил из виду ту небольшую группу мышц, которая ведает сугубыми наслаждениями. Естественно, за достижения в этой области не присуждали разрядов, не включали в сборные, и его инстинкты отступали перед юношеским тщеславием. Была еще одна причина, способствующая его удивительной сдержанности по отношению к женщинам: они влюблялись в него с той самой минуты, как на него надели первые штанишки, облако их изнурительной влюбленности преследовало его, а в более старшем возрасте он стал ощущать этот постоянный интерес как посягательство на его тело и отчаянно оберегал свое лучшее достояние, и ценность его собственного тела еще более подчеркивалась удивительной доступностью женских прелестей и множеством предложений.

Все было спокойно и складно в бутоновской семейной жизни. Поженились они спустя три месяца после Ольгиной защиты диссертации, еще через три месяца она забеременела, а за три месяца до своего тридцатилетия родила дочку. Покуда она носила, рожала и кормила большой и маломощной, с продовольственной точки зрения, грудью очень маленькую девочку, родившуюся от двух таких крупных родителей, Бутонов закончил институт и продался теннисистам. Он следил за здоровьем самых здоровых людей планеты, лечил их травмы, разминал мышцы. В свободное время он делал то же самое, но уже частным образом. Зарабатывал хорошие деньги, был независим. Круг пациентов он получил от учителя, и все двери для него были открыты: от ресторана ВТО до цековской билетной кассы. Через год большой теннис вывез-таки его за границу, сначала в Прагу — добрался до нее Бутонов! — а потом и в Лондон. Это все, о чем можно было мечтать.

К чести Бутонова надо сказать, что свои высокие гонорары брал он за дело. Он поддерживал тела своих подопечных — спортсменов, балерин и артистов — в безукоризненной форме, но кроме того, он занимался тяжелой посттравматической реабилитацией. Про него говорили, что он совершает чудеса. Легенда о его руках росла, но сам он, хорошо зная ей цену, работал, как когда-то в спорте, на границе своих возможностей, и граница эта мало-помалу отодвигалась. Лучшим своим достижением он считал безнадёжного Ваню Муцетони, с которым работал с тех самых пор, как Иванов показал ему первые приемы и подходы к позвоночнику. Бутонов не раз привозил к Муцетони Иванова, Иванов присылал как-то великого китайца, прижигавшего Ванину спину пахучими травными свечами. Но главная работа была бутоновская: шесть лет подряд два раза в неделю, почти

без пропусков, он шаманил над Ваниной спиной, и тот встал, мог пройти по квартире, опираясь на специальный снаряд, и медленно, очень медленно стал восстанавливаться.

Как-то в середине октября он приехал к Муцетони хмурый, не в настроении, полтора часа отработал с Ваней и собрался уходить — без чаю-кофе, как было заведено. Ванина жена Ляля его задержала, принесла чай, разговорила.

Бутонов пожаловался, что завтра ему надо ехать в дурацкую поездку — в никому не нужный город Кишинев, на показательные выступления с группой спортсменов.

Лялька вдруг засуетилась, обрадовалась:

— Поезжай-поезжай, там сейчас чудо как хорошо, а чтоб ты не соскучился там, я поручение тебе дам: отвезешь моей подружке подарок. — Она порылась в шкафу и вытащила белый мохеровый свитер. — Они в пригороде живут, знаменитая конная группа Човдара Сысоева. Не слышал? Старый страшный цыган, а Розка — наездница. — Лялька сунула свитер в пакет и написала адрес.

Бутонов без большой охоты взял посылочку.

...Первый день в Кишиневе был у Бутонова свободным, и, переночевав в гостинице, рано утром он вышел на улицу и пошел по незнакомому городу в указанном направлении — к городскому базару. Город был невзрачный, лишенный даже намека на архитектуру, по крайней мере в той части, которая открывалась Валерию в утреннем, тающем на глазах тумане. Но воздух был хороший, южный, с запахом сладких гниющих на земле плодов. Запах приносился откуда-то издали, потому что на улицах новой застройки не было никаких деревьев, только красные и багровые астры, целиком ушедшие в цвет и не имеющие никакого аромата, росли из прямоугольных газонов, обложенных бетонными плитами. Было тепло и курортно.

Валерий дошел до базара. Вozy и арбы, лошади и волы запрудили небольшую площадь, невысокие мужики в теплых меховых шапках и в вислых усах таскали корзины и ящики, а бабы устраивали на прилавках горки из помидоров, винограда и груш.

«Надо бы домой взять», — бегло подумал Валерий и увидел прямо перед собой помятый зад автобуса с нужным ему номером. Автобус был пустой. Валерий сел в него, через несколько минут в кабину влез водитель и, ни слова не говоря, тронул.

Дорога довольно долго шла по пригороду, который все хорошел, мимо мазаных домиков, садов, маленьких виноградников. Остановки были частыми, по пути набились дети, потом все разом вышли возле школы. Почти через час добрались до конечной остановки в странном промежуточном месте — не городском и не деревенском.

Валерий еще не знал, какой важный день в его жизни начался сегодня утром, но почему-то прекрасно запомнил все несущественные подробности. Два маленьких заводика стояли с обеих сторон дороги и дымили, совершенно пренебрегая законами физики, согласно которым ветер должен был бы относить их сивые дымки в одном направлении, а они почему-то дымили в лицо друг другу. Наблюдательный Бутонов пожал плечами. Вдоль дороги рядами выстроились теплицы, и это тоже было странно: на черта здесь теплицы, когда в конце октября двадцать градусов и без стекол все отлично поспекает...

Дальше вдоль дороги стояли хозяйственные постройки и конюшня. Туда и направился Бутонов. Издали он увидел, как открылись ворота конюшни, проем наполнился бархатной чернотой и из него, скаля белые зубы, вышел высокий черный жеребец, который от неожиданности показался Бутонову огромным, как конь под Медным всадником. Но никакого Медного всадника не было и в помине, жеребца вел в поводу маленький кудрявый мальчишка, который при ближайшем рассмотрении оказался молодой женщиной в красной рубахе и грязных белых джинсах.

Сначала Валерий обратил внимание на ее сапоги — легкие, но с толстым носком и грубым запятником, очень правильные сапоги для верховой езды, — а потом он встретился с ней глазами. Глаза ее были зеркально-черными, грубо удлинненными черной краской, взгляд внимательный и недоброжелательный. Все остановились. Жеребец коротко заржал, она похлопала его по холке ярко-белой рукой с длинными красными ногтями.

— Тебе Човдара? — довольно грубо спросила она. — Он там. — И указала в сторону ближайшего сарая, после чего поставила ногу в высоко подобранное стремя и вспорхнула в седло, обдав Валерия каким-то сладким, тревожным и совершенно не парфюмерным запахом.

— Нет, мне Роза нужна. — Валерий уже понимал, что она и есть эта Роза. — У меня посылка от Ляли Муцетони. — Он вытащил из сумки пакет и поднял его.

Она соскочила на землю, взяла пакет, кинула его в распахнутые ворота конюшни и, сверкнув зубами, не улыбнувшись, скорее — оскалившись, быстро спросила:

— Ты где остановился?

— В «Октябрьской».

— Ага, ладно. Я занята сейчас, — помахала рукой, вскочила на лошадь и, гикнув, с места ударилась в галоп.

Он смотрел ей вслед, испытывая раздражение, восхищение и еще что-то, в чем ему предстояло долго разбираться. Так или иначе, это был последний день в его жизни, когда он еще совершенно не интересовался женщинами.

Вечером Валерий долго лежал в гостиничной пахнущей стиральным порошком койке, вспоминал наглуую цыганку, ее великолепного жеребца и небольших редкопородных желтых лошадок, которых наблюдал в загоне за конюшней, ожидая на остановке автобуса.

«Неприятная все-таки девчонка», — думал Валерий, соскальзывая в сон, отливающий лошаадьми, запахами конюшни и медлительной радостью пустого теплого дня, когда легкий, длинный и дробный стук в дверь вывел его из этого состояния. Он приподнялся с подушки.

Дверь, как оказалось, он забыл запереть, она медленно открылась, и в номер вошла женщина. Валерий молчал, вглядываясь. Подумал сначала, что горничная.

— А, ждал, — хриловато сказала женщина, и тут он ее узнал — это была утренняя всадница.

— А я решила, если спросишь, кто там, повернусь и уеду, — без улыбки сказала она и села на кровать.

Она снимала те самые сапоги, которые он про себя утром одобрил. Сначала наступила на задник левого и сбросила его, потом стащила руками правый с некоторым усилием и отбросила его в угол.

— Ну чего ты глазами хлопаешь? — Она встала возле постели, и он увидел, как она мала ростом. И еще успел подумать, что ему совершенно не нравятся такие маленькие и острые женщины.

Она стянула с себя белый свитер, тот самый, подарочный, расстегнула кнопку на грязных белых джинсах и, не снимая их, нырнула под одеяло, обняла его и сказала голосом трезвым и усталым:

— Весь день меня жгло, так тебя хотелось...

Валерий выдохнул воздух и навсегда забыл, какие же это женщины ему обыкновенно нравились...

Все, что он о ней узнал, он узнал позже. Была она вовсе не цыганка, а еврейка из питерской профессорской семьи, ушла к Сысоеву семь лет тому назад, дочку ее от первого брака воспитывают ее родители и ей не доверяют. Но самое главное и поразительное было то, что к утру он обнаружил, что в свои неполные двадцать девять лет он пропустил целый материк, и непостижимо было, как удалось этой тщедушной девчонке, такой горячей снаружи и изнутри, погрузить его в себя до такой степени, что он

казался самому себе тающим в густой сладкой жидкости розовым леденцом, а вся кожа его стонала и плавилась от нежности и счастья, и всякое касание, скольжение проникало насквозь, в самую душу, и вся поверхность оказывалась как будто в самом нутре, в самой глубине. Он ощущал себя вывернутым наизнанку и понимал, что, ни заткни она ему тонкими пальчиками уши, душа его непременно вылетела бы вон...

В шесть часов утра диковинные часики, не снятые с ее руки, слабо чирикнули. Она сидела на подоконнике, обняв ногами его поясицу. Он стоял перед ней и видел, как оттопыривается ниже ее пупка бугорок, обозначающий его присутствие.

— Все, — сказала она и погладила выступающий бугорок через тонкую пленку своего живота.

— Не уходи, — попросил он.

— Уже ушла, — засмеялась она, и он заметил, как по-вурдалачьи выпирают вперед верхние клычки. Он погладил пальцами ее зубы.

— Нет, я не вурдалак, — засмеялась она. — Я блядь обыкновенная. Тебе нравится?

— Очень, — честно ответил он, и она соскочила, оставив его стрелу нев्यпущенной.

Она пошла в душ. Ноги у нее были кривоваты и не очень ловко вставлены. Но желание только накалялось. Он вынул из переворошенной постели порванные золотые цепочки, соскользнувшие ночью с ее шеи. Вода редела в душе, он перебирал пальцами цепочки и смотрел в окно. Был тот же блестящий туман, что и вчера, и солнце угадывалось за его тающим блеском.

Покрытая крупными каплями воды, она вошла в комнату. Он протянул ей цепочки. Она взяла их, распустила во всю длину и кинула на стол:

— Починишь, тогда и отдашь. Сегодня среда?

Она стряхнула с маленькой груди остатки воды, с трудом натянула на узкое мокрое тело джинсы. В пружинистых ее волосах, в прическе, которая еще не называлась «афра» и была ее собственной и ничьей больше, тоже лежали круглые капли воды. Несколько маленьких, жестких даже на вид шрамов, уже волнующих и любимых, отмечали ее тело под грудью, с левой стороны живота и на правом предплечье. Кажется, она была совершенно неженственной. Но все женщины, которых он знал прежде, в сравнении с ней казались не то манной кашей, не то тушеной капустой...

— Знаешь, Валера, что? Мы встретимся с тобой ровно через неделю на Центральном почтамте в Питере. Между одиннадцатью и двенадцатью...

— А сегодня? — спросил Бутонов.

— Нет, нельзя. Сысоев тебя убьет. А может, меня... — Она засмеялась. — Не знаю точно, но кого-нибудь убьет...

У них было еще три встречи — в течение года. А потом она исчезла. Не от Валерия исчезла, а вообще. Ни родители, ни Сысоев не знали, с кем и куда она девалась...

С тех пор Бутонов женщинам почти не отказывал. Знал, что чудес не бывает, но если пребывать на грани возможного, на пределе концентрации, то и здесь, в самом телесном низу, пробивает молния, все озаряется и вспыхивает то самое чувство: нож, направленный в цель, вздрогнув, замирает в самой ее сердцевине.

Вернувшись в десятом часу вечера из бухт и уложив спящих малышек, взрослые расселись на Медеиной кухне пить чай. Хотя все устали, расставаться не хотелось: в воздухе висело какое-то неопределенное «продолжение следует». Даже Нора, прилежная мать, согласилась уложить дочку в чужом месте, чтобы посидеть еще на Медеиной кухне.

Георгий вышел покурить. Он сидел возле дома и из темноты, как из зрительного зала на театральную сцену, смотрел в яркий прямоугольник

распахнутой двери кухни. Свет был двойной и зыбкий: желтый от керосиновой лампы и низко-малиновый от очага. Прихваченные за день опасным весенним солнцем, лица казались густо нагримированными. Рядом с темной Медеей сидела светлая Нора, с заколотыми высоко волосами и подобранной челкой, — Ника велела намазать ей лицо кефиром, и оно теперь матово блестело. Лоб ее, когда она подобрала волосы, оказался слишком высок и выпукл, как бывает у малых детей и немецких средневековых Мадонн, и этот недостаток делал ее лицо еще милей. Еще видна была Георгию могучая спина Бутонова в розовой майке да крылатая Никина тень — гриф гитары и руки колыхались на стене. В центре стола, как драгоценный шар, стоял самовар, но чаю не варил. Хотя Георгий и провел наконец на кухню воздушку, но в этот день электричества в Поселок почему-то не подавали.

Кроме света наружу выливалась еще и мелодия, выпеваемая простым и выпуклым Никиным голосом и поддерживаемая незатейливыми аккордами не ученой музыке руки.

Тогда все пели Окуджаву, а Георгий, единственный из всех, не любил этих песен. Они раздражали его манжетами и бархатом камзолов, синевой и позолотой, запахами молока и меда, всей романтической прелестью, а главное, может быть, тем, что они были пленительны, против его воли вползали в душу, долго еще звучали и оставляли в памяти какой-то след.

Работа его многие годы была связана с палеозоологией, мертвейшей из наук, и это придало странную особенность его восприятию: все в мире делилось на твердое и мягкое. Мягкое ласкало чувства, пахло, было сладким или отталкивающим — словом, было связано с эмоциональными реакциями. А твердое определяло сущность явления, было его скелетом. Георгию достаточно было взять в руки одну створку устрицы, вмурованную в склон холма где-нибудь в Фергане или здесь, под Алчаком, чтобы определить, в каком из десяти ярусов палеогена жил этот мясистый, давно исчезнувший моллюск, его крепкая мышца и примитивные нервные узлы, то есть все то, что составляло незначительную мякоть. Так и песни эти казались Георгию мякотью, сплошной мякотью, в отличие, скажем, от песен Шуберта, в которых он чувствовал музыкальный костяк, благо что и немецкого языка он не знал.

Он придавил окурок плоским камешком и вошел в кухню, сел в самый темный угол, откуда так хорошо видна была Нора с милым и сонным лицом.

«Такая северная девочка, не очень счастливая с виду, — размышлял он. — Петербурженка. Есть такой тип анемичных блондинок, с прозрачностью в пальцах, с голубыми венками, с тонкими лодыжками и запястьями... и сосок у нее, наверное, бледно-розовый...»

И его обдало вдруг жаром. А она, как будто почувствовав его мысли, прикрыла лицо прозрачными ладонями.

Юность его, с геологическими партиями, с поварами из отчаянных местных лаборантками и всегда готовыми подставить под комариные укусы мускулистые бедра подругами-геологинями, была давно позади. Из армянской смеси упрямства и лени, а также из-за приверженности мифологии семьи, внушенной матерью, наперекор общепринятой легкости, всем привычкам его круга, наперекор снисходительной насмешливости друзей он хранил угрюмую верность толстой Зойке, но никогда не мог вспомнить, как ни старался, чем же она ему понравилась пятнадцать лет тому назад. Ничего, кроме трогательного жеста складывания беленьких носочков ровненько, один на другой... И он снова вышел из кухни, чтобы отдохнуть от волнующего воздуха внутри, который вскипал пузырьками, раздражал, возбуждал.

«Ушел», — с огорчением отметила Нора.

Не было на кухне и Маши. Еще с полдороги, возвращаясь, она почувствовала противную чесотку в крови и поняла, что на нее надвигается один из редких и необъяснимых приступов. Муж ее Алик, врач, размыш-

ляющий над каждой болезнью как над самостоятельной задачей, считал, что у Маши какая-то редкая форма сосудистой аллергии. Однажды такой приступ начался на его глазах в деревне, куда они приехали справлять Новый год. Маша прикоснулась рукой к медному соску ручной мойки, и он оставил след, подобный ожогу. Через два часа у нее поднялась температура, а к вечеру она вся покрылась аллергической сыпью.

На этот раз с ней происходило нечто подобное, но не от прикосновения равнодушной меди, а от мимолетного прикосновения Бутонова. Впрочем, может, просто перегрев, весеннее солнце... Но правое предплечье было багровым и слегка отекло.

Едва добравшись до дому, Маша сразу же легла, укрывшись всеми попавшимися под руку одеялами, и впала в полусон.

Покуда ее тряс озноб и мучила жажда, ей снился один и тот же все повторяющийся сон, как будто она встает с постели, идет на кухню и пытается зачерпнуть из ведра, в котором воды на самом дне, и кружка только шкрябает, а вода не набирается. А одновременно с этим сами собой складывались какие-то неструктурные строчки, в которых был берег, горячее солнце и неопределенное ожидание, смешанное с реальной жаждой...

А Ника занималась любимым делом обольщения, тонким, как кружево, невидимым, но осязаемым, как запах пирога от горячей плиты, мгновенно заполняющий любое пространство. Это была потребность ее души, пища, близкая к духовной, и не было у Ники выше минуты, чем та, когда она разворачивала к себе мужчину, пробивалась через обыкновенную, свойственную мужчинам озабоченность собственной, в глубине протекающей жизнью, пробуждала к себе интерес, расставляла маленькие приманки, силки, протягивала яркие ниточки — к себе, к себе, и вот он, все еще продолжающий разговаривать с кем-то на другом конце комнаты, начинает прислушиваться к ее голосу, ловит интонации ее радостной доброжелательности и того неопределенного, ради чего самец бабочки преодолевает десятки километров навстречу ленивой самочке, — и вот помимо собственного желания намеченный Никой мужчина уже тянется в тот угол, где сидит она, с гитарой или без гитары, крупная, веселая рыжеватая Ника с призывом в ярких глазах... Это, может быть, и было моментом высшего торжества, не сравнимым ни с какими другими физиологическими радостями, когда дичь начинала петлять по комнатам с пустым стаканом в руке и с растерянным видом, приближаясь к смутному источнику, и Ника сияла, предвкушая победу.

Бутонов, сидя неподвижно на середине лавки, напротив Ники, был уже у нее в руках. При всем своем незамысловатом великолепии он был простенькой дичью, отказывал женщинам редко, но в руки не давался, предпочитая разовые выступления долгосрочным отношениям. Сейчас ему хотелось спать, и он прикидывал, не отложить ли эту рыжуху на завтра. Ника, со своей стороны, совершенно не собиралась откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Она легко встала, положила гитару в кресло Медеи, которая уже ушла к себе.

— А дальше — тишина, — улыбнулась Бутонову улыбкой, обещающей продолжение вечера.

Цитаты Бутонов не уловил.

«Завелась старуха», — снисходительно подумал Георгий.

— Сейчас послушаем детей, — обратилась она как будто к Норе. Бутонов смекнул, что это ему велено подождать.

Женщины вошли в темный дом, заглянули в детскую. Смотреть было не на что: все спали после утомительного похода, только Лизочка, по обыкновению, дышала со сладкими вздохами. Маленькая Таня спала поперек широченной тахты, с краю стройненько вытянулась Катя, не переставая и во сне следить за осанкой. Посреди комнаты стоял большой коммунальный горшок.

— Хочешь, ложись здесь, — указала Ника на тахту, — а хочешь, в маленькой, там постелено.

Нора легла рядом с дочкой. Шел уже четвертый час, и спать оставалось недолго.

Ника вернулась в кухню и легким мимоходным движением положила руки на шею Бутонова:

— Ты обгорел...

— Есть немножко, — отозвался Бутонов, и Нике вдруг показалось, что никакой победы не произошло.

— Ладно, пошли, что ли, — не обернувшись, голосом без всякого выражения предложил Бутонов.

Было в этом что-то неправильное, не по любимому канону, но Ника не стала кокетничать, прижалась слегка грудью к его твердой спине, обтянутой горячим розовым трикотажем.

Все последующее, происходящее на Адочкиной территории, не заслуживает подробного описания. Оба участника мероприятия остались вполне довольны. Бутонов после ухода Ники облегчился в дощатой уборной в конце участка — чего ему не удавалось сделать в течение длинного и многолюдного дня — и уснул здоровым сном.

Ника вернулась домой уже по свету, спать ей совершенно не хотелось, напротив, она была полна бодрости, и тело ее, как будто благодарное ей за доставленное удовольствие, готово было к труду и веселью. Она тщательно перемыла вчерашнюю посуду и поставила на примус кашу. Она, напевая что-то, мешала длинной ложкой в большой кастрюле, когда вошла Медея за своей чашкой кофе.

— Мы тебе вчера не очень мешали? — поцеловала Ника сухую Медеину щеку.

— Нет, детка, как обычно. — И Медея коснулась Никиной головы. Она любила Никину голову: волосы ее были такими же пружинистыми и чуть трескучими, как у Самуила.

— Мне показалось, ты вчера очень устала? — полуспросила Ника.

— Знаешь, Ника, я раньше за собой такого не замечала. Весь последний год я как будто все время усталая. Может, старость? — простодушно ответила Медея.

Ника убавила огонь в примусе.

— А тебе больничка твоя не надоела? Может, бросишь?

— Не знаю, не знаю. Привыкла работать — холопский недуг. — И Медея встала, закончив разговор.

Эти мимолетные фразы были самой большой интимностью, на которую Медея была способна. Ника ценила это как знак их особой близости.

Вошла Маша, в куртке поверх ночной рубашки, с воспаленно-розовым лицом в мелкой точечной сыпи.

— Машка! Что с тобой? — ахнула Ника.

Маша жадно пила из кружки и, допив, странно сказала:

— А ведро-то было полное... Аллергия у меня.

— Не краснуха ли? — встревожилась Медея.

— Откуда ей? Сегодня к вечеру пройдет, — улыбнулась Маша. — Ночь была ужасная. Жар, озноб. А теперь уже все.

В кармане куртки лежала мятая бумажка, на которой было написано ночное стихотворение. Маше оно пока что очень нравилось, и она повторяла его про себя: «В корзине выплыло дитя, без имени, в песке прибрежном лежит, и, белые одежды надевши, фараона дочь спешит судьбе его помочь. Попалась рыбка на уду, по берегу хвостом забила, я все забыла, все забыла, я имя вспомнить не могу, и я на этом берегу песок сквозь пальцы просыпаю, под жарким солнцем засыпаю и, просыпаясь, снова жду. Чего я жду, сама не знаю».

Но на самом деле она уже все знала. После вчерашнего смутного дня и ужасной ночи наступила ясность: она влюбилась. И еще была слабость, обыкновенная слабость после подъема температуры.

15

Александра, меняющая всю жизнь не только надоедающих ей быстро мужчин, но и профессии, познакомилась со своим третьим мужем в Малом театре, где работала с середины пятидесятых годов у старой знаменитости костюмером, а он, сидя на приличной казенной зарплате, реставрировал купленные за гроши музейные драгоценности театральной элиты, заслуженных и народных, понимавших толк в хорошей мебели. Александра, всю жизнь легкая на любовь, была равнодушна к богатству, но обожала блеск.

Брак с Алексеем Кирилловичем был недолгим — это были самые скучные три года в ее жизни, и закончились они скандально: застал-таки ее в неурочный час Алексей Кириллович с глухонемым красавцем истопником, обслуживавшим тимирязевские дачи. Алексей Кириллович глубоко изумился и навсегда вышел вон, оставив жену в объятиях исполинского Герасима. Сандрочка плакала до самого вечера. Алексея Кирилловича видела с тех пор только один раз — на суде, когда разводились, но до самого сорок первого года получала по почте деньги. Сына Алексей Кириллович видеть не пожелал.

Истопник, разумеется, был незначительным эпизодом. Были у нее разные блестящие связи: бравый летчик-испытатель, и знаменитый академик, и остроумный еврей, и неразборчивый бабник, и молодой актер, данник ранней славы и еще более раннего алкоголизма. Вышла замуж второй раз за военного, Женю Китаева, родила от него дочь Лидию, а потом и этот брак замялся. Хоть они и не разводились, но жили порознь, и вторая дочь, Вера, родившаяся перед войной, была от другого отца — человека с таким громким именем, что Китаев скромно молчал до самой своей гибели.

Но теперь ей было уже за пятьдесят, и на огонь ее тускнеющих волос уже не летели тучи поклонников. Тогда она вздохнула и сказала себе: ну что ж, пора... обвела зорким женским взглядом окрестность и остановилась неожиданно на театральном краснодеревщике Иване Исаевиче Пряничкове.

Он был не стар, около пятидесяти, на год-другой моложе ее, роста был невысокого, но широкоплеч, волосы носил длиннее, чем принято у рабочего класса, как бы по-актерски, выбрит был всегда чисто, рубашки из-под синего халата смотрели свежие. Идя как-то за ним по коридору, она изучала исходящий от него сложный и терпкий запах, связанный с его ремеслом: скипидар, лак, канифоль и еще что-то неизвестное, и запах показался ей даже привлекательным. Было в нем и какое-то особое достоинство, он не вписывался в обычную театральную иерархию. Ему бы занимать скромное место между машинистом сцены и примером, а он шел по театральным коридорам, кивком отвечая на приветствия, как заслуженный, и закрывая плотно дверь в свою мастерскую, как народный.

Однажды в конце рабочего дня, когда рабочие мастерских еще не разошлись, а артисты и все те, кто нужен для ведения спектакля, уже пришли, Александра Георгиевна постучала в его дверь. Поздоровались. Оказалось, что он не знал ее по имени, хотя она к этому времени уже три года проработала в театре. Она рассказала ему об ореховой горке, которая осталась после покойной свекрови, бросила беглый взгляд на стены мастерской, где на полках стояли бутылки с темными и рыжими жидкостями и симметрично были развешаны и разложены инструменты. Иван Исаевич держал бурую, с темной обводкой вокруг ногтей руку на светлой столешнице разъятого столика, гладил грубым пальцем темный выщербленный цветок, и когда Александра Георгиевна кончила свой рассказ о горке, он сказал не глядя ей в глаза:

— Вот маркетрию Илье Ивановичу закончу, тогда можно и посмотреть...

Он пришел к ней в Успенский переулок, где она жила в двух с половиной комнатах с двумя дочерьми, Верой и Никой, через неделю.

Предложенная ему чашка бульона с куском вчерашней кулебяки и гречневая каша, сваренная как будто в русской печи, произвели глубокое впечатление на Ивана Исаевича, жившего достойно, чисто, но все же побобульски, без хорошей домашней еды. Ему понравилось то бережное движение, которым она вынула хлеб из деревянного хлебного ящика и раскрыла салфетку, в которую он был завернут. Еще более глубокое впечатление произвел на него короткий, брошенный ею взгляд на небольшую иконку Корсунской Божьей Матери, которую он и не сразу заметил, поскольку висела она не в углу, как положено, а потаенно, на торце буфета, да тихий ее вздох «О Господи», перенятый от Медеи еще в детстве.

Он был из староверов, но еще в юности ушел из семьи, отказался от веры, однако, отплыв от родного берега, к другому так и не прибился и всю жизнь прожил сам с собой в ссоре, то ужасаясь совершенному бегству из родительского мира, то страдая от невозможности слиться с тысячами энергичных и оголтелых сверстников. Его тронул этот короткий молитвенный вздох, но только много лет спустя, будучи ее мужем, он понял, что все дело было в удивительной простоте, с которой она разрешила проблему, мучившую его всю жизнь. У него понятие о правильном Боге и неправильной жизни никак не соединялось воедино, а у Сандрочки все в прекрасной простоте соединялось: и губы она красила, и наряжалась, и веселилась от души, но в свой час вздыхала и молилась, щедро вдруг кому-то помогала, плакала...

Иван Исаевич ходил на свидания к ореховой горке, заглядывая предварительно в репертуарный план, выбирая те дни, когда не давали Островского и Александра Георгиевна оставалась дома. В первый вечер она сидела за столиком, писала письма, во второй — шила дочери юбку, потом перебирала крупу и мягко мурлыкала какую-то привязчивую опереточную мелодию. Предлагала Ивану Исаевичу то чай, то ужин.

«Этот мебельщик», как она его про себя окрестила, нравился ей все больше серьезной сдержанностью, лаконизмом слов и движений и всем своим поведением, которое хоть и было «малость деревянным», как она охарактеризовала его своей задушевной подруге Кире, зато «вполне мужским». Во всяком случае, она его явно предпочла бы своему основному претенденту, недавнему вдовцу, старому актеру с зычным голосом, болтливому, тщеславному и обидчивому, как гимназистка. Актер зазвал ее недавно в гости в большую красивую квартиру сталинского покроя рядом с Моссоветом, а на следующий день она долго по всем пунктам высмеивала его перед Кирой: как он заставил весь стол банкетной старинной посудой, но в огромной хрустальной сырнице лежал один сухой лепесток сыра, а в полуметровой вазе «ассорти» — такой же засушенный кусочек колбаски, как он громовым голосом, заполнявшим всю огромную, с четырехметровыми потолками комнату, сначала говорил о своей любви к покойной жене, а потом так же зычно начал зазывать ее в спальню, где обещал показать ей, на что он способен, и наконец, когда Александра уже собралась домой, он достал шкатулку с женинами драгоценностями и не раскрывая объявил, что все достанется той женщине, которую он теперь выберет в жены.

— Ну так что же, Сандрочка, ты отговоришься или все же зашла в спальню? — любопытствовала подруга, которой важно было знать всю Сандрочкину жизнь, до самой последней точки.

— Да ну тебя, Кира, — хохотала Сандра. — Видно же, что он давным-давно штаны только в уборной расстегивает! Я губки надула и говорю ему: «Ах, какая жалость, что не могу я пойти в вашу спальню, потому что у меня сегодня мен-стру-а-ция...» Он чуть на пол не сел. Нет-нет, ему кухарка нужна, а мне мужик в дом. Не пойдет...

Положение вещей представлялось ей так, что краснодеревщик у нее в кармане, но сама она колебалась: он, конечно, похож на мужика, и положительный, но все же вахлак... Тем временем он притащил откуда-то детскую кровать ладейкой.

— Для господских деток работали, Нике в самый раз будет, — и подарил.

Александра вздохнула: устала от безмужья. К тому же год назад патронесса благодетельствовала ее дачным участком в поселке Малого театра, но дом ей в одиночку было не поднять. Все шло к одному, в пользу медлительного Ивана Исаевича, в котором тоже подспудно происходили неосознанные шевеления, приводящие одинокого мужчину к семейной жизни. Пока длилась мебельная прелюдия к их браку, он все более убеждался в исключительных достоинствах Александры Георгиевны. «Порядочный человек, не вертихвостка какая-нибудь», — думал он с неодобрением в адрес той Валентины, с которой прожил несколько хороших лет, а потом она его обманула с подвернувшимся земляком-капитаном. Верно было то, что толстопятой его Валентине действительно до Сандрочки было далеко.

Александра понимала, что взаимное присматривание затягивается, но в эту пору у нее не прошло еще ложное чувство, что она стоит во всех отношениях настолько его выше, что он за счастье должен считать ее выбор, и она медлила. Большое и неизгладимое несчастье, происшедшее в то лето, сблизило их и соединило...

Таня, жена ее сына Сергея, была генеральской дочерью, но это было не избитой характеристикой, а всего лишь знаком материального благополучия. От отца она унаследовала честолюбие, а от матери — красивый профиль. В приданое она получила, генеральскими хлопотами, новую однокомнатную квартиру в Черемушках и старую «Победу». Сергей, человек щепетильный и независимый, к машине не прикасался, даже прав не имел. Водила Татьяна.

Это последнее предшкольное лето их дочка Маша проводила на даче у генеральши-бабушки, Веры Ивановны, характер у которой был вздорный, истерический, что всем было прекрасно известно. Время от времени внучка ссорилась с бабушкой и звонила в Москву родителям, чтобы ее забрали. На этот раз Маша позвонила поздним вечером из дедова кабинета, не плакала, но горько жаловалась:

— Мне скучно, она меня никуда не пускает, и ко мне девочек не пускает, говорит, что они украдут. А они не украдут, честное слово, не украдут...

Таня обещала забрать ее через несколько дней. Это сильно нарушало семейные планы. Они собирались всей семьей, взяв Нику, ехать через две недели в Крым, к Медее: и отпуск был в графике, и с Медеей уговорено; словом, на более раннее время поездку передвинуть было невозможно.

— Может, Сандрочка у себя Машку подержит недельку? — осторожно закинула удочку Таня.

Но Сергей не очень хотел забирать дочку от генералов, как называл он женину родню, жалел мать, у которой дом только-только отстроился, не говоря уж о том, что генеральская дача была огромная, с прислугой, а у Сандры — две комнаты с верандой.

— Машку жалко, — вздохнула Таня, и Сергей сдался.

Они взяли в середине недели отгул и рано утром выехали. До дачи они не доехали: пьяный водитель грузовика, выскочив на встречную полосу, врезался в их машину, и оба они мгновенно погибли от лобового столкновения.

Под вечер того дня, когда Ника уже истомилась ждать свою любимую подружку-племянницу, и кукол уже выстроила для нее в ряд, и взбила сама малиновый мусс, приехала генеральская «Волга», низенький генерал вышел из нее и неуверенной походкой пошел к дому. Увидев его через прозрачную занавеску, Александра вышла на крыльцо и остановилась на верхней ступени, ожидая известия, которое уже донеслось до нее бессловесной ужасной тяжестью по густеющему вечернему воздуху.

— Господи, Господи, подожди, я не могу... я не готова...

И генерал замедлил свое движение на дорожке, замедлилось время и вовсе остановилось. Только качели с сидящей на них Никой не останови-

лись окончательно, а медленно-медленно совершали свое скользящее движение вниз от самой верхней точки.

И Александра увидела в этом остановившемся времени большой кусок своей и Сережиной жизни, и даже своего первого мужа, Алексея Кирилловича, в то лето на Карадагской станции, и новорожденного Сережу в Медеиных руках, и их общий отъезд в Москву в дорогом старинном вагоне, и Сережины первые шаги на тимирязевской даче... и его в курточке, стриженного наголо, когда он пошел в школу, и множество, множество как будто забытых фотографий увидела Александра, пока генерал стоял на дорожке, с поднятой в шаг ногу. Она досмотрела все до конца — до позавчерашнего прихода сына в Успенский, когда он попросил подержать у нее на даче Машу до их отъезда в Крым, и его неловкую улыбку, и как поцеловал он ее в подобранные валиком волосы:

— Спасибо, мамочка, сколько ты для нас делаешь...

А она махнула рукой:

— Глупости какие, Сережа. Какое здесь одолжение, мы Машку твою все обожаем...

Генерал Петр Степанович дошел наконец до нее, остановился и сказал медленным разбухшим голосом:

— Дети наши... того... разбились насмерть...

— С Машей? — только и нашла сказать Александра.

— Нет, Маша на даче... Они по дороге... забирать ее хотели, — просопел генерал.

— В дом пошли, — велела ему Александра, и он послушался, двинулся наверх.

С генеральшей Верой Ивановной было совсем плохо: три дня она кричала сорванным голосом хрипло и дико, засыпала только под уколами, но бедную Машу от себя ни на шаг не отпускала. Распухшая и отекая Вера Ивановна привела Машу на похороны, девочка сразу же кинулась к Александре и простояла, прижавшись к ней, всю длиннейшую гражданскую панихиду. Вера Ивановна билась об закрытый гроб и в конце концов начала выкрикивать обрывчатые слова вологодского плача, который вырвался из глубины ее простонародной, испорченной генеральством души.

Окаменевшая Александра держала твердую руку на черной Машинной голове, две старшие дочери стояли справа и слева, а позади, взявши Нику за руку, оберегал их семейное горе Иван Исаевич.

Поминки устраивали в генеральской квартире на Котельнической набережной. Все, включая посуду, привезли из какого-то специального места, где кормились высокие лица. Петр Степанович напился горько и крепко. Вера Ивановна все требовала к себе Машеньку, а девочка цеплялась за Александру. Так они и просидели весь вечер втроем, теща да свекровь, соединенные общей внучкой.

— Сандрочка, заведи меня к себе, Сандрочка, — шептала девочка в ухо Александре, а Александра, обещавшая генералу не отбирать у них единственное дитя, утешала ее, говорила, что заберет непременно, как только бабушке Вере станет лучше.

— Нельзя же ее бросать сейчас одну, сама понимаешь, — уговаривала она Машу, сама только о том и мечтая, чтобы забрать ее в две с половиной комнаты Успенского переулка.

Именно в этот вечер на побледневшем лице Маши Александра заметила россыпь рыжих веснушек, фамильных веснушек Синопли, маленьких знаков живого присутствия давно умершей Матильды.

— Надо бы Машу оттуда забрать. Я бы помог, — как всегда в неопределенной грамматической форме, чтобы избежать интимного «ты» и официального «вы», не называя ни Александрой Георгиевной, ни Сандрочкой, пробормотал Иван Исаевич поздним вечером того дня, проводив ее до дому от Котельнической набережной.

— Надо-то надо, да как заберешь? — так же неопределенно ответила Сандра.

Медея на похороны не приехала: Анели, тбилисской покойной сестры, приемная дочь Нина лежала в больнице с тяжелой операцией, и Медея на лето забрала ее малолеток. Не с кем было их оставить...

К концу августа Иван Исаевич закончил забор, положил на окна решетки и сделал хитрый замок.

— Хороший вор сюда не полезет, а от шпаны защита, — объяснил он Александре.

Все это черное время, от самого дня похорон, он не отходил от нее, и здесь, на этом печальном месте, и начался их брак. Их отношения как будто навсегда остались освещены этим трагическим событием, да и сама Александра, казалось, уже не способна была радостно праздновать свою жизнь, что делала от самой ранней юности, невзирая ни на какие обстоятельства войны, мира или вселенского потопа.

Ни о чем таком Иван Исаевич не догадывался. Он был другой человек, не было в его словаре таких слов, в алфавите таких букв, а в памяти таких снов, какие знала Александра. Свою жену он воспринимал как существо высшее, совершенное и готов был украсить ее горькую жизнь всеми доступными его воображению средствами: приносил в дом из Елисеевского магазина лучшее, что там видел, дарил ей подарки, порой самые нелепые, стерег ее утренний сон... В интимных отношениях с женой более всего он ценил их факт и в глубине простой души полагал попервоначально, что благородной его жене от его притязаний одна добука, и немало времени прошло, прежде чем Сандрочке удалось его кое-как приспособить для извлечения небольших и незвонких радостей. Верность Ивана Исаевича оказалась гораздо большей, чем обыкновенно вмещается в это понятие. Он служил своей жене всеми своими мыслями, всеми чувствами, и Сандрочка, изумленная таким неожиданным, под занавес ее женской биографии, даром, благодарно принимала его любовь...

Генерал Гладьшев за свою жизнь построил столько военных и полувосенных объектов, столько орденов получил на свою широкую и короткую грудь, что властей почти и не боялся. Не в том, разумеется, смысле, в котором не боится властей философ или артист в каком-нибудь расслабленно-буржуазном государстве, а в том смысле, что пережил Сталина не покачнувшись, ладил с Хрущевым, с военных лет ему знакомым, и уверен был, что с любыми властями найдет язык. Боялся он только своей супруги Веры Ивановны. Одна только Вера Ивановна, верная жена и боевая подруга, нарушала его покой и портила нервы. Мужний высокий чин и большую должность она считала как бы себе принадлежащими и умела требовать все положенное ей, по ее разумению. При случае не стеснялась и скандал учинить. Этих скандалов и боялся Петр Степанович больше всего. Голос у супруги был прегромкий, акустика в высоких комнатах прекрасная, а звукоизоляция недостаточная. И когда она начинала кричать, он быстро сдавался:

— От соседей стыдно, совсем ты обезумела.

После голодного вологодского детства и бедной юности осталась Вера Ивановна раз и навсегда шарахнутой трофейной Германией, которую завез в конце сорок пятого года Петр Степанович, человек не алчный, но и не растяпистый, в количестве одного товарного вагона, и с тех пор Вера Ивановна все не могла остановиться, прикупала и прикупала добро.

Ругая жену безумной и сумасшедшей, в прямом смысле слова он ее таковой не считал. Поэтому в ту ночь, через несколько месяцев после гибели дочери, когда он был разбужен бормотанием жены, стоявшей в поросячьего цвета ночной рубашке перед раскрытым ящиком дамского письменного стола, помнится, из Потсдама, ему и в голову не пришло, что пора ее сдавать в сумасшедший дом.

— Она думает, она теперь все от меня получит... получит она... маленькая убийца. — Вера Ивановна заматывала в махровое полотенце китайский веер и какие-то флакончики.

— Что ты там среди ночи делаешь, мать? — приподнялся на локте Петр Степанович.

— Да спрятать надо, Петя, спрятать. Думает, так это пройдет. — Зрачки ее были так расширены, что почти сошлись с черными ободками радужки, и глаза казались не серыми, а черными.

Генерал так обозлился, что дурное предчувствие, шевельнувшееся было в душе, растаяло мгновенно. Он засадил в нее, как сапогом, длинной матерной фразой, взял подушку и одеяло и пошел досыпать в кабинет, влоча за собой длинные тесемки солдатских подштанников.

Безумие — и это знают все, кто близко его наблюдал, — тем более заразительно, чем тоньше организация человека, находящегося рядом с безумцем. Генерал его просто не замечал. Матрена, дальняя родственница Веры Ивановны, смолоду жившая в их доме «за харчи», замечала кое-какие странности в поведении хозяйки, но не обращала на них особого внимания, ибо и сама, дважды переживши знаменитый российский голод, с тех пор была немного стронута на этом месте. Она жила, чтобы есть. Никто в семье не видел, как и когда она это делала, хотя и знали, что ела она по ночам. Пировала она в своей узкой комнатке без окна, назначенной под кладовую, за железным крючком. Сначала она съедала собранную за день недоеденную семейством еду, потом то, что считала себе положенным, и, наконец, самое сладкое — ворованное, то, что вынимала из кремлевских продовольственных заказов собственноручно, тайком: довесок осетрины, кусок сухой колбасы, конфеты, если приходили они в бумажных пакетах, а не запечатанными в коробках. В свое жилище, запретное для всех домочадцев, она и кошки не пускала, и даже генерал, нечувствительный к мистической материи, ощущал здесь какую-то неприятную тайну. Туда несла она в мешочки пересыпанную крупу, муку, консервы. За день до ежегодной поездки к сестре в деревню, не попадаясь хозяйке на глаза, с двумя большими сумками она выскальзывала за дверь, ехала на Ярославский вокзал и сдавала сумки в камеру хранения. Все эти продукты она везла сестре в подарок, но из года в год повторялась одна и та же история: она ставила в первый же вечер на стол покрытую машинным маслом банку тушенки, собираясь отдать остальное погody, но больная ее душа не позволяла совершить этот отчаянный поступок, и по-прежнему она ела свои припасы по ночам, в темноте и одиночестве, а сестра, наблюдавшая с полатей ее ночные трапезы, сильно ее жалела за жадность, но не обижалась. Хотя она была и старше Матрены, но жила огородом, держала корову и к еде была нежадной.

Не удивительно, что, занятая постоянно своим пищевым промыслом, Матрена не заметила ни приступов столбняка, нападающих на Веру Ивановну, ни неожиданного возбуждения, когда она начинала ходить из комнаты в комнату, как зверь в клетке, а если что и замечала, то объясняла обычным образом: «Верка — чистая сатана».

Петр Степанович тоже ничего не замечал, поскольку многие годы избегал общения с женой, вставал рано, дома не завтракал, секретарша сразу, как он добирался до своего огромного кабинета, несла ему чай. Домой он возвращался поздно, в прежние времена и за полночь, высиживал в своем управлении по шестнадцать часов кряду, а более всего любил инспекционные поездки на объекты и часто уезжал из Москвы. С супругой по своей инициативе он и двух слов не говорил. Приходил, ужинал, зарывался скорей в ее шелковые пуховые одеяла и засыпал быстрым сном здорового человека.

Так и получилось, что вся чудовищная сила безумия Веры Ивановны обрушилась на Машу. В первый класс она пошла уже здесь, на Котельнической. Будила, провожала в школу и приводила ее Матрена, а начиная с обеда Маша проводила время с бабушкой. Машу сажали за стол. Напротив садилась бабушка Вера, не спускавшая с нее глаз. Нельзя сказать, чтобы она мучила Машу замечаниями. Она смотрела на нее серыми немигающими глазами и время от времени что-то неразборчиво шептала. Маша ша-

рила серебряной ложкой в тарелке и не могла донести ее до рта. Суп под холодным взглядом Веры Ивановны быстро остывал, и Матрена, имевшая здесь свой интерес, быстро уносила его неизвестно куда, а перед Машей ставила большую тарелку со вторым, которое вскоре почти нетронутым отправлялось вслед за первым. Потом Маша съедала кусок белого хлеба с компотом, что, кстати, осталось на всю жизнь ее любимой едой, и бабушка говорила ей: пошли.

Она послушно садилась за пианино на три толстых тома какой-то энциклопедии и опускала пальцы на клавиши. В жизни своей она не знала холода пронзительней того, который шел по ее кистям через черно-белые зубья ненавистной клавиатуры. Вера Ивановна знала, что девочка ненавидит эти занятия. Она садилась сбоку от нее, глядела и все шептала, шептала что-то, и у Маши на глазах выступали слезы, сбегали по щекам и оставляли холодеющие мокрые следы.

По вечерам, после того как Матрена укладывала ее спать, начиналось самое ужасное: она не могла уснуть, вертелась в большой кровати и все ждала минуты, когда откроется дверь и к ней в комнату войдет бабушка Вера. Она приходила в поздний час, который Маша определить не умела, в вишневом халате, с длинной гладкой косой по спине. Садилась возле кровати, а Маша сжималась в комочек и зажимала глаза. Один такой вечер она запомнила особенно хорошо из-за иллюминации, которой украсили дом перед ноябрьскими праздниками; дом был полосатым, красно-желтым, и Вера Ивановна, сидя в полосе красного света, шептала протяжно и внятно:

— Убийца, убийца маленькая... Ты позвонила, ты позвонила, вот они и поехали... из-за тебя все... живи теперь, живи, радуйся...

Вера Ивановна уходила, и тогда Маша наконец могла заплакать. Она утыкалась в подушку и в слезах засыпала.

По воскресеньям приходила любимая Сандручка, которую Маша всю неделю ждала. Машу отдавали до обеда, на несколько часов. Внизу около подъезда ожидал Иван Исаевич, дядя Ваня, иногда один, но чаще с Никой, и они шли гулять: то в Зоопарк, то в Планетарий, то в Уголок Дурова. Расставание всегда оказывалось для нее сильнее встреч, да и сама эта короткая встреча напоминала о счастье других людей, которые живут в Успенском переулке. Несколько раз Сандра приводила Машу к себе домой. Она понимала, что девочка тоскует, что ей плохо, но ей и в голову не могло прийти, что больше всего мучит Машу ужасное обвинение сумасшедшей старухи. А Маша ничего не говорила, потому что больше всего на свете боялась, что любимая ее Сандручка и Ника узнают о том, что она совершила, и перестанут к ней приходить.

Поздней осенью Маше приснился в первый раз страшный сон. В этом сне ровным счетом ничего не происходило. Просто открывалась дверь в ее комнату и кто-то страшный должен был войти. Из коридора несло приближающимся ужасом, который все рос и рос, — Маша с криком просыпалась. Кто и зачем распахивал дверь, которая всегда оказывалась чуть-чуть смещенной от двери действительной?.. На крик обыкновенно прибегала Матрена. Она укрывала ее, гладила, крестила — и тогда, уже под утро, Маша засыпала крепким сном. Она и прежде плохо засыпала, ожидая прихода бабушки, а теперь и после ее ухода она не могла подолгу заснуть, боясь сна, который снился тем чаще, чем больше она его боялась. По утрам Матрена с трудом поднимала ее. Полусонная она сидела на уроках, полусонная приходила домой и отрабатывала перед Верой Ивановной музыкальную повинность, а потом засыпала коротким дневным сном, спасающим ее от нервного истощения...

Место над Яузой, где стоял их дом, издавна считалось нехорошим. Многие жильцы этого дома умирали насильственной смертью, а тесные окна и куцые балкончики притягивали самоубийц. Несколько раз в году к дому с воем подъезжала санитарная машина и подбирала распластанные человеческие останки, прикрытые сердобольной простыней. Столь люби-

мая в России статистика давно установила, что число самоубийств повышается в зимние бессолнечные дни. Тот декабрь был необыкновенно мрачным, солнышко ни разу не пробило глухих облаков, — лучший сезон для последнего воздушного полета.

Обедали Гладышевы обыкновенно в столовой, ужинали на кухне. Вечером, когда Маша доедала жареную картошку, по-деревенски приготовленную Матреной в виде спекшейся лепешки, в кухню вошла Вера Ивановна. Матрена сообщила ей, что сегодня опять «сиганули»: с седьмого этажа выбросилась молодая девушка, дочь знаменитого авиаконструктора.

— От любви небось, — прокомментировала Матрена свое сообщение.

— Балуют, потому так и выходит. Гулять не надо пускать девчонок, — строго отозвалась Вера Ивановна. Она налила в стакан из чайника кипяченой воды и вышла.

— Моть, а что с ней стало? — спросила Маша, оторвавшись от картошки.

— Как — что? Убилась насмерть. Внизу-то камень, не соломка. Ох, грехи, грехи... — вздохнула она.

Маша поставила пустую тарелку в раковину и пошла к себе в комнату. Они жили на одиннадцатом. Балкона в ее комнате не было. Она подвинула стул и влезла на широкий подоконник. Между десятым и одиннадцатым этажами была зачаточная балюстрада. Маша попробовала открыть окно, но шпингалеты, покрашенные масляной краской, не открывались.

Маша разделась, сложила свои вещи на стул. Зашла Матрена сказать «спокойной ночи». Маша улыбнулась, зевнула — и мгновенно заснула. Впервые за всю свою жизнь на Котельнической набережной она заснула легким, счастливым сном, впервые не услышала тихого проклятия, с которым зашла к ней в полночь Вера Ивановна, и дверь ужасного сновидения не отворилась в ту ночь.

Что-то изменилось в Маше с того дня, когда она узнала о той девушке, которая «сиганула». Оказывается, существовала возможность, о которой она прежде не знала, и от этого ей сделалось легче.

Назавтра позвонила Сандра и спросила, не хочет ли она поехать с Никой в зимний пионерский лагерь ВТО. С Никой Маша готова была ехать куда угодно. Ника была единственная девочка, которая осталась от прежней жизни, все остальные ее подружки по Юго-Западу, где она жила раньше, исчезли бесследно, как будто тоже погибли вместе с ее родителями.

Несколько оставшихся до Нового года дней Маша жила в счастливом ожидании. Матрена собрала ее чемодан, надела на него парусиновый чехол и пришила к нему белый квадрат, на котором написали ее имя. Генеральский шофер привез с Юго-Запада ее лыжи. Палок не нашел, купил в «Детском мире» новые, красные, и Маша гладила их и принюхивалась: пахли они вкусней любой еды.

Тридцать первого утром ее должны были отвезти на Пушкинскую, где назначена была встреча с Никой. Туда же подавали автобусы. Ей казалось, что там будут и все ее подружки со старого двора: Надя, Оля, Алена.

Тридцатого вечером у нее поднялась температура под сорок. Вера Ивановна вызвала врача и позвонила Александре Георгиевне, чтобы известить. Поездка, таким образом, отменилась.

Два дня лежала Маша в сильном жару, время от времени открывая глаза и спрашивая: который час? уже пора... мы не опоздаем?

— Завтра, завтра, — все говорила ей Матрена, которая почти от нее не отходила. В каких-то просветах Маша видела Матрену, Сандручку, Веру Ивановну и даже деда Петра Степановича.

— Когда же я поеду в лагерь? — ясным голосом спросила Маша, когда болезнь ее отпустила.

— Да каникулы-то кончились, Машенька, какой теперь лагерь? — объяснила ей Матрена.

Горе было велико.

Вечером приехала Сандрочка, долго утешала ее, обещала, что на лето заберет ее к себе в Загорянку.

А ночью ей снова приснился тот сон: открылась дверь из коридора и кто-то ужасный медленно приближался к ней. Она хотела крикнуть — не могла. Она рванулась, спрыгнула с постели, в странном состоянии между сном и явью придвинула стул к подоконнику, влезла на него и дернула шпингалет с невесть откуда взявшейся силой. Первая рама открылась. Вторая распахнулась совсем легко, и она соскользнула с подоконника вниз, даже не успев почувствовать ледяного прикосновения жестяного фартука.

Подол ее рубашки зацепился за его острый край, чуть-чуть придержал ее, и она мягко выпала на заваленную снегом балюстраду десятого этажа.

Через час Матрена закончила свою трапезу и вышла из чулана. На нее дохнуло холодом. Морозным воздухом несло из открытой двери Машинной комнаты. Она вошла, увидела распахнутое окно, ахнула, кинулась его закрывать. На подоконнике намело маленькую неровную горку снега. Только закрывши окно она увидела, что Маши в постели нет. У нее подкосились ноги. Она села на пол. Заглянула под кровать. Подошла к окну. Шел густой снег. Ничего не было видно, кроме мирных медлительных хлопьев.

Матрена сунула голые ноги в валенки, накинула платок и старое хозяйкино пальто, побежала к лифту. Спустилась, пробежала через большой, покрытый красным ковром вестибюль, шмыгнула через тяжеленную дверь и обогнула угол дома. Снег лежал ровный, рыхлый, празднично блестел.

«Может, замело уже», — подумала она и прошла, разметывая валенками толстый снег под окнами их квартиры. Девочки не было. Тогда она поднялась и разбудила хозяев...

Машу сняли с балюстрады через полтора часа. Она была без сознания, но и без единой царапины. Петр Степанович проводил до машины укрытую одеялами девочку, вернулся в квартиру. Вера Ивановна просидела все эти полтора часа на краю своей кровати, не сдвинувшись с места и не проронив ни слова. Когда Машу увезли, он увел Веру Ивановну к себе в кабинет, посадил в холодное деревянное кресло и, крепко взяв за плечи, встряхнул:

— Говори.

Вера Ивановна улыбнулась неуместной улыбочкой:

— Это она все подстроила... Танечку мою убила...

— Что? — переспросил Петр Степанович, догадавшись наконец, что жена его сошла с ума.

— Маленькая убийца... все подстроила... она...

Следующая машина увезла Вера Ивановну. Генерал не стал ждать до утра — вызвал немедленно. В эту ночь ему пришлось еще раз спускаться вниз, к санитарной машине. Поднимаясь наверх в лифте, он поклялся, что ни одного дня больше не проживет с женой под одной крышей. Утром он позвонил Александре, сообщил о случившемся очень сухо и коротко и попросил забрать Машу из больницы к себе, как только ее выпишут. Через день генерал уехал в инспекционную поездку на Дальний Восток.

Свою бабушку Веру Ивановну Маша видела с тех пор только один раз — на похоронах. Петр Степанович сдержал свое слово: Вера Ивановна прожила оставшиеся ей восемь лет в привилегированной лечебнице, вдали от драгоценной мебели, фарфора и хрусталя. В сухой старушке с редкими серыми волосами Маша не узнала красивой пышноволосой бабушки Веры Ивановны в вишневом халате, которая приходила к ней, семилетней, шептать вечерние проклятья...

Через неделю после счастливо закончившегося несчастья неказистый, провинциального вида еврей, доктор Фридман, затолкнул Александру Георгиевну в подлестничный чулан, заваленный старыми кроватями, тюками с бельем и коробками, усадил ее на шаткий табурет, а сам устроился на трехногом стуле. Старая трикотажная рубашка с растянутым воротом и кривой узел галстука были видны в распахе халата. Даже лысина его выгля-

дела неопрятной — в неравномерных кустиках и клочках, как неперелинявший мех. Он сложил перед собой специально-врачебные, профессиональные руки и начал:

— Александра Георгиевна, если не ошибаюсь... Здесь совершенно невозможно поговорить, единственное место, где не мешают... Разговор у меня серьезный. Я хочу, чтобы вы поняли, что психическое здоровье ребенка целиком в ваших руках. Девочка пережила травму такой глубины, что трудно предвидеть ее отдаленные последствия. Я совершенно уверен, что многие мои коллеги настаивали бы на переводе ее в стационар и на серьезном медикаментозном лечении. Возможно, это и понадобится: неизвестно, как будет развиваться ситуация. Но, я думаю, есть шанс эту историю похоронить... — Он смутился, почувствовав, что говорит не то. — Я имею в виду, что у психики ребенка есть огромные защитные механизмы, и, может быть, они сработают. К счастью, Маша не отдает себе полного отчета о происшедшем. Идея самоубийства в ее сознании не сформировалась, и сам факт суицидной попытки ею не осознан. Происшедшее с ней может быть скорее рассмотрено, знаете, как если бы человек отдернул руку, схватившись за горячее. Я с Машей много беседовал. Она неохотно идет на контакт, но если контакт имеется, она говорит искренне, чистосердечно, и, знаете, — он смял свою полунаучную речь, улыбнулся, открыв квадратные детские зубы, — она очаровательное существо, умненькая, ясная, с каким-то очень хорошим нравственным строем... чудесный ребенок. — Лицо его просветлело, и он сделался даже симпатичным.

«На кого-то знакомого похож», — мелькнуло у Сандры.

— Одних людей страдание калечит, а других, знаете, как-то возвышает. Ей сейчас нужна теплица, инкубатор. Я бы забрал ее в этом году из школы, чтобы, знаете, исключить все случайности... плохой педагог, грубые дети... лучше продержат ее дома до будущего года. И очень, очень щадящая обстановка. — Он встрепенулся: — И никаких контактов с той ее бабушкой, исключить. Она внушила ей комплекс вины за смерть родителей, а это и взрослый человек не каждый вынесет. Все это может вытесниться, может вытесниться. Старайтесь не вспоминать об этом последнем периоде, и даже о родителях ее не надо ей напоминать. Вот телефон мой, звоните, — он вынул заранее заготовленный листочек, — Машу я не оставлю, буду наблюдать, пожалуйста, пожалуйста...

Александра не ожидала, что Машу отдадут так быстро. Машины вещи, второй раз за полгода перевезенные генеральским шофером на новую квартиру, стояли еще неразобранные, вместе с непригодившимся чемоданом и лыжами. Александра сразу же после разговора с врачом поехала домой за Машиными вещами и в тот же день забрала ее в Успенский...

Была половина января, елка еще была не разобрана, стол раздвинут по-праздничному. Пришла и гостя — старшая дочь Александры, беременная Лидия. Еда была простая, непраздничная: винегрет, макароны с котлетами да подгоревшее Никино печенье, которое она в спешке пекла перед самым Машиным приездом. Зато с рекомендованной доктором любовью все обстояло как нельзя лучше: сердце Александры просто разрывалось от молитвенной благодарности, что Маша чудом спаслась, что она здорова и у нее в доме. Ни один из ее собственных детей не казался ей в эти минуты столь горячо любимым, как эта хрупкая сероглазая, совсем не их породы девочка. Ника тискала ее, обнимала, забавляла всеми известными ей способами. Маша немного посидела за столом, а потом пересела в детское плетеное креслице, которое за несколько дней до ее приезда принес откуда-то Иван Исаевич и два дня чинил поломанную ручку и прилаживал на сиденье кусок красного сукна с бахромой.

Расслабленная от беременности Лидия вскоре ушла.

Хотя вся семья ждала Машиного приезда, он все-таки оказался неожиданным, и потому спального места ей не приготовили. Ника отправилась спать к матери, а Машу уложили в Никину маленькую ладью, из которой

она за лето почти выросла. Глаза у Маши слипались, но, когда ее уложили, сон ушел. Она лежала с открытыми глазами и думала, как в будущем году поедет с Никой в зимний лагерь.

Убрав и вымыв посуду, Александра подошла к девочке, села рядом.

— Дай руку, — попросила Маша.

Александра взяла Машу за руку, и девочка быстро уснула. Но когда Александра попыталась осторожно высвободить свою руку, Маша открыла глаза:

— Дай руку...

Так до утра и просидела Александра возле спящей внучки. Иван Исаевич пытался заменить ее на этом молчаливом посту, но она только качала головой и жестом отсылала его спать. Это была первая ночь в череде многих. Без ночного поводыря — бабушкиной или Никиной руки — Маша не могла заснуть, а заснув, иногда просыпалась с криком, и тогда Сандра или Ника брали ее к себе, успокаивали. Как будто их было две: Маша дневная, спокойная, ласковая, приветливая, и Маша ночная — испуганная и затравленная.

Возле Машиной кровати поставили раскладушку. Обычно на ней укладывалась Ника, она лучше матери умела сторожить хрупкий Машин сон, а потревоженная, мгновенно засыпала снова. Ника вообще была лучшей помощницей матери, чем Вера, которая училась в институте, обожала до страсти всяческое учение и кроме институтских занятий ходила на курсы то немецкого языка, то какой-то туманной эстетики.

Нике шел тринадцатый год, она набрала уже хороший женский рост и множество разных женских умений, стайка мелких прыщиков в середине лба свидетельствовала о том, что близится время, когда ее женские дарования будут востребованы.

Маша переехала в Успенский как раз в то время, когда Ника охладела к обычной девчачьей забаве — к игре в куклы, и живая Маша разом заменила ей всех ее Катю и Ляль, на которых она так долго упражняла смутные материнские инстинкты. Все куклы, с ворохом платьев и пальто, которые не ленилась им шить проворная Александра, перешли к Маше, и Ника почувствовала себя главой большой семьи с дочкой Машей и кучей игрушечных внучек.

Много лет спустя, уже родив Катю, Ника признавалась матери, что, видимо, потратила весь первый материнский пыл на племянницу, потому что никогда не испытывала к своим детям такой трепетной любви, такого полного принятия в сердце другого человека, как это было в первые годы жизни Маши в их доме. Особенно этот первый год, который она жила состраданием к бедной Маше, держала ее ночами за руку, плела по утрам косички, а после школы водила гулять на Страстной бульвар. В Машиной жизни Ника занимала огромное и трудноопределимое место: была любимой подругой, старшей сестрой, во всем лучшей, во всем идеальной...

В следующем году, когда ее снова отдали в школу, Иван Исаевич забирал ее после занятий и либо приводил домой, либо отводил к себе в театр. Александра, вскоре после Машиного переезда похоронившая свою знаменитую патронессу, ушла из театра. Теперь она заведовала маленьким закрытым ателье для правительственных дам. Место было бластное, но у Александры от прежних лет остались какие-то высокие покровители.

Крепдешиновые обрезки от их обширных платьев шли на кукольные наряды, но обе они, и Ника и Маша, сохранили на всю жизнь отвращение к розовому, голубому, оборчатому и плиссерованному. Обе они, чуть повзрослев, стали носить джинсы и мужские рубашки.

Невзирая на столь неженственный, как полагала Сандрочка, облик, к шестнадцати годам Ника стала пользоваться ошеломляющим успехом. Телефон звонил день и ночь, и Иван Исаевич смотрел на Сандрочку с ожиданием, когда же она прекратит бурную жизнь дочери. Но Александра и сама, казалось, получала удовольствие от Никиных успехов. В конце девятого класса она завела увлекательный роман с молодежным поэтом,

входящим в бурную моду, и, не закончив последней четверти, укатила с ним в Коктебель, сообщив об этом телеграммой «пост фактум», уже из Симферополя. Маша с двенадцатого года стала Никиным доверенным лицом и принимала с тайным ужасом и восхищением ее исповеди. Обими руками Ника гребла к себе удовольствия, большие и малые, а горькие ягодки и мелкие камешки легко сплевывала, не придавая им большого значения. Сплюнула, между прочим, и школьное обучение. Сандра не ворчала, не устраивала бессмысленных выяснений и, помня себя молодой, быстро устроила Нику в театральное-художественное училище, где были у нее от театральных времен хорошие знакомые. Ника немного позанималась рисунком, сдала экзамены на необходимые четверки и с наслаждением выбросила школьную форму. Еще через год она была уже более или менее замужем.

Маша осталась последним ребенком у престарелых приемных родителей, вокруг нее закручивалась теперь вся жизнь семьи. Ночные страхи ее кончились, но от раннего прикосновения к темной бездне безумия в ней остался тонкий слух к мистике, чуткость к миру и художественное воображение — все то, что создает поэтические склонности. В четырнадцать лет она увлекалась Пастернаком, обожала Ахматову и писала тайные стихи в тайную тетрадь.

16

К вечеру над горами в том месте, которое называли Гнилой Угол, нависли облака, а в доме нависла атмосфера молчаливого ожидания. Ника ждала, что зайдет Бутонов. По ее понятиям, после их ночного свидания следующий ход был за ним. Тем более, что не могла вспомнить, сказала ли ему, что собирается уезжать... Ждала и Маша, и ее ожидание было тем напряженнее, что она и сама не знала, кого она ждет больше — мужа Алика, который должен был, собрав отгулы, приехать на несколько дней, или Бутонова. Ей все мерещилось, как Бутонов сбегает с горы, перепрыгивая через колючие кусты и подскакивая на осыпях. Может, наваждение бы и развеялось, если бы она посидела с ним на кухне, поговорила...

«Он неумен», — вспоминала она слова Ники, обращаясь к спасительной и ничтожной логике, как будто неумный человек не мог быть источником любовного наваждения.

Всех острее тосковала и мучилась ожиданием Лизочка. Наутро, после дня мелких ссор и недовольств Таней, оказалось, что без нее Лизочка уже и жить не может. Она ждала ее весь день, канючила, а к вечеру, устав от ожидания, устроила истерику с заламыванием рук. Ника никогда не придавала большого значения Лизочкиным чрезмерным требованиям, но улыбнулась: «У нее роман... Мой характер: если я чего хочу, подайте немедленно».

Но в данную минуту желания матери и дочери частично совпадали: обе ждали продолжения романа.

— Ну, перестань... Одевайся, сходим к твоей Тане, — утешила Ника дочку, и та побежала надевать нарядное платье.

С расстегнутыми на спине пуговицами, с полной охапкой игрушек она вернулась к Нике на кухню — спросить, какую игрушку можно подарить Тане.

— Какую тебе не жалко, — улыбнулась Ника.

Медея, глядя на заплаканную внучку, отметила про себя: «Пылкая кровь. Но до чего же очаровательна...»

— Лиза, подойди, я тебе пуговицы застегну, — велела Медея, и девочка послушно подошла к ней, повернулась спиной. Мелкие пуговицы с трудом продевались в еще более мелкие петли. От бледных волос пахло младенческой сладостью.

Через пятнадцать минут они были уже у Норы, сидели в ее маленьком домике, уставленном букетами глициний и тамариска. Крошечный летний

домик был по-украински уютен, выбелен начисто, земляной пол устлан половиками.

Лиза спрятала принесенного зайца под юбку и добивалась от Тани интереса, но Таня послушно ела кашу, опустив глаза. Нора, по обыкновению, мягко и неопределенно жаловалась, что вчера очень устали, что припеклись, что очень уж далекая оказалась прогулка... Подробно и не без занудства. Ника сидела у окна и все поглядывала в сторону хозяйского жилья.

— Вон и Валерий тоже весь день не выходил, — кивнула Нора в сторону хозяев, — телевизор смотрит.

Ника встала легко и у дверей, обернувшись, сказала:

— Я к тете Аде на минутку...

Телевизор был включен на полную мощность. Стол заставлен большой едой. Михаил, хозяин, не любил мелких кусков, да и кастрюли у Ады, при всей ее невеликой семье, были чуть не ведерные. Работала она на кухне в санатории, и масштаб у нее был общепитовский, что хорошо сказывалось на рационе двух хрюшек, которых они держали. Валерий и Михаил сидели слегка одуревшие от грузной еды, а сама Ада пошла как раз «на погреб», как они говорили, за компотом. Она вошла в комнату следом за Никой, с двумя трехлитровыми банками. Ада с Никой расцеловались.

— Слива, — догадалась Ника.

— Ника, да ты садись. Миш, налей чего, — приказала Ада мужу. Бутонов уперся в телевизор.

— Да я так, только поздороваться, Лизка моя в гостях у ваших постояльцев, — отговорила Ника.

— Сама-то к нам не зайдешь, только к жильцам ходишь, — укорила ее Ада.

— Ну прям, я заходила несколько раз, а ты то на работе, то по гостям ходишь, — оправдалась Ника.

Ада наморщила лобик, потерла нос, потерявшийся на толстом лице:

— Точно, в Каменку ездила, к куме.

А Михаил уже налил стопку чачи — он все умел по-хорошему делать, это Валерий знал от своего соседа Витьки: чачу гнать, мясо коптить, рыбу солить. Где бы Михаил ни жил — в Мурманске, на Кавказе, в Казахстане, — больше всего он интересовался, как народ питается, и все лучшее примечал.

— Со свиданьем! — возгласила Ника. — За ваше здоровье!

Она протянула стопку и Бутонову, который наконец оторвался от телевизора. Она смотрела на него таким взглядом, который Бутонову не понравился. Да и сама Ника ему сейчас тоже не понравилась: голова ее была плотно обвязана зеленым шелковым платком, веселых волос не было видно, лицо казалось слишком длинным, лошадиным и платье было цвета йода, в разводьях. Бутонову было невдомек, что Ника надела те самые вещи, которые шли ей больше всего, в которых она позировала знамени-тому художнику, — он-то и велел ей потуже затянуть платок и долго, чуть не со слезами, разглядывал ее, приговаривая:

— Какое лицо... Боже, какое лицо... Фаюмский портрет...

Но Бутонов про фаюмский портрет не знал, он обозлился, что она притащилась к нему, когда ее не звали, и права такого он ей пока что не давал.

— Витька́ нашего друг, врач известный, — похвалилась Ада.

— Да мы вчера с Валерой в бухты вместе ходили. Знаю уж.

— Тебя не обгонишь, — съязвила Ада, имея в виду что-то, Бутонову не известное.

— Это уж точно, — дерзко ответила Ника.

Тут заверещала Лизочка, и Ника, почувствовав смутно какой-то непорядок в начавшемся так восхитительно романе, выскользнула из двери, вильнув длинным йодистым платьем.

Вечер Ника провела с Машей — никто к ним не пришел. Они успели и покурить, и помолчать, и поговорить. Маша призналась Нике, что влюбилась, прочитала то стихотворение, что написала ночью, и еще два, и Ника впервые в жизни кисло отнеслась к творчеству любимой племянницы. Весь день она не могла улупить времени, чтобы поделиться с Машей вчерашним успехом, но теперь успех совершенно прокис, да и Машу не хотелось огорчать случайным соперничеством. Но Маша, занятая собой, ничего не замечала.:

— Ник, что делать, Ник? Бред какой-то... Ты же знаешь, как я Альку люблю, меня же другие мужчины вообще никогда не занимают... Что делать, Ника?

И Маша смотрела на Нику, как в детстве, снизу вверх, с ожиданием. Ника, скрывая раздражение на Бутонова, который ее за что-то решил наказать, и на свою курицу племянницу, которая нашла, в кого влюбиться, идиотка, пожав плечами, ответила:

— Дай ему и успокойся.

— Как — дай? — переспросила Маша.

Ника обозлилась:

— Как, как! Ты что, маленькая? Возьми его за ...!

— Так просто? — изумилась Маша.

— Проще пареной репы, — фыркнула Ника.

Вот дура невинная, еще и со стихами. Хочет вляпаться — пусть вляпается...

— Знаешь, Ника, — решила вдруг Маша, — я поеду на почту сейчас, позвоню Алику. Может, он приедет — и все встанет на свои места.

— Встанет, встанет, — зло рассмеялась Ника.

— Пока! — резко вскочила Маша с лавки и, прихватив куртку, побежала на дорогу. Последний автобус, десятичасовой, уходил через пять минут...

На городской почте первым человеком, которого увидела Маша, был Бутонов. Он стоял в переговорной будке, к ней спиной. Телефонная трубка терялась в его большой руке, а диск он крутил мизинцем. Не поговорив, он повесил трубку и вышел. Они поздоровались. Маша стояла в конце очереди, перед ней было еще двое. Бутонов сделал шаг в сторону, пропуская следующего, посмотрел на часы:

— У меня сорок минут занято.

Лампы дневного света, голубоватые мерцающие палочки, висели густо, свет был резкий, как в страшном кино, когда что-то должно произойти, и Маша почувствовала страх, что из-за этого рослого, в голубой джинсовой рубашке киногероя может рухнуть ее разумная и стройная жизнь. А он двинулся к ней, продолжая свое:

— Бабы болтают... или телефон сломан, а мне дозвониться позарез нужно...

Подошла Машина очередь, она набрала номер, страстно ожидая услышать Аликов голос, который и вернул бы все на свои места. Но к телефону не подходили.

— Тоже занято? — спросил Бутонов.

— Дома нет, — проглотив слюну, ответила Маша.

— Давай по набережной пройдемся, а потом еще позвоним, — предложил он.

Бутонов вдруг заметил, что у нее симпатичное лицо и круглое ухо трогательно торчит на коротко стриженной голове. Дружеским жестом он положил руку на тонкий вельвет ее серой курточки, — Маша была ему по грудь, тонкая, острая, как мальчик.

«С ней воздух работать можно», — подумал он.

— Говорят, здесь какая-то бочка на набережной и какое-то особое вино...

— Новосветское шампанское, — уже на ходу отозвалась Маша.

Они шли вниз, к набережной, и Маша вдруг увидела все со стороны, как будто с экрана: как они быстрым шагом, с видом одновременно воль-

ным и целеустремленным, несутся вдоль курортного задника с вынесенными ко входам в санаторий вазонами с олеандрами, мимо фальшивых гипсовых колонн, мелким блеском сверкающего вечнозеленого самшита, мимо неряшливых, натруженных от павильонной жизни пальм, и местная мордастая проститутка Серафима мелькнула в глубине кадра, и несколько крепких шахтеров с выпученными глазами, и музыка — конечно, «О, море в Гаграх»... И при этом ноги ее радостно пружинили в такт его походки, и легкость праздника в теле, и даже какое-то бессловесное веселье, как будто шампанское уже было выпито.

Подвальчик, куда привела Маша Бутонова, ему понравился. Шампанское, которое принесли, было холодным и очень вкусным. Кино, которое начали показывать по дороге к набережной, продолжалось. Маша видела себя сидящей на круглом табурете, как будто сама находилась чуть правее и позади, видела Бутонова, повернувшегося к ней вполоборота, и, что самое забавное, одновременно и золотозубую, в золотой кофте барменшу, которая находилась у нее за спиной, и мальчиков, полугрузчиков-полуофициантов, которые тащили из подвала, с заднего хода, ящики. Все приобретало кинематографический охват и одновременно кинематографическую приплюснутость. И еще — обратила внимание Маша — в качестве теневой фигуры сама она выглядит хорошо, сидит спокойно и прямо, профиль красивый, и волосы узким мысом сходят на длинную шею сзади...

Да-да, кино разрешает игру, разрешает легкость... страсть... брызги шампанского... он и она... мужчина и женщина... ночное море... Ника, ты гениальная, ты талантливая... никакой тяжести бытия... никаких натуженных движений к самопознанию, самосовершенствованию, к само...

— Отлично здесь, — сказала она с Никиной интонацией.

— Хорошее вино... Еще налить?

Маша кивнула.

Умная Маша, образованная Маша, первая из всей компании начавшая читать Бердяева и Флоренского, любившая комментарии к Библии, к Данте и к Шекспиру больше, чем первоисточники, выучившая домашним способом, если не считать плохонького заочного педагогического, английский и итальянский, написавшая две тоненьких книжечки стихов, правда еще не изданных; Маша, умевшая поговорить с заезжим американским профессором об Эзре Паунде и о Никейском соборе с итальянским журналистом-католиком, — молчала. Не хотелось ей ничего говорить.

— Еще налить? — Бутонов посмотрел на часы. — Ну что, попробуем еще раз позвонить?

— Куда? — удивилась Маша.

— Домой, куда... — засмеялся Бутонов. — Ты даешь.

Кино как будто немного отодвинулось, дав место прежнему беспокойству. Но курортные декорации снова вытянулись по струнке, пока они шли обратной дорогой к почте.

Бутонов сразу же дозвонился, задал несколько коротких деловых вопросов, узнал от жены, что поездка в Швецию не решилась, и повесил трубку. Маша звонила следом за ним, и теперь ей хотелось только одного: чтобы Алика дома не было. Его и не было. Звонить Сандре она не стала — там рано укладывались спать, и к тому же Ника завтра будет в Москве, и письмо Сандре она уже написала.

— Не дозвонилась? — рассеянно спросил Бутонов.

— Дома нет. Закатился куда-то мой муж.

Эти слова были сплошной ложью — она так не думала. Алик, скорее всего, был на дежурстве. Кроме того, ложь была и в том, как небрежно она это произнесла...

Но по закону кино, которое продолжалось, все было правильно.

— Ну что, пошли? — спросил Бутонов и посмотрел на Машу с сомнением. — Может, такси?

— Нет здесь никакого такси, всю жизнь здесь по ночам пешком ходим. Днем-то дозвониться невозможно. Два часа ходу...

Они свернули с освещенной улицы в боковую, прошли метров пятьдесят. Ни фонари, ни олеандры здесь не произрастали, улица сразу стала деревенской, черной. К тому же дорога шла то криво в горку, то, спотыкаясь, спускалась вниз. Темень на земле была непроглядной, зато на небе тьма не была такой равномерной, над морем небо было как будто светлее, а западный край хранил слабое воспоминание о закате. Даже звезды были какие-то незначительные, вполнакала.

— Здесь скостим немного. — Маша юркнула вниз по стоптанной глинистой тропинке, не то к лесенке, не то к мостку.

— Неужели ты видишь что-нибудь? — Бутонов коснулся ее плеча.

— Я как кошка, у меня ночное видение. — В темноте он, не видя ее улыбки, решил, что она шутит. — В нашей семье это бывает. Между прочим, очень удобно: видишь то, чего никто не видит...

Это была такая многозначительная женская подача сигнала, пробросок, чтобы уменьшить расстояние между людьми, огромное, как бездна морская, но способное сворачиваться в один миг.

Они вошли в Поселок, и Маша понимала, что через несколько минут они расстанутся, и это было невозможно.

— Стой! — сказала она ему в спину, когда они проходили мимо Пупка. — Вот сюда.

Он послушно свернул в сторону. Теперь Маша шла впереди.

— Вот здесь, — сказала она и села на землю.

Он остановился рядом. Ему вдруг показалось, что он слышит удары ее сердца, а у нее самой было такое ощущение, что сердце отбивает набат на всю округу.

— Сядь, — попросила она, и он присел рядом на корточки.

Она обхватила его голову:

— Поцелуй меня.

Бутонов улыбнулся, как улыбаются домашним животным:

— Очень хочется?

Она кивнула.

Он не чувствовал ни малейшего вдохновения, но привычка добросовестного профессионала обязывала. Прижав ее к себе, он поцеловал ее и удивился, какой горячий у нее рот. Ценя во всяком деле правила, он и здесь их соблюдал: сначала раздень партнершу, потом раздевайся сам. Он провел рукой по молнии ее брюк и встретил ее судорожные руки, расстегивающие тугую молнию. Она выскользнула из жестких тряпок и теребила пуговицы его рубашки. Он засмеялся:

— Тебя что, дома совсем не кормят?

Это ее забавное рвение его немного взбудоражило, но он не чувствовал себя в хорошей готовности, медлил. Горячие касания ее рук — Ника, Ника, я взяла! — отчаянный стон — Бутонов! Бутонов! — и он понял, что может произвести необходимые действия.

Изнутри она показалась ему привлекательней, чем снаружи, и горячее, как давняя его любовь — наездница Розка.

— У тебя там что, печка? — засмеялся он.

Но она смеяться и не думала, лицо ее было мокрым от слез, и она только бормотала:

— Бутонов, какой ты!.. Бутонов, ты...

Бутонов ощутил, что девушка сильно опережает его по части достижений, и уверился, что она из той же породы, к которой принадлежала Розка, — яростная, скорострельная и даже внешне немного похожая, только без африканских волос. Он обхватил ее маленькую голову, больно прижав уши, сделал движение, от которого удары ее сердца почувствовал так, словно находился у нее в грудной клетке. Он испугался, что повредил ее, но было уже поздно — извини, извини, малышка...

Когда он встал на колени и поднял голову, ему показалось, что они попали в луч прожектора: воздух вокруг светился голубоватым светом и видна была каждая травинка. Никакого прожектора не было — посреди неба катилась круглая луна, огромная, совершенно плоская и серебряно-голубая.

— Извини, но представление окончено. — Он шлепнул ее по бедру.

Она встала с земли, и он увидел, что она хорошо сложена, только ноги чуть кривоваты и поставлены, как у Розки, таким образом, что немного не сходятся наверху. Этот узенький треугольный просвет ему нравился — лучше уж, чем толстые ляжки, которые трутся друг о дружку и набивают красные пятна, как у Ольги.

Он был уже одет, а она все стояла в лунном свете, и он истолковал ее медлительность ложным образом, — но теперь ему хотелось спать, а перед сном еще додумать свою думу об отодвинувшейся поездке...

Поселок был теперь весь как на ладони, и Бутонов увидел ту тропинку, которая вела его прямо к Витькову дому, на задах Адочкиного двора. Он прижал к себе Машу, провел пальцем по ее тонкому хребту:

— Тебя проводить или сама добежишь?

— Сама, — но не ушла, задержала его: — Ты не сказал, что любишь меня...

Бутонов засмеялся, настроение у него было хорошее:

— А чем мы с тобой тут только что занимались?

Маша побежала к дому — все было новое: руки, ноги, губы... Какое-то физическое чудо произошло... какое безумное счастье... неужели то самое, за чем Ника всю жизнь охотится?.. Бедный Алик...

Маша заглянула к детям: посреди комнаты стоял уже собранный рюкзак. Лиза и Алик спали на раскладушках, Катя стройно вытянулась на тахте. Ники не было — вероятно, легла в Самониной комнате, подумала Маша. Был большой соблазн разбудить ее немедленно и все выложить, но решила все же среди ночи ее не тревожить. Дверь в комнату Самони она не открыла и на цыпочках прошла в Синюю...

Приключения Бутонова в тот вечер еще не кончились. Дверь в Витьков дом он нашел приоткрытой и удивился: обычно он закладывал ее снаружи на петлю, хотя замка и не вешал. Он вошел, скрипнув дверью, скинул кроссовки на половичке и прошел во вторую комнату. На высокой постели, по-украински сложноустроенной: с подзором, покрывалом, горой регулярных подушек, которую каждое утро по ранжиру выстраивала Ада, — на белом тканевом одеяле, разметав длинные волосы по разоренным подушкам, спала Ника. На самом деле она уже проснулась, услышав скрип двери. Она открыла глаза и засияла несколько разыгранной счастливой улыбкой:

— Вам сюрприз! С доставкой на дом!

...Второй подход к снаряду всегда был у Бутонова удачней первого. Ника была проста и весела, не омрачала последней ночи глупыми упреками, не сказала ничего такого, что могла бы сказать обиженная женщина. Бутонов, исходя все из тех же правил обращения с женщинами, первым из которых он не успел сегодня воспользоваться из-за расторопности Маши, воспользовался вторым, но самым главным: никогда не пускаться с женщинами в объяснения. На рассвете, к полному и взаимному удовольствию, Ника покинула Бутонова, не забыв записать свой телефон в его записную книжку...

Когда Ника вернулась, Медея уже сидела с чашкой, распространяющей запах утреннего кофе, и по лицу ее не было понятно, видела ли она из кухонного окна, как Ника возвращается домой. Впрочем, скрывать что бы то ни было от Медеи нужды не было: молодежь всегда была уверена, что Медея знает все про всех. Ника поцеловала ее в щеку и тут же вышла.

Проницательность Медеи, вообще говоря, сильно преувеличивали, но именно сегодня она оказалась в эпицентре: ночью, в третьем часу, после терпеливого и бесплодного ожидания сна она вышла на кухню, чтобы вы-

пить свой «бессонный декокт», как называла она заваренную с медом ложку мака, вышедшая одновременно с ней луна осветила взгорок, на котором резвилась молодая парочка, ослепительно сверкая белыми неопознанными телами. Немного спустя, когда она уже выпила свой декокт мелкими внимательными глотками и лежала в своей комнате, она слышала, как отворилась соседняя дверь и легко звякнули пружины. «Маша вернулась», — подумала Медея и задремала.

Теперь, видя вернувшуюся утром Нику, Медея на минуту задумалась: молодой человек, собственно говоря, был один на всю округу — спортсмен Валера с железным телом и поповской прической хвостиком. Так Медея отметила это событие и сложила его туда, где хранились прочие ее наблюдения о жизни молодой родни с их горячими романами и нестойкими браками.

Снова вошла Ника, с горой только что снятого с веревки белья:

— Для литовцев приготовила. Еще поглажу до отъезда...

В полдень сосед отвозил в Симферополь Нику, Катю и Артема.

За полчаса до полудня Ника со стопкой свежего белья вошла в Синюю комнату, которую Маша освобождала для литовцев, и здесь-то, впервые за утро оставшись с Машей наедине, Ника получила безмерно ее удивившее признание.

— Ника, это ужасно! — сияла Маша осунувшимся лицом. — Я так счастлива! Все оказалось так просто... и потрясающе! Если бы не ты, я никогда бы не осмелилась...

Ника села на стопку белья.

— Не осмелилась — что?

— Я взяла его, как ты сказала, — засмеялась Маша счастливым смехом. — Оказалось, ты права. Как всегда, права. Надо было только руку протянуть.

— Когда? — только и смогла выдавить Ника.

Маша начала подробный рассказ, как на почте... Но Ника ее остановила: не было у нее времени на пространный рассказ, она задала еще только один, и, казалось бы, совершенно странный, вопрос:

— Где?

— На Пупке! Прямо на Пупке все и произошло. Как в итальянском кино. Теперь на этом месте можно поставить крест в память о моей негибаемой верности мужу! — И Маша улыбнулась своей умной и прежней улыбкой.

Ника никак не предполагала, что ее раздраженный совет будет принят с такой торопливой буквальностью. Но Бутонов был не промах...

— Ну что же, Машка, теперь тебе будет о чем стихи писать, любовную лирику... — предсказала Ника. И нисколько не ошиблась.

«Нехорошо как... Подарить, что ли, ей этого спортивного доктора, — думала Ника. — Ладно, все равно я уезжаю. Как будет, так и будет...»

Сундучок кожаный, в деревянных гнутых ободьях, выклеенный изнутри бело-розовым полосатым ситцем, наполненный перегородчатыми коробками, сложновзаимодействующими между собой и образующими ряд полочек и отделений, принадлежал некогда Леночке Степанян. С этим сундучком она вернулась в девятьсот девятом году из Женевы, с ним путешествовала из Петербурга в Тифлис, с ним в одиннадцатом году приехала в Крым. С этим сундучком она вернулась в Феодосию в девятнадцатом, и здесь, перед отъездом в Ташкент, он был подарен Медее.

Три поколения девочек замирали перед ним с вожделением. Все они верили в то, что сундучок Медеи полон драгоценностями. И в самом деле, там лежало несколько бедных драгоценностей: большая перламутровая камея без оправы, которую проели в двадцать четвертом году, три серебряных кольца и кавказский наборный пояс, мужской, и к тому же на очень узкую та-

лию. Но помимо этих ничтожных драгоценностей в сундучке было все, о чем мог мечтать Робинзон Крузо. В безукоризненном порядке, надежно упакованными лежали свечи, спички, нитки всех цветов, иголки и пуговицы всех размеров, шпульки к несуществующим швейным машинкам, крючки для брюк, шуб, рыбной ловли и вязанья, марки царские, крымские, немецкие оккупационные, шнурки, тесьма, кружево и прошивки, тринадцать разноцветных прядей волос от первой стрижки годовалых детей Синопли, завернутых в папиросную бумагу, множество фотографий, трубка старого Харлампия и еще много чего.

В двух нижних ящиках хранились письма — разложенные по годам, непременно в цельных конвертах, аккуратно вспоротых сбоку с помощью разрезального ножа. Здесь же хранились и разнообразные справки, среди них и курьезные, например бумага об изъятии велосипеда у гр. Синопли для транспортных нужд Добровольческой армии. Это был настоящий семейный архив, и, как всякий настоящий архив, он укрывал неразгласимые тайны. Впрочем, тайны попали в надежные руки и сохранялись, насколько это от Медеи зависело, довольно тщательно, по крайней мере первая из имеющихся. Она содержалась в письме, на имя Матильды Цырули, которое было помечено февралем тысяча восемьсот девяносто второго года. Пришло письмо из Батума, написано оно было на очень плохом русском языке и подписано грузинским именем Манана. Медея предполагала, что Манана была женой старшего брата Матильды, которого звали, кажется, Сидором. Письмо, с выправленной орфографией, следующее:

«Матильда дорогая подруга, на той неделе еще говорили, что они утопили, твой Тересий и братья Кармаки. А позавчера в Кобулетах вынесло его на берег. Узнавали его свидетели Варганян и Курсуа-фуражка. Похоронили и Царствие Небесное, больше ничего не могу сказать. Когда ты сбежала, он стал еще злей, побил дядю Платона, с Никосом всегда дрался. Тебя Бог отпустил. У меня очень болят ноги. Ту зиму почти не могла ходить. Исидор мне помогает. Ему будет большая награда. Венчайся сразу теперь. Любовь мою тебе посылаю и Бог с тобой. Манана».

Медея нашла это письмо спустя несколько лет после смерти родителей и скрyla его от братьев и сестер. Когда юная Сандрочка начала свои первые похождения, Медея рассказала ей эту историю с какой-то смутной педагогической целью. Она как будто пыталась заклясть Сандрочкину судьбу, предупредить неудачи и трудный поиск участи, через который, как следовало из этого письма, прошла их мать Матильда. Медея была глубоко убеждена, что легкомыслие приводит к несчастью, и никак не догадывалась, что легкомыслие с равным успехом может привести и к счастью, и вообще никуда не привести. Но Сандра с детства вела себя так, как хотела ее левая нога, и Медея никогда не могла понять этого непостижимого для нее закона «левой ноги», закона прихоти, ежеминутного желания, каприза или страсти. Вторая семейная тайна была связана именно с этой Сандрочкиной особенностью и до поры была скрыта от самой Медеи на нижней полке однодверного платяного шкафа, в офицерской полевой сумке Самуила Яковлевича.

В маленькой комнате, где Самуил провел последний, мучительный, год своей жизни, Медея устроили теперь себе уголок. Развернула мужнино кресло к окну, поставила сбоку сундук, на нем разложила те несколько книг, которые постоянно читала. В этой комнате она все время меняла белые занавески на еще более белые, стирала белесую крымскую пыль с книжной полки и шкафа с Самуиловыми вещами. Вещей его она не трогала.

Весь тот год Медея читала Псалтирь, каждый вечер по кафизме, заканчивала и начинала снова. Псалтирь у нее была старая, церковнославянская, сохранившаяся от детства. Вторая, греческая, принадлежавшая Харлампию, была для нее трудна, поскольку была написана не на языке понтийских греков, а на современном греческом, значительно отличавшемся. Еще была русско-еврейская, с параллельным переводом, виленского издания конца прошлого века, которая вместе с двумя другими еврейскими

книгами лежала теперь на крышке сундучка. Медея иногда пыталась читать Псалтирь по-русски, и хотя некоторые места были как будто яснее по смыслу, но терялась таинственная красота затуманенного славянского...

Медея прекрасно помнила смуглое лицо молодого человека с толстой грубо раздвоенной верхней губой, его заостренный на кончике нос и большие плоские отвороты коричневого пиджака, когда он решительно подошел к Самуилу, сидящему на лавочке возле феодосийской автостанции в ожидании симферопольского автобуса. Молодой человек, прижимая локтем к боку три книги, остановился возле Самуила и задал лобовой вопрос:

— Извините, вы еврей?

Самуил, замученный болями, молча кивнул, не пожелав блеснуть какой-нибудь из своих обычных шуток.

— Возьмите, пожалуйста, у нас умер дед, и никто этого языка не знает. — Молодой человек начал совать в руки Самуилу потрепанные книги, и тут стало видно, что он страшно смущен. — Вы, может, почитаете когда-нибудь. Хаим звали моего деда...

Самуил молча раскрыл верхнюю книгу.

— Сидур... Я таки плохо учился в хедере, молодой человек, — задумчиво сказал Самуил, а юноша, видя нерешительность Самуила, заторопился:

— Вы, пожалуйста, возьмите, возьмите. Я же не могу их выбросить. Нам на что, мы же неверующие...

И коричневый юноша убежал, оставив три книги на лавке возле Самуила. Самуил посмотрел на Медею больными глазами:

— Ну, ты видишь, Медея... — Он запнулся, потому что догадался, что она видит все, что видит он, а сверх того еще кое-что, и ловко вывернулся: — Такую тяжесть придется теперь тащить в Симферополь и обратно...

Последний листок надежды облетел. Верующая не в случайность, а в Божий промысел, она поняла этот внятнй знак без сомнения: готовься! И никакая биопсия, за которой они ехали в областную больницу, была ей с этой минуты не нужна.

Они посмотрели друг на друга, и даже Самуил, привыкший проговаривать немедленно все, что ни приходило ему в голову, промолчал.

Биопсии в Симферополе ему делать не стали, прооперировали на второй день, вынули большую часть толстого кишечника, сделали вывод в бок, стопу, и через три недели привезла его Медея домой, умирать.

Однако после операции ему постепенно делалось все лучше. Он, как ни странно, окреп, хотя худоба его была чрезвычайна. Медея кормила его одними кашами и пила травами, которые сама и собирала. Через несколько дней после возвращения из больницы он стал читать эти ветхие книги, и самый никудышный ученик Ольшанского хедера в последний год своей жизни, благословляя неизвестного ему Хаима, возвращался к своему народу, а православная Медея радовалась. Она никогда не изучала богословия и, может быть, благодаря этому чувствовала, что лоно Авраамово находится не так уж далеко от тех мест, где обитают христианские души.

Прекрасным был этот последний год его жизни. Осень стояла на дворе тишайшая, кроткая, необыкновенно щедрая. Старые татарские виноградники, давно не чищенные и заброшенные, одарили землю своим урожаем. В последующие годы старые лозы окончательно выродились, и вековые труды пропали даром. Груши, персики и помидоры ломали ветви. За хлебом стояли очереди, сахару в продаже не было. Хозяйки варили и солили томаты, сушили на крышах фрукты, а умелые, вроде Медеи, готовили татарскую пастилу без сахара. Украинские свиньи жирели на сладкой падалице, и медовый дух тлеющих плодов висел над Поселком.

Медея тогда заведовала больничкой — только в пятьдесят пятом прислали туда врача, а до той поры она была единственным фельдшером в Поселке. Ранним утром она входила в комнату мужа с тазом теплой воды, снимала нескладный и грубо сделанный аппарат с больного бока, чистила, обмывала рану отваром ромашки с шалфеем. Он, морщась не от боли, а от неловкости, бормотал:

— Ну где же справедливость? Мне достался мешок с золотом, а тебе мешок с говном...

Она кормила его водянистой кашей, поила из пол-литровой кружки травным отваром и ждала, подставив под бок лоток, пока каша, совершив свой короткий путь, не изольется из открытой раны. Она знала, что делала: травы вымывали из него яд болезни, пища же практически не усваивалась. Смерть, к которой оба они готовились, должна была наступить от истощения, а не от отравления.

Брезгливый Самуил поначалу отворачивался, страдал от обнажения всей этой неприятной физиологии, но потом почувствовал, что Медея не делает ни малейшего усилия, чтобы скрыть отвращение, что воспалившийся край раны или задержка этого самого истекания слегка изменившей вид каши действительно волнуют ее гораздо больше, чем неприятный запах, идущий от раны.

Боли были сильными, но нерегулярными. Иногда несколько дней проходили спокойно, потом образовывалось какое-то внутреннее препятствие, и тогда Медея промывала стопу кипяченым подсолнечным маслом, и все опять налаживалось. Это была все-таки жизнь, и Медея готова была нести этот груз бесконечно...

По утрам часа три она проводила возле мужа, к половине девятого уходила на работу и прибегала в обед. Иногда, когда в пару с ней работала Тамара Степановна, старая медсестра, та отпускала ее с обеда, и уж больше Медея на работу не возвращалась. Тогда Самуил выходил во двор, она усаживала его в кресло и сама садилась рядом на низкой скамеечке, чиркая маленьким ножичком с почти съеденным лезвием по грушам или очищая от кожицы зашпаренные помидоры.

К концу жизни Самуил стал молчалив, и они тихо сидели, наслаждаясь взаимным присутствием, покоем и любовью, в которой не было теперь никакого изъяна. Медея, никогда не забывавшая о его редком природном беззлобии, о том событии, которое он считал своим несмываемым позором, а она — искренним проявлением его кроткой души, радовалась теперь тихому мужеству, с которым он переносил боль, осознанно и бесстрашно приближался к смерти и буквально источал из себя благодарность, направленную на весь Божий свет и в особенности на нее, Медею.

Он обычно ставил кресло так, чтобы видны были столовые горы, сглаженные холмы в розово-серой дымке.

— Здешние горы похожи на Галилейские, — повторял он вслед за Александром Ашотовичем Степаняном, которого никогда не видел, как и Галилейских гор. Знал только со слов Медеи.

Ту книгу, отрывки из которой когда-то хуже всех он прочитал на празднике своего совершеннолетия полвека тому назад, он читал медленно. Забытые слова, как пузырьки воздуха, поднимались со дна памяти, а если этого не происходило и квадратные буквы не желали ему открывать своего сокровенного смысла, он искал в параллельном русском переводе приблизительную подсказку.

Сил у него было мало. Все, что он делал, он делал теперь очень медленно, и Медея замечала, как изменились его движения, с какой значительностью и даже торжественностью он подносит чашку ко рту, вытирает иссохшими пальцами отросшие за последние несколько месяцев усы и короткую с проседью бороду. Но словно в компенсацию за этот физический упадок — а может, Медеины травы так действовали — голова была ясная, мысли хоть и медлительные, но очень четкие. Он понимал, что времени жизни осталось мало, но, как ни удивительно, чувство вечной спешки и присущая ему суетливость совершенно оставили его. Теперь он мало спал, дни и ночи его были очень длинными, но он не тяготился этим: сознание его перестраивалось на иное время. Глядя в прошлое, он изумлялся мгновенности прожитой жизни и долготе каждой минуты, которую он проводил в плетеном кресле, сидя спиной к закату, лицом к востоку, к темнеющему сине-лиловому небу, к холмам, делающимся в течение получаса из

розовых хмуро-голубыми. Глядя в ту сторону, он совершил еще одно открытие: оказалось, что всю жизнь он прожил не только в спешке, но и в глубоком, от себя самого скрываемом страхе, вернее, во многих страхах, из которых самым острым был страх крови. Вспоминая теперь то ужасное событие в Василищеве — расстрел, которым он должен был руководить и которого так и не увидел, позорно грохнувшись в нервный припадок, он благодарил теперь бога за неприличную для мужчины слабость, за нервно-дамское поведение, спасшее его от душегубства.

«Трус, трус», — признавался он себе, но и здесь не упускал случая поиронизировать: она его за трусость полюбила, а он ее — за снисхождение к ней...

«А трусость свою, — так теперь судил себя Самуил, — всегда за баб прятал».

Психоаналитик, возможно, вытянул бы из Самуилова случая какой-нибудь комплекс с мифологическим названием и уж, во всяком случае, объяснил бы повышенную сексуальную агрессивность молодого дантиста подсознательным вытеснением страха перед кровавой жизнью с помощью простых возвратно-поступательных движений в податливой мякоти пышнотелых дам... Женившись на Медее, он прикрывался от вечного страха ее мужеством... Его хохмы, шуточки, постоянное желание вызвать улыбку у окружающих были связаны с интуитивным знанием: смех убивает страх. Оказалось, что смертельная болезнь тоже может освободить от страха жизни.

...Тепло стояло необыкновенно долго для здешних мест — до самого конца ноября. Зато с первых же дней декабря начались холодные дожди, быстро переходившие в снег, и шторма. Хотя море было довольно далеко и значительно ниже, морской непокой доносился до Поселка, усиливаясь по ночам. Ветер нес в себе массы явной и скрытой воды, и толстая водяная подушка над землей была столь плотной, что невозможно было и вообразить, что наверху, всего лишь километрах в пяти выше этого холодного месива, сияет неистощимое безмерное солнце.

Самуил перестал выходить на улицу. Медея отнесла плетеное кресло в летнюю кухню и повесила на нее зимний замок. Готовила она теперь в доме, на плите, да еще подтапливала небольшую печь, сложенную в год их переезда феодосийским печником, — татары обыкновенно в домах печей не ставили, да и полы оставляли земляными. Их тоже настилали на другой год после переезда привозным лесом.

Самуил попросил повесить в его комнате плотные занавески. Он не любил сумеречного, промежуточного света, задерживал темно-синие шторы и зажигал настольную лампу. Когда же выключали электричество — а это случалось довольно часто, — он зажигал старую «шахтерку», которая давала яркий беловатый свет. Окна теперь держали закрытыми, и Медея постоянно жгла в самодельных светильничках настоящее на травах масло, и в доме стоял сладкий восточный аромат. Газет Самуил не читал, даже космополиты, время от времени вылавливаемые во всех областях науки и культуры, перестали его интересовать. Он добрался уже до книги Левит. Если первые две — Бытие и Исход — он вспоминал почти дословно, потому что архаическая методика обучения в хедере состояла именно в заучивании текстов наизусть, то третья, Левит, показалась ему совсем незнакомой. Эта малоувлекательная книга, адресованная главным образом к священникам, содержала почти половину из шестисот тринадцати заповедей, на которых была натянута еврейская жизнь. Самуил долго вчитывался в эту странную книгу и все не мог взять в толк, почему это «из пресмыкающихся крылатых, ходящих на четырех ногах», есть можно только тех, «у которых есть голени выше ног, чтобы скакать по земле». Из них годными для еды объявлялась лишь саранча и никому не известные солам, харгод и хараб, а всякие другие считались скверными. Никаких, абсолютно никаких логических объяснений этому не давалось. Он был топорным и негибким, этот закон, и много места в нем уделялось всяким ритуалам, связан-

ным с храмовым богослужением, что было совершенной уже бессмыслицей ввиду давнего отсутствия храма и полной невозможности когда-нибудь его восстановить. Потом он заметил, что общие очертания этого неповоротливого закона, намеченные еще в Исходе и полностью разработанные в Талмуде, рассматривают все мыслимые и немыслимые ситуации, в которые может попасть человек, и дают точные предписания поведению в этих обстоятельствах, и все эти хаотически наложенные запреты преследовали единственную цель — святость жизни народа Израиля и связанное с этим полное отвержение законов «земли Ханаанской». Это был путь, предлагаемый ему с юности, и он от него отказался. Более того, от законов «земли Ханаанской», которые обещали не святость, но относительный порядок, он тоже отказался и в юности своей успел потрудиться для разрушения их...

Исследуя теперь древнее еврейское законодательство, он приходил к мысли о глубочайшей беззаконности, в которой жили люди его страны и он сам среди них. Собственно, это был всеобщий закон беззакония, хуже Ханаанского, которому одновременно подчинялась и невинность, и дерзость, и ум, и глупость... И единственным человеком, как он теперь догадывался, действительно живущим по закону, была его жена Медея. То тихое упрямство, с которым она растила детей, трудилась, молилась, соблюдала свои посты, оказалось не особенностью ее странного характера, а добровольно взятыми на себя обязательствами, исполнением давно отмененного всеми и повсюду закона.

Впрочем, он знал и других людей такого же устройства: его покойный дядя Эфраим, убитый мимоходом подвыпившим солдатом, исчезнувшим в конце улицы не оглянувшись, и, возможно, таким человеком был слабоумный садовник Раис, молодой татарин, в маленькой своей головке удерживающий всего два правила: всем улыбаться и тщательно, идиотически тщательно убирать дорожки санаторского парка...

Он, привыкший всегда пробалтывать Медее все, что ни приходило ему в голову, теперешние свои мысли удерживал в себе — не из боязни быть непонятым, а скорее из ощущения, что не сможет выразить их во всей точности. Медея по редким его высказываниям понимала, как изменилась вся его внутренняя жизнь, радовалась этому, но была слишком озабочена его физическим состоянием, чтобы глубоко вникать в эту перемену. У него начались боли в спине, и теперь она делала ему уколы, чтобы он мог уснуть.

Декабрь миновал, штормы утихли, но по-прежнему было сумрачно и холодно. Уже с середины января они начали ждать весну. Медея, прежде аккуратно отвечавшая на письма родственников, теперь отзывалась лишь краткими почтовыми открытками: письмо получила, спасибо, у нас все по-прежнему, Самуил, Медея...

Времени на письма у нее не оставалось. За всю зиму она написала только два настоящих письма — Леночке и Сандрочке.

Февраль тянулся бесконечно, и в нем, как нарочно, было еще и двадцать девятое число. Зато в десятых числах марта солнце, показавшись, уже не пропускало ни часу, и сразу все пошло зеленеть. По дороге с работы Медея, поднявшись на согретый солнцем склон, срывала несколько фиалок и асфоделей, укладывала их на блюдечке на столе возле Самуила. Он почти не вставал и даже не садился, потому что в сидячем положении боли как будто усиливались. Ел он теперь один раз в день, потому что процесс еды был для него слишком утомительным. Лицо его все продолжало меняться, и Медея находила его одухотворенным и прекрасным.

Последнее воскресенье марта выдалось совсем теплым и безветренным, и Самуил попросил вывести его во двор. Она вымыла кресло, просушила его на солнце, застелила старым одеялом. Потом одела Самуила, и ей показалось, что его пальто весит больше, чем он сам. Двадцать шагов от кровати до кресла он прошел медленно, с величайшим трудом. На ближнем откосе тужились тамариски, веточки их напряглись лиловым

цветом, который весь хранился еще внутри. Он смотрел в сторону столовых гор, а они смотрели на него дружелюбно, как равные на равного.

— Господи, как хорошо... как красиво, — повторял он, и слезы текли сразу и от внутренних, и от наружных уголков запавших глаз и терялись в отросшей клином бороде.

Медея сидела рядом с ним на скамеечке и не заметила той минуты, когда он перестал дышать, — потому что слезы еще несколько минут текли из глаз...

Похоронили его на пятый день. Иссохшее тело терпеливо ожидало приезда родственников, не проявляя признаков тления. Приехала Сандра с Сергеем, Федор с Георгием и Наташей, брат Димитрий из Литвы с сыном Гвидасом, вся мужская родня из Тбилиси. Мужчины отнесли его на руках на местное кладбище и сели за скромный поминальный стол. Медея не разрешила печь пироги и устраивать праздничное угощение. Стояла кутья, хлеб, сыр, блюдо среднеазиатской яркой зелени да крутые яйца. Когда Наташа спросила Медею, почему она так распорядилась, Медея ответила:

— Он еврей, Наташа. А у евреев вообще не бывает поминок. Приходят с кладбища, садятся на пол, молятся и постятся сколько-то дней. Признаюсь тебе, этот обычай мне показался правильным. Я не люблю наши поминки: всегда слишком много едят и пьют. Пусть будет так...

Со смерти мужа Медея надела вдовьи одежды — и поразила всех красотой и необыкновенным выражением мягкости, которого прежде в ней не замечали. С этим новым выражением она вступила в свое длинное вдовство.

Весь тот год Медея, как было уже сказано, читала Псалтирь и ожидала заgrabной вести от мужа с таким прилежанием, как ждут почтальона с давно отправленным письмом. Но все не получала. Несколько раз ей казалось, что долгожданный сон начинается и все уже полно присутствием мужа, но это ожидание разрушалось неожиданным — во сне же — приходом враждебного и незнакомого человека или — в реальности — сильным порывом ветра, который хлопал окном, выметая сон.

Первый раз он приснился в самом начале марта, незадолго до годовщины смерти. Сон был странным и не принес утешения. Прошло несколько дней, прежде чем он разъяснился.

Самуил приснился ей в белом халате — это было хорошо, — с руками, испачканными гипсом или мелом, и с очень бледным лицом. Он сидел за рабочим столом и стучал молоточком по какому-то неприятному остро-металлическому предмету, но это был не зубной протез. Потом он обернулся к ней, встал. И оказалось, что в руках у него портрет Сталина, почему-то вверх ногами. Он взял молоточек, постучал им по краю стекла и аккуратно его вынул. Но пока он манипулировал со стеклом, Сталин куда-то исчез, а на его месте обнаружилась большая фотография молодой Сандрочки.

В тот же день объявили о болезни Сталина, а через несколько дней и о смерти. Медея наблюдала живое горе и искренние слезы, бессловесные проклятия тех, кто не мог это горе разделить, но оставалась вполне равнодушной к этому событию. Гораздо больше она была озабочена второй половиной сна... Что делала в нем Сандрочка, что предвещает ее присутствие? Медея смутно тревожилась и даже собиралась пойти на почту позвонить в Москву.

Прошло еще две недели, наступила годовщина смерти Самуила. Погода выдалась в тот день дождливая, и Медея вся вымокла, пока добиралась с кладбища домой. На следующий день она решила убрать комнату мужа, разобрать его вещи, кое-что раздать и, главное, найти кое-какие инструменты и небольшой немецкий электромоторчик, обещанный сыну феодосийской приятельницы...

Рубашки она сложила стопочкой, хороший костюм оставила для Федора — может, пригодится. Еще были два свитера — они сохранили живой запах мужа, и она задержала их в своих руках, решивши не отдавать нико-

му, оставить себе... На самом дне шкафа она нашла полевую сумку с разными справками: документ об окончании школы протезирования при Наркомздраве, справку об окончании рабфака, несколько грамот и официальных поздравлений.

«Переложу ее в сундучок», — подумала Медея и открыла малозаметное боковое отделение. В нем лежал тонкий конверт, надписанный Сандрочкиной рукой. Адресовано было письмо Мендесу С. Я., на судакский почтамт, до востребования. Это было странно.

Машинально она открыла конверт и запнулась на первой же строчке.

«Дорогой Самоша», — было написано Сандрочкиной рукой. Никто его так не называл. Старшие звали его Самоней, младшие — Самуилом Яковлевичем.

«Ты оказался гораздо более сообразительным, чем я предполагала, — читала дальше Медея. — Дело обстоит именно так, но из этого ровно ничего не следует, и лучше было бы, чтобы ты сразу же о своем открытии и забыл навсегда. Мы с сестрой полные противоположности: она святая, а я трижды свинья. Но лучше я умру, чем она узнает, кто отец этого ребенка. Поэтому умоляю: письмо это немедленно уничтожь. Девочка исключительно моя, только моя, и не думай, пожалуйста, что у тебя ребенок, — это просто одна из многих Медеиных племянниц. Девочка отличная. Рыженькая, улыбается. Кажется, будет очень веселая, и надеюсь, она не будет на тебя похожа. В том смысле, что эта тайна останется между нами двумя. За деньги спасибо. Они не были лишними, но, честно говоря, я не знаю, хочу ли я получать от тебя помощь. Самое главное, чтобы сестре не пришло ничего в голову. А то у меня и так угрызения совести, а уж что со мной будет, если она что-нибудь узнает? А с ней? Будь здоров и весел, Самоша. Сандра».

Медея читала письмо стоя, очень медленно, прочла дважды. Потом села в кресло. Неведомая никогда душевная тьма накатила на нее. До позднего вечера просидела она не меняя позы. Потом встала и начала собираться в дорогу. Спать в ту ночь она не ложилась. Наутро она стояла на автобусной остановке, в светлом габардиновом пальто поверх черного платья, в аккуратно повязанной черной шали, с большим рюкзаком и самодельной кошелкой в руке. На дне кошелки, в старинной ковровой сумочке, лежало заявление об отпуске, которое она решила отправить с дороги, документы, деньги и злополучное письмо. Первым же автобусом она уехала в Феодосию.

18

Десятого мая у Медеи произошла частичная пересменка: утром уехала Ника с Катей и Артемом, а после обеда приехали литовцы — сын Медеино брата Димитрия, умершего три года тому назад от запущенной сердечной болезни, Гвидас с женой Алдоной и больным мальчиком Виталисом. У малыша был диэнцефальный паралич, он был постоянно завязан в мучительную судорогу, коряво двигался и еле говорил. Гвидас с Алдоной, придавленные болезнью сына, навсегда застыли перед мазохистским и неразрешимым вопросом: за что?

Они приезжали сюда каждый год ранней весной, жили у Медеи недели две до начала купального сезона, потом Гвидас перевозил их в Судак, снимал удобную квартиру у моря, в бывшей немецкой колонии, у Медеиной приятельницы тети Поли, и уезжал. Снова он появлялся в середине июля, чтобы увезти их от жары в прохладную Прибалтику. Виталис страстно любил море и чувствовал себя счастливым только в воде. И еще он любил Лизу и Алика, они были единственными детьми, с которыми он общался. Трудно сказать, вспоминал ли он о них в зимние месяцы, но первая встреча с ними после разлуки была для него праздником.

Старшие готовили своих детей к приезду Виталиса, и дети были заряжены добрыми намерениями. Лиза выделила из своего медвежье-заячьего

зоопарка лучшее животное для подарка, Алик построил в куче песка дворец, предназначенный Виталису на слом, — это была их постоянная игра: Алик строил, Виталис ломал, и оба радовались.

Маша перебралась в Самонину комнату, освободила для литовцев Синюю, которая была побольше.

Сама Маша находилась с утра в состоянии хаотического вдохновения: слова, строчки одолевали ее и она едва успевала закрепить их в памяти. Постепенно образовалось: «Прими и то, что свыше меры, как благодать на благодать, как снег, как дождь, как тайну веры, как все, с чем нам не совладать...» На том дело и кончилось.

Одновременно и совершенно независимо Маша утешала Лизочку, которая крепилась-крепилась, но все-таки вскоре после отъезда матери расплакалась, потом накормила детей, уложила их спать и, бросив грязную посуду, легла в зашторенную Самонину комнату, собравшись в комочек и повторяя мысленно весь вчерашний вечер: и золотую кофту барменши, и движение, которым Бутонов крутил телефонный диск. Вспоминала также, как отозвалось ее тело на первое его случайное прикосновение еще тогда, в походе, когда прожгло ей руку и залихорадило.

«Вот точка судьбы, опять точка судьбы, — думала она, — первая — когда родители утром выехали на Можайское шоссе, в семь лет, вторая — когда Алик подошел на студии, в шестнадцать, и теперь — в двадцать пять. Перемена жизни. Перелом судьбы. Давно ждала его, предчувствовала. Милый Алик, единственный из всех, кто мог бы меня понять. Бедный Алик, у него, как ни у кого, есть это понимание судьбы, чувство судьбы... Ничего не могу поделать. Неотменимо. Ничем не могу ему помочь...»

Ей тоже никто не мог помочь: чувство судьбы-то у нее было, но не было опыта адюльтера.

«...Любовь то гостьей, то хозяйкой, то конокрадом, то конем, то в час полуденный прохладой, то в час полуночный — огнем...» И заснула.

Вечером состоялись обычные посиделки. На месте Ники и ее гитары восседал Гвидас-громила в рыжих усах и его жена Алдона с мужским лицом и женственной, в парикмахерских локонах, прической. Рядом с Георгием — Нора. Разговор тугой, в паузах. Не хватало Ники, одно присутствие которой делало любое общение гладким и непринужденным. Медея была довольна: Гвидас, как обычно, привез большую сумку литовских гостинцев, а кроме того, вручил приличную сумму денег на ремонт дома. Теперь они с Георгием вяло обсуждали подводку воды. В Нижнем поселке водопровод был, а к Верхнему его так и не подвели, хотя много лет обещали. Домов здесь было немного, все пользовались привозной водой, которую хранили либо в старых наливных колодцах, либо в цистернах, Георгий не был уверен в насосной станции — дойдет ли доверху вода.

Алдона часто выходила из кухни, прислушивалась под дверь Синей комнаты, спит ли Виталис. Обычно он несколько раз за ночь с криком просыпался, но теперь, после тяжелого пути, спал хорошо.

Маша не принимала участия в разговоре. Шел одиннадцатый час, она еще не потеряла надежды, что зайдет Бутонов. Увидев, что Нора встала, она обрадовалась:

— Я провожу тебя?

Георгий замолк на полуслове, потом спохватился:

— Да я провожу, Маш.

— Я все равно хочу пройтись, — совершенно не вникая в тонкую ситуацию начинающегося романа, встала Маша.

К дому Кравчуков шли молча, гуськом. У задней калитки остановились. В Норином домике было темно и тихо, Таня спала, и Нора пожалела, что так рано ушла. Георгий собирался ей что-то сказать, но не знал, что именно, да и Маша мешала. Маша разглядывала кравчуковский доходный дом, с сараями, пристройками и террасками, но свет различила только у хозяев.

— Я к тете Аде зайду...

Маша постучала в хозяйскую дверь, вошла. Ада в позе мадам Рекамье, с вывалившимися розовыми грудями, полулежала у телевизора.

— Ой, Маш, ты, что ли? Заходи. Тебя что-то и не видно. Ника заходила, а ты гордая... Ой, а тощая какая, — неодобрительно заметила Ада.

— Да я всегда такая, сорок восемь килограммов...

— ...костей, — фыркнула Ада.

Маша договорилась насчет комнаты для своей московской подруги — с первого июня, и спросила, не сможет ли Михаил Степанович встретить ее в Симферополе.

— Откуда ж мне знать, у него график. Спроси сама. Он в сарае с постояльцем что-то разбирается... уж спать пора, а они там... — Как все местные, Ада ложилась спозаранку и была недовольна.

Маша подошла к сараю. Дверь была приоткрыта, лампа на длинном шнуре, подвешенная к гвоздю на стене, описывала световой овал, в котором склонились над верстаком две головы, Михаила Степановича и Бутонова.

— Ну, чего тебе? — не оборачиваясь, спросил Михаил.

— Дядь Миш, я насчет машины спросить...

— А, ты... — удивился он. — Я думал, Ада...

Бутонов смотрел на нее из света в темноту, и Маша не поняла, узнал ли он ее. Она вышла на свет, улыбнулась. Рот его был плотно сжат, две пряди, не защемленные резинкой, висели, и он отвел их тыльной стороной лоснящейся черным маслом руки. Глаза его ничего не говорили. Маша испугалась: он ли это? Не приснился ли ей вчерашний лунный ожог? Она забыла, зачем пришла. Впрочем, знала, за чем пришла: увидеть его, коснуться и получить доказательства того, что по природе своей не может иметь ни доказательств, ни опровержений, — свершившегося факта.

— Какая тебе машина? — спросил Михаил Степанович, и Маша очуhalась:

— Подругу встретить из Симферополя.

— Когда?

— Первого июня. Она у вас жить будет, в горнице.

— Ту-у! — прогудел Михаил Степанович. — До первого дожить надо. Ближе к делу приходи.

Маша медлила, все ожидая, не скажет ли чего Бутонов или хоть не посмотрит ли в ее сторону. Но он шурился на металл, поводил обтянутыми вчерашней майкой плечами, головы не поднимал, но усмехнулся про себя: загорелась кошка задница!

— Ладно, — шепнула Маша и, выйдя, прислонилась к стене сарая.

— Мотор-то в полном порядке, Степаньч, — услышала она голос Бутонова.

— А я те что говорю, — отозвался он. — Электрика барахлит, я так думаю.

«Он меня не узнал? Или не захотел узнать?» — мучилась Маша, не согласная ни на то, ни на другое. Ничего третьего в голову не приходило. Была темнота, вчерашняя шальная луна освещала другие холмы и пригорки, другие любовники резвились в ее театральном свете, в застывшей магниево́й вспышке.

Еле сдерживая слезы, она шла к дому не по короткой тропке, а через Пупок, чтобы убедиться хотя бы в реальности самого этого места, где вчера все произошло... И что это было? И может ли так быть, чтобы для одного человека это значило перемену судьбы, пропасть, разъятие небес, а другой просто вообще не заметил происшедшего?

На самой середине Пупка она села, скрестив ноги по-турецки. Левая рука ее уперлась в землю, а правая — в ее собственный клетчатый носовой платок, пролежавший здесь сутки и своей крахмальной скрюченностью как раз и являющий доказательство того, что вчерашнее событие действительно имело место. Она наконец заплакала, а поплакав немного, по мно-

голетней привычке переводить все свои мысли и чувства в более или менее короткие рифмованные строчки, забормотала: «Все отменю, что можно отменить: себя, тебя, беспечность и заботу... трудов любовных пьяную охоту и беспробудность трезвого житья...»

Получалось не совсем про то, но каким-то боком... «Все отменю, что можно отменить: беспамятство, забывчивость и память...»

Ничего не прояснилось, но стало немного легче. Сунув платок в карман, пошла в дом. Все давно спали. Она вошла в детскую, всю в слабых шевелящихся потоках света и тени — от полосатых занавесок. Дети спали. Алик сказал раздельно, не просыпаясь:

— Маша? — и забормотал что-то невнятное.

Маша легла в Самониной, рядом, — не вымыв ног, не зажигая света. Спать не могла, строки не складывались. Пожалев, что Ника уже уехала и не с кем ей разделить свои новые переживания, Маша зажгла лампу и взяла из стопы книг самую растрепанную — это был утешительный Диккенс.

Вскоре она услышала легкий стук в окно. Отодвинула темную штору — маленькое окно загораживал Бутонов.

— Дверь откроешь или окно?

— Ты в окно не пролезешь, — ответила Маша, сбрасывая на пол Диккенса.

— Голова преходит, а все остальное уж как-нибудь, — ответил Бутонов вроде бы недовольным голосом.

Маша щелкнула задвижкой:

— Погоди, я стол отодвину.

Бутонов влез. Он был хмур, слов никаких не произнес, и она только слабо ойкнула, когда он обеими руками прижал ее к себе. На ощупь она была точно как Розка. Машины небеса опять разъялись, и ворота в них оказались совсем не в том месте, где она трудолюбиво и сознательно их искала, листая то Паскаля, то Бердяева, то пропахшую корицей восточную мудрость. Теперь Маша легко, без малейшего усилия попала туда, где время отсутствовало, а было лишь неземное пространство, высокогорное, сияющее острым светом, с движением, освобожденным от всякой обязательности физических законов, с полетом и плаваньем и полным забвением всего, что оставалось за пределом единственной реальности внешней и внутренней поверхности растворившегося от счастья тела.

Она еще медленно скользила вниз с последнего горного пика, когда услышала простодушно-плебейский вопрос:

— А закурить у тебя не найдется?

— Найдется, — ответила она, приземляясь голой хрупкой ступней на дощатый пол. Она пошарила ногой — пачка сигарет лежала где-то на полу. Нашупала ногой пачку, дотянулась рукой, раскурила и передала ему сигарету.

— Вообще-то я не курю, — сообщил он как нечто о себе интимное.

— Я не думала, что ты придешь. Ты даже на меня не посмотрел, — ответила она, раскуривая вторую.

— Я разозлился, зачем ты туда притащилась, — просто объяснил он. — Спать хочется. Я пойду.

Он встал, натянул одежду, она отодвинула штору — светало.

— В дверь выпустишь или в окно лезть? — спросил он.

— В окно, — засмеялась Маша, — так будет ближе.

...Забавы Виталиса были самые младенческие: бросал наземь все, что ни попадало в руки, так что Алдона всегда держала для него эмалированную посуду, не стеклянную, ломал с удовольствием игрушки, рвал книжки и тоненько при этом смеялся. Иногда на него нападали приступы агрессивности, он махал сведенным кулачками и зло кричал.

Мальчик этот внес своим рождением раздоры в жизнь окружающих. Гвидас был в глубокой ссоре со своей матерью Аушрой, которая и вообще-то была против его ранней женитьбы на много старшей его Алдоне, еще и с ребенком от первого брака. И Гвидас, по настоянию матери, долго мед-

лил с женьбой. Но женился он сразу же, как только Алдона с неизлечимо больным ребенком — а это было с первой минуты определено — вышла из роддома. Аушра малыша даже и не видела.

Донатас, старший сын Алдоны, два года терпел сомнительные преимущества здорового ребенка перед больным, от тайной ревности перешел постепенно к открытой неприязни к брату, которого иначе чем «краб проклятый» не называл, и перебрался сначала к отцу, а через недолгое время, не прижившись в новой семье отца, к бабушке по отцовской линии, в Каунас.

Бедная Алдона и это должна была вынести. В неделю раз, в воскресенье, заранее собрав сумки с продуктами и игрушками, первым поездом уезжала в Каунас и последним — возвращалась. Бывшая свекровь, имевшая много собственного горя — литовско-хуторского, ссыльного, вдовьего, — молча принимала продукты. Пряча радостный или жадный блеск глаз, красивый широкоплечий Донатас брал из ее рук дорогие игрушки, показывал свои аккуратные тетради, полные скучных четверок ровно пополам с тройками, она занималась с ним математикой и литовским, а потом он провожал ее до калитки. Дальше бабушка не пускала.

С тяжелым чувством Алдона уезжала из Вильнюса, оставив малыша с Гвидасом, с тяжелым сердцем уезжала из Каунаса: всем нужны были ее заботы и труды, ее старание, никому — ее любовь и она сама. Для младшего она продолжала оставаться питающей и согревающей утробой, старший, как казалось, только ради подарков ее и терпел. Гвидас, женившийся на ней после большой любовной неудачи, здесь, на крымской земле, приключившейся, относился к ней ровно, гладко, без всякого внутреннего интереса.

— Слишком уж по-литовски, — сказала она ему в редкую минуту раздражения.

— А как иначе, Алдона? Иначе нам не выжить. Только по-литовски и возможно, — подтвердил он, а она, коренная литовка с прожилкой тевтонской крови, вдруг ожглась необычным чувством: быть бы мне грузинкой, или армянкой, или хоть еврейкой!

Но ей не было даровано ни счастливое облегчающее рыдание, ни заламывание рук, ни освобождающая молитва — только терпение, каменное крестьянское терпение. Она и была агрономом, до рождения Виталиса заведовала тепличным хозяйством. Первый год жизни Виталиса, лишенная привычного зеленого утешения, она жестоко маялась, старательно училась быть матерью безнадежного инвалида, не спускала с рук своего косенького крошку, издающего слабый скрежет, совершенно нечеловеческий звук, когда она опускала его в кроватку.

На следующий год ранней весной она заполнила картонные стаканчики, развела рассаду, разбила под окном огород. Она опускала пальцы в землю, и все то злое электричество, которое вырабатывалось от сверхсильного терпения и напряжения, стекало в рыхлую буро-песчаную грядку, утыканную стрелами лука и розеточной листвой редиса. Горькие овощи хорошо родились на ее грядках...

Тогда Гвидас и начал строить дом в пригороде Вильнюса. Высокий забор он поставил еще до начала стройки: соседские глаза, нацеленные на маленького калеку, были непереносимы.

В строительство Гвидас вложил всю свою страсть, дом удался красивым, и жизнь в нем стала полегче — Виталис в этом доме встал на ноги. Нельзя сказать, чтобы он научился ходить. Скорее, он научился передвигаться и вставать из сидячего положения. Изменения к лучшему происходили также после жизни на море, и Гвидас с Алдоной после постройки дома не отменили ежегодного паломничества в Крым, хотя трудно было бросать дом ради глупого дела — отдыха...

Десятки маленьких детей прошли через руки Медеи, включая и Дмитрия, покойного деда маленького уродца Виталиса. Ее рукам было знакомо изменчивое ощущение веса детского тела, от восьмифунтового ново-

рожденного, когда ворох конвертика, одеяла и пеленок превышает само содержимое, до упитанного годовичка, не научившегося еще ходить и оттягивающего за день руки, как многопудовый мешок. Потом маленький толстяк подрастал, обучался ходить и бегать и через три года, прибавив несколько незначительных килограммов, бросался с бегу на шею и снова казался пух-пером. А лет в десять, когда ребенок тяжело заболел и лежал в жару, в пятнистом беспомоществе, он снова оказывался неподъемно тяжелым, когда надо было переложить его на другую кровать...

Еще одно маленькое открытие сделала Медея, ухаживая за чужими детьми: до четырех лет все они были занятными, смьшленными, острособразительными, а с четырех до семи происходило что-то неуловимо-важное, и в последнее предшкольное лето, когда родители непременно привозили будущего школьника в Крым, как будто Медею для отчета, одни оказывались несомненно и навсегда умницами, другие — глуповатыми.

Из Сандрочкиных детей в умники Медея определила Сережу и Нику, Маша оставалась у нее под вопросом, а из Леночкиных умницей, к тому же и обаятельным, был погибший на фронте Александр. Ни Георгий, ни Наташа, по мнению Медеи, этим качеством не обладали. Впрочем, доброту и хороший характер Медея ценила выше, хотя было у нее высказывание, которое Ника высоко оценила и постоянно цитировала: ум покрывает любой недостаток...

В этот сезон сердце Медеи было особенно обращено к Виталису. Он был самым младшим среди Синопли. По вечерам Медея часто держала Виталиса на руках, прижимая спинкой к своей груди и поглаживая маленькую головенку и вялую шейку. Он любил, когда его гладили: прикосновения, вероятно, отчасти заменяли ему словесное общение.

«Отпущу их в Ялту на субботу и воскресенье», — решила про себя Медея.

...Через несколько дней, после дневного сна, разбивавшего детский день на две неравные половины, прогулочная бригада из трех матерей — Маши, Норы и Алдоны — и четырех детей, совершая мелкие колебательные движения относительно курса, добралась до больнички. Виталиса обычно возили в прогулочной коляске, спиной к дороге и лицом к матери. На этот раз коляску толкали Лиза с Аликом. Медея, увидев их из окошка, вышла на крыльцо.

Лиза, присев на корточки перед Виталисом, разжимала его пальчики, приговаривая: «Сорока-воровка кашу варила, сорока-воровка деток кормила... — и, слегка трясая его за мизинец, пищала: — А этому не дала!»

Он пронзительно кричал, и непонятно было, плачет он или смеется.

— Радуется, — со всегдашней неловкой улыбкой объяснила Алдона.

Медея посмотрела в сторону детей, поправила скрученную вокруг головы шаль, еще раз посмотрела на Лизочку и сказала Алдоне:

— Прекрасно, Алдона, что Виталиса привозите. Лизочка у нас капризная, избалованная, а как хорошо она с ним играет. Пусть побольше с ним будет, всем полезно.

Медея вздохнула и сказала не то со старой печалью, не то с усталостью:

— Вот ведь беда какая, все хотят любить красивых и сильных... Ступайте домой, девочки, я скоро приду...

Двинулись в сторону дома. Маша вырвала толстую зеленую травинку со сладким розовым стеблем, пожевала: что имела в виду Медея, говоря о красивых и сильных? Не намек ли на ее ночного гостя? Нет, на Медею не похоже, она не намекает. Либо говорит, либо молчит...

Бутонов приходил к Маше каждую ночь, стучал в окно, втискивал в его узкий проем поочередно свои атлетические плечи, заполнял собой весь объем небольшой комнаты, все Машино тело вместе с душой и уходил на рассвете, оставляя ее каждый раз в остром ощущении новизны всего существа и обновления жизни... Она засыпала сильным коротким сном, в котором все продолжалось его присутствие, просыпалась часа через два и

вставала в призрачном состоянии безграничной силы и столь же безграничной слабости. Поднимала детей, варила, гуляла, стирала, все делалось само собой и легко, только стеклянные стаканы бились чаще, чем обычно, да фальшивые серебряные ложки падали беззвучно на земляной пол кухни. Незаконченные строчки появлялись в пузыряристом пространстве, поворачивались боком и уплывали, мелькнув неровным хвостом...

Бутонов же не говорил никаких слов, кроме самых простых: «Поди сюда... подвинься... подожди... дай закурить...» Он даже ни разу не сказал, что придет завтра.

В один из вечеров он пришел к Медее на кухню. Пил чай, разговаривал с Георгием, который со дня на день откладывал отъезд, но наконец собрался. Маша искала бутоновского взгляда из тесного угла кухни, но воздух неподвижно лежал вокруг его любимого лица, вокруг неподвижных плечей, и никаких знаков близости от него не исходило. Маша приходила в отчаянье, он ли тот самый, кто приходит к ней по ночам, всплывала мысль о ночном двойнике...

Простившись с Георгием и не сказав ей даже самого незначущего слова, он ушел, но опять пришел ночью, тайно, и все было как прежде, только в минуту, когда они отдыхали на берегу обмелевшей страсти, он сказал:

— Моя первая настоящая любовница была на тебя похожа... Наездница она была...

Маша попросила рассказать про наездницу. Он улыбнулся:

— Да чего рассказывать. Хорошая была наездница. Худая, кривоногая. До нее я думал, до чего же скучное занятие детишек делать. Она исчезла. Хотя я думаю, что ее муж убил.

— Она была красивая? — почти с благоговением спросила Маша.

— Конечно, красивая. — Он положил ладонь на ее лицо, потрогал скулы, узкий книзу подбородок. — У меня, Машка, все женщины красивые. Кроме жены.

Когда он ушел, она еще долго представляла себе то наездницу, то жену, то себя — наездницей...

Прошли еще три огромные, как три жизни, ночи и три призрачных дня, а на четвертый день Бутонов пришел в неурочное время, когда Алдона мыла на кухне послеобеденную посуду, а Маша развешивала у колодца детское белье. Он спустился вниз, молча сел на плоский камень.

— Что? — испугалась Маша и бросила обратно в таз отжатую пижаму.

— Я уезжаю, Маш. Пришел попрощаться, — сказал он спокойно, а она ужаснулась:

— Навсегда?

Он засмеялся.

— Ты больше никогда ко мне не придешь?

— Ну, может, ты ко мне как-нибудь заедешь? В Расторгуево, а? — Он медленно поднялся, отряхнул белые штаны, поцеловал ее в сжатый рот: — Ты что, расстроилась?

Она молчала. Взглянув на часы, он сказал:

— Ладно, пошли. Пятнадцать минут у меня есть.

Впервые при свете дня вошли они в Самонину комнату, удачно миновав Алдону, пристально теревшую тарелки, и через пятнадцать минут он действительно ушел.

«Как уходят боги... Как будто его никогда и не бывало, — думала Маша, обнимая полосатый половик, проехавший вместе с ней через всю комнату. — Хоть бы Алик скорее приехал...»

Теперь, когда все кончилось так же внезапно, как началось, и у нее осталась только тонкая пачечка грубых серых полулистов, исписанных марающей шариковой ручкой, ей хотелось скорее прочесть Алику свои новые стихи и именно ему рассказать обо всем, что на нее обрушилось.

Алик в это время уже подъезжал к Судаку, а Бутонов, ему навстречу, на старом «Москвиче» Михаила Степановича, ехал в Симферополь, чтобы тем же самолетом, которым прилетел Алик, лететь в Москву вечером.

Медея возвращалась с работы и первой увидела идущего от Нижнего поселка Алика — в синем солнцезащитном козырьке и темных очках на городском незагорелом лице. Немного погодя Алика увидела и Маша, гуляющая с детьми в травяных зарослях Пупка.

С криком «Алька! Алька! Папа!» понеслись они вниз по дороге. Он остановился, сбросил с плеч небольшой туго набитый рюкзак и раскинул руки для общего объятия. Маша подбежала первой, обхватила за шею с самой искренней радостью. Лиза с Аликом прыгали с восторженными воплями.

К тому времени, когда Медея поравнялась с ними, рюкзак был наполовину разворочен, Маша распечатала одно из привезенных для нее писем, Лиза прижимала к себе пакет с тянучками и белесую куколку размером с мышь, подарок Ники, а маленький Алик расковыривал коробку с новой игрой. Старший Алик пытался запихнуть в рюкзак все то, что из него было вытащено.

Алик расцеловался с Медеей и тут же сунул ей в руку картонную коробку, его обычное профессиональное подношение:

— Примите от нашего Красного Креста вашему Красному Кресту...

Там были кое-какие дефицитные лекарства, пара колодок пластыря и обычные резиновые перчатки, которых в прошлом году в Судаке было не достать.

— Спасибо, спасибо, Алик. Рада, что вы наконец приехали...

— Ох, Медея Георгиевна, я вам такую книжку привез, — перебил он ее, — сюрприз! Как вы отлично выглядите!

Он положил руку на макушку сыну:

— Алька, а ты вырос на целую голову, — он сложил пальцы щепоткой, — комариную...

Маша от нетерпения переминалась с ноги на ногу, подскакивала:

— Ну пошли же скорее. Алик, наконец-то!

Медея прошла вперед. «Удивительное дело, Маша действительно рада приезду мужа, не смущена, не выглядит виноватой. Неужели для них супружеская верность ничего не значит? Как будто не приходит к ней каждую ночь этот рослый спортсмен... А я, старая кочерга, — улыбнулась про себя Медея, — ну что мне за дело? Нет, просто мне Алик очень нравится. Он на Самуила похож, не чертами лица, а живостью, быстротой темных глаз, и такое же беззлобное остроумие... У меня, видимо, склонность к евреям, как бывает склонность к простудам или запорам. Особенно к этому типу кузнечиков, худых, подвижных... Но все-таки интересно, как Маша будет теперь выбираться из своего романа? — Медея не знала, что Бутонов уже уехал, и с огорчением думала, что опять ей придется видеть чужие ночные дела, свидания, обманы. — Как хорошо, что сама я была совершенно слепа к этой стихии, когда это касалось меня. И тридцать лет прошло уже, слава Богу, с того лета... Там, в заповедях блаженств, забыли все-таки сказать: блаженны идиоты...»

Медея оглянулась: Алик тащил на спине Лизочку, в руке рюкзак и улыбался белыми зубами. На идиота он похож не был.

Алик-муж, в отличие от Алика-сына, назывался Алик Большой. Большим он не был. Они были одного роста, муж и жена, и, если принять во внимание, что Маша в своей семье была самой мелкой, рост Алика никак не относился к числу его достоинств. Одежду на себя он покупал в «Детском мире», и за тридцать лет у него ни разу не было приличной пары обуви, потому что на его ногу продавали только топорно-тупорылые мальчиговые ботиночки. Но при всей его миниатюрности он был хорошо сло-

жен и красив лицом. Принадлежал он к той породе еврейских мальчиков, которые усваивают грамоту из воздуха и изумляют своих родителей беглым чтением как раз в то время, когда они подумывают, не показать ли ребенку буквы.

В семь лет он читал неотрывно тяжеленные тома «Всемирной истории», в десять увлекся астрономией, потом математикой. Он уже нацелился на высокую науку, ходил в математический кружок при мехмате, и мозги его крутились с такими высокими оборотами, что руководитель кружка только кряхтел, предвидя, как трудно будет юному дарованию пробить процентную норму государственного университета.

Неожиданная смерть любимого отца, последовавшая от нелепой цепи медицинских случайностей, в течение нескольких дней развернула Алика в другую дорогу. Отец его прошел войну, был трижды ранен и умер от скверно сделанной аппендэктомии. Пока отец умирал от перитонита, Алик сидел возле него в общей палате на двенадцать человек и попутно узнавал кое-что о страдании и сострадании — вещах, не входивших в программу вундеркиндов.

После смерти отца, быстрых его похорон с военным оркестром и воплями обезумевшей матери под гнилым декабрьским дождиком бывшие однополчане и теперешние сослуживцы по болотистой слякоти Востряковского кладбища вернулись в их большую комнату на Мясницкой, выпили там ящик водки и разошлись. В тот же вечер впечатлительный Алик сменил веру, отказавшись от честолюбивых замыслов и от придуманной для себя биографии — гибрида двух любимых его героев Эвариста Галуа и Рене Декарта — в пользу медицины.

Поскольку медаль он получил не золотую, а всего лишь серебряную, поступление в институт представляло собой сражение с пятиглавым драконом. Единственная пятерка, добытая без боя, была за сочинение — Александр Сергеевич протянул ему дружественную руку. Тема «Ранняя лирика Пушкина» казалась Алику личным подарком небес. Остальные экзамены он сдавал комиссии, по апелляциям, поскольку точно знал, что меньше пятерки получать ему нельзя, а преподаватели так же точно знали, кому их нельзя ставить.

Первую же четверку, по математике, он опротестовал. Членами комиссии были мехматовские наемники, поскольку своей кафедры математики в институте не было. Неглупые аспиранты быстро поняли, что мальчик очень сильный. К тому же он проявил необыкновенную выдержку, отвечал четыре часа, и когда, наконец, ему был задан вопрос, на который он не смог ответить, он засмеялся и сказал комиссии, состоящей из пяти человек:

— Вопрос поставлен некорректно, но все-таки я прошу обратить ваше внимание на то, что ни один из заданных мне вопросов не входит в школьную программу. — Он понимал, что терять ему нечего, и пошел ва-банк: — Я чувствую, что следующим вопросом будет теорема Ферма.

Экзаменаторы переглянулись, и один спросил:

— А вы можете ее сформулировать?

Алик написал простое уравнение, вздохнул:

— При « n » больше двух не имеет целых положительных решений, но доказать это в общем виде я не берусь...

Председатель предметной комиссии с чувством глубокого отвращения к мальчишке, к себе самому и ситуации, в которую все они попали, поставил в ведомость «отлично».

Итоги химии и биологии были те же, но без такого убедительного эффекта. За английский он получил четверку, но это был последний экзамен, и было ясно, что он набрал проходной балл, и на апелляцию он не подал. Устал.

История его поступления стала институтской легендой, он был героем, и все это напоминало историю Золушки. Его школьные годы были отравлены полной физической несостоятельностью: он был самым маленьким в

классе, кстати и по возрасту тоже. Его интеллектуальные достоинства, если и замечались, никак не избавляли его от унижений физкультуры. Да и вообще детство его просто ломилось от унижений: сопровождающая его домработница, завязывающая ему под подбородком цигейковые уши девчачьей шапки, страх перед обратной дорогой, когда сам же настоял, чтобы домработница его больше не провожала, большая перемена как большая неприятность, невозможность зайти в школьную уборную. Когда его припекало, он шел к врачу, жаловался на головную боль и получал освобождение от занятий, чтобы скорее побежать домой помочиться...

Он остро переживал свое изгойство, смутно догадывался, что оно связано скорее с его достоинствами, чем с недостатками. Отец, редакционный работник «Воениздата», всю жизнь стеснялся своей еврейской второсортности и ничем не мог помочь сыну, кроме прекрасного наставления в чтении. Исаак Аронович был хорошо образованным филологом, но жизнь затолкала его в такой угол, где он с благодарностью редактировал воспоминания полуграмотных маршалов минувшей кампании.

Слияние мужских и женских школ, как ни странно, облегчило Аликову школьную участь. Первые друзья появились у него среди девочек, и уже взрослым мужчиной он постоянно декларировал, что женщины несомненно составляют лучшую часть человечества.

В медицинском институте лучшая часть человечества была также и численно преобладающей. С первых же месяцев учебы вокруг Алика возникла атмосфера почтительного восхищения. Половина однокурсниц были иногородними, с двухлетним медицинским стажем и богатым жизненным опытом, — они толклись в большой комнате на Мясницкой. В конце года мать Алика получила двухкомнатную квартиру в Новых Черемушках. В этой новой квартире, не обжитой и еще заваленной связками нераспакованных книг, две Аликовы однокурсницы, Верочка Воронова из Сормова и Оля Аникина из Крюкова, ловкие, симпатичные фельдшерицы, лишили Алика романтических иллюзий и одновременно освободили от обременительной девственности. Курса с третьего, когда уже пошли практики и дежурства, эти быстрые и легкие соединения в бельевой, в ординаторской, в смотровой были столь же непринужденны, как и ночные чаепития, и имели оттенок медицинской простоты. Большого значения происходящим на казенном белье соитиям Алик не придавал, гораздо больше его интересовала в те годы наука — естествознание и философия.

Дорога из Новых Черемушек на Пироговку стала для него настоящим Гёттингеном. Отправной точкой послужили труды товарища Ленина, предлагаемые к обязательному чтению на первом же курсе по истории КПСС. Затем он ткнулся в Маркса, залез в Гегеля и Канта и обратным ходом дошел до истоков — полюбил Платона. Читал он быстро, каким-то особым образом, змейкой, — одновременно несколько строк составляли читаемую им большую строку. Много лет спустя он объяснял Маше, что все дело в быстродействии воспринимающих структур, и даже рисовал какую-то схему.

Дав волю своим проворным мозгам, он выстроил некую картину человека-вселенной и, в добавление к медицинскому институту, стал ездить в университет, слушал там спецкурсы по биохимии на кафедре Белозерского и по биофизике у Тарусова. Его занимала проблема биологического старения. Он не был безумцем и не гонялся за бессмертием, но по каким-то биологическим параметрам высчитал, что сто пятьдесят лет — нормальный возраст человеческой жизни. Участь на четвертом курсе, он выпустил свою первую научную статью в соавторстве с солидным ученым и еще одним вундеркиндом. Еще через год он пришел к выводу, что клеточный уровень груб, а для работы на молекулярном уровне ему не хватает специальных знаний. В зарубежной научной периодике он добирал недостающее.

Многие годы спустя, занимая исключительно высокое положение в американской науке, Алик говорил, что наиболее интенсивным временем

были как раз годы студенчества и что всю жизнь он питается идеями, которые пришли к нему в последний, выпускной, год обучения.

В том же году он познакомился с Машей. Его бывшая одноклассница Люда Линдор, любительница неофициальной поэзии, изредка затаскивала его в квартиры и литературные клубы, где процветал самиздат и сам Бродский не брезговал иногда читать свои, ставшие со временем нобелевскими, стихи.

В тот раз Люда притащила его на вечер, где читали стихи несколько юных авторов, один даже многообещающий, прежде других севший на иглу и вскоре погибший. Маша читала первая, как юнейшая из юных. Народу было мало, как говорится в таких случаях — «все свои», да еще дежурный стукач, завхоз по совместительству. Время было самое что ни на есть переходное, шестьдесят седьмой год: хлеб не стоил ничего, зато слово, устное и печатное, обрело неслыханный вес. Самиздат уже совершал тайное бурение почвы, Синявский и Даниэль уже были осуждены, «физики» отделились от «лириков», а запретная зона не покрывала разве что зоопарки.

Алик в этот процесс вовлечен не был: теоретические проблемы он всегда предпочитал практическим, философию — политике.

Маша, синеглазая, с тонкими руками, которые жили в воздухе рядом с ее темной стриженной головой независимой и несколько нелепой жизнью, с тихой патетикой читала стихи. Алик все отведенные ей тридцать минут не отрывал от нее глаз, а когда она кончила чтение и вышла в коридор, он шепнул на ухо Люде:

— Я сейчас вернусь...

Но больше он не появился. Он остановил Машу на полпути к уборной:

— Вы меня не узнали?

Маша посмотрела на него со вниманием, но не узнала.

— Это не удивительно. Мы еще не знакомы. Я Алик Шварц. Я хочу вам сделать предложение.

Маша смотрела на него вопросительно.

— Руки и сердца, — объяснил Алик.

Маша счастливо рассмеялась — начиналось то, о чем она так много знала от Ники. Начинался роман. И она была совершенно к этому готова.

— Мария Миллер-Шварц звучит довольно нелепо. Но рассмотрим, — легко ответила она, страшно довольная именно легкостью этого разговора. Торжество прямо-таки накатывало на нее — наконец-то она станет равноправна с Никой и скажет ей по телефону сегодня же вечером: Ничка, ко мне сегодня мужик прикадрился, симпатичный, морда такая хорошая, с легкой небритостью, и с первого взгляда видно — умный...

— Только имейте в виду, — предупредил он, — у меня совершенно нет времени на ухаживание. Но сегодняшней вечер свободен. Пошли отсюда.

Маша собиралась еще вернуться и послушать лысого очкарика, который мял листочки в ожидании своего черед, но тут же раздумала:

— Хорошо, подождите меня, — и пошла в уборную, а он ждал ее возле двери.

Потом они спустились в раздевалку. Маша торопливо одевалась, у нее было такое чувство, что никак нельзя терять времени. Алик, того не зная, уже заразил ее своей внутренней спешкой. Он подал ей тощее элегантно пальто Сандрочкиной работы.

На улице было пусто и темно, зима была самого неприятного свойства — бесснежная и лютая. Маша, по моде досапожных лет, была в легких туфельках, без шапки. Алик взял ее за холодные косточки пальцев:

— Времени у нас всегда будет очень мало, а сказать надо много. Чтобы покончить с неинтересным: в такую погоду неплохо бы валенки и бабушкин платок, это я как врач заявляю. А что касается твоих стихов, — он перешел незаметно на «ты», — частично их надо выбросить, но есть несколько просто прекрасных.

— А какие выбросить? — востроенулась Маша.

— Нет, я лучше скажу, какие сохранить. — И он прочитал ей стихотворение, только что им услышанное, которое он со слуху, в полной точности запомнил:

Как в ссылке, мы в прекрасной преисподней
бездомной и оставленной земли,
а день осенний светом преисполнен
и холодом пронзительным залит.
Над кладбищем, как облако, висит
обломок тишины, предвестницы мелодий,
витающих в обманчивой близости,
где завтрашнее зреет половодье.
И острые кленовые листья,
шурша, в безвидном пламени сгорают.
Могилы полыхают, как костры,
но календарь пока не отменяют...

Я думаю, это очень хорошее стихотворение.

— Памяти моих родителей. Они разбились десять лет тому назад, — сказала Маша, удивляясь, как легко ей говорить ему то, о чем она вообще ни с кем не говорила.

— Жили счастливо и умерли в один день? — серьезно посмотрел на нее Алик.

— Теперь уже ничего другого не остается — только так думать...

Есть браки, скрепляющиеся в постели, есть — распускающиеся на кухне, под мелкую музыку столового ножа и венчика для взбивания белков, встречаются супруги-строители, производящие ремонты, закупающие по случаю дешевые пиломатериалы для дачного участка, гвозди, олифу и стекловату, иные держатся на вдохновенных скандалах.

Брак Маши и Алика совершался в беседах. Девятый год они были вместе, но, встречаясь каждый день по вечерам, после его возвращения с работы, они давали супу простыть, а котлетам сгореть, рассказывая о всем важном, что произошло в течение дня. Жизнь каждым из них проживалась дважды: первый раз непосредственно, второй — в избранном пересказе. Пересказ немного смещал события, выделяя незначительное и внося в происшедшее личную окраску, но и это оба они знали и даже, двигаясь навстречу друг другу, то и предлагали, что должно быть особенно интересно другому.

— А вот для тебя, — помешивая в тарелке горячий суп, говорил Алик, — весь день держал, чтоб не забыть...

Дальше шло описание нелепой утренней ссоры в метро, или дерева во дворе, или разговора с сослуживцем. А Маша тащила на кухню старый том с лапшой закладок или самиздатскую брошюру, разворачивала на нужном месте:

— Я вот тут отметила, ну просто специально для тебя...

В последние годы они отчасти поменялись ролями: раньше он больше читал, глубже зарывался в культурные проблемы, теперь научные занятия не оставляли времени для интеллектуальных развлечений, тем более что он все не мог расстаться со своей прежней работой на «Скорой помощи», которая, кроме того, что была профессионально интересна, оставляла достаточно времени для работы в лаборатории. Маша, сидя дома с сыном, редкостным ребенком, способным занимать себя с утра до вечера содержательной деятельностью, делала статеечки для реферативного журнала, читала множество книг с вниманием и жадностью и писала то стихи, то неопределенные тексты, как будто вырванные из разных авторов. Своего голоса у нее не прорезалось, и влекло ее в разные стороны: то к Розанову, то к Хармсу.

Стихи ее, тоже написанные разными голосами, два раза напечатали в журнальных подборках, но получилось как-то периферийно и незначительно. На странице они выглядели чужими, показались неудачно состав-

ленными, да к тому же с двумя печатками. Но Алик был страшно горд, купил целую кучу экземпляров и всем дарил, а Маша решила про себя, что пустячных публикаций больше давать не будет, а издаст сразу книгу.

Близость их была столь редкой и полной, выявлялась и в общности вкусов, и в строе речи, и в тональности юмора. С годами у них даже мимика сделалась похожей, и они обещали к старости стать супругами-попугайчиками. Иногда, по глазам угадав не высказанную еще мысль, они цитировали любимого Бродского: «Так долго вместе прожили, что вновь второе января пришлось на вторник...»

Для их особого родства Маша нашла и особое немецкое слово, разыскала его в каком-то учебнике языкознания, — Geschwistern. Ни в одном из известных языков такого слова не было, оно обозначало «брат и сестра», но в немецкой соединенности таился какой-то дополнительный смысл.

Они не давали друг другу обетов верности. Напротив, накануне свадьбы они договорились, что союз их — союз свободных людей, что они никогда не унизятся до ревности, потому что за каждым сохраняется право на независимость. В первый же год брака, испытывая легкое беспокойство из-за того, что Алик был единственным мужчиной в ее жизни, Маша провела несколько сексуальных экспериментов — со своим бывшим однокурсником, с литературным чиновником молодежного журнала, где ее однажды напечатали, и с каким-то совсем уж случайным человеком, — чтобы убедиться, что она ничего не упустила.

Они не обсуждали этого, Маша прочла ему написанное в тот год стихотворение:

Презренна верность:
в ней дыханье долга,
возможность привлекательных измен.
Одна любовь не терпит перемен,
себя не вяжет клятвой, кривотолком
и ничего не требует взамен.

Алик догадался о ее опытах, воспринял их как необходимость для Маши и скорее даже от этого выиграл: Маша совершенно успокоилась. Ему тоже за годы их брака подворачивались кое-какие случаи. Он не искал их, но и не отказывался. Но с годами они все сильнее прилеплялись друг к другу и в семейной жизни открывали все больше достоинств. Наблюдая своих однокашников и друзей, женившихся, разведшихся, пустившихся резво в холостяцкий блуд, он, как неведомый ему фарисей, говорил в душе: у нас — не так, у нас — все правильно и достойно и оттого — счастливо...

Научные дела его шли великолепно. Настолько, что мало кто из его коллег мог оценить получаемые им результаты. Избранничество, в детстве такое обременительное и тяжелое, усугубленное стыдом свалившегося на него с неба столь неудобного еврейства, с годами меняло окраску, но хорошее воспитание и природная доброжелательность прикрывали все крепнущее чувство превосходства над неуклюжими мозгами большинства коллег. Когда в американском престижном научном журнале появилась его первая статья, он просмотрел состав редколлегии на обложке и сказал Маше:

— Здесь четыре нобелевских лауреата...

Маша, глядя в его смуглое, скорее индийское, чем иудейское лицо, поняла, что он примеривает себе эти высокие научные почести. Она, читая его мысли, попросила Нику, которая когда-то занималась керамикой, написать на фарфоровой чашке стихотворение, и Алик в тот год получил в подарок от жены ко дню рождения большую белую чашку, на которой толстыми синими буквами было написано: «И будет так: ты купишь фрак, а я — вечерний туалет, король прослушает доклад, а после даст банкет». Гости восхищались чашкой, но, кроме Алика, намека никто не понял.

Оба они находили большое удовольствие в том, что никакое многолюдство не мешало их бессловесному общению: переглянулись — вот и обменялись мыслями.

Они не виделись около двух недель, и Алик ехал теперь к жене с ошеломляющей новостью. Дело было в том, что в Академию наук приехал знаменитый американский ученый, специалист в молекулярной биологии, — выступить с докладом на конференции и прочитать лекцию. Он сходил в Большой театр, в Третьяковскую, по программе положенную, галерею и попросил переводчицу устроить ему встречу с мистером Шварцем, имя которого он отметил для себя по трем небольшим публикациям все в том же знаменитом журнале. Переводчица снеслась, проинформировала и получила инструкцию: сообщить приезжему, что мистер Шварц как раз находится в отпуске. Однако мистер Шварц ни в каком отпуске не находился, напротив, пришел на конференцию, чтобы задать американцу некий научный вопрос. Состоялся пятиминутный разговор. Сметливый американец — недаром дедушка его был родом из Одессы — быстро сориентировался, взял у Алика телефон и поздним вечером приехал к нему домой, заплатив таксисту Аликову месячную зарплату... Все это происходило в Машино отсутствие, Дебора Львовна, свекровь Маши, отдыхала в санатории. Горы немой посуды и кучи раскрытых книг окончательно убедили американца, что он имеет дело с гением, и он незамедлительно сделал ему предложение — перейти к нему на работу. Бостон, MIT (Массачусетский технологический институт). Оставался один технический, но немаловажный вопрос — эмиграция. С этой ошеломляющей новостью и ехал Алик к жене. Оба они были полны нетерпения — рассказать...

Тема эмиграции в интеллигентской среде тех лет была одной из самых острых: быть или не быть, ехать или не ехать, да, но если... нет, а вдруг... Рушились семьи, рвались дружеские связи. Мотивы политические, экономические, идеологические, нравственные... А сам процесс отъезда был таким сложным и мучительным, занимал иногда долгие годы, требовал решимости, мужества или отчаянья. Официально дыра в железном занавесе была открыта только для евреев, хотя неевреи тоже ею пользовались. Чермное море опять разъяло свои воды, чтобы открыть избранному народу дорожку если не в Землю обетования, то по крайней мере прочь из очередного Египта.

— В Исходе сказано, — восклицал Лева Готлиб, близкий друг Алика, «главный еврей Советского Союза», как Алик его называл, — что Моисей вывел из Египта шестьсот тысяч пеших мужчин. Но нигде не сказано, сколько их осталось в Египте. Оставшиеся просто перестали существовать. А те, которые не уехали из Германии в тридцать третьем, где они?

Но Алика совершенно не интересовала его собственная жизнь с точки зрения национальной, главная ценность заключалась для него в научном творчестве. Разумеется, он слышал все эти разговоры, даже принимал в них участие, внося теоретическую и охлажденную ноту, но занимало-то его на самом деле только клеточное старение. Американское предложение значило для него, что эффективность его работы возрастет.

— ...процентов на триста, я думаю, — прикидывал он, рассказывая обо всем Маше. — Лучшее в мире оборудование, никаких проблем с реактивами, лаборанты, ну и вообще никаких материальных проблем для нас с тобой. Алька будет учиться в Гарварде, а? Я вполне к этому готов. Слово за тобой, Маша. Ну и мама, конечно, но ее я уговорю...

— А когда? — только и спросила Маша, совершенно не готовая к такому повороту событий.

— В идеальном варианте через полгода. Если мы сразу же подадим документы. Но может растянуться и надолго. Этого я больше всего и боюсь, потому что с работы мне придется уйти сразу же. Чтоб шефа не подставлять. — Он все уже рассчитал.

«Две недели тому назад такое предложение привело бы меня в восторг, — подумала Маша, — а сегодня я даже думать об этом не могу».

Алик в глубине души надеялся, что Маша обрадуется открывшейся перспективе, и теперешняя ее заминка его озадачила. Он не знал еще, что их домашний мир, разумный и осмысленный, дал трещину от самого презренного низа до самого хрустального верха. И сама Маша не осознала этого в полной мере.

Потом Маша прочитала Алику новые стихи. Он похвалил ее, отметил их новое качество. Принял горячую Машину исповедь об откровении, полученном ею в новых и острых отношениях, об особом виде совершенства, которое она нашла в чуждом человеке, о новом жизненном опыте: как будто со всего мира сняли пленку — с пейзажей, с лиц, с привычных чувств...

— Я не знаю, что мне делать со всем этим, — жаловалась Маша мужу. — Может быть, с точки зрения общепринятой, — (слово «мещанский» совестилась произнести, оно было из чужого словаря), — с этой точки зрения ужасно, что именно тебе я это говорю. Но я так тебе доверяю, ты самый близкий, и только с тобой вообще имеет смысл об этом говорить. Мы с тобой едины, насколько это возможно. Но все же, как жить дальше, я не знаю. Ты говоришь — уехать. Может быть.

Ее немного знобило, лицо горело и зрачки были расширены.

«Как это некстати», — решил Алик и принес из кухни полбутылки коньяку. Разлил по рюмкам и заключил великодушно:

— Ну что ж, этот опыт был для тебя необходим. Ты поэт, и, в конце концов, не из этого ли материала строится поэзия? Теперь ты знаешь, что есть и более высокие формы верности, чем сексуальная. Мы оба с тобой исследователи, Машенька. У нас только разные области. Сейчас ты совершаешь какое-то свое открытие, и я могу этого не понимать. Но мешать тебе я не буду. — И он налил еще по рюмочке. Коньяк был правильно назначенным медикаментом. Скоро Маша уткнулась ему в плечо и забормотала:

— Алька, ты лучший на земле... лучший из лучших... ты моя крепость... если хочешь, поедem куда хочешь...

И, обнявшись, они утешились. И уверились в своей избранности и утвердились в превосходстве перед другими их знакомыми семейными парами, у которых возможны всякие мелочные безобразия, беглые случки в запертой ванной комнате, ничтожная бытовая низость и ложь, а у них, Маши и Алика, — полная откровенность и чистая правда.

Через три дня Алик уехал, оставив Машу при детях, стирке и стихах. Ей предстояло провести в Крыму еще полтора месяца, поскольку необходимые для этого деньги Алик у кого-то одолжил и ей привез.

Через два дня после его отъезда Маша написала первое письмо Бутонову. За ним второе и третье. В перерывах между письмами она писала еще и короткие отчаянные стихи, которые самой ей очень нравились.

Бутонов тем временем исправно доставал ее письма из почтового ящика, — он оставил Маше расторгуевский адрес, потому что летнее время, когда жена с дочкой уезжали в Можинку на академическую дачу Олиной подруги, он обычно проводил в Расторгуеве, а не в хамовнической квартире жены. Соображения семейной конспирации никогда Бутонова не тревожили, Оля была нелюбопытна и не стала бы вскрывать бутонских писем.

Машины письма вызвали у Бутонова большое удивление. Они были написаны мелким почерком с обратным наклоном, с рисунками на полях, с историями из ее детства, не имеющими ни к чему никакого отношения, со ссылками на неизвестные имена каких-то писателей и содержали множество неясных намеков. К тому же в конвертах лежали отдельные листочки неровной серой бумаги со стихами. Как догадался Бутонов, это были стихи ее собственного сочинения. Одно из стихотворений он показал Иванову, который понимал во всем. Тот прочитал вслух, со странным выражением:

Любовь — работа духа.
 Все ж тела
 в работе этой
 не без соучастья.
 Влагаешь руку в руку, —
 что за счастье!
 Для градусов духовного тепла
 и жара белого телесной страсти —
 одна шкала.

— Откуда, Валерий?

— Девушка мне написала, — пожал плечами Бутонов. — Хорошие?

— Хорошие. Наверное, дернула откуда-нибудь. Не пойму, откуда, — вынес квалифицированное суждение Иванов.

— Исключено, — уверенно возразил Бутонов. — Не станет она чужие переписывать. Точно, сама написала.

Он уже забыл об этом заурядном южном романе, а эта милая девочка придавала ему какое-то слишком уж большое значение. Писем Бутонов ни от кого не получал, сам не писал, да и на этот раз отвечать не собирался, а они всё шли. Маша ходила в Судак на почту и страшно огорчалась, что ответа все нет. Наконец, не выдержав, она позвонила Нике в Москву, попросила ее съездить в Расторгуево и узнать, не случилось ли чего с Бутоновым, почему он не отвечает. Ника раздраженно отказалась: занята по горло, некогда. Маша обиделась:

— Ника, ты что, с ума сошла? Я тебя первый раз в жизни прошу! У тебя романы раз в квартал, а у меня такого никогда не было!

— Черт с тобой! Завтра поеду, — согласилась Ника.

— Ника! Умоляю! Сегодня! Сегодня вечером! — взмолилась Маша.

На следующее утро Маша опять притащилась в Судак с детьми. Гуляли, ходили в кафе, ели мороженое. Дозвониться до Ники не удалось: ее не было дома. Вечером того же дня заболел Алик, поднялась температура, начался кашель — его обычный астматический бронхит, из-за которого Маша и высиживала по два месяца в Крыму. Целую неделю Маша крутилась при нем и только на восьмой день добралась до города. Письма все не было. То есть было — от Алика. До Ники сразу же дозвонилась. Ника отчиталась довольно сухо: в Расторгуево ездила, Бутонова застала, письма он получил, но не ответил.

— А ответит? — глупо спросила Маша.

— Ну откуда я знаю? — обозлилась Ника.

К этому времени она съездила в Расторгуево несколько раз. В первый раз Бутонов удивился. Встреча их была легкой и веселой. Ника и вправду собиралась только выполнить Машино поручение, но так уж получилось, что она осталась ночевать в его большом, наполовину отремонтированном доме. Он начал ремонт два года тому назад, после смерти матери, но как-то дело застопорилось, и отремонтированная половина составляла удивительный контраст с полуразрушенной, куда были сложены деревянные сундуки, топорная крестьянская мебель, оставшаяся еще от бабушки, валялись какие-то домотканые тряпки. Там, в разрушенной половине, Ника и устроила их скорое гнездышко. Уже утром, уходя, она действительно спросила у него:

— Чего ты на письма-то не отвечаешь? Девушка огорчается.

Бутонов 'разоблачений не боялся, но не любил, когда ему делали замечаний:

— Я врач, а не писатель.

— А ты уж напрягись, — посоветовала Ника.

Ситуация показалась Нике забавной: Машка, умница-переумница, влюбилась в такого элементарного пыльщика. Самой Нике он пришелся очень кстати: у нее шел развод, муж ужасно себя вел, чего-то от нее требовал, вплоть до раздела квартиры, ее транзитный любовник закончил в Москве высшие режиссерские курсы и уехал.

— Тебе надо, ты и пиши, — фыркнул Бутонов.

Ника захохотала — предложение показалось ей забавным. А уж как они с Машкой посмеются над всей этой историей, когда у нее схлынет пыл!

20

Осенью, к ноябрьским праздникам, Медея вышла на пенсию. На первых порах освободившееся от работы время она предполагала заполнить починкой ватных одеял, с невероятной скоростью ветшающих за летние сезоны. Она заготовила заранее и новый сатин, и целую коробку хороших катушечных ниток, но в первый же вечер, разложивши на столе истрепанное синее в розах одеяло, обнаружила, что цветы уплывают прочь с линялого фона, а им на смену приплывают другие, выпуклые, шевелящиеся.

«Высокая температура», — догадалась Медея и закрыла глаза, чтобы остановить цветочный поток.

К счастью, как раз накануне приехала Ниночка из Тбилиси. Болезнь была как будто та же самая, какую перенесла Медея накануне замужества, когда Самуил ухаживал за ней с таким замиранием в душе, с такой нежностью и любовным трепетом, что впоследствии имел основание говорить: у других людей бывает медовый месяц, а у нас с Медеей была медовая болезнь.

В перерывах между приступами свирепого озноба и глухого полузабытья на Медею опускалось блаженное успокоение: ей казалось, что Самуил в соседней комнате и он сейчас войдет к ней, неловко держа обеими руками стакан и слегка выпучив глаза от боли, потому что стакан оказался горячее, чем он рассчитывал.

Но вместо Самуила появлялась из полутьмы Ниночка, в аромате зверобоя и тающего меда, с граненым стаканом в худых плоских руках, с глазами матово-черными, глубокими, как у Самуила, и в голову Медее приходила догадка, которой она как будто очень долго ждала и теперь она наконец снизошла на нее как откровение: Ниночка-то их дочь, Самуила и ее, Медеи, их девочка, про которую она всегда знала, но почему-то надолго забыла, а теперь вот вспомнила, какое счастье... Ниночка приподнимала ее от подушки, поила душистым питьем, говорила что-то, но смысл сказанного не совсем доходил до Медеи, словно язык был иностранным.

«Да-да, грузинский, конечно, грузинский», — вспоминала Медея. Но интонация языка была такая богатая, такая ясная, что все понималось из одних движений лица, руки и из вкуса питья тоже. Еще было удивительно, что Ниночка угадывала ее желания и даже занавески раздвигала и задвигала за мгновение до того, как Медея хотела ее об этом попросить...

Тбилисская Медеина родня пошла от двух ее сестер, старшей Анели и младшей Анастасии, которую Анеля вырастила после смерти родителей. От Анастасии остался сын Роберт, неженатый, кажется, слегка тронутый, Медея с ним никогда не общалась. Анеля своих детей не родила, Нина и Тимур были приемными, так что вся тбилисская молодежь была привитой веточкой. Родными племянниками приходились эти дети Анелиному мужу Ладо. Брат Ладо Григол и его жена Сюзанна были нелепой и несчастной парочкой, он — пламенный борец за кустарную справедливость, она — городская сумасшедшая с партийным уклоном. Ладо Александрович, музыкант, профессор Тбилисской консерватории, преподаватель по классу виолончели, не имел с братом ничего общего и не общался с ним с середины двадцатых годов. В первый раз Ладо и Анеля увидели племянников ранним утром в мае тридцать седьмого года — их привезла в дом дальняя родственница после ночного ареста родителей.

Знаменитый закон парности — всего лишь частный случай общего закона повторяемости одного и того же события не то для чеканки характе-

ра, не то для свершения судьбы — в Анелиной жизни сработал в идеальной точности. Прошло десять лет с тех пор, как Анастасия вышла замуж и ушла из дому, и вот судьба привела в их дом сирот, на этот раз двоих.

Анеле было уже за сорок, Ладо был старше на десять лет. Они успели уже подвзнуть и подсохнуть и готовились к мирной старости, а не к участи молодых родителей. Задуманная старость не удалась: только понемногу выправились запущенные дети, началась война. Ладо не пережил тяжелых времен, умер от воспаления легких в сорок четвертом году. Анеля, проедавая остатки когда-то богатого дома, поставила детей на ноги. Умерла Анеля в пятьдесят седьмом, вскоре после возвращения из ссылки совершенно безумной Сюзанны. Нина, уже молодая женщина, получила взамен любимой мачехи родную мать, одноглазую гарпию, полную злобы и параноидальной преданности вождю. Двадцать лет Нина ходила за ней.

Три-четыре дня, которые Нина собиралась провести у Медеи, обернулись восьмью, и, едва поставив Медею на ноги, она уехала в Тбилиси. Болезнь Медеи окончательно не прошла, она бросилась на суставы, и Медея лечила теперь себя домашними способами. В толстых наколенниках из старой шерсти, под которыми были наклеплены капустные листья, или пчелиный воск, или большие пареные луковицы, совершенно утратив обыкновенную легкость движений, Медея кое-как передвигалась по дому, но больше сидела за столом, перестегивая одеяла. При этом она размышляла о Ниночке, о ее безумной матери, о Нике, которая весь сентябрь провела в Тбилиси, приехав туда с театром на гастроли, и сама, судя по Ниночкиным осторожным рассказам, устроила хорошие гастроли из своей поездки...

«Праздномыслие, — останавливала себя Медея и делала то, чему в юности учил ее старый Дионисий: если житейские мысли затягивают тебя, не отпускают, не борись с ними, но думай эту мысль молитвенно, обращая ее к Господу... — Бедная Сюзанна, прости ей, Господи, ужасные и глупые дела, которые она натворила, смягчи ей сердце, дай ей увидеть, как страдает из-за нее Ниночка... и Ниночке помощи, она кроткая и терпеливая, дай ей силы, Господи... Нику сохрани от всякого зла, опасно ходит девочка, такая добрая, яркая, вразуми ее, Господи... помощи...»

И опять она вспоминала Ниночкин рассказ о том, как Ника переполошила семью знаменитого тбилисского актера, завела шумный роман на виду у всего города, сверкала, блистала, хохотала, а бедная актера жена, сжираемая ревностью, носилась ночами по друзьям своего мужа, ломилась в закрытые двери в надежде застать неверного на месте преступления, и застала в конце концов. И была битая посуда, и прыжки из окна, и вопли, и страсти, и полное неприличие. Самым удивительным для Медеи было то, что еще в октябре она получила от Ники коротенькое письмо, в котором она описывала свою замечательную поездку, большой успех, выпавший театру, и даже похвалилась, что о ее костюмах к спектаклю написали отдельно. «Давно я так не веселилась и не радовалась, — заканчивала она свое письмо. — А в Москве отвратительная погода, тягучий развод с мужем, и все на свете отдала бы, чтобы жить в каком-нибудь другом месте, посолнечнее».

Относительно погоды Ника была совершенно права: уже с августа закончилось лето и сразу же началась поздняя осень. Деревья не успели как следует пожелтеть, и листья от сильных холодных дождей слетали на землю совсем зелеными. После веселого тбилисского сентября наступил невыносимый московский октябрь. В ноябре погода не исправилась, но настроение стало лучше: навалилось много работы. Ника сдавала очередной спектакль у себя в театре, пропадала в мастерских, где без ее глаза портнихи все делали слишком уж приблизительно, к тому же кончала халтуру в театре «Ромэн». Цыганщина ее соблазняла, но оказалось, что работать в этом театре очень сложно: эта самая цыганская вольница, столь обаятельная на городских площадях, в электричках и на театральных подмостках, оборачивалась полным безобразием: назначенные режиссером встречи

происходили с пятого раза, каждая актриса закатывала скандалы, требовала невозможного; и прошло целых полтора месяца, прежде чем Ника с ними расплевалась — после того, как главная исполнительница потребовала от Ники белого кружевного платья, которое уж ни в какие художественные ворота не лезло. Именно в тот день, когда эта немолодая, одна из самых голосистых артисток швырнула Нике в лицо бордово-красный наряд, а Ника столь же ловко отпнула его обратно, подбив артистическим матом для весу — как подшивали прежде грузинки подола легких платьев, — случилась неприятность, которой Ника давно ждала и всячески пыталась избежать.

В двенадцатом часу ночи к ней приехала Маша. Едва открыв дверь, Ника поняла, что неприятность эта произошла. Маша кинулась к ней на грудь:

— Ника, скажи, это неправда? Ведь неправда, скажи!

Ника погладила скользкие от дождя волосы. Молчала.

— Я же знаю, неправда... — твердила Маша, комкая в руках крепдешиновую косынку в косых лиловых, серых и черных клетках. — Зачем она там? Почему?

— Потихе, потихе: ушки на макушке. — Ника сделала предупредительное движение в сторону детской комнаты.

Ника так давно, с самого июля, ждала этой неминуемой бури, что, пожалуй, даже испытала облегчение. Эта дурацкая тягомотина длилась все лето. Уезжая в мае из Поселка, Ника чистосердечно решила сделать Машке этот тайный подарок — уступить Бутонова. Но не получилось. Все то время, пока Маша выгуливала детей в Крыму, Ника ездила к Бутонову, решив про себя, что дальше видно будет. Отношения у них образовались изумительно легкие. Бутонова восхищала в ней чудесная простота, с которой они говорили обо всем на свете, полное отсутствие чувства собственности, и когда он однажды попытался выразить это корявым языком, она его остановила:

— Бутончик, головка у тебя не самое сильное место. Я знаю, что ты хочешь сказать. Ты прав. Дело в том, что у меня мужская психология. Я, как и ты, боюсь влипнуть в длинный роман, в обязательства, в замужество, пропади оно пропадом. Поэтому, имей в виду, я всегда бросаю мужиков первой.

Это было не совсем так, но звучало правдоподобно.

— Ладно, подашь заявление за две недели до ухода, — сострил Бутонов.

— Валера, если ты будешь таким остроумным, я в тебя влюблюсь смертельно, а это опасно. — И Ника засмеялась громко, запрокидывая голову, трясая длинными волосами и грудью. Она смеялась постоянно — в трамвае, за столом, в бассейне, куда однажды ходили, — насмешливый Бутонов поддавался на ее смех, хохот до всхлипов, до боли в животе и потери голоса. Смеялись до изнеможения в постели.

— Ты уникальный любовник, — восхищалась Ника, — обычно от смеха эрекция прекращается.

— Не знаю, не знаю, может, ты меня недостаточно рассмешила...

...Приехавшая в начале июля Маша, сбросив детей Сандрочке, сразу же понеслась в Расторгуево. Ей вдвойне повезло: Бутонова она застала, а Нику — нет, она уехала накануне. Машин приезд совпал с возобновлением заброшенного два года тому назад ремонта. Накануне Бутонов расчистил бабкину половину, в которой лет двадцать не жили, а теперь пришли двое мужиков, нанятых на подмогу. Ника уговорила его не обшивать стены вагонкой, как он хотел, а, наоборот, ободрать до бревен, очистить, заново проконопатить и привести в порядок грубую мебель, тоже оставшуюся после бабки.

— Валер, поверь моему слову, ты сейчас эту мебель на дрова пустишь, а через двадцать лет она будет музейной.

Бутонов удивился, но согласился, и теперь вместе с мужиками обдирал многослойные обои.

— Бутонов! — раздался с улицы женский крик. — Валера!

Он вышел в облаке пыли, в старой докторской шапочке. За калиткой стояла Маша. Он не сразу ее и узнал. Она была в густом крымском загаре, очень привлекательная, и огромная улыбка еле помещалась на узком лице. Просунув руку в щель между штакетинами, она откинула крючок, и пока он медлительно соображал, как бы ее сейчас сплавить — приход ее был не ко времени, — она уже неслась по кривой дорожке и бросилась, как щенок, ему на грудь, уткнулась в него лицом:

— Ужас! Ужас какой! Я уже думала, что никогда тебя больше не увижу!

От ее макушки шел сильный запах моря. И опять он услышал, как тогда, в Крыму, громкий стук ее сердца.

— Черт-те что! Звучит как в фонендоскопе!

От нее шел жар и свет, как от распаленной спирали мощной лампочки. И Бутонов вспомнил то, что забыл: как она яростно и отчаянно сражалась с ним в маленькой комнате Медеино дома, — и забыл то, о чем помнил: о ее длинных письмах, со стихами и рассуждениями о вещах не то чтобы непонятных, но ни на что не годных.

Она прижалась ртом к покрытому пылью медицинскому халату и выдохнула горячий воздух. Подняла лицо — улыбки не было, бледна до того, что два перевернутых полумесяца темных веснушек выступили от скул к носу.

— Вот — я...

Если в бабкиной половине было ремонтное разорение, то на чердаке, куда они поднялись, была настоящая свалка. Ни бабка, ни мать никогда ничего из дома не выбрасывали. Дырявые корыта, баки, рухлядь столетнего накопления. Дом поставил здесь прадед в конце прошлого века, когда Расторгуево было большим селом, и пыль стояла на чердаке действительно вековая. Лечь невозможно. Бутонов посадил Машу на хлипкую этажерку, и она была ну просто как глиняная кошка, только худая; и все произошло сильно и коротко и так, что невозможно было оторваться, и тогда Бутонов перетащил ее на изодранное кресло, и опять его прожгла теснота этого места и сугубая теснота ее детского тела. По отрешенному ее лицу текли слезы, и он слизывал их, и вкус их был вкусом морской воды. О Господи...

Вскоре Машка уехала, и Бутонов опять пошел обдирать обои с мужиками, которые, казалось, и не заметили его отсутствия. Он был пуст, как печная труба, а вернее, как гнилой орех, потому что пустота его была замкнутая и округлая, а не сквозная... ему почудилось, что он отдал больше, чем хотел...

Да, сестрички — он не вникал в тонкости родства — полная противоположность. Одна смеется, другая плачет. Друг друга дополняют.

...Три дня Маша не могла застать Нику дома, хотя названивала не переставая. От Сандры она знала, что Ника в городе. Наконец дозвонилась:

— Ника! Три дня тебя вызваниваю! Куда ты задевалась?

Маше и в голову не приходило, что Ника ее избегает, готовится к встрече.

— Догадайся с трех раз! — фыркнула Ника.

— Новый роман! — прыснула Маша.

— Пять с плюсом! — оценила Ника Машину догадливость.

— Кто к кому? Лучше я к тебе! Сейчас еду! — горела нетерпением Маша.

— Давай лучше в Успенском, — предложила Ника. — Мать, наверное, за трое суток от них очумела.

Детей как свезли в первый день к Сандрочке, так про них и забыли. Сандра с Иваном Исаевичем справляли праздник любви к внукам и вовсе не тяготились. Только Иван Исаевич все тянул на дачу, — чего детей в городе томить...

— Нет-нет, — взмолилась Маша, — лучше я к тебе, там не поговорить!
И Ника сдалась: деваться некуда, все равно придется эту исповедь принимать.

С того дня Ника приняла на себя роль доверенного лица. Положение ее было более чем двусмысленное, а сказать, что в этом деле у нее и своя доля, было как будто поздно. Маша, в своей любовной горячке, торопилась рассказать Нике о каждом свидании, и это было для нее чрезвычайно важно. За многие годы она привыкла делиться с мужем самыми незначительными переживаниями, а теперь Алик не мог быть ее собеседником, и она все обрушивала на Нику, вместе со стихами, которые писала постоянно. Расторгуевская осень, шутила Маша.

И прежде знакомая с бессонницей, в эти месяцы Маша спала дырявым заячьим сном, полным звуками, строками, тревожными образами. Во сне приходили какие-то нереальные животные, многоногие, многоглазые, полуптицы-полукошки, с символическими намеками. Одно, страшно знакомое, ластилось к ней, и имя его было ей тоже знакомо, оно состояло из ряда букв и цифр. Проснувшись, она вспомнила странное имя — Ж4836... Засмеялась. Это был номер, отпечатанный жирными черными знаками на полотняных ленточках, которые она пришивала к постельному белью для прачечной. Вся эта чепуха была значительна. Один раз приснилось совершенно законченное стихотворение, которое она в полусне и записала. Наутро с изумлением прочла его:

Сквозь «вы» на «ты»
и далее в пролет
несуществующих местоимений,
своею речью твой наполню рот,
твоим усилиям послужу мишенью,
и в глубине телесной темноты,
в огне ее мгновенного пробоа,
все рушится, как паводком мосты, —
границы нет меж мною и тобою.

— Ну просто под диктовку записала, посмотри, ни одной помарки, — показывала она Нике ночную запись.

Извещенная Машей о каждом слове, произнесенном Бутоновым, о каждом его движении, Ника отчасти даже забавлялась тем, что по минутам знает, как провел он вчерашний день.

— Жареной картошки не осталось? — невинно спрашивала она у Бутонова, потому что Маша накануне сказала ей, что чистила картошку и порезала палец.

Бутонов не говорил с Никой о Маше, она тоже не заикалась о ней, и у Бутонова сложилось впечатление, что сестры прекрасно знают о положении вещей и даже поделили дни недели: Маша приезжала по выходным, Ника — по будням. Но никакого сговора, конечно, не было. Просто по выходным Ника ездила на дачу навещать детей: то Лизу, которая жила у Сандры на даче, то Катю, которая отдыхала на даче у своей другой бабушки. Алик Маленький тоже гостил у Сандры. Алик Большой старался брать дежурства на «Скорой» по выходным, чтобы не терять лабораторного времени, а Маша, предпочитая не врать, а благородно умалчивать, уходила в те дни, когда и Алика не было дома. Впрочем, он всегда проводил дома мало времени.

Алик был ровен и хорош, лишних вопросов не задавал, и разговоры их вертелись по-прежнему около отъезда. Уже было заказано приглашение из Израиля. И хотя Маша эту тему поддерживала, отъезд казался ей нереальным.

В сентябре, когда Ника уезжала в Тбилиси, Маша просто изнемогала от ее отсутствия, пыталась даже дозвониться в Тбилиси, но в гостинице застать ее было невозможно. Ниночка тоже не смогла сказать ей, где можно найти Нику.

В сентябре Бутонов закончил ремонт, переехал к жене, в Хамовники, но после ремонта расторгуевский дом стал для него притягательным, и он ночевал там два-три раза в неделю. Иногда он заезжал за Машей, и они ехали в Расторгуево вместе на машине. В Расторгуеве они однажды даже ходили за грибами, ничего не нашли, вымокли до белья, а потом сушили вещи у печки, и сгорел один Машин носок. И это тоже было маленьким событием жизни — как и порезанный палец, как ссадина или синяк, полученные Машей в любовных трудах. То ли дом Бутонова был к ней враждебен, то ли она вызывала Бутонова на некоторую сексуальную грубость, но таких маленьких травм было множество, и этими памятными знаками страсти она даже немного гордилась.

Когда Ника наконец вернулась из Тбилиси, Маша долго рассказывала ей обо всех этих мелочах и в конце между прочим сообщила, что пришло приглашение. Ника только диву давалась, как у Маши перевернулись мозги, — именно получение приглашения и было важным сообщением. Отъезд обозначал разлуку, может быть, навсегда, а Маша то показывала синяки, то читала стихи. Нике на этот раз тоже было чего порассказать, что она с удовольствием и сделала. Ее действительно увлекал новый роман, и про себя она решила, что это очень подходящий момент, чтобы поставить на Бутонове точку.

Целую неделю она, как Пенелопа, ждала приезда Вахтанга, который должен был приехать на кинопробы, но приезд его все откладывался, и Ника, чтобы не терять формы, заехала к Бутонову. Поскольку Маша постоянно докладывала ей о всех своих передвижениях, труда не составляло выбрать подходящее время.

Бутонов Нике очень обрадовался. Ему хотелось показать ей отремонтированную половину дома — как-никак, Ника была его личным дизайнером. Ему очень нравился ремонт, идея с обнаженными бревнами, но Ника пришла в ужас, увидев, что бревна залили лаком. Велела лак отмыть разбавителем. Передвинула мебель, показала, где и что надо починить, а к чему не прикасаться. Все-таки много лет она прожила в доме с краснодеревщиком, и будучи человеком талантливым, и здесь все быстро схватила. Обещала привезти ему красного стекла, чтобы вставить в буфет вместо утраченного, и сшить занавески в театральной пошивочной... Косынка Никина соскользнула в какой-то момент, притаилась, как змея, между простыней и матрацем, и Ника не нашла ее, хотя наутро долго искала. Косыночка была собственноручная, в косую клеточку, одна из тех, на которых она осваивала когда-то еще в училище батик...

Когда Маша с порога приступила к ней — правда, неправда? — Ника строго перебила ее и спросила:

— А что сказал Бутонов?

— Что вы с ним давно, еще с Крыма... Не может этого быть, не может. Я сказала ему, что это невозможно...

— А он? — не отставала Ника.

— А он говорит: прими как факт. — Маша все комкала Никину косынку, которая и олицетворяла собой некий факт.

Ника вытянула косынку из ее рук, бросила под зеркало:

— Вот и прими!

— Не могу, не могу! — взвыла Маша.

— Машка, — вдруг обмякла Ника, — ну так уж случилось. Ну что теперь делать, вешаться, что ли? Не будем устраивать трагедии. Прямо какие-то «Опасные связи», черт знает что...

— Ничка, солнышко мое, но как же мне быть! Я должна к этому привыкнуть, что ли? Я сама не понимаю, почему так больно. Когда я эту косынку вытащила, я чуть не умерла. — И снова встрепенулась: — Нет-нет, невозможно!

— Да почему же невозможно? Почему?

— Не могу объяснить. Вроде так: все могут со всеми, все необязательно, выбор приблизителен и все взаимозаменяемы. Но здесь-то, я знаю,

здесь — единственность, перед которой все прочее вообще не имеет смысла. Единственность...

— Ангел мой, — остановила ее Ника, — каждый случай единствен, поверь моему слову. Бутонов отличный любовник, и это измеряется сантиметрами, минутами, часами, количеством гормонов в крови. Это просто параметры! У него хорошие данные — и все! Алик твой замечательный человек, умный, талантливый, но он тебя просто недо...

— Заткнись! — закричала Маша. — Заткнись! Возьми себе своего Бутонова со всеми его сантиметрами! — И Маша выскочила вон, почему-то схватив с подзеркальника косынку, только что возвращенную Нике.

Ника ее не остановила — пусть перебесится. Если у человека есть идиотские иллюзии, от них надо избавляться. В конце концов, правильно сказал Бутонов: прими как факт. А тут — Ника впервые в жизни с раздражением подумала о Машиных стихах — «Прими и то, что свыше меры, как благодать на благодать...» Вот и прими. Прими жизнь как факт...

«Дорогой Бутонов! Я знаю, что переписка — не твой жанр, что из всех видов человеческих взаимоотношений для тебя самый существенный — тактильный. И даже профессия твоя такова — в пальцах, в прикосновениях, в тонких движениях. И если в этой плоскости-поверхности пребывать, в прямом и переносном смысле, то все происходящее совершенно правильно. У касаний нет ни лица, ни глаз — одни рецепторы работают. Мне и Ника пыталась то же объяснить: все определяется сантиметрами, минутами, уровнем содержания гормонов. Но ведь это только вопрос веры. На практике оказалось, что я исповедую другую веру, что мне важно еще и выражение лица, внутреннее движение, поворот слова и поворот сердца. А если этого нет, то мы друг для друга только вещи, которыми пользуются. Собственно говоря, меня это больше всего и мучает: разве кроме взаимоотношений тел нет никаких иных? Разве нас с тобой ничего не связывает, кроме объятий до потери мира? Разве там, где теряется ощущение границ тела, не происходит никакого общения превыше телесного?

Это Ника, твоя любовница, моя более чем сестра, говорит мне: есть только сантиметры, минуты, гормоны... Скажи — нет! Ты скажи — нет! Неужели ничего между нами не происходило, что не описывается никакими параметрами? Но тогда нет ни тебя, ни меня, вообще никого и ничего, а все мы механические игрушки, а не дети Господа Бога. Вот тебе стишок, дорогой Бутонов, и, прошу тебя, скажи «нет».

Играй, кентавр, играй,
химера двух природ,
гори, огонь, по линии раздела
бессмертной человеческой души
и конского невзнузданного тела.
Наследственный удел — искусство перевоза.
Два берега лежат, забывши о родстве,
а ты опять в поток, в беспамятные воды,
в которых я никто, — ни миру, ни тебе.

Маша Миллер».

Прочитав письмо, Бутонов только крякнул. Зная уже Машин характер, он ожидал от нее больших переживаний по поводу открывшейся конкурентки. Но ревности, которая выражалась бы так непросто, так витиевато, он и предположить не мог. Видно, страдает девчонка. И дней через десять, дав улечься происшествию с косынкой, он позвонил и спросил, не хочет ли она прокатиться в Расторгуево. Маша через паузы, через редкие «да», «нет», — хотя и на телефонном расстоянии чувствовал Бутонов, что она только о том и мечтает, — согласилась.

В Расторгуеве все было по-новому, потому что выпал настоящий снег, и сразу так много, что занесло тропинку от калитки до крыльца, и, чтобы загнать машину, Бутонову пришлось сгребать деревянной лопатой снег в большой сугроб.

В доме было холодно, казалось, что внутри холоднее, чем снаружи. Бутонов сразу же задал Маше такую хорошую встрепку, что обоим стало жарко. Она стонала сквозь слезы и все требовала: скажи — нет!

— Какого же тебе «нет», когда «да», «да», «да»... — смеялся Бутонов.

А потом он затопил печку, открыл банку завалявшихся консервов, «Килька в томатном соусе», сам ее и съел. Маша к еде не прикоснулась. Другого ничего в доме не было. В Москву решили не возвращаться, пошли пешком до станции, Маша позвонила по автомату домой и сказала Деборе Львовне, что ночевать не приедет, поскольку заехала к друзьям на дачу и не хочет на ночь глядя возвращаться. Свекровь пыхнула гневом:

— Конечно! О муже и ребенке ты не беспокоишься! Если хочешь знать, как это называется...

Маша повесила трубку:

— Все в порядке, предупредила...

По белой дороге они пошли к дому.

В доме Бутонова было прохладно: дом тепла не держал.

«Теперь печка на очереди, в будущем году переложу», — решил Бутонов.

Устроились на кухне, там было все-таки теплее. Стащили матрасы со всего дома. Только согрелись, у Бутонова заболел живот, и он пошел в уборную, во двор. Вернулся, лег. Маша, водя пальчиками по его лицу, стала говорить об одушевленности пола, о личности, которая выражает себя прикосновением... Рыбные консервы всю ночь гоняли Бутонова во двор, живот крутило, бессонная Маша что-то тренькала нежным голосом с надрывно-вопросительной интонацией. Надо отдать ему должное, он был вежлив и не просил Машу заткнуться, просто временами, когда немного утихала боль, он проваливался в сон. Утром, когда они уже ехали в город, Бутонов сказал Маше:

— За что я тебе сегодня благодарен, что ты, пока меня понос одолевал, хоть стихов мне не читала...

Маша посмотрела на него с удивлением:

— Валера, а я читала... Я тебе «Поэму без героя» ахматовскую прочла...

С мужем отношения у Маши не разладились, но в последнее время они стали меньше общаться. Полученное приглашение не было подано, поскольку Алик, прежде подачи документов, хотел уволиться с работы, а прежде ухода ему нужно было закончить какую-то серию опытов. Он пропал в лаборатории допоздна, отказался от дежурств на «Скорой». Время от времени оттаскивал в букинистический рюкзак с книгами: с отцовской библиотекой все равно предстояло расставаться. Он видел, что Маша мечется, нервничает, и относился к ней с нежностью, как к больной.

В декабре Бутонов уехал в Швецию — недели на две, как он сказал, хотя, конечно, отлично знал день возвращения. Любил свободу. Ника почти не заметила его отсутствия. Предстояла очередная сдача детского спектакля к школьным каникулам, к тому же приехал наконец Вахтанг, и все свободное время Ника проводила с ним и его друзьями, московскими грузинами. Гоняла по ресторанам, то в Дом кино, то в ВТО.

Маша затосковала, все пыталась добраться хоть до Ники, чтобы поговорить с ней о Бутонове, но Ника была недосыгаема. С другими подругами говорить о Бутонове было неинтересно и даже невозможно.

Бессонница, которая до той поры только точила свои коготки, в декабре одолела Машу. Алик приносил ей снотворное, она кое-как засыпала, но искусственный сон был еще хуже, чем бессонница: навязчивое сновидение начиналось с любого случайного места, но всегда сводилось к одному: она искала Бутонова, догоняла его, а он ускользал, проливался, как вода, прикидывался, как в сказках, разными предметами, растворялся, превращался в дым...

Два раза Маша ездила в Расторгуево, просто для того, чтобы совершить эту поездку от Павелецкого вокзала, доехать в электричке до станции Расторгуево, от станции дойти пешком до его дома, постоять немного у калит-

ки, увидеть заснеженный дом, темные окна и вернуться домой. Все это занимало часа три с половиной, и особенно приятна была дорога туда...

Две недели уже прошло, но он не объявлялся. Маша позвонила ему в Хамовники. Пожилой и усталый женский голос ответил, что он будет часов в десять. Но его не было ни в десять, ни в одиннадцать, а на другое утро тот же голос ответил: позвоните в пятницу.

— А он приехал? — робко спросила Маша.

— Я говорю вам, позвоните в пятницу, — раздраженно ответила женщина.

Был только понедельник.

«Приехал, и не звонит», — огорчилась Маша. Позвонила Нике, спросила, не знает ли она что-нибудь о Бутонове. Но Ника ничего не знала.

Маша опять собралась в Расторгуево, на этот раз ближе к вечеру. Снег перед воротами бутоновского дома был расчищен, ворота закрыты и заперты. Машина стояла во дворе. В бабкиной половине горел маленький свет. Маша рванула застылую калитку. Тропинка к дому была завалена снегом. Она шла, проваливаясь чуть не до колен. Долго звонила в дверной звонок — никто не открыл.

Хотелось проснуться, настолько это было похоже на один из снов — также ярко, горько, и Бутонов также мелькал каким-то знаком присутствия, вроде его бежевой машины, которая стояла со снежным одеялом на крыше, — не давался в руки Бутонов.

Маша постояла минут сорок и ушла.

«Там Ника», — решила она и поехала домой.

В электричке она думала не о Бутонове, о Нике. Ника была соучастницей ее судьбы с раннего возраста. Их соединяла, помимо всего, еще и физическая приязнь. Никины выпуклые губы в поперечных морщинах, запас на улыбку, складки скрытого смеха в уголках рта, хрустящие рыжие волосы нравились Маше с детства, как Нике — Машина миниатюрность, маленькие ступни, резкость, тонкость во всем облике. Что касается Маши, то она без колебаний предпочла бы Нику самой себе. Ника же никогда о подобных вещах не задумывалась. И Бутонов соединил их каким-то таинственным образом... как Иаков, женившийся на двух сестрах... их можно было бы назвать «сожённы», как бывают «собратья». Иаков входил в их шатры, брал их, их служанок, и это была одна семья... И что такое ревность, как не вид жадности... нельзя владеть другим человеком... пусть так — все были бы братья и сестры, мужья и жены... и сама же улыбнулась: великий бордель Чернышевского, какой-то там сон Веры Павловны. Ничего единственного, ничего уникального, ничего личного. Все скучно и бездарно. Свободны мы или нет? Откуда это чувство стыда и неприличия? Пока доехала до Москвы, написала Нике стихотворение:

Вот место между деревом и тенью,
вот место между жаждой и глотком,
над пропастью висит стихотворенье, —
по мостику висячему пройдем.
Потемки сна и коридоры детства
трофейным освещая фонарем,
и от признаний никуда не деться:
не убиваем, ложек не крадем,
не валенками шлепаем по лужам,
не песенки запретные поем,
но, ощущая суеверный ужас,
мы делаем ужасное вдвоем...

До дома добралась около двенадцати, Алик ждал на кухне с бутылкой хорошего грузинского вина. Он закончил сегодня эксперименты и мог бы уже завтра подать заявление об уходе. Только тут Маша окончательно поняла, что скоро она уедет навсегда.

«Отлично, отлично, кончится вся эта позорнейшая тягомотина», — подумала Маша. Они провели с Аликом длинный вечер, затянувшийся почти до четырех утра. Разговаривали, строили планы, а потом Маша заснула без сновидений, взяв Алика за руку.

Проснулась она поздно. Деборы Львовны уже несколько дней не было: в последние дни она много времени проводила у больной сестры. Алики уже позавтракали, играли в шахматы. Картина была самая мирная, даже с кошкой на диванной подушке.

«Как хорошо, кажется, я начинаю выздоравливать», — думала Маша, крутя тугую ручку кофейной мельницы. Потом взяли санки и пошли втроем на горку. Вывалялись в снегу, взмокли, были счастливы.

— А в Бостоне снег бывает? — спросила Маша.

— Такого не бывает. Но мы будем в штат Юта ездить на горных лыжах кататься, будет не хуже, — пообещал Алик. А все, что он обещал, он всегда выполнял.

...Бутонов позвонил в тот же день:

— Ты не соскучилась?

Накануне он видел топтавшуюся у калитки Машу, но не открыл ей, потому что в гостях была дама, милая толстуха переводчица, с которой они были вместе в поездке. Две недели они поглядывали друг на друга выразительно, но все случая не представлялось. Мягкая и ленивая женщина, очень похожая, как он теперь понял, на его жену Ольгу, сонной кошкой ворочалась в бутоновских объятиях под треньканье Машкиных звонков, и Бутонов почувствовал острое раздражение против переводчицы, Машки и себя самого. Ему нужна была Машка, острая, резкая: со слезами и стонами, а не эта толстуха. Он звонил Маше с утра, но сначала телефон не отвечал: он был отключен, — потом два раза подходил Алик, и Бутонов вешал трубку и только под вечер дозвонился.

— Пожалуйста, больше не звони, — попросила Маша.

— Когда? Когда приедешь? Не тяни, — не расслышал Бутонов.

— Нет, я не приеду. И не звони мне больше, Валера. — Уже тягучим, плаксивым голосом: — Я не могу больше.

— Машка, я соскучился ужасно. Ты что, сбрендил? Обиделась? Это недоразумение, Маш. Я через двадцать пять минут буду у твоего дома. Выходи, — и повесил трубку.

Маша заметалась. Она так хорошо, так прочно решила больше с ним не видеться, испытала если не освобождение, то облегчение, и сегодняшний день был такой хороший, с горкой, с солнцем... «Не пойду», — решила Маша.

Но через тридцать пять минут накинула куртку, крикнула Алику:

— Буду через десять минут! — И понеслась вниз по лестнице, даже лифта не вызвав.

Бутоновская машина стояла у порога. Она рванула ручку, села рядом:

— Я должна тебе сказать...

Он сгреб ее, сунул руки под куртку:

— Обязательно поговорим, мальш.

Тронул машину.

— Нет-нет, я не поеду. Я вышла сказать, что я никуда не поеду.

— Да мы уже поехали, — засмеялся Бутонов.

В этот раз Алик обиделся.

— Чистое свинство! Неужели сама не понимаешь? — отчитывал он ее поздно вечером, когда она вернулась. — Человек уходит на десять минут, а приходит через пять часов! Ну что я должен думать? Попала под машину? Убили?

— Ну прости, ради Бога, ты прав, свинство. — Маша чувствовала себя глубоко виноватой и глубоко счастливой.

А потом Бутонов исчез на месяц, и Маша всеми силами старалась принять его исчезновение «как факт», и этот факт прожигал ее до печенок.

Она почти ничего не ела, пила сладкий чай и вела нескончаемый внутренний монолог, обращенный к Бутонову. Бессонница приобретала все более острую форму.

Алик встревожился: нервное расстройство было очевидно. Он стал давать Маше транквилизаторы, увеличил дозировку снотворного. От психотропных препаратов Маша отказалась:

— Я не сумасшедшая, Алик, я идиотка, и это не лечится...

Алик не настаивал. Он считал, что это еще одна причина, почему надо торопиться с отъездом.

Дважды приезжала Ника. Маша говорила только о Бутонове. Ника его ругала, сама каялась и клялась, что видела его в последний раз в декабре, еще перед его поездкой в Швецию. Еще говорила, что он пустой человек и вся эта история только тем и ценна, что Маша написала столько замечательных стихов. Маша послушно читала стихи и думала, неужели Ника ее обманывает и это она была у Бутонова, когда Маша звонила под дверью...

Алик гонял по всякого рода канцеляриям. Собрал целую кучу документов. Он спешил не только из-за Маши, в Бостон гнала его и работа, в отсутствие которой он тоже как бы заболел. Способ выезда был непростой: сначала в Вену, по еврейскому каналу, а оттуда уже в Америку. Не исключено было, что между Веной и Америкой вклинится еще и Рим, — это зависело от скорости прохождения документов уже через зарубежных чиновников.

Ко всем сложностям отъезда неожиданно прибавился еще и бунт Деборы Львовны: никуда не поеду, у меня больная сестра, единственный близкий человек, я ее никогда не оставлю... Дальше шел канонический текст «идише маме»: я всю жизнь на тебя положила, а ты, неблагодарный... этот проклятый Израиль, от него у нас всю жизнь неприятности... эта проклятая Америка, чтоб она провалилась...

Перед подобными аргументами Алик замолкал, брал мать за плечи:

— Мамочка моя! Ты умеешь играть в теннис? А на коньках кататься? Есть что-то на свете, чего ты не умеешь? Может быть, ты чего-то не знаешь? Какой-нибудь малости? Помолчи, умоляю тебя. Никто тебя не бросает, мы едем вместе, а Фиру твою мы будем содержать из Америки. Я буду там зарабатывать много денег...

Дебора Львовна затихала на минутку, а потом вспенивалась новой страстью:

— Что мне твои деньги? Мне плевать на твои деньги! Мы с папой всегда плевали на деньги! Вы погубите ребенка своими деньгами!

Алик хватался за голову, уходил в комнату.

Когда все документы были собраны, Дебора Львовна категорически отказалась ехать, но разрешение на отъезд дала. Документы наконец подали, и снова объявился Бутонов. Он звонил из Расторгуева, по автомату, просил приехать. Дело было утром, Маша собрала Алика, отвезла его к Сандре, поехала в Расторгуево — прощаться.

Прощанье удалось. Маша сказала Бутонову, что приехала в последний раз, что скоро уезжает навсегда и ей хочется увезти с собой в памяти все до последней черты. Бутонов заволновался:

— Навсегда? Вообще-то правильно, жизнь у нас хреновая по сравнению с западной, я повидал. Но навсегда...

Маша прошла по дому, запоминая его, потому что дом ей тоже хотелось увезти в памяти. Потом они вместе с Бутоновым поднялись на чердак. Здесь было по-прежнему пыльно и захлавлено. Бутонов споткнулся о выбитое сиденье венского стула, поднял его:

— Маша, посмотри.

Центр сиденья был весь пробит насквозь ножевыми ударами, вокруг лежали метки неточных попаданий. Он подвесил сиденье на гвоздь.

— Это главное занятие моего детства.

Он вынул нож, отошел на другой конец чердака и метнул. Лезвие воткнулось в стену в самой середине круга, в старой пробоине...

Маша вытащила нож из стены, подошла к Бутонову. Ему показалось, что она тоже хочет метнуть нож в цель, но она только взвесила его на руке и отдала ему:

— Теперь я знаю про тебя все...

После этой поездки Маша начала тихие сборы в эмиграцию. Вытащила все бумаги из ящиков письменного стола, разбирала, что выбросить, что сохранить. Таможенники не пропускали рукописей, но у Алика был знакомый в посольстве, и он обещал отправить Машины бумаги по дипломатическим каналам. Она сидела на полу в ворохе бумаги, перечитывала каждую страницу, над каждой задумывалась, грустила. Вдруг оказалось, что все написанное лишь черновик к тому, что ей хотелось бы написать теперь.

— Соберу сборник, назову его «Бессонница».

Стихи выходили на нее, как звери из лесу, совершенно готовыми, но всегда с каким-то изъяном, с хромотой в задней ноге, в последней строфе...

Есть ясновиденье ночное,
когда детали прячет тьма,
из всех полосок на обоях
лишь белая одна видна.
Мой груз дневной растаять хочет,
заботы, мелочь, мельтешня,
восходит гениальность ночи
над неталантливостью дня.
Я полюбила даль бессонниц,
их просветленный горизонт.
На дне остаток нежной соли,
и все недостижимей сон...

Маша сильно похудела, утончилась еще более, и утончился тот дневной мир, который, в отличие от ночного, казался ей неталантливым. Появился ангел. Она не видела его воочию, но ощущала его теплое присутствие и иногда резко оборачивалась, потому что ей казалось, что очень быстрым взглядом его можно уловить.

Когда он приходил во сне, черты его были яснее, и та часть сна, в которой он являлся, была как вставка цветного куска в черно-белом фильме. Он выглядел всегда немного по-разному, умел принимать человеческое обличье, однажды явился к ней в виде учителя, в белой одежде наподобие костюма фехтовальщика, и стал учить ее летать. Они стояли на склоне живой, слегка дышащей горы, тоже принимающей свое неопределенное участие в этом уроке.

Учитель указал ей на какую-то область позвоночника, ниже уровня плеч и глубже, где таился маленький орган или мышца, и Маша почувствовала, что полетит, как только обучится легкому и точному движению, управляющему этим органом. Она сосредоточилась и как будто включила кнопку — тело ее стало очень медленно отрываться от горы, и гора немного помогала ей в этом движении. И Маша полетела тяжело, медленно, но было уже совершенно ясно, что надо делать, чтобы управлять скоростью и направлением полета, куда угодно и бесконечно. Она подняла голову — выше ее летали люди точным и сильным полетом, и она поняла, что тоже может летать так свободно и быстро. Тогда она медленно опустилась, так и не испробовав всей полноты наслаждения.

Этот полет не имел ничего общего с птичьим, никаких взмахов, никакой аэродинамики — одно усилие духа...

В другой раз ангел учил ее приемам особой словесно-мысленной борьбы, какой не бывает в здешнем мире. Как будто слово было в руке, и оно было оружием, он вложил его ей в руку, гладкое, удобное в ладо-

ни, и повернул кисть, и смысл сверкнул острым лучом. И тут же немедленно появились два противника: один справа и выше, второй слева и чуть ниже, как будто все происходило на скошенном склоне горы. Оба были опасные и опытные враги, умелые в искусстве боя. Один сверкнул в нее — и она ответила. Второй, с небольшого расстояния, нанес быстрый удар, и каким-то чудом ей удалось его отразить. В этих нападениях был острый диалог, непереводаемый, но совершенно ясный по смыслу. Оба они подсмеивались над ней, указывали на ее ничтожество и полную несоразмерность с их мастерским классом. Но она, изумляясь все более, отражала каждый удар и с каждым новым движением обнаруживала, что оружие в ее руках делается все умнее и точнее и борьба эта действительно более всего напоминает фехтование. Тот, что был справа, был злей и насмешливей, но он отступал. Отступил и второй... их не стало. Это значило, что она победила.

И тогда она со слезами, с открытым рыданием кинулась на грудь к учителю — и он сказал ей:

— Не бойся. Ты видишь, никто не может причинить нам вреда...

И Маша заплакала еще сильнее от ужасающей слабости, которая и была ее собственной, потому что вся умная сила, которой она их победила, была не ее собственная, а заемная, от него...

Нечеловеческую свободу и неземное счастье Маша испытывала от этого нового опыта, от областей и пространств, которые открывал ей ангел, но, при всей новизне и невообразимости происходящего, она догадывалась, что запредельное счастье, переживаемое ею в близости с Бутоновым, происходит из того же корня, той же породы.

Ей хотелось спросить об этом ангела, но он не давал ей задать вопрос: когда он появлялся, она подчинялась его воле с наслаждением и старанием.

Но зато, когда он исчезал, иногда на несколько дней, становилось очень плохо, как будто счастье его присутствия надо было непременно оплачивать душевным мраком, темной пустотой и тоскливыми монологами, обращенными к почти не существующему Бутонову.

Фаворский свет нам вынести едва ли,
но во сто крат трудней
пустого диска темное сиянье
всех следующих дней.

Маша колебалась, рассказывать ли об этом Алику. Она боялась, что он, с его рационализмом, станет оценивать ее сообщение не с точки зрения мистической, а с точки зрения медицинской. Но в ее случае между мистикой и медициной пролегалo поле поэзии, на котором она была хозяйкой. Отсюда она и начала. Поздним вечером, когда весь дом уже спал, она стала читать ему последние стихи:

Я подглядела, мой хранитель,
как ты присматривал за мной.
К обломку теплого гранита
я прижималась головой,
когда из Фрейдových угодий,
из темноты, из гуши сна,
как сор на берег в половодье,
волна меня в мой дом внесла,
и, как в бетоне и в металле
гнездятся пузыри пустот,
в углу протяжно и овально
крыла круглился поворот.
Мне кажется, мой ангел плакал,
прикрыв глаза свои рукой,
над близости условным знаком,
и надо мной, и над тобой.

— Я думаю, Маша, это очень, очень хорошие стихи. — Алик был искренне восхищен, в отличие от тех случаев, когда выражение одобрения считал почти семейной обязанностью.

— Это правда, Алик. То есть стихи, да, это не метафора и не воображение. Это действительное присутствие...

— Ну, разумеется, Маша, иначе вообще ни о каком творчестве и речи быть не может. Это метафизическое пространство... — начал он, но она его перебила:

— Ах нет! Он приходит ко мне, как ты... Он научил меня летать и многому другому, что нельзя пересказать, нельзя выразить словами. Ну вот, послушай:

Взгляни, как чайке труден лёт, —
ее несовершенны крылья,
как напряженно шею гнет,
как унизительны усилья
себя в волну не уронить,
срывая с пены крохи пищи...
Но как вместить, что каждый нищий
получит очи, и чело, и оперенное крыло
взамен лохмотьев и медяшек
и в горнем воздухе запляшет
без репетиций, набело...

Такое простенькое стихотворение, и как будто из него и не следует, что я летала, что я действительно там была, где полет естествен, как... как все...

— Ты хочешь сказать, галлюцинации, — встревожился Алик.

— Ах нет, какие галлюцинации! Как ты, как стол... реальность. Но немного иная. Объяснить не берусь. Я как Пуська, — она погладила кошку, — все знаю, все понимаю, но сказать не могу. Только она не страдает, а я страдаю.

— Маша, но я должен тебе сказать, что у тебя все получается. Отлично получается. — Он говорил мягко и спокойно, но был в крайнем замешательстве: шизофрения, маниакально-депрессивный психоз?

«Завтра позвоню Летневскому, пусть разберется». Летневский, врач-психиатр, был приятелем его однокурсника, а в те времена еще не распалось цеховое содружество врачей, наследие лучших времен и лучших традиций...

А Маша все читала, уже не могла остановиться:

Когда меня переведет
мой переводчик шестикрылый
и облекутся полной силой
мои случайные слова,
скажу я: отпускаешь ныне
меня, в цвету моей гордыни,
в одежде радужной грехов,
в небесный дом, под отчий кров.

...Бутонов Машу все не отпускал. Трижды ездила к нему в Расторгуево, и каждая встреча была прощальной, последней. Казалось, что взятая нота была так высока, что выше уже не подняться — сорвется голос, все сорвется... Только теперь, когда каждая встреча была как последняя, Бутонов признался себе, что Маша настолько затмила свой прообраз, полузабытую Розку, что он не мог даже вспомнить лица исчезнувшей наездницы, и уже не Маша казалась ему подобием Розки, а, наоборот, та мелькнувшая любовь была обещанием теперешней, и неминуемый отъезд усиливал страсти.

Тех двух-трех женщин, которые одновременно и необязательно присутствовали в его жизни, он забросил. Одна, даже несколько нужная по делу, секретарша из Спорткомитета, дала ему понять, что обижена его пренебрежением, вторая, клиентка, молодая балерина, для которой он де-

лал исключение, поскольку массажный стол считал рабочей поверхностью, а не станком для удовольствий, отпала сама собой, переехав в Ригу. Нику он действительно не видел с декабря, перезванивались несколько раз, выражали вежливое желание встретиться, но оба и шагу не делали.

У Бутонова назревал очередной профессиональный кризис. Ему надоела спортивная медицина, однообразные травмы, с которыми он постоянно имел дело, и жестокие интриги, связанные с выездами за рубеж. Подоспело интересное предложение: при Четвертом управлении организовывали реабилитационный центр и Бутонов был одним из претендентов на заведование. Это сулило разные интересные возможности. Жена Оля, достигшая к тридцати пяти годам профессионального потолка, как это бывает у математиков, подталкивала Валерия: новое дело, современное оборудование, нельзя же всю жизнь по одним и тем же точкам пальцами двигать... Иванов, высохший и желтый, все более походивший с годами на буддийского монаха, предостерегал: не по твоему уму, не по твоему характеру... В этом замечании присутствовало одновременно и уважительное признание, и тонкое пренебрежение.

Бутонов, высоко ценивший Нику, особенно после ее столь удачного вмешательства в ремонт, решил с ней посоветоваться. Встретил ее возле театра, пошли в паршивенький ресторанишко на Таганской площади, удобный своим расположением, на перекрещении их маршрутов. Выглядела Ника отлично, хотя все в ней было немного чересчур: длинная шуба, короткая юбка, большие кольца и пушистая грива. Просто и весело болтали о том о сем, смеялись. Бутонов рассказал ей о своей проблеме, она неожиданно подобралась, нахмурилась, сказала резко:

— Валера, знаешь, в нашей семье есть одна хорошая традиция — держаться подальше от властей. У меня был один близкий родственник, еврей-дантист, у него была чудесная шутка: душой я так люблю советскую власть, а вот тело мое ее не принимает. А ты на этой работе будешь все время это тело тискать... — Ника выругалась предпоследними словами, легко и высокохудожественно.

У Бутонова на сердце сразу полегчало, своим веселым матом Ника решила его вопрос, Четвертое управление он отменил. О чем он и сообщил ей тут же, с благодарностью. Их дружеское расположение достигло такого градуса, что, покончив с шашлыками, они сели в бежевый «Москвич» и Бутонов, не задавая лишних вопросов, развернулся на Таганской площади и взял курс на Расторгуево.

...Маша маялась самым нестерпимым видом бессонницы, когда все снотворные уже приняты и спят руки, ноги, спина, спит все, кроме небольшого очага в голове, который посылает один и тот же сигнал: не могу уснуть, не могу уснуть, не могу уснуть... Она выскользнула из постели, где, подтянув колени к подбородку, спал Алик Большой, такой маленький в этой детской позе, пошла на кухню, выкурила сигарету, подставила руки под холодную воду, умылась и прилегла в кухне на кушетке. Закрывает глаза, и опять: не могу уснуть, не могу уснуть...

Он стоял в дверном проеме, всегдашний ангел, в темно-красном, мрачном, лицо его было неясным, как будто в маске, но глаза сияли, как из прорезей, густым синим. Маша отметила, что проем был ложным: настоящая дверь была правее. Он протянул к ней руки, положил ей на уши, даже прижал немного.

«Сейчас научит ясновиденью», — догадалась она и поняла, что надо снять халат. Осталась в длинной ночной рубашке. Он оказался позади нее и зажал руками уши и глаза, а пальцами стал водить поперек лба, доходя до самой переносицы. Тонкие цветочные волны приплывали и уплывали, радуга, растянутая на множество оттенков. Он ждал, что она остановит его, и она сказала:

— Хватит.

Пальцы замерли. В полосе бледно-желтого, с неприятным зеленым оттенком, цвета она увидела двоих — мужчину и женщину. Очень молодых и

стройных. Они приближались, как в бинокле, до тех пор, пока она не узнала их — это были родители. Они держались за руки, были заняты друг другом, на маме было голубое в синюю полоску знакомое платье. И лет ей было меньше, чем самой Маше. Жаль, что они ее не видели.

«Этого нельзя», — поняла Маша и закрыла глаза. Он снова стал гладить ее поперек лба и нажал на какую-то точку. «Бутоновская наука, точечная», — подумала Маша. Она остановила полосу желтого цвета — и увидела расторгуевский дом, закрытую калитку, возле калитки себя. И машина за воротами, и маленький свет в бабкиной половине. Она прошла через калитку, не открывая ее, подошла к светящемуся окну, а вернее, окно приблизилось к ней, и, легко поднявшись в воздух, пролетела внутрь, сделав легкий нырок.

Они ее не увидели, хотя она была совсем рядом. Длинной запрокинутой Никиной шеи она могла бы коснуться рукой. Ника улыбалась, даже, пожалуй, смеялась, но звук был выключен. Маша провела пальцем по бутоновской лоснистой груди, он не заметил. Но губа его дрогнула, поплыла, и передние зубы, из которых один был поставлен чуть-чуть вкривь, открылись...

— ...Развернись, пожалуйста, и давай обратно, — тихо сказала Ника Бутонову, разглядев за окнами Рязанское шоссе.

— Ты так думаешь? — слегка удивился Бутонов, но спорить не стал, включил поворотник, развернулся.

Остановился он на Усачевке. Они сердечно простились, с хорошим живым поцелуем, и Бутонов несколько не обиделся — нет так нет. В таких делах никто никому не должен. Был непоздний вечер, шел редкий снег, Катя с Лизой ждали мать и спать не ложились.

«Бог с ним, с Расторгуевом», — подумала Ника и легко взбежала по лестнице на третий этаж.

...Маша стояла в коридоре между кухней и комнатой на ледяном сквозняке, и вдруг ей открылось — как молнией озарило, — что она уже стояла однажды, точно так, в рубашке, в этом самом леденящем потоке... дверь позади нее сейчас отворится, и что-то ужасное за дверью... Она провела пальцами поперек лба, до переносицы, потерла середину лба: подожди, остановись...

Но ужас за дверью нарастал, она заставила себя оглянуться — фальшивая дверь тихо двинулась...

Маша вбежала в комнату, толкнула балконную дверь — она распахнулась без скрипа. Холод, дохнувший снаружи, был праздничным и свежим, а тот, леденящий, душный, был за спиной.

Маша вышла на балкон — снегопад был мягким, и в нем была тысячеголосая музыка, как будто каждая снежинка несла свой отдельный звук, и эта минута тоже была ей знакома. Она обернулась — за дверью комнаты было что-то ужасное, и оно приближалось.

— Ах, знаю, знаю. — Маша встала на картонную коробку из-под телевизора, с нее на длинный цветочный ящик, укрепленный на бортике балкона, и сделала то внутреннее движение, которое поднимает в воздух...

Подтянув к животу колени, спал ее муж Алик, в соседней комнате точно в такой же позе спал ее сын. Было начало весеннего равноденствия, светлый небесный праздник.

Телеграмму Медея получила через сутки. Почтальонша Клава доставила ее рано утром. Телеграммы посылали по трем поводам: дня рождения Медеи, приезда родственников и смерти. С телеграммой в руке Медея пошла к себе в комнату и села в кресло, которое стояло теперь на том месте, где прежде стояла она сама, — против икон. Она довольно долго просидела там, шевеля губами, потом встала, вымыла чашку и собралась в дорогу. От осенней болезни осталась неприятная тугота в левом колене, но

она уже привыкла к ней и двигалась чуть медленнее, чем обыкновенно. Потом она заперла дом и отнесла ключ к Кравчукам. Автобусная остановка была рядом. Маршрут был тот, которым обычно ездили ее гости, — от Поселка до Судака, от Судака до симферопольской автостанции, оттуда до аэровокзала. Она успела на последний рейс и поздно вечером позвонила в дверь Сандрочкиного дома в Успенском переулке, где прежде никогда не была.

Ей открыла дверь сестра. Они не виделись с пятьдесят второго — двадцать пять лет. Кинулись друг другу в объятия, обливаясь слезами. Лида и Вера только что ушли. Распухшая от слез Ника вышла в прихожую, повисла на Медее.

Иван Исаевич пошел ставить чайник — он догадался, что приехала из Крыма старшая сестра его жены. Медея сняла с головы по-деревенски накиннутый пуховый платок, под ним была черная головная повязка, и Иван Исаевич изумился ее иконописному лицу. В сестрах он нашел большое сходство.

Медея села за стол, обвела глазами незнакомый дом и одобрила его: здесь было хорошо.

Машина смерть, великое горе, принесла Александре Георгиевне и нечаянную радость, и она сидела за столом рядом с сестрой и недоумевала, как может один человек вмещать в себя столь различное. Медея же, сидя по левую от нее руку, никак не могла осознать, почему это случилось, что она не видела самого дорогого ей человека четверть века, — и ужасалась этому. Ни причин, ни объяснений не было.

— Это болезнь, Медея, тяжелая болезнь, и никто ничего не понял. Аликос друг, врач-психиатр, оказывается, смотрел ее неделю назад. Сказал, надо срочно госпитализировать: маниакально-депрессивный психоз в острой форме. Прописал лекарство... Но понимаешь, они ждали разрешения со дня на день... Вот так. Но я-то видела, что она не в порядке. За руку ее не держала, как тогда... Никогда себе этого не прощу... — приговаривала себя Александра.

— Перестань, ради Бога, мама! Вот уж этого на себя не бери. Вот уж это точно мое... Медея, Медея, как мне с этим жить? Поверить невозможно... — плакала Ника, но губы ее, самой природой предназначенные к смеху, как будто все улыбались.

Похороны состоялись не на третий день, как обыкновенно принято, а на пятый. Делали экспертизу. В судебно-медицинский морг где-то в районе Фрунзенской Алик приехал с двумя друзьями и Георгием. Ника была уже там. Она обернула стриженую Машину голову и шею, на которой был виден грубый прозекторский шов, куском белого крепдешина и завязала его плоским узлом на виске, как это делала Медея. Лицо Маши было нетронутым, бледно-восковым, и красота его ненарушенной.

Священник на Преображенке, к которому Маша ездила изредка последние годы, очень о ней горевал, но отпевать отказался. Самоубийца.

Медея попросила проводить ее в греческую церковь. Самой греческой из московских церквей было Антиохийское подворье. Там, в храме Федора Стратилата, она спросила настоятеля, но служащая женщина учинила ей допрос, и пока она, поджав губы и опустив глаза, объясняла ей, что она понтийская гречанка и много лет не была в греческой церкви, подошел старик-иеромонах и сказал по-гречески:

— Гречанку вижу издалека... Как зовут?

— Медея Синопли.

— Синопли... Брат твой монах? — быстро спросил он.

— Один мой брат ушел в монастырь в двадцатых годах, в Болгарии. Ничего о нем не знаю.

— Агафон?

— Афанасий...

— Велик Господь! — воскликнул иеромонах. — Он старец на Афоне.

— Слава Тебе, Господи, — поклонилась Медея.

Они понимали друг друга не без затруднений. Старик оказался не греком, а сирийцем. Греческий язык его и Медеин резко различались. Более часу разговаривали они, сидя на лавке возле свечного ящика. Он велел привозить девочку и обещал сам совершить отпевание...

Когда автобус с гробом подъехал к церкви, уже собралась толпа. Семья Синопли была представлена всеми своими ветвями — ташкентской, тбилисской, вильнюсской, сибирской... К разномастному церковному золоту окладов, подсвечников, облачений примешивалась и многоцветная медь синоплинских голов.

Между Медеей и Александрой стоял Иван Исаевич, широкий, с мучнисто-розовым лицом и асимметричной морщиной вкось лба. Старые сестры стояли перед гробом, украшенным белыми и лиловыми гиацинтами, и единодушно думали одно и то же: мне бы здесь лежать, среди красивых цветов, Никиной рукой уложенных, а не бедной Маше...

За свою долгую жизнь они к смерти притерпелись, сроднились с ней: научились встречать ее в доме, занавешивая зеркала, тихо и строго жить двое суток при мертвом теле, под бормотанье утешительных псалмов, под световой лепет свечей... знали о мирной кончине, безболезненной и непостыдной, знали и о разбойничьем, незаконном вторжении смерти, когда погибали молодые люди... Но самоубийство было невыносимо. Невозможно было смириться с той умелькнувшей минутой, когда совершенно живая девочка самочинно выпорхнула в низко-гудящий водоворот медлительных сырых снежинок — прочь из жизни...

Ко гробу вышел иеромонах, и певчие запели слова, лучшие из всех, сложенные в часы земного расставания... разлучения...

Служба была по-гречески, никто ничего не понимал, даже Медея различала только отдельные слова. Но все ясно чувствовали, что в этом горьком и непонятном пении содержится смысл больший, чем может вместить даже самый мудрый из людей.

Кто плакал, плакал молча. Гвидас-громила нервно провел кожаной перчаткой под глазом. Дебора Львовна, свекровь, попробовала было заплакать в голос, но Алик кивнул своим врачам, и они вывели ее из церкви.

Похоронили Машу на Немецком кладбище, в могилу к родителям, а потом поехали в Успенский — Александра Георгиевна настояла устроить поминки там. Народу было много, за стол усадили только стариков да приезжих родственников. Молодежь вся была на ногах, с рюмками и бутылками в руках.

Маленький Алик улучил момент и спросил у отца шепотом:

— Пап, как ты думаешь, она умерла навсегда?

— Скоро все изменится и все будет очень хорошо, — педагогически скривил ему отец.

Алик Маленький посмотрел на него длинным и холодным взглядом:

— А я в Бога не верю...

Утром того дня пришло разрешение на выезд. На сборы было дано двадцать дней, даже много. Проводы в памяти друзей слились с поминками, хотя проводы Алик устраивал в Черемушках. Дебора Львовна осталась с сестрой, и Алик уезжал с сыном и клетчатым болгарским чемоданом среднего размера. Таможенники отобрали у него один листочек бумаги — последнее Машино стихотворение, написанное незадолго до самоубийства. Разумеется, он знал его наизусть:

Исследование тянет знатока
уйти с головкой в сладкие глубины
законов славной школы голубиной
иль в винные реестры кабака,

но опытом тончайшим, как струна,
незримые оттенки испытую,
сам станет голубем или глотком вина,
всем тем, чего его душа взыскует,

и, воплощаясь в помыслы свои,
беспутнейшие в человеческой стае,
мы головы смиренные склоним
пред тем, кто в легкой вечности истаёт...

ЭПИЛОГ

Последний раз мы с мужем были в Поселке минувшим летом, в июле 1995 года. Медеи давно уже нет в живых. В ее доме живет татарская семья, и мы постеснялись зайти туда. Пошли к Георгию. Он построил свой дом еще выше Медеиного и пробил артезианскую скважину. Его жена Нора по-прежнему имеет детский облик, но вблизи видно, что подглазья иссечены тончайшими морщинками — так стареют самые нежные блондинки. Она родила Георгию двух дочерей.

В доме было многолюдно. Я с трудом узнавала в этих молодых людях подросших детей семидесятых годов. Пятилетняя девочка в тугих рыжих кудряшках, очень похожая на Лизочку, скандалила из-за какой-то детской чепухи.

Георгий обрадовался моему мужу, с которым давно не виделся. Мой муж тоже из семьи Синопли, но не от Харлампия, а от его младшей сестры Евпраксии. Долго считались родством, получилось, что четвероюродные братья.

Георгий повел нас на кладбище. Медеин крест стоял рядом с Самониным обелиском и скромно уступал ему в высоте. Георгий рассказал нам на обратном пути, как неприятно удивлены были племянники Медеи, когда после ее смерти обнаружилось завещание, по которому дом отходил никому не известному Равилю Юсупову. Этого Юсупова никто искать не стал, и Георгий перебрался тогда в Медеин дом с Норой и маленькими дочками. Работу нашел себе на биостанции.

Через несколько лет появился Равиль, точно так же, как когда-то у Медеи, — поздним вечером ранней весны, и тогда Георгий достал из сундучка завещание и показал его Равилю. Однако прошло еще несколько лет, прежде чем Равиль получил этот дом. Почти два года шел нелепый судебный процесс, чтобы переоформить дом. И произошло это в конце концов исключительно благодаря настойчивости Георгия, дошедшего до республиканских инстанций, чтобы Медеино завещание было признано действительным. С тех пор все поселковые стали считать его сумасшедшим.

Сейчас ему уже исполнилось шестьдесят, но он по-прежнему крепок и силен. При постройке дома ему много помогал Равиль с братом. Когда дом был поставлен, поселковые переменили мнение и теперь говорят, что Георгий страшно хитрый: вместо ветхого Медеиного дома получил новый, в два раза больший.

Вечер мы провели в этом доме. Летняя кухня очень похожа на Медеину, стоят те же медные кувшины, та же посуда. Нора научилась собирать местные травы, и так же, как в старые времена, со стен свисают пучки подсыхающих трав.

Многое за эти годы переменилось, семья еще шире разлетелась по свету. Ника давно живет в Италии, вышла замуж за богатого толстяка, остроумного и обаятельного, выглядит матроной и страшно любит, когда в ее богатый дом в Равенне приезжают родственники из России. Лизочка тоже живет в Италии, а вот Катя в Италии не прижилась. Как это иногда случается с полукровками, она страшная русофилка. Вернулась, живет на Усачевке, и рыженькая девочка, которая скандалила во дворе, ее дочка.

Алик Большой стал американским академиком и того и гляди осчастливит человечество лекарством от старости, а вот Алик Маленький после окончания Гарвардского университета подался «в евреи», изучил иврит, надел кипу́, отрастил пейсы и теперь заново учится в Бней-Брак, еврейской академии под Тель-Авивом. Алик Большой через несколько лет после переезда в Америку издал сборник Машинных стихов. Георгий принес нам эту книжечку, на первой странице был ее портрет, сделанный с любительской фотографии ее последнего Крымского лета. Она обернулась и смотрит в объектив с радостным изумлением. Стихи ее оценивать я не берусь — они часть моей жизни, потому что то последнее лето я тоже провела с моими детьми в Поселке.

Бутонов прилепился к расторгуевскому дому, перевез туда, после долгих уговоров, жену с дочкой и родил сына, в которого беспредельно влюблен. Он давно не занимается спортивной медициной, сменил направление и работает со спинальными больными, которых бесперебойно поставляет ему то Афганистан, то Чечня.

Все старшее поколение ушло — кроме Александры Георгиевны, Сандочки. Она долгожительница, ей уже под девяносто. Последние два года она не приезжала в Крым, стало тяжеловато. После Машинной смерти она приезжала сюда каждое лето, а последний год Медеи провела здесь вместе с Иваном Исаевичем и проводила сестру. Иван Исаевич считает обеих сестер праведницами. Но Сандра улыбается своей до старости не увядающей улыбкой и поправляет мужа:

— Праведница у нас была одна...

Я очень рада, что через мужа оказалась приобщена к этой семье и мои дети несут в себе немного греческой крови, Медеиной крови. До сих пор в Поселок приезжают Медеины потомки — русские, литовские, грузинские, корейские. Мой муж мечтает, что в будущем году, если будут деньги, мы привезем сюда нашу маленькую внучку, родившуюся от нашей старшей невестки, черной американки родом с Гаити. Это удивительно приятное чувство — принадлежать к семье Медеи, к такой большой семье, что всех ее членов даже не знаешь в лицо и они теряются в перспективе бывшего, небывшего и будущего.



ГЕНРИХ САПГИР



ЖАР-ПТИЦА

— Что за напасть была на русских поэтов!
— А на русских художников?

Из разговора.

чудовищная грозовая
собою из себя сияя
воссев на блюде —
на Христовом обеде
Жар-птица кличет призывая
усопших мастеров к беседе:
— Славные мои художники
живые во граде
пьяницы ругатели безбожники
девок запрягатели
враги-приятели
завсегдатаи кабака
все — до последнего слабака
прилетайте
отведайте облака —
птичьего моего молока

— поднимаю крылья как знамена
называю всех поименно:
Краснопевцев Дима
жил неизгладимо
...неисповедимы —
и не стало Димы
только у Престола
нечто просияло:
сюда мое сердце —
Дима Краснопевцев!

белый на белом
Вейсберг Володя —
он снова уходит
к незримым пределам...
и возвращается
вновь воплощается —
белый на белом

...летал в пустоту
будто ложку ко рту —
не вычерпать всю пустоту!
...лысом кумполе венки
из украинских былинки —
нежный Петя Беленок

один в поле
борщ варил
анекдоты говорил
с салом с перцем
с сен-джон-Персом
сожрала
самого Москва
пришлым варевом жива

— кто явился к мессе
голый как морковь?
— Ситникову Васе
сядь не прекословь!
видишь радуются все
...подмосковным летом
стариком-атлетом
в парке
мастерил байдарки
сказал: уеду —
канул будто в воду
...в Вене и в Нью-Йорке
потрафлять заказчикам?
...одержал победу
ушел в подвал
накрылся ящиком
оброс мохом
оскалился смехом
и умер монахом
говорят остались вещи:
в рюкзаке — святые мощи

— Сидур Вадим
Сидур Вадим
давай поьем и поедим
...на той войне
разворотило челюсть —
глаза остались
скорбные вдвойне —
и после смерти
до самой смерти
ты верил аорте
...чугунные

струнные
крики твои
говорят о великой любви

огромный волосатый
сюда сюда Рухин —
всегда в любви несытый
и пламенем объятый
борода твоя как дым
завивается колечками
вот и умер
молодым

...и гласили скрижали:
УГОРЕТЬ НА ПОЖАРЕ

...или
так решили
в «Большом Доме»
...и сотрудники рядами
уходили на задание
...два холста
сбиты в виде креста

Юло ты помнишь с голодухи
на Севере взалкал о духе
(а начальник был в дохе)
и застывал на вдохе —
на воздухе...
рисовала твоя лапа
морщины — складки на горе
«я — эстонское гестапо —
доходяга в лагере»
— как в раю Юло —
сытно и тепло!

и вы что курили
от одной сигаретки
в темноте на кушетке
глotalи таблетки
«вам — пир!» —
сказал один вампир
...такая легкость в теле
что вместе улетели

но воротилась как спохватилась
лишь ему —
тоннель во тьму —
все ярче светилось...
но еще за неделю в марте
рыжий Паустовский — сын
поэта робко попросил
посвятить ему сонет о смерти
— подвиньтесь ребята
ну и что — что крылаты!
не робей рыжеватый

а Демыкин Леша в маске
говорит о Босхе
с Рыбой
у которой нос трубой

...в Красково — там на даче
отсвечивают свечи —
и утро будто вечер

а страшила Ворошилов
пьет мудила
из бездонной миски —
и не требует закуски
он думает что это — виски

а Пятницкий
пришел зеленым —
отравился ацетоном
стонет Жар-птица:
— дайте!
дайте ему причаститься —
очиститься
ведь тоже — частица!

(души — огненные перья
собираю вас теперь я)

невзгоды все преодолев
ученый Кропивницкий Лев
размышлял: гармония —
девы и Германия
Фрейд и разумение...
но (Сева!) Кропивницкий дед
как будто жизни знал секрет
холст чистил мастихином
притом читал стихи нам
он был Сократ
и жил в бараке —
и русский быт
и русский мат
и русский стих...
окно во мраке

зовет высокая труба:
— вы крутолобы
придите оба!

и внук — художник
ликом светел —
от жизни улетел
и близких встретил...

дома Парижа —
корабли
вы всех по лестницам
вели
чтоб из чердачных окон
смотрели
жадным оком:
слишком серебристо
небо слишком близко —
и срывается с крыш
стриж
еще стриж...

считал Ван-Гога
 превыше Бога
 ...скитаться пить и рисовать
 себя как вечного ребенка:
 нос — луковицей
 бороденка...
 ах лукавый мужичок
 Толя Толя Толенька!
 Зверев любит шашлычок —
 вечные Сокольники:
 шашки
 розарий
 девушки с большими глазами!

светлый как из душа
 Харитонов Саша —
 смиренная душа
 ни жалоб ни стонов —
 вознесся Харитонов
 ...разноцветный бисер
 выси
 голоса

ох горе! —
 Олежка Григорьев
 ...кем теперь
 коробка бабочек
 хранима? —
 видел ты архангелов
 и херувимов

здесь и другие —
 светятся все —
 Гуров
 которого сшиб грузовик на шоссе...

и Длугий —
 ни звука —
 и тоже от рака...
 о други!

— явись из бездны адской
 Ковенацкий!
 и ты зван —

Париж.
 Июнь 1995.

и Шагал и Сарьян —
 и Гаяна Каждан

кто там возник на пороге?
 кажется Леня Пурьгин
 «Господи в Нью-Йорке
 такая жара!
 на скамейке в парке
 умер я вчера»

счет уже на десятки:
 застрелил инкассатор
 захлебнулся в припадке
 утонул...
 от инфаркта миокарда
 у мольберта...
 ...слишком ярко!
 просто в Вечность заглянул

дерево
 вытянулось в зарево —
 величава
 перспектива:
 ветви стали временем
 время — белым пламенем

все ярче Жар-птица —
 и тысячелица!
 и тысячеуста —
 живые Уста!
 ладони —
 долони
 от лона
 и дола —
 до неба
 и Бога
 и в яви
 и в трансе
 и в камне
 и в бронзе
 и масло
 и Числа
 и ныне
 и присно



СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ

*

ЛОВУШКА

Рассказ

1

В тесном тамбуре электрички Маркин уперся взглядом в широкую спину впереди, обтянутую черной лоснящейся на плечах кожей. Если бы знать, что ждет его дальше, — ни за что бы не вышел, проехал бы лучше две-три лишние остановки и вернулся домой другим поездом. Но он еще ни о чем не догадывался.

Они ступили друг за другом на безлюдную вечернюю платформу под мелкий осенний дождик. И лишь когда створчатые двери за спиной хлопнулись, когда поезд дернулся и начал с воем набирать скорость, попутчик Маркина повернул голову, и в дробном свете убегающих окон Маркин, к ужасу своему, увидел злорадный оскал и памятные тонкие усики на дергающейся верхней губе.

Через мгновение поезд уже далеко уносил свои красные фонари. Усатый не спеша двинулся к лестнице в конце платформы. Теперь Маркин и сам не знал, померещилось ему сходство или это действительно тот, кого он давно со страхом ждал.

Две фигуры маячили в отдалении, единственные, кроме них, на всей платформе. Должно быть, припозднившиеся дачники. И Маркин по слабости своей соблазнился. Вместо того чтобы остаться сзади, попробовать отстать и незаметно улизнуть от усатого, он в два прыжка оказался впереди него и со всех ног помчался вперед, к тем людям...

Вместо двоих оказалась одна: пожилая баба, из тех, что собирают на вокзалах бутылки и другой полезный мусор, тащила в обнимку что-то мягкое высотой почти в человеческий рост, вроде свернутого ковра или матраца. Когда Маркин подлетел, расплескивая лужи в колдобинах, она как раз стаскивала свой куль на землю; ойкнула, бросила товар и засеменила, спотыкаясь, через железнодорожную колею. И в этот миг Маркин почувствовал сзади ускоряющийся топот усатого.

— Подождите! — в отчаянии закричал Маркин бабе. — Я вам помогу с тюфяком! За мной гонятся!

Баба вскрикнула еще раз и скрылась за насыпью в кустах.

Маркину уже некогда было нащупывать ступени, он спрыгнул с платформы прямо на пути, со страшной силой ударившись коленкой об рельс, застонал от боли, машинально согнул-разогнул ногу — действует, нырнул под платформу, вслепую преодолел на карачках несколько метров, кое-как выбрался в узкую щель на другой стороне, помогая себе руками и всем телом, снова оказался на ногах и поскакал прихрамывая мимо глухого дощатого забора, потом — забора из металлической сетки, потом — штакетного, всюду всматриваясь в глубину дворов, не мелькнет ли спасительный огонек, не покажется ли человек... Огней не было: поселок к зиме обезлюдел. Кричать, звать на помощь — бесполезно.

Выбившись из сил, Маркин ухватился за ближайšie штакетины, по забору едва добрался до угла и там в проулке свалился за толстой березой. Думал: не перелезть ли через забор, не спрятаться ли в чужом дворе? Но собаки! По утрам, спеша на работу, Маркин видел их почти за каждым забором: отслеживали его путь от и до, большие, молчаливые, ученые. Ему и сейчас чудилось за спиной жаркое дыхание. Коленка была горячая, непривычно большая и круглая, как мяч. Куртка, брюки — все перемазано в вонючем дерьме, что скапливается и годами преет под платформами...

Черная фигура в шляпе и длинном пальто, поблескивая мокрой кожей, выдвинулась из-за угла бесшумно. Маркин судорожно подобрал ноги и прилип щекой к склизкой коре. Он беспомощен, безоружен, хоть режь его, как барана. Усатый остановился посреди улицы, рука в кармане. Вот у кого точно есть пистолет. Ездить на «мерседесе» — и не иметь пистолета! Только зачем тут оружие? Маркина будут просто бить. И пытаться. Станут выколачивать деньги. Но если денег нет? Что тогда: убивают? уводят в рабство?

Усатый вынул руку из кармана. Возле лица вспыхнул огонек. Маркин напряг зрение, чтобы получше разглядеть черты, но ничего не увидел: горло, розовые пальцы — и только. А затем и вовсе осталась одна красная точка сигареты. Маркин устал вглядываться, и все происходящее на какое-то время от него отодвинулось, как будто он сидел в темном зрительном зале. Ночь, деревья, фонарь вдали — это такие декорации, а шляпа и кожаное пальто — типичный наряд отрицательного героя. И далеко ли, близко ли от Маркина сцена, не понять: все, в том числе чувство пространства, притупилось и сделалось условным. Настоящими были только холодный дождик да боль в коленке.

Закурив, усатый не спеша двинулся дальше. Маркин не выползал из своего укрытия, пока тот не растаял в темноте за фонарем. Он понимал, что это лишь передышка. Усатый засек станцию, знает время возвращения Маркина с работы. Сегодняшнее может повториться и завтра, и послезавтра, да еще в худшем виде: усатый появится не один (уж ему-то есть на что нанять подручных), вырастут как из-под земли впереди и сзади — не дернешься; а то выследят тайно до дому и станут мучить медленно, изощренно, с ночными угрозами по телефону, погромами, доберутся до жены... И дом могут спалить: им какое дело, чей это дом? Пока не получают свое, не отстанут.

Тут Маркин вспомнил, что завтра выходной и послезавтра тоже. Пока что он отыграл целых два дня. За это время нужно найти выход.

2

— Ты точно знаешь, что это он? — спрашивала Галина, обматывая распухшее колено тряпками и бинтами.

— Откуда? — сердился Маркин, морщась от боли. — Как можно точно узнать того, кого ни разу толком не видел? Каких-нибудь несколько секунд, пока я выворачивал руль, а он пер назад, чтобы загородить мне дорогу... Через два стекла... Состояние было — сама понимаешь... И сегодня тоже: мелькнули усы, и все. Но ведь он за мной погнался! Зачем постороннему человеку гнаться?

— Ну, мало ли. Может, решил, что ты на старушку напал, кинулся защищать.

Все рыцарями бредит, вознегодовал про себя Маркин. Сам он был чернявый, и ноги густым черным волосом покрыты, а жена — чуть не добела крашенная блондинка. Откинувшись на кровати, Маркин поневоле вглядывал вблизи ее красноватое лицо и широкий вздернутый нос в крапинах.

— Главное, даже не коснулся, — вслух размышлял Маркин. — На машине ни следочка не осталось.

— Мало ли. Откуда ты знаешь, какой техникой эти «мерседесы» напичканы? Компьютер посчитал, что ты нарушил правила, загорелась лампочка, вот он и остановился...

— «Компьютер», «правила»! Много ты понимаешь. Я бы ему объяснил, кто из нас нарушил правила. Остановился, чтобы деньги содрать. Встал и выпучился через стекло. И усами шевелит, как таракан. Думает, если он на «мерседесе», так я на поклон к нему пойду.

— Надо было гаишников подождать.

— А чего ждать, когда, говорю, не коснулись даже? На штраф нарываться? А если тот постовому шепнет, сунет сколько надо, то и штрафом не отделаешься.

— Правильно, теперь все деньги решают. А кто не возьмет, если сунут? Ты, что ли, не возьмешь?

Маркин зажмурился и подумал: имя-то какое — Галина! С таким именем только семечки лузгать. Нет, надо по имени жену выбирать. Красота — где она теперь, ее красота? Да и была ли?

— Еще он в номер вглядывался, — вспомнил Маркин.

— Ну и что? Свидетелей же не было, так что в суде он ничего не докажет, — со знанием дела сказала Галина.

— Он не дурак, чтобы в суд заявляться, когда сам виноват. По номеру можно адрес узнать. Иначе как он здесь оказался?

— Здешний адрес нигде не указан.

— Зато тот известен. Он к матери твоей зашел или позвонил, она и выдала нас.

— Ну и свинья ты! — Галина с яростью затянула узел на ноге.

— Сегодня снова мышь в холодильнике видела, — говорила уже через минуту как ни в чем не бывало. — Придумал бы что-нибудь!

— Что тут придумаешь? Выбросить его пора.

— Это не по адресу. Скажешь завтра Воросовне.

Галина уткнулась в книжку. Она увлекалась любовными романами. Ничего не поняла, думал Маркин, свесив ноги с высокой старой кровати, доставшейся им, как и холодильник, во временное пользование вместе с домом. Поймет, когда засунут ей в одно место горящую головню. Усатый будет брать угрозами и насилием, ему не на что больше рассчитывать. Машина-то цела! Ни свидетелей, ни следов происшествия.

За окном раздался шум. Что-то заскребло по раме и глухо ударилось об землю, словно воткнули топор в колоду.

— Выключи свет! — шепотом приказал Маркин Галине.

В темноте отодвинул занавеску и выглянул. На дворе успела разыгаться настоящая буря. Куст сирени под окном сгибался до земли. Дальше, в сторону калитки, — кромешная тьма.

— Что это было? — спросила Галина.

Не включая света, Маркин вышел в темные сени и пошарил в углу. Оба топора лежали на месте. Тот, что побольше, с зазубринами (им Эсма Воросовна разрубала большие кости), занес в дом, а с маленьким наизготовку встал у входной двери. В сенях все звенело под напором ветра, дощатые стены прогибались.

— Возьми фонарь, — негромко позвал Маркин жену. — Как только я открою дверь — включай свет!

Свист, завывание, брызги в лицо. Бледный луч выхватил присыпанную крупными еще зелеными листьями лужу у крыльца. По воде носились вихри.

Вдвоем пошли осматривать окно. Держались поближе друг к другу. Снаружи дом казался еще беззащитнее: ржавые желоба на крыше, фанерные ставенки, легкий козырек над входными ступенями — все ходило ходуном и скрипело.

— Ветка, — определил Маркин, нащупав что-то в сухом бурьяне под окном. — С сосны упала. Пойдем глянем на машину.

Ему пришло в голову, что с тех пор он так и не осмотрел свой старый «Москвич». Если касание все-таки было, должны остаться следы.

— Чего ты ищешь? — спросила Галина, которой надоело держать совсем сдохший фонарик.

— Краску, — сказал Маркин. — Я поворачивал налево возле самой осевой. Вывернул руль и притормозил. А он сзади на полной скорости, по встречной полосе... Ничего не боятся.

— И что?

— Если задел, на бампере должна быть краска. Гляди, все чисто.

— Ты налево поворачивал?

— Ну?

— А он тебя слева обогнал?

— Ну да. Я же сказал.

— Где же ты краску-то ищешь?

— А, черт... И правда. Ты посветить можешь? Держи фонарь как следует, выдра!

— Да пошел ты, вонючка!

Фонарь полетел в сырую траву и погас. Маркин тихо выругался, опустился на здоровое колено и зажег спичку. На блестящем металле с левого боку темнело пятнышко краски.

3

— Ты же говорил, «мерседес» был вишневым.

— Разве их разберешь, они все какие-то комбинированные... А я уже и не помню, какой он был.

Они лежали рядом на той самой кровати. От Маркина пахло бензином: он пытался оттереть краску, но до конца так и не смог. Въелась.

— Если через суд, сколько это, думаешь, будет?

— Откуда я знаю. Худшее, что с ним случилось, — легкая царапина. Даже не царапина, а так, чиркнул, верхний слой повредил.

— Полянский завтра придет?

— Обещал.

— Спроси у него. Он знает цены.

— Может, еще у этого усатого спросить, сколько я ему должен? Бред какой-то...

За тонкой фанерной перегородкой время от времени раздавался резкий металлический щелчок: срабатывал автомат газового отопителя. Пламя неровно завывало, сбиваемое завихрениями в трубе.

— Позвони все-таки матери, повыспроси, не являлся ли к ней этот тип, — попросил Маркин. — Только осторожно, обиняками, чтобы ни о чем не догадалась.

— Ты что, рехнулся? Первый час уже.

— Тогда я сам позвоню. Если она нас выдала, усатый может заявиться в любую минуту.

Возле телефонной тумбочки у двери был приставлен на всякий случай большой топор с зазубринами. По неуклюжему старому аппарату змеилась грязная трещина. Трубка, если прижать ее близко к лицу, начинала вонять.

Маркин набрал номер.

— Да? — раздался близкий голос тещи.

— Это я, Ангелина Павловна, — начал Маркин. — Простите, что...

— У меня нет больше сил, — истерично сказала трубка.

— Это я, Ангелина Павловна, это мы с Галей, из дома... Вы меня слышите?

— Кто вы такой? Что вам от меня нужно?

— Это я... Вы слышите? Узнаете?..

— Нет, это просто невозможно! — сказала трубка, и разговор прервался.

— Она не хочет со мной разговаривать, — обреченно сказал Маркин.

— Не может быть. Ты не туда попал. Набери еще раз.

Маркин протянул было руку к желтому от старости диску, как вдруг телефон затренькал неуверенно. Маркин поспешно поднес липкую трубку к уху.

— Слушаю, — сказал он. — Говорите.

Трубка молчала. Слышался лишь треск, да где-то далеко бубнило радио.

Маркин положил трубку и пошел в кровать, ему расхотелось звонить теще. Новый дребезжащий звонок вернул его с полдороги.

— Слушаю, — сказал Маркин.

Там молчали. Пустое, механическое телефонное молчание как-то отличается от напряженного. Маркину показалось, что молчали напряженно. Или он был слишком встревожен?

Он вернулся к Галине, уселся на край постели. Внутренний голос подсказывал, что ложиться не время. В углу стоял живой запах старого тела: как будто Эсма Воросовна продолжала незримо разоблачаться здесь по вечерам и укладывалась в постель вместе с ними. Возле кровати ножки крутился таракан. Он, казалось, ослеп, потерял ориентацию и, вместо того чтобы удирать со всех ног, как поступают здоровые тараканы, бегал по кругу. Иногда останавливался в сомнении, неуклюже разворачивался и бежал назад — все по тому же кругу.

— Таракан, — сказал Маркин, недоуменно его разглядывая.

Галина встрепенулась, свесилась с кровати и ловко пришибла таракана заношенной туфлей.

— Чего смотрел? Убивать надо, — проворчала с укором.

И тут раздался еще один безжизненный звонок.

— Ветер играет проводами, — предположила Галина, поеживаясь под ватным одеялом.

Маркин все же подошел. Снял трубку и ждал молча.

— Але, але, — прорвался нетрезвый мужской голос. — Але, ты слышишь меня?

Маркин не ответил. Ноги и руки у него разом заledenели.

— Я с тобой разговариваю! — настаивал наглый баритон в трубке.

Маркин почти машинально нажал на рычаг. Затем осторожно опустил трубку и выдернул штепсель.

В постели он долго не мог согреться. За фанерой то и дело щелкал и начинал трубить обогреватель. Кто-то тихонечко шуршал под обоями, шумно возились мыши на кухне. Галина положила голову ему на плечо. Жиденькие локоны лезли в рот и в ноздри, от них почему-то пахло резиной. Маркину стало стыдно. Он попытался думать о Галине. Поцеловал в темноте шершавую щеку, сжал ее руку холодной ладонью... Все без толку. Ныла больная нога. Досаждал странный запах. Галина потеряла надежду, откатилась к стене и скоро уснула.

4

— Как подморозит, кадушку внесете на кухню, — распорядилась Эсма Воросовна.

Кадушка стояла в чулане. Там квасились баклажаны с капустой и еще какими-то овощами. По субботам Эсма Воросовна накладывала из кадушки большую эмалированную миску вязкого коричневого месива и уносила с собой, к дочери, где теперь обитала, сдавая дом жильцам. После этих манипуляций в сенях было не продохнуть.

Она всегда навещала их по субботам и надолго водворялась посреди комнаты на любимом своем стуле, широко и прочно уставив ноги-тумбы, перетянутые грязными бинтами. Приходилось сидеть и разговаривать.

— В Покров и занесете, — подтвердила Эсма Воросовна.

— А когда Покров?

— Четырнадцатого. Господь землю снегом кроет.

Маркин ничего не знал о новых праздниках и догадывался, что Эсма Воросовна тоже плоховато в них разбирается. Но его удивило, как все эти праздники сумели под русский климат подогнать. Покров — снег землю укрывает. Крещение — самые морозы, то есть наилучшее испытание в ледяной проруби. Что там еще? Успение... Если не терять времени, можно за два дня успеть. Лучше всего купить пистолет, хотя бы газовый. Интересно, сколько он стоит? Полянский должен знать.

— Мыши колбасу в холодильнике сожрали, — пожаловалась Галина. Лицо у нее было помятое, видать, тоже неважно спала.

— Колбасу-то в нашем брали? — поинтересовалась Эсма Воросовна.

— Не, из города везла.

— С салыцем или постная?

— Со шпиком. «Русская».

— Русская, нерусская, — пробурчала Эсма Воросовна. — Сейчас не разберешь, из чего эту колбасу и делают. Раньше колбасы купишь — по всему дому чесночный дух стоит... И почему?

— Восемнадцать тыщ с чем-то. С копейками.

— Хороши копейки! Копейка, говорят, рубль бережет. Теперь копеек не стало — и беречь, выходит, нечему. Нечему и нечего. А в нашем все дороже. Одни пенсионеры остались в поселке, а продукты дорожают. Так-то они о пенсионерах заботятся.

Эсма Воросовна была безобидным и по-своему добрым существом, но эти ее субботние беседы были невыносимы. Особенно теперь, когда издерганный Маркин лихорадочно искал спасения.

— ...Лучше сырку, они сыр любят. Насадите кусочек, так чтоб не очень крепко, и задвиньте ее вон туда. — Эсма Воросовна учила Галину, как пользоваться мышеловкой. — А пауков не трогайте, они домовитые, дом стерегут.

— Что — дом? — встревожился занятый своими мыслями Маркин. — Что-то может случиться?

— С кем?

— С домом!

Эсма Воросовна задумалась.

— На крыше лист загнулся, — вспомнила она. — Ночью буря была. Сколько живу здесь, не помню такой бури. О-хо-хо. Все портится. Все худое, все чинить надо. А у Бурбулиса на даче, пишут, крыша медная!

— Бурбулис? — переспросила Галина. — Какой Бурбулис?

— Наш начальник.

Чубайс да Бурбулис, два красных командира,
Прошлись по России — остались одни дыры!

— Он уже не начальник, — предположил Маркин, давно не слышавший этого имени.

— Начальники — они всегда начальники, — мудро изрекла Эсма Воросовна. — Начальниками родились, начальниками и помрут. Не нам чета.

— Ваш дом застрахован? — неосторожно спросил Маркин, мучимый неотвязным кошмаром.

— Страховка? — Теперь и Эсма Воросовна забеспокоилась, перешла на грозный бас: — Мне страховка не нужна. Что это вы про страховку заговорили?

— Да так... Лучше бы застраховать.

— Нет уж, само по себе ничего не случается. Случится — значит, кто-то виноват. С него и спрос. Вы воду-то по полу не больно разбрызгивайте, гнить будет.

— Не в том дело...

— А в чем?

— Разное бывает. Мы же с Галиной целый день на работе. Воры могут забраться, или просто мальчишки залезут, спичку бросят. Печка газовая: то нормально включается, а иной раз так польхнет из дверцы, чуть не до потолка... Опять же кадушка. — Маркин решил схитрить, убить сразу двух зайцев: очень ему не нравилась перспектива жить рядом с кислой кадушкой. — Вы ее половиком накрываете, она греется. Если внести на кухню — может случиться самовозгорание.

Эсма Воросовна думала.

— Кадушку поставите на кухне, как я велела, — наконец твердо решила она. — А печку пускай мастер посмотрит. В понедельник позову.

— Да что ее смотреть, — смешался Маркин. Он понял, что уловки ведут лишь к усложнению жизни. — Сколько такой дом, как ваш, теперь стоит?

— Много. Всей жизни не хватит расплатиться.

— Это еще ничего, — пробормотал Маркин себе под нос.

Его математический ум быстро помножил теперешнюю зарплату на предполагаемый остаток жизни, исчисленный в месяцах. Получилось не слишком много.

5

Ангелине Павловне звонили сразу после ухода Эсмы Воросовны. Вначале с матерью поговорила Галина, затем трубку взял Маркин.

— Я пытался дозвониться до вас вчера вечером, — сказал он. — Вы не слышали звонков?

— Звонки? У меня всегда какие-то звонки по ночам.

Она давно уже разговаривала с зятем голосом раз и навсегда оскорбленной женщины.

— Мне казалось, я слышал ваш голос...

— Хватит выяснять, говори дело! — шипела рядом Галина.

— Нам тоже кто-то звонил. Несколько раз. Такая жизнь пошла... Нет-нет, что вы, я ни в чем вас не подозреваю. Как можно. Да. Я тоже. Галина? При чем тут Галина? Ну что вы, тут-то мне как раз очень даже повезло. Я на самом деле так думаю. День и ночь. Да, и ночами не сплю. Ну-у... Это уж вы у нее спросите... Нет, такие вещи даже вам... Хо-хо, м-да...

Маркина всего перекорежило от натуги. Галина глядела на него с тоской.

— Ангелина Павловна, я вот о чем. У меня есть друг, старый школьный приятель, мне передали, он меня разыскивает... Нет, вы его не знаете, мы со школы не встречались. И вот теперь он меня хочет увидеть... Да просто так. Просто так, воспоминания. Вы же не дослушали! Я говорю: ищет, может вам позвонить. Как — почему? У меня там прописка и все такое. Ну вот, опять... Опять вы не разобрались и начинаете... Да кто вам угрожает, чем это я могу вам угрожать? Вы только ответьте мне, пожалуйста: не спрашивал ли кто-нибудь наш здешний адрес и телефон? Вы никому этого адреса не давали? Да что тут подозрительного, я же говорю, школьный товарищ... Говорил совсем другое? Пожарник? И что вы ему ска... Все? Что — все? Ах...

— Не хочет разговаривать. — Маркин в сердцах швырнул трубку на треснутый аппарат. — Якобы какой-то пожарник звонил. Сволочь старая!

— Будто ты — молодая? — ржал, заходя в дом, Полянский. Он расслышал последнюю фразу из-за двери.

Приехал вместе с сыном Лешей, мальчишкой лет двенадцати. Оба с красными носами: на улице со вчерашнего вечера сильно похолодало.

— Я до магазина, — шепнула Галина Маркину, принимавшему одежду гостей.

— Одну? — предположил он, отведя ее в сторону.

Галина замотала головой с укором в глазах.

— Ну как знаешь. У меня до зарплаты пусто.

— Хватит, — заверила Галина.

От мальчишки пахло жеваной кукурузой: по дороге Полянский купил ему на вокзале попкорн.

— С кем это ты так сурово? — спросил Полянский, без приглашения разваливаясь за пустым столом.

— По телефону-то? А, ну ее...

— Мы идем к вам от станции, а нас обгоняют двое на «мерсе». Да, пап? — бурно начал Леша, захлебываясь от нетерпения. — Мы думали, это к вам.

— Не понял, — сказал Маркин, вздрогнув. Он почувствовал, как опять начали холодеть конечности.

— Не на «мерсе», а на «вольво», — солидно поправил Полянский, разглаживая густые рыжие усы.

— Все равно классная машина. Они в другую улицу свернули.

— Ты рассмотрел их? Как они выглядели? — спросил Маркин.

— Как американцы, да, пап? Шляпы на глаза надвинуты. Как у шерифов.

— Перестань морочить дяде голову, — отмахнулся Полянский. — Мы с ним и не таких сношали. Да? — Он подмигнул Маркину.

— Па, а что такое «сношали»? Нет, правда, что это такое?

— Ты не видел у кого-нибудь из этих, в машине, усы? — озабоченно продолжал допрашивать Лешу Маркин. — Жиденские такие, черные... Как у таракана.

— Ха! У тараканов не усы, а усищи...

— Ждешь кого? — спросил Полянский.

Маркин выдержал паузу.

— Жду.

Краем глаза он заметил, что Галина принесла целых три бутылки. И выставила их на виду. Маркина это огорчило: Полянский был из тех, кто не уйдет, пока все не прикончит, сколько бы ни было. Самому же Маркину совсем не хотелось сегодня пить.

— Па, что такое «сношали»? — нарочно придуривался Леша, когда Галина уже подала закуску и все сели за стол. Маркин понял, что он догадывается, что это такое.

— Кстати, сколько сейчас стоит «мерседес»? — как бы невзначай спросил Маркин после первой рюмки. — Чуть не полста миллионов, я слышал?

— Что?! — Полянский даже помидор выронил изо рта от возмущения. — Пятьсот не хочешь?

— Да брось ты! Сколько же мне надо на него работать, если у меня, положим, пятьсот тысяч...

— Тысячу месяцев, — быстро сосчитал Леша. — Около ста лет.

— При этом не пить, не есть, не одеваться и не платить за квартиру, — пошутил Полянский.

— А царапина? — выпалила Галина.

— Какая царапина?

— Ну, если поцарапать его... Если задеть?

Полянский быстро переводил выразительные карие глаза с Галины на Маркина и обратно.

— Да заткнись ты, — пробурчал Маркин.

— Это смотря какая царапина, — сказал Полянский, наливая себе вторую. — Обычно как считают: если краска повреждена, значит, всю машину перекрашивать надо. Желательно в заводских условиях. Колер, видите ли, трудно подобрать. Неизвестно, станут ли на самом деле перекрашивать, но сдерут по максимуму.

— Это сколько? — спросила Галина.

— Если «мерседес» новый, последней марки — миллионов на тридцать — сорок потянет. При условии, что корпус не поврежден. А помято

крыло или, не дай бог, дверца — тогда, конечно, гораздо дороже... Ты в какое место ему засадил-то?

— Странно, — пробормотал Маркин, встретив взгляд Полянского и тут же отводя глаза. — У меня такое чувство, что они тебя подослали.

— Ну ты больной! Женщина, посмотри на мужа. Взгляд как у сумасшедшего. Сейчас возьмет ножик и всех резать будет.

— Возьму и буду, — мрачно пообещал Маркин.

— Ты? Да ты таракана раздавить не можешь! — засмеялась Галина.

Маркин допил с Полянским свою первую стопку. Ему стало жалко себя.

— Хочу купить оружие, чтобы защищаться, — сказал он.

— Что-нибудь около тысячи баксов. — Полянский неопределенно покрутил в воздухе растопыренной пятерней. — Автомат, наверное, полторы-две... Если не заметут.

— А газовое?

— В разную цену. Дешевле ста баксов я не видел. На него тоже разрешение полагается иметь.

— Плевал я на разрешения, когда такое творится... Я объявлю всем войну.

— Вот он, правовой нигилизм! Зачем война? Зачем полцарства? Мы предлагаем самодвижущиеся экипажи... Лучше залечи ногу и купи себе «мерседес».

— Ну хам! Ну подлец! — захохотал Маркин.

Он успел от водки раскраснеться, курчавые темные пряди прилипли ко лбу.

— А деньги?.. — хохотал он. — Пятьсот миллионов! Ты подаришь мне пятьсот миллионов?

— Это просто, — невозмутимо заметил Полянский. — Не просто, а очень просто. Ты должен поверить, что «мерседес» у тебя уже есть. Стоит вон там во дворе вместо твоего драндулета.

— Ага, — с иронией сказала Галина. — Сколько ни повторяй «халва», во рту сладко не будет.

— Не-ет! погоди. Когда говорят мужчины, женщины молчат. Суровый закон Востока. Значит, стоит во дворе. Нравится тебе это или нет, он — твоя собственность. Его могут угнать, разобрать на части, ты можешь попасть на нем в аварию... Сам понимаешь. Короче, уйма хлопот. И вот ты решил от него избавиться. Как это сделать?

— Продать? — предположила Галина.

— Подставить кому-нибудь бок! — озарило Маркина.

— Так, — сказал Полянский. — А после врезать этому парню на «Москвиче» по коленке, чтоб на всю жизнь запомнил. Другие предложения будут?

Маркин с Галиной невесело рассмеялись.

— Нужно всего-навсего шевельнуть мозгой, — сказал Полянский, прикладывая к виску палец. Другой рукой опрокинул над своей рюмкой бутылку, сливая последние капли. — Галя, будь другом, принеси вторую! Итак, «мерседес» тебе не нужен, и ты объявляешь лотерею. Выпускаешь билеты. Никаких тебе «каждый второй билет выигрывает», это все чушь. Выигрыш один — машина «мерседес». Но реальный. Можно прийти и пощупать. Миллион билетов по три тысячи рублей. Что такое сегодня три тысячи? Это батон. Это уже меньше батона. Играют — все, от бомжей до министров. Через пару месяцев у тебя в руках три миллиарда... Ладно, положим, чуть меньше. Законы надо уважать. Почти три миллиарда! И что ты делаешь?

— Он покупает «мерседес»! — сказал Леша, глядя на отца с восторгом.

— Нет! Он покупает два «мерседеса». И первый из них вручает счастливицу! Потому что обманывать людей нельзя, это нехорошо и опасно. А на оставшиеся деньги приобретает трехэтажную виллу. И еще останется на шофера, садовника и красивую горничную... Пардон.

На шубку жене. А вдобавок ты знаменит. Тебя показывают по телевизору. Потому что это не шутка — подарить какому-нибудь бедняку «мерседес». И с этой всероссийской трибуны ты, любимец народа, что делаешь? Конечно, обещаешь в ближайшем будущем каждому по «мерседесу»! Тебя выбирают в Думу, затем в президенты...

Полянский изрядно уже набрался. Маркин прищурился на миг и увидел их бестолковое застолье с Полянским во главе совсем трезвым глазом. И все-таки любил он этого сукиного сына! И мальчишка Полянского начал ему нравиться. Маркин даже приобнял парня, похлопал его по колену:

— Будешь у меня шофером?..

6

Галина догадалась убрать с глаз долой третью бутылку. Полянский уже ничего не помнил и не соображал.

— Ты отличный программист, а я никто, — жаловался он, повиснув у Маркина на плече, чтобы не сползти под стол.

— Ну, никто! Ты финансовый гений. Но долги не платишь.

Полянский иногда заказывал ему несложную работу, и Маркин в свободные часы ее выполнял. В конторе давно уже перестали следить, кто чем занят, каждый зарабатывал как мог. Начальство было даже радо, что можно и не увольнять никого, и зарплату почти не платить. Полянский то ли верховодил в небольшой фирме, то ли вел частное дело. Платил за работу скупно. Последние два раза вообще ничего не дал, все откладывал. Маркин и в гости его зазвал в надежде на окончательный расчет (сумма-то пустяковая, «на бензин», как говорил Маркин), но тот про деньги даже не заикался. Пришлось напомнить:

— Друг, — бормотал Полянский заплетающимся языком. — Ты думаешь, я богат? Помнишь, как мы с тобой еще недавно гуляли!

Маркин никогда с ним особенно не гулял — раза два встречались вот так же за столом, — но кивал.

— Друг, сегодня я беднее последнего нищего. Ты спец, я тебе завидую. Я! У тебя все впереди. Слышал, что они теперь говорят? «Предоставьте это дело профессионалам», — вот что они говорят. Они — профессионалы. Они опять все прибрали к рукам, а мы в глубокой жопе... Пардон...

— Специалисты по воровству, — с жаром подхватила Галина.

— О! Только вслух об этом — не надо. Не нужно никаких сцен. Мы уйдем тихо.

Галина принялась вдруг двигать стол, стулья; Маркин ничего не понимал, Полянский, конечно, тоже.

— Что ты делаешь с нашей постелью? — спросил Маркин, придерживая Полянского на стуле.

— Спать пора, второй час.

— Что?! Мы идем на электричку! — сказал Полянский и неверной рукой потянулся к сыну: — Собирайся! Где твоя шляпа?

— Какая электричка, поезда давно не ходят, — отрывисто сказала Галина. — Утром поедете.

Двухспальной кровати предстояло вместить четверых — другой в доме не было. Галина подставила стулья, навалила на них тряпья, перестелила две простыни поперек.

— Ты джинсы снимать будешь? — Лешу спросила.

— Не-а.

— Ну ладно. Переночуем как на вокзале.

Маркин подставил Полянскому плечо, Леша старался помочь отцу с другого боку.

— Что бы мы делали в ихних трехэтажных особняках, где на каждый организм полагается отдельная комната! — разглагольствовал Полянский, пока его волокли в постель. — Никакой игры воображения! Скука.

7

Улеглись так: Полянский, рядом его сынишка, за ним Маркин, с краю — Галина. Головы и туловища поместились кое-как на кровати, ноги — на стульях, значительно ниже: тряпья не хватало. Все укрылись поперец одним ватным одеялом. Полянский как свалился (туфли с него стащили), так сразу захрапел. Леша ворочался и пихался локтями и коленками, отвоевывая себе пространство, пока наконец не уместился весь на кровати, свернувшись калачиком. Маркин ему позавидовал. Он все никак не мог пристроить больную ногу, она повисала над пустотой и ныла от напряжения. Сначала он повернулся к Галине и обнял ее, чтобы лечь потеснее, но та нервно задергала плечами, откинула свой конец одеяла: жарко.

— Как храпит! — тихонько возмутился Маркин, имея в виду Полянского.

— Скоро рассветет. Спи.

Тогда Маркин перевернулся на спину. Ноге стало удобнее, но так он занимал слишком много места, острое Лешино колено втыкалось под ребро. Пришлось повернуться на бок, спиной к Галине. Под ногу подгреб что-то с Лешинной стороны, чтобы было повыше. Мальчишка сопел ровно, похоже, спал. Прямо над головой прозвучал удар, и следом загудело. Маркин вздрогнул от неожиданности, потом сообразил: печка. Теперь, когда он чуть не упирался головой в стенку, звуки с кухни доносились громче. Шум потревожил и Лешу, тот что-то промычал во сне и засадил коленками Маркину в живот. Маркин ощупал его: свернулся уютненько, как котенок, руки зажаты между ногами. Мягко, чтобы не разбудить мальчишку, Маркин попытался немного его распрямить и отодвинуть; самому подаваться было некуда: сзади лежала прижатая к кровати спинке Галина. Мальчишка уступил на удивление легко. Горячая ручонка выскользнула из укрытия, упала Маркину в ладонь и словно застыла, отяжелев. Раздражение Маркина сменилось внезапной нежностью к маленькому тельцу. Ему уже не казалось тесно. От мальчишеской руки шел приятный, успокаивающий и трогательный ток. Маркин прихватил шершавую ладошку и осторожно сунул ее туда, где она лежала раньше. Показалось, Леша сам раздвинул ноги, словно помогая ему во сне. Маркина обдало жаром. Гулко забило сердце, запульсировала кровь в кончиках пальцев. Ладонь ощущала шершавые рубчики поношенных детских джинсов. Он замер, точно его застигли на месте преступления. Прислушался: Полянский храпел, за спиной размеренно посвистывала носом Галина; и все так же ровно и тихо, чуть приоткрыв рот, дышал во сне Леша. Маркин невольно улыбнулся, вытянул свою занемевшую руку и по пути легонько тронул мальчишку, как бы потрепал снисходительно-ласково...

Леша издал слабый протяжный стон. Маркин почувствовал, как детские руки захватили его ладонь с двух сторон и — крепко прижали к тому самому бугорку, который он только что потрогал...

Время провалилось. Маркину казалось, что от ударов его сердца сотрясается не только кровать, но весь дом. Голову точно наполнили кипятком, в глазах плыли белые круги...

Кашлянула Галина.

Маркин отдернул руку судорожно, но тут же застыдился. Вернулся, поправил на Леше одежду, очень осторожно, чтобы не шуметь, застегнул молнию на брючках. И опять горячая рука будто нечаянно упала ему в ладонь. И он оценил этот жест и крепко сжал ее на прощанье.

8

...Незнакомые мужские голоса за калиткой.

Перед тем Маркин осторожно выполз из постели, стараясь не загреметь стульями (хотя кто, за исключением Полянского, спал, кто не спал — разобрать было невозможно), накинул куртку и вышел подышать. Ночь

была студеная, с крупными звездами на небе. Под ногами хрустели корочки льда. Маркин все не мог прийти в себя после наваждения. Такого с ним еще не бывало. Мысленно поносил распущенного мальчишку и отца его заодно, а тем временем все возвращался к ощущению шершавой ладошки и понимающему ее пожатью, и рот безотчетно растягивался широкой улыбкой. Было хорошо и свободно, точно заново родился. Ничего не мог с этой радостью поделаться, хоть и сердился на себя за легкомыслие. Ведь виноват! Сам во всем виноват. Черт знает что в себе иногда открываешь. Со смущением думал о Леше: как тот поведет себя утром, как они посмотрят в глаза друг другу? И о Галине: она ведь не просто так кашлянула. Не спала и все спиной чувствовала. Решила предостеречь. Ужас! Но ведь ничего же не было? Не было и быть не могло? Просто в людях копится странное томление, хочется касаться, передавать другим свое тепло. Маркину в детстве тоже чего-то такого хотелось, душа обмирала. В ситуациях порой самых прозаических — неловко вспоминать, не то что рассказывать кому. Загадочная вещь — живое тело. А без этого тепла, может, ни нежности, ни доброты... даже понимания между людьми не возникало бы. Ведь сначала он отнесся к Леше с неприязнью, почти враждебно. А теперь это пожатие. Как заговорщики. Пускай себе Галина воображает и ужасается. Может, ей это даже на пользу пойдет: создаст себе новый образ. Слишком уж рассчитанно и до тошноты предсказуемо она его, Маркина, себе представляет. Хочет всем на свете управлять. Так не бывает. Что там Полянский бормотал на ночь про фантазию? Ладно, пускай это называется фантазией. Всего лишь сон. Что она может иметь против сна? Сама-то и не такие, пожалуй, сны видит, похлеще. А утром не то что Галина, сам Маркин уже не будет знать, было с ним это на самом деле или нет. Да и что такое — на самом деле? Может, в мире нет ничего, кроме фантазии, просторной, без границ, от земли до самых звезд, такой же ясной и свежей, как эта ночь.

Еще Маркина томило предчувствие, что Леша не выдержит, выскочит за ним во двор. Маркин что есть силы гнал от себя эту постыдную догадку, но сердце замирало...

Так он ковылял туда-сюда по темному двору, припадая на больную ногу, иной раз хмыкал или головой крутил от возбуждения, ничего кругом не замечая, когда до него внезапно донеслись с улицы голоса.

Маркин разом все вспомнил. Первым позывом было сорваться и нестись домой, к своим, под защиту засова и топоров. Но он удержался: перед гостями неловко, да и тактически это будет ошибкой. Что же — двор сдать врагам, чтобы они здесь свободно распоряжались? Маркин в тот миг оказался ближе к забору, чем к дому, так что его бегство наверняка будет замечено и понято по-своему. Это приблизит развязку. Пока идет психологическая война, надо попытаться в ней победить или хотя бы удержать позиции; если дойдет до войны настоящей, до насилия — надеяться будет уже не на что: силы слишком неравны. Может быть, поднять всех и вывести сейчас во двор, утратить числом? Да разве пьяного Полянского разбудишь...

Спокойствие, сказал себе Маркин. Надо к ним выйти. Не исключен диалог. Когда увидят, что их не боятся, с ними говорят уверенно и твердо, — растеряются. Не станут же они прямо здесь, под окнами дома, при возможных свидетелях, убивать Маркина? Это им невыгодно, просто не нужно.

Под ногами предательски хрупали льдинки. Немного не дойдя до калитки, Маркин притаился за невысоким кустом, стараясь слиться с его темным силуэтом. Вдалеке простучали и замолкли колеса ночного поезда. Затем над головой послышался сухой треск. Маркин поднял голову и увидел над забором между стволами двух высоких сосен огненный шар. Он имел правильную круглую форму и походил на большую красную луну, но никак не мог быть луной, потому что быстро поднимался. У вершинки сосны шар приостановился, словно раздумывая, куда лететь дальше, и дви-

нулся по прямой наискосок, постепенно удаляясь. Маркин ошалело провожал его взглядом, пока шар не исчез так же внезапно, как и появился. И тут совсем рядом негромко заурчала машина. Маркин понял, что преследователи уезжают, выбежал из укрытия, вскочил на перекладину забора и выставил голову, надеясь еще увидеть машину и, может быть, даже заметить номер. Но улица была совершенно пуста. Он просто не поверил глазам и еще раз окинул взглядом вправо и влево хорошо просматриваемый в свете звезд квартал. Никаких следов людей или машины! Перед тем как соскочить с забора, Маркин скользнул глазами по сосне напротив, той самой, над которой приостанавливался огненный шар, и вдруг отчетливо увидел смотревшее на него из-за дерева плоское и бледное, словно мерцающее изнутри голубым светом лицо.

Сосна росла на противоположной стороне узкой улицы, лицо было близко, уставилось в упор, но ни глаз, ни каких-либо других черт Маркин разобрать не успел. Он невольно отпрянул, верхняя перекладина забора, за которую он держался, треснула, забор повалился, и Маркин оказался на земле в колючем малиннике. В ужасе он пополз назад, к своему недавнему укрытию. Глядел на рухнувший забор, на открывшийся за ним участок дороги в призрачных ледяных блестках. Спиной ощутил куст, обернулся, чтобы обойти его, — и увидел голубое лицо на расстоянии вытянутой руки.

— А-а-о-о-о!..

Со страху Маркин не заметил, как добежал до дому, как вскочил с больной ногой по ступеням и распахнул дверь. В темных сенях налетел на кого-то, дико вскрикнул, не сразу узнал Лешу.

— Ты куда?

— Я... пописать хотел. — Мальчишка тоже был перепуган насмерть.

— А... Ничего. Иди. Не бойся. Я здесь. Постою. — Слова вылетали дробью, трудно было справиться с трясущейся челюстью. — Да-да. Где-нибудь тут. Не ходи далеко.

На кухне он уселся возле окна, не зажигая света, и долго сидел с опущенными плечами. Поймав себя на том, что клюет носом и вот-вот свалится, пошел и растолкал Галину, пододвинул ее к Леше, сам лег с краю и ненадолго забылся сном.

9

Очнулся Маркин разбитый, с тоской на сердце, как будто накануне сильно перепил. Некоторое время лежал не шевелясь с закрытыми глазами, постепенно восстанавливая в памяти одну за другой картины минувшей ночи и приходя к выводу, что лучше бы ему вовсе не просыпаться. Кругом обступал хаос, от которого становилось тошно. Это новое убийственное ощущение жизни как чего-то темного и безобразного, чему нет ни имени, ни смысла, перебивала детская досада: и угораздило же его, Маркина, очутиться в тот день и час, в ту самую долю секунды именно в том месте, где несся вопреки правилам бешеный «мерседес» — одна из сотен тысяч одновременно снующих по городу машин, — да еще так до миллиметра все рассчитать, чтобы провести на нем филигранную царапину! Что она была именно такой, ровненькой и тонкой, Маркин почему-то не сомневался, будто десятки раз видел и изучал ее с пристрастием: не царапина даже, не до металла, а матовая полоска, как если бы школьной резиночкой по эмали провели. На штамповке, игрушке чьей-то: погоняет, побалуется и бросит, и будет она догнивать на свалке, как ржавеют возле станции ободренные кузова старых «Жигулей» и «Запорожцев». За целую жизнь не накопил достояния, равного такой безделице. Да что там! Весь Маркин со всеми его потрохами, оказывается, даже царапины на этой игрушке не стоит. Кто ж так продешевил с его, Маркина, жизнью? Ведь было же у него, вероятно, какое-то предназначенье, был замысел? И надо же, главное, всему спутаться в конце концов в такой клубок, что пропадает охота не только искать объяснений, но и вообще жить.

— Все это довольно бестолково, — сказал Маркин сам себе.

— Что — все? — сквозь сон спросил с другого конца кровати Полянский.

— Да вообще все. Эта жизнь, которой мы подвергаемся.

— А... Точно. Кто-то дергает там за ниточки, а мы тут скачем, как па-яцы.

Задев ступеньку и чертыхаясь, Полянский отправился по нужде на воздух. Следом за ним вышел и Маркин. Было уже совсем светло. Сосна через улицу и куст у калитки, так пугавшие его ночью, выглядели серо и буднично. Маркин обошел упавший забор, прикидывая, как будет его поправлять. Вернулся, поставил на плиту чайник. Осторожно, чтобы не разбудить спящих, заглянул в комнату — и увидел, что Полянский завалился рядом с Галиной, оттеснив Лешу на край, и рука его покоится у нее на груди. Оба с зажмуренными глазами, неподвижные, как мертвецы. Полянский почуял взгляд Маркина — нехотя убрал руку и отвернулся от Галины, грузно умяв подушку другой щекой.

Маркин взялся заваривать чай, уронил на пол ложку. Через секунду Галина выросла за спиной:

— Давай лучше я.

Разобрали ступеньку от постели, молча сели за стол. Чай получился бедным, как само утро: в желтоватой водичке плавал крупный жесткий мусор.

— Да что ты, понимаешь, — не выдержал Полянский. — Галя, вчера у нас осталось? Будь другом, принеси!

Галина виновато глянула на Маркина. Тот хмуро кивнул. Его мучили собственные ладони — с ночи в чем-то липком, несмываемом.

Полянскийпил водку один. Принял сразу целый стакан, ожил.

— Рядовой Маркин, вы не обеспечили личному составу горячий завтрак! — произнес командирским баском, поправляя усы. — Будете наказаны.

— Ты знаешь, где можно купить пистолет?

— Опять за свое. Газовый?

— Настоящий.

— Ну, ты больной... Секретарь суда! Прошу занести показание обвиняемого в протокол.

— Да не мучайся так, что-нибудь придумаем, — пожалела Маркина Галина. — Завтра я на работе поспрашиваю. Может, заявление в милицию написать? — И по-свойски накинулась на Полянского: — Тоже мне, друг называется! Посоветовал бы что-нибудь. Мы так на тебя рассчитывали!

— Советую: выкопать вокруг дома ров, — откликнулся Полянский. — Три метра в глубину, пять в ширину.

— И наполнить водой! — подхватил Леша. С постели он встал нахоженный, не выспавшись, теперь подрагулялся.

— Так точно. Раздолбать водопровод, вода сама набежит. В окошках выставить пиццали и мортиры. Но самое главное — тренировка личного состава!

— Вщих! Вщих! — рубил Леша в воздухе воображаемых врагов. — Как ниндзя, да, пап?

— Кончайте стебаться, — сказала Галина. — Человек ногу повредил.

— А почему это случилось, а? Я тебе отвечу. Потому что боевая подготовка у вас поставлена из рук вон плохо, раз! Строевые занятия не проводятся! Учебных стрельб не было! И средства на обсрону, — Полянский напористо глядел на Галину, загибая на руке четвертый палец, — отпускаются явно не-до-ста-точ-ны-е! Где казармы с требуемым числом коек? Где обмундирование? Где провиант? Нету! А организация досуга, увеселения?.. Я вам больше скажу. Вы хотите жить при демократии? Тогда запомните: демократия суть огневая мощь! Слабым в демократическом обществе делать нечего. Слабость плодит иерархию. Кто строил дворцы и золотил троны? Не сильные. Слабые! А потом позорно ждали у подножия тронов

своей участи. Вот вам истоки всех нынешних бед. И демократии хочется, и сильных боятся. Не нужно никого бояться! Кто смел, тот и съел...

Маркин молча поднялся из-за стола и пошел чинить забор. Едва потянул к столбу лопнувшую жердь, от нее пошли отваливаться ветхие доски. Такой забор ни от чего не спасал, это ясно; хотелось лишь скрыть следы разрушения, чтобы не волновать лишний раз Эсму Воросовну.

Сыпалась снежная крупа. Сгребешь ладонью с доски — в руке остается легкий крупитчатый слепок, похожий на кусок пенопласта.

Выскочил поглазеть на работу Леша — зябко ежась, руки в карманах.

— Дядь, это что, крепость будет? А вы умеете заряжать мортиры? Хотите, научу, а, дядь?

— Не кривляйся, — осадил его Маркин. — Ты ведь умеешь быть... — он запнулся, — ...искренним.

Леша вскинул голову и поглядел на Маркина со страхом и ненавистью, словно тот собирался выдать ужасную тайну.

— Ты чего? — Маркин попытался улыбнуться и протянул руку, чтобы похлопать парня по плечу. Но Леша с неожиданно брезгливой гримасой из-под руки вывернулся и торопливо зашлепал к дому.

10

Когда Маркин пришел со двора — злой, с распухшими от холода руками, — Полянский полулежал на скомканном одеяле со стаканом в руке и держал речь:

— ...Его приковали цепями к скале, и каждый день к нему прилетал орел и клевал его печень. А это, ребята, самое херовое, что может быть, — когда человеку клюют печень!..

— Вщих! Вщих! — упорствовал в своем Леша, делая рукой отмашку направо и налево.

Галина много курила. Похоже, без Маркина она все-таки выпила с гостем за компанию.

— Я развивал здесь одну сугубо интеллектуальную идею, — сказал Полянский, удерживая Маркина за рукав. — Присядь ко мне. Выпьешь? Бери стакан, я с тобой поделюсь...

— Значит, боишься, что тебе будут печень клевать? — спросил Маркин недружелюбно.

— Еще как! А ведь будут, брат.

— И правильно сделают.

— Так. По-твоему, я преступник?

— По-моему?.. По-моему, провались оно все в тартарары!

— Это не выход, брат. Прости, брат, ты все-таки мудака. Тебе не хватает широты... дарования... да-с. Ведь что есть преступление? У древних лидийцев все девушки до замужества занимались проституцией. Такой был порядок. Сами себе копили приданое. Не накопишь — замуж не возьмут. Сурово, да? Рынок. Сейчас мы их понимаем. Нормы создаются... вот, правильно Галя подсказывает: жизнью! Умница. Твоя жена умнее тебя, Маркин! Одни нормы — для нас. И совсем другие там, где нельзя лечь вповалку и прижать на всю ночь какую-нибудь...

Маркину показалось, что Галина за спиной хихикнула.

— Собирайся-ка домой, — сказал Маркин, сдерживая себя. — Скоро вечер, опять не успеете на электричку.

Никто с Маркиным и не спорил. Галина молча разобрала одежду гостей, вдвоем с Лешей они подняли Полянского с кровати, вдели его в плащ, нахлобучили кепку. Маркин в этом не участвовал.

— Он мне нужен на два слова, — потребовал от порога Полянский.

— Может, не надо? — тихо попросила Галина. — Ступай! После договорите.

— На два слова!..

Маркин приблизился:

— Ну?

— Насчет пистолета. Когда благородный человек не способен расплатиться, он пускает пулю себе в висок!

Маркин повернул его за плечи и подтолкнул к лестнице — видимо, чуть сильнее, чем позволяли обстоятельства. Полянский кубарем скатился по ступеням, выписывая ногами в воздухе замысловатые фигуры. Под крыльцом сел на землю, припорошенную снегом. Кое-как с помощью сына поднялся, коротко шлепнул себя по заду для блезиру, взял подобранную Лешей кепку и большими неровными шагами двинулся к калитке, не оборачиваясь. Мальчишка же оставил Маркину на прощанье долгий пронзительно-ненавидящий взгляд.

11

В тот вечер печка-автомат включалась особенно часто: на дворе усиливался мороз. Маркин и Галина лежали в кровати как можно дальше друг от друга, прислушиваясь к щелчкам, шорохам и скрипам.

— Завтра заскочу с утра в прокуратуру, попробую узнать, что и как, — сказала Галина.

— Ты на водку какие деньги тратила? — задал Маркин еще со вчера мучивший его вопрос. — Те, что за газ платить?

— Да ладно тебе. Зарплата через три дня.

— Зарплата... А дальше что, снова на будущую зарплату рассчитывать? Так и живем. Полянский мой должник, а ты его на последние деньги водкой накачиваешь. Полянского, что ли, не знаешь? Это же бездонная бочка. Теперь еще не выпались из-за него.

— Характер твой, — вздохнула Галина. — Спи, кто тебе не дает? Забыла сказать... Да уж теперь и не знаю, говорить ли.

— Как хочешь, — устало сказал Маркин.

Он догадывался, что услышит: полупризнания и полуизвинения, плавно переходящие в обвинения и упреки. Одно и то же изо дня в день, из года в год. Однообразное, до смерти надоевшее перетягивание каната, заканчивающееся слезами и примирением. Если известно, что будет в конце, зачем начинать?

Щелк! Пыхнуло невидимое за фанерной перегородкой пламя.

Щелк! Погасло.

Щелк!..

— Мне предложили взятку, — тихо сказала Галина.

— Что ты говоришь! Оказывается, ты стала важной птицей.

— Нет, серьезно. В одном деле обнаружился подлог, но об этом пока знаю только я. Ну и заинтересованные лица, конечно, но в суде — я одна. Какую-то дурочку начальник сживает со света, обвинил ее во всяких страшных делах. А она притащила документ, из которого ясно, что все обвинения — липа. На адвоката у нее денег нет, так она меня вроде как советчицей выбрала. Правдоискательница. Грязное дело, короче, уголовщиной пахнет. Теперь тот мужик хочет негласно изъять кое-какие бумаги и переписать протокол... Протокол моей рукой написан.

— Он-то как узнал об этом?

— Я ему сама позвонила. Судья не в курсе, пока все у меня.

— А если обнаружат?..

— Да кто чего помнит! Каждый день десятки дел, ворох бумаг. Не стоит в протоколе — значит, ничего и не было. Если понадобится, он и судью купит: денег много, связи.

— Сколько ты спросила?

— Да ты что, шантажисткой меня считаешь? Я сгоряча позвонила, от возмущения. Объяснила, чем все может для него обернуться, если он не перестанет эту дуреху травить. А он, подлец, по-своему понял...

— Бери, — сказал Маркин, подумав.

— Чего?..

— Бе-ри. Надо охотничье ружье купить или хоть газовый пистолет. А иначе полгода копить придется, за это время знаешь сколько с нас шкур спустят?

Щелк!

— Не продешеви. Требуй не меньше тысячи долларов.

Щелк!

— Ты трус, — сказала Галина. — Все о каких-то рвах с водой, о крепостных стенах мечтаешь.

— Это твой Полянский размечтался, ты перепутала.

— Напали на него, видите ли, искалечили! Постыдился бы. Трусишь да бегаешь больно быстро, вот и вся беда. Такому трусу, как ты, никакое оружие не поможет, хоть ты танк себе купи. Посмотрел бы лучше, в чем я хожу, зимой обувь нечего...

— Сука, — сказал Маркин. — Тебе хочется найти меня завтра у калитки с перебитым позвоночником?

— Да не бойся, возьму я деньги, возьму. Если дадут. Но ты трус, так и знай.

— А ты — сука.

Щелк!

Маркин неожиданно для себя подумал, что был не так уж далек от истины, нарочно пугая печкой Эсму Воросовну: штука в самом деле опасная. Каждые пять — десять минут — маленький взрыв газа под жестяным кожухом. Запал срабатывает когда раньше, когда чуть позже, и тогда из отверстий вылетают языки пламени, способные лизнуть обои или занавеску на окне. Раз на раз не приходится. Может вообще запоздать с воспламенением, под кожухом скопится слишком много газа, и взрывом его разнесет в клочья. А если и не разнесет — ударная волна погасит факел, печка перестанет гореть, а газ будет все идти и идти через открытый клапан, стелиться по полу, вытеснять из кухни воздух, перетечет и в комнату...

Настолько живо все это предстало, что Маркина затошнило от страха.

И никакой возможности вмешаться в ход событий. Не станешь же выключать в мороз печку или заблаговременно вызывать пожарников? Скажут, свихнулся. Все будет идти, как идет, к одному ужасному концу, и этому никак нельзя воспрепятствовать. Виновата не печка. И люди не виноваты. Люди лишь малая и зависимая часть чего-то большого, что создано неправильно и потому обречено на гибель. Между людьми уже ничего не поправить, не решить никаких проблем, как ни старайся. Виноват кто-то другой, кто с самого начала направил эшелон в тупик.

12

Утром в постели он вспомнил, что так и не изобрел за два выходных дня никакой защиты от усатого, и решил остаться дома. Тем более что и нога побаливала. Когда Галина убежала на работу, Маркин неохотно поднялся и сел на кровати, протирая кулаками слипшиеся глаза, как капризный малыш. Достал с батареи носки и принялся их натягивать. Прокаленные за ночь, они пахнули чем-то близким, прогнав по телу горячую волну. То ли детство вспомнилось, когда вдыхал по утрам сладкий труд собственных ножек, оставивших следы в чулках, то ли всплыли острые ощущения вчерашней ночи. В голове закружились, понеслись отчаянные и глупые, как у подростка, фантазии: какой-то винегрет из мимолетных впечатлений, осуществленных и неосуществленных в отношении дамского пола намерений, счастливо придуманные продолжения неудачных начинаний. Маркин смял в горсти оставшийся в руке теплый носок и прижал его к лицу. Тихо застонал от яростного желания. Опомнился, отшвырнул носок. Сидел с закрытыми глазами в трусах и одном носке, покачиваясь. В душе распадалась какие-то важные скрепы, но он и не пытался их собрать и водворить на место. Чувствовал отвращение к себе и к жизни. Со злобой думал о Галине. Семейная жизнь такой же тупик, как и все другое. Когда

двое уговаривают себя, что они существуют друг для друга и больше никого вокруг них нет, это значит лишь, что они загнаны в угол.

Отвлек телефон. Звонила смешливая толстушка Тоня с работы.

— Кошмар! — отреагировала она, когда Маркин, чуточку приврав, сказал про ногу. — За тобой кто-нибудь ухаживает? Есть кому чашку-ложку подать?

— Да нет, я один, — хмуро признался Маркин. — Приезжай! — нечаянно добавил, потеплев в голосе. По телу опять прошла волна, кровь застучала в висках.

— Навестить больного? Ой, какая прелесть! Я придумала: заявлюсь от месткома.

— Разве у нас еще есть местком? — не своим голосом выдал Маркин первое, что пришло на язык, глубоко проглатывая слюну. Еще боялся, что Тоня просто забавляется, шутит. Сейчас она бросит трубку, понесется рассказывать другим бабам, начнут хохотать, издеваться над Маркиным...

— Есть, и я в нем как раз состою! — радостно взвизгнула Тоня. — Приду как страделегат! Страх наводить. Приготовь к осмотру раненую конечность!

— Обязательно. Все конечности покажу! — развязно сострил Маркин.

Из телефонной трубки высыпалась желтая тараканья труха. Тараканы любили жить и умирать в телефоне: вовнутрь редко кто еще заглядывал.

Маркин шел ва-банк. Теперь ему ни за что не хотелось упускать случайно приоткрывшуюся возможность, он просто весь дрожал от нетерпения. С толстушкой Тоней они работали уже года три, сидя за соседними столами, но влечения и особого интереса друг к другу никогда не испытывали. К другим сослуживицам Маркин бывал порой куда внимательнее. У Тони была семья, девятилетняя дочь; на мужа, в отличие от других женщин, никогда на работе не жаловалась...

Что она приедет, Маркин почти не сомневался, но теперь его беспокоило другое: что, если она прихватит с собой подругу, а то и кого-нибудь из парней? Они там все рады случаю сбежать с работы. Тогда опять чинное сидение за столом, чай... Хорошо, водки не осталось. Да ведь с собой приволокнут, паршивцы, а то и в магазин сгоняют. Все ли она поняла? Поняла ли, как и зачем он ее позвал?..

Тоня появилась одна. Обрадованный Маркин ринулся к ней, но что-то, должно быть, было в его истомленном ожиданием и предчувствиями лице такое, отчего она прижалась спиной к двери и выставила перед собой пухлые ручонки:

— Только, пожалуйста, без нежностей! Я на пять минут. Шеф сказал, чтобы ты вернул дискету, с ней пока Марина поработает...

Маркин сник. Это была та самая пресная Тоня, бок о бок с которой он просиживал штаны за пыльным столом. Другой она могла возникнуть только в его слепом жадном воображении после трех почти бессонных ночей. За то время, что они не виделись, Маркин будто прожил несколько жизней. С Тоней же просто ничего не произошло. Ему придется заново привыкать ко всему, с чем он расстался в минувшую пятницу.

Маркин провел Тоню в комнату, скучно спросил:

— Чаю согреть?

— Нет, шеф ждет. А ты молодец. Правда с ногой что или так, сачкуешь?

— Могу показать, — сказал Маркин обиженно, задирая штанину.

— Ух ты... Врачу не показывался? Надо компрессы делать.

— Мне жена на ночь делает, — признался Маркин, сжигая для себя последние мосты.

— А это что, кровать? Ой, какая прелесть! Прошлого века, наверное? Бабушкина?

— Бабушкина, — равнодушно подтвердил Маркин. Ему уже хотелось поскорее избавиться от Тони.

— Ух ты! Никогда в жизни не лежала на такой кровати. У тебя есть какой-нибудь медицинский справочник? Дай-ка я посмотрю, что с твоей ногой делать. Так... Вагинизм: «Если больная дефлорирована, то ее убеждают в безболезненности введения сначала одного, затем двух пальцев... Это часто удается врачу лишь после нескольких сеансов. Для устранения страха больной рекомендуется дома самой вводить себе во влагалище сначала один, затем два пальца и делать ими вращательные движения...» Ну, что мне делать дома, я сама знаю.

— Не понял, кого из нас лечат?

— Сейчас узнаем про тебя... Переломы челюстей: «Повреждения челюстной кости с нарушением ее целостности. Этиология: бытовая, спортивная, огнестрельная и другие грубые травмы». В тебя никто не стрелял? «Переломы челюстей обычно открытые...»

— Хватит, — сказал Маркин. — Меня сейчас вырвет.

— От чего тебя вырвет, миленький? От вагинизма? Ужас какие бывают болезни, правда? Ничего не просунешь. Никак и ничего... Приходится лечить пальцем... Вот так... Ой, ха-ха-ха! Ой, ой, прелесть какая!..

— ...Все? — спросила Тоня спустя время, явно разочарованная. Провела для проверки ладошкой внизу между животами. — Э-э... Все.

От пышной Тониной груди пахло французскими духами. Маркин еще надеялся реабилитировать себя, собраться для второго, более основательного сеанса... За стенкой прозвучал сухой резкий щелчок. Тоня испуганно потянула на себя простыню:

— Кто там?

— Печка, — с досадой сказал Маркин. Он не вполне был уверен, что это печка: звук показался необычным. Но не идти же проверять, когда так важно закрепить достигнутый успех?..

Его размышления прервал пронзительный тонкий вопль.

Это был не писк, именно вопль раненого животного, долгий и страшный. Маркин вскочил и кинулся на кухню. Сработала мышеловка Эсмы Воросовны под столом. В ней билась в предсмертных судорогах и кричала крупная желтая мышь.

— Неужели ее нельзя спасти? — жалобно спросила Тоня. Она завернулась в маркинскую простыню и прилепала за ним босиком. Маркин еще подумал, что простыня может пропахнуть ее духами, Галина учует... Он распрямылся, собираясь ответить Тоне, кинул случайный взгляд в окно — и увидел на улице возле самой калитки усатого в черном кожаном пальто и шляпе.

— Нельзя, — сказал Маркин, усмехнувшись чему-то. — Поздно.

13

...Для всего на свете один тупик: Ловушка.

К тому времени Маркин составил в уме целую ловушечную теорию. Всякая жизнь заключена в тесной камере. Не пошевелинешься. Однако стенки камеры достаточно хрупки, и они, случается, рушатся. После этого оказываешься в неосвоенном пространстве, границы и законы которого тебе поначалу неведомы.словно блуждаешь впервые по чужой столице, где небоскребы до неба, а глубоко под землей спрятаны целые многоярусные города с роскошными магазинами, ресторанами, театрами и клубами, и везде течет увлекательная, яркая жизнь, полная страстей и утонченных наслаждений, но ты об этой скрытой жизни не подозреваешь: тебе бы отыскать туалет, да стакан воды, да бутерброд или хоть корку хлеба, и ради этих сомнительных удовольствий ты исхаживаешь километры незнакомых улиц и площадей, набивая на ногах мозоли...

На этом этапе легко погибнуть, задохнуться в разреженном воздухе. Но проходит время, и ты начинаешь понимать иную речь, разбирать указатели и вывески, вживаться в непривычную среду. Даже пользоваться ее преимуществами. И с каждым днем все ясней осознаешь, что это место —

тоже камера, лишь несколько большего размера, чем прежняя, и снова чувствуешь духоту и скованность.

Обыкновенные люди редко разрушают стены своих камер сами. Если они и способствуют этому, то чаще всего невольно и неосознанно, находясь под властью чьего-то внушения или собственных неуправляемых эмоций. Обыкновенный человек не станет заранее сочинять благовидную теорию для оправдания задуманного убийства: он прежде убивает, а затем уже оправдывается. Сам факт разрушения привычной камеры (которое каждому приходится пережить на своем веку не однажды) он воспринимает как обвал, катастрофу. Новое помещение пугает его мнимой безграничностью и пустотой. Он не находит себе места, пока не исползает его вдоль и поперек и самолично не убедится, что стены здесь тоже глухие и сделаны на совесть. Тогда наступает успокоение — до следующего обвала...

Но есть и такие, кто сознательно ломает одно препятствие за другим, изменяя представления о возможном, о норме, рассчитывая когда-нибудь вдохнуть на воле полной грудью. Люди, всегда готовые к большей свободе и легко ориентирующиеся в новых камерах. Что их ждет? Достигает ли кто-нибудь из них конечной цели?

Маркин не верил в существование абсолютной свободы. Он догадывался, что люди, ее жаждущие, лишь приближают неизбежный конец этого абсурдного, пьяного от собственной крови мира. Сам он к таким прирожденным бунтарям не принадлежал.

14

«Почему у мышей нет паспортов? — устало рассуждал про себя Маркин. — Почему нет следственных органов, суда? Ведь за убийство должен кто-то отвечать».

Простыня у Тони на спине разошлась, и он обратил внимание, какое у нее простое, неинтересное тело — ровно-упитанное от плеч до ягодиц, без намека на талию.

— Сейчас увидишь цирк: меня тоже будут убивать.

Странно, Маркин был почти безразличен к этому факту. Не хотелось ни бежать на холод задвигать засов, ни куда-то звонить, ни брать топор в руки. Все казалось ненужным, бесполезным. Так они стояли посреди кухни, потрясенные каждый своим: коротышка Тоня в волочившейся по полу тоге и совершенно голый Маркин.

В сенях что-то загремело. Следом раздалось трубное сморканье.

— Эсма Воросовна! — прошептал Маркин в панике. — Одевайся, живо!

Тоня не знала, что такое «Эсма Воросовна», но имя звучало так угрожающе, что подгонять не пришлось. Разом натягивала юбку и кофту; голые ноги в сапоги, трусики с колготками — в карман. Маркин прыгал на одной ноге, запутавшись в штанине, и одновременно пытался расправить на кровати покрывало. И вот они уже сидят по разным углам комнаты, руки на коленях, как первоклашки, оба распаренные.

Тоня не выдержала, прыснула:

— А как же — убивать?..

Воспользовалась минутой, чтобы попытаться стянуть за спиной вечно непослушный лифчик.

— Я не одна, — зычно предупредила Эсма Воросовна с порога.

Они замерли.

Эсма Воросовна тяжело вступила в комнату, опустилась на обычное свое место, стащила с головы старую ушанку, разметав седые космы, и вопросительно уставилась на Тоню.

— С работы пришли навестить. Все болею вот, — неуверенно оправдался Маркин, по ошибке похлопав себя по здоровому колену, а сам весь подался к двери, откуда следом за Эсмой Воросовной должен был появиться усатый.

— Что ведь придумали, — сказала Эсма Воросовна. — Электричеством людей ловят. А не пойдешь к ним — сожгут.

— Кто придумал? — испуганно спросил Маркин.

— Да этот, как его... Коля, заходи! Зовут Николай Иванович.

В дверях возник человек в грязноватом ватнике, сухой и черный, как сломленный сучок. Глядел не прямо, глаза разбегались в разные стороны.

— Но там был другой... В кожаном пальто... Где он? — пробормотал Маркин, заранее сжавшийся в комок.

— Усатый? — живо отозвался Николай Иванович.

— Да-да! Усатый!

— Так его еще в прошлом году выгнали. За пьянку.

— Не помню такого! — обиженно встряла Эсма Воросовна. — Борис, что ль?

— Это вы ловите людей электричеством? — деловито спросила Тоня.

— Я?! Чего она брешет?

— Не он ловит, он мне рассказывал, как другие ловят, — рассудительно поправила Тоню Эсма Воросовна. — Спускаются на землю, раскидывают электрические сети и затягивают. Если побежишь от них, станет все жарче, жарче... Пока не сгоришь в огне. А тех, кого поймают, увозят с собой.

— Куда?

— Если б знать, куда! — Николай Иванович хитро подмигнул косым глазом и прищелкнул языком.

— На другую планету, — строго разъяснила Эсма Воросовна. — Хватит языком чесать, гляди печку. Из-за тебя пришла в такую даль.

— Домик у вас симпатичный, — сказала Тоня, когда Николай Иванович скрылся на кухне. — Особенно мне кровать понравилась.

— Это от дедушки досталось, — расплылась в довольной улыбке Эсма Воросовна, притопывая слоновьими ногами в галошах. — Дедушка керосином торговал. А когда умер, бабушка с мамой сюда переехали и кровать с собой забрали. У дедушки было еще четыре кресла, дубовый сервант, напольные часы с боем, три китайских вазы...

— Боже мой, сколько жизней эти большевики исковеркали, — сердечно сказала Тоня, вздохнув. — Ну, я пойду, товарищ Маркин, поправляйтесь. И вам всего доброго, бабушка. И вам успеха, Николай Иванович!

У дверей Тоня долго наматывала и поправляла яркую, в красных цветах, шаль, зажимая кончик ее подбородком, как деревенская девушка. На прощанье улыбнулась Маркину ласково и печально. Сердце Маркина кольнуло, но он даже не подошел к ней. За ним следили.

— Большевики? — недоверчиво переспросила Эсма Воросовна, когда дверь за Тоней захлопнулась. — Какие большевики?..

15

— ...О-хо-хо, грехи наши тяжкие. На одного Спасителя надежда.

— Спаситель? А кого он спас, Эсма Воросовна? Две тысячи лет прошло — никого еще не спас. Все друг друга давят, убивают, едят, мучают и сами мучаются. Взять мышку — какие у нее были грехи? А вы сколько мучаетесь с больными ногами! Помог он вам? И еще пугает, запутывает. Если ты бог, то сделай настоящее чудо, останови это взаимное пожирание! А не можешь, так нечего запутывать красными шарами, кислые носки под нос совать...

— Какие красные шары? — с тревогой спросила Эсма Воросовна.

— Ну, вы сами только что рассказывали. Все эти так называемые пришельцы...

— Я о красных шарах ничего не говорила! — Помолчав, добавила с обидой: — Это не носки, а бандажный бинт. Ваша жена знает, что у меня варикозные узлы, я предупреждала. Нет, вы меня прямо расстроили: красные шары! Дочь весь год уверяла, что никаких шаров больше не будет...

— Когда вы видели их в последний раз? — догадался спросить Маркин.

Эсма Воросовна спохватилась и плотно сжала губы. В приспущенных уголках читался скорбный укор самой себе.

— А там были лица... Такие голубые, светящиеся лица? Вы не помните?

Эсма Воросовна долго молчала.

— Жена-то в суде все работает? — уточнила встречно, чувствовалось — неспроста.

— В суде.

Эсма Воросовна напряженно думала. Наконец решилась:

— Дом на внука переписан, нотариусом заверено. Сажайте не сажайте меня, все одно не вам достанется.

16

Кто же мог подумать, что от косоглазого, худого и нескладного Николая Ивановича так много зависит! Вначале Маркин совсем не принял его в расчет, Николай Иванович казался в сравнении с другими выпуклыми фигурами бледным статистом, никчемной пешкой. Но именно ему суждено было поставить во всей этой истории последнюю точку.

— Наши клапана херовые, — доверительно сообщал Николай Иванович Маркину, ковыряясь отверткой в газовом устройстве. — Хочешь, я тебе заграничный поставлю, из титана? Сто лет работать будет!

— Он ничего не хочет, — решительно обрывала Николая Ивановича Эсма Воросовна. — Проверь что надо и закругляйся!

— Дело хозяйское, — пожимал плечами Николай Иванович, зачем-то подмигивая Маркину. И тут же начинал заходить с другого боку: — Видал, как сопло обгорело? А сопло, считай, что твой отросток. Потеряешь отросток — чем писать будешь?

— Если что не так, замени! — строго отвечала за Маркина Эсма Воросовна.

— Хм, замени!.. А мне кто заменит? — шутил Николай Иванович. И добавлял: — Это уж как договоримся.

— Ты меня, Коля, не серди, — ворчала Эсма Воросовна. — Ты меня знаешь: будешь много клянчить — ничего не дам!

— Уж тебя-то знаю! Тебя все знают, старая. Оттого у тебя и печка такая. — И снова к Маркину: — Случись что, к кому пойдешь? Ко мне опять же... Кумекаешь?

— Кто про что, — с запоздалой проницательностью заметила Эсма Воросовна.

Маркин кумекал, но у него не было ни водки, ни денег. Сильно разочарованный Николай Иванович кое-как посовал назад отъятые детали, наотмашь плюща их кувалдочкой, когда не лезли, Эсма Воросовна взяла в дорогу традиционную миску кислых овощей — на том и расстались.

Время было позднее, скоро уже Галина вернулась с работы.

Никаких добрых вестей у нее, похоже, не было (а добрая весть могла быть одна — деньги). Она приготовила невкусную еду, которую они и съели в полном молчании, после чего Галина углубилась в роман из французской жизни, а Маркин улегся поверх покрывала на кровать и закрыл глаза. Он вспоминал Тонины груди, переливавшиеся под ним, как водяной матрац. Про такие матрацы Маркин знал из телерекламы. Постель еще пахла духами.

О том, что днем усатый топтался возле их калитки, Маркин Галине не сказал: не хотелось нарываться на новые оскорбления. Он и себя старался убедить, что это ему всего лишь померещилось от нервного перевозбуждения, как и красные шары с голубыми лицами.

Видимо, Маркин успел задремать, потому что не заметил, как Галина ушла на кухню, и очнулся лишь от ее громких проклятий.

— Мерзавец, — говорила она. — Хотя бы предупредил, мерзавец!

Маркин догадался, что Галина наткнулась на мышиный труп. Она что-то выносила во двор, а когда вернулась, принялась заново заряжать мышеловку кусочком старого сыра, защемляя ненароком себе пальцы и чертыхаясь при этом.

Щелк! Загудело. Это не мышеловка — печка работает...

Маркин снова впал в полузабытье, его разморило, и множество негромких наружных звуков стали сливаться для него в равномерный треск, как будто где-то далеко шла ружейная перестрелка. Галина все повторяла: «Зарево, зарево», а Маркин силился ей объяснить: никакое это не зарево, просто к ним во двор спустился огненный шар. Сейчас выйдут голубые, установят вокруг дома электрические сети... «Вот чем надо ловить усатого! — пронзила Маркина во сне догадка. — Только бы не забыть, когда проснусь. Только бы не забыть...»

— Да очнись ты, пожар! — Галина трясла его за плечо.

— А?.. Печка?..

— На улице пожар!

Теперь уже палили не из ружей — из пушек. На занавесках прыгали багровые блики. Маркин кинулся вслед за женой из дома. В конце квартала за деревьями пылал двухэтажный дом. Виднелся лишь черный ребристый остов островерхой крыши, омываемый пламенем. Неподалеку стояло несколько темных фигурок. От жидкой кучки отделились две женщины, медленно пошли навстречу Маркиным.

— Только застраховали, — донеслось до Маркина. — Теперь денежки получают. Уже и новый сруб привезли.

— Сами подожгли?

— Тсс... Не наше дело.

— Пожарников вызвали? — окликнула их Галина. — Может, позвонить?

— Тута пожарники, приехали, — буркнула мимоходом одна из женщин. — Ничего теперь не сделаешь. Эти старые дома как порох...

Пламя взвыло, рвануло вверх вместе с кусками кровли и горящими досками. Казалось, уже и деревья полыхнули. Галина вцепилась Маркину в рукав... Что-то ухнуло, взметнулся к небу столб искр — и разом настали ночь и тишина. Ни огня, ни крыши, только контуры сосен еще проступали в отблесках догорающего дома да слышалось слабое потрескивание.

— Пойдем? — предложил Маркин, когда они еще сколько-то простояли как вкопанные, рука в руке, замороженные ужасной картиной.

Галина, сама ростом с Маркина, глянула на него как-то снизу вверх, словно на старшего брата. Маркину вспомнилось их знакомство много лет назад: она ждала на остановке свой автобус, у нее была совсем коротенькая стрижка и на шее торчал взбитый воротничком пушистый хохолок. На том самом месте, где живет дядюшка Ой-Ой... Это когда маленького Маркина стригли машинкой, обычно предупреждали: «Сейчас потерпи, тут живет дядюшка Ой-Ой». И в самом деле — начинало щипать, и Маркин кричал «ой!»... Вот этот хохолок мягких пепельных волос на девичьей шейке (Галина еще не красилась) — он его тогда пронзил.

Маркин обнял Галину за плечи, прижал к себе:

— Мы с тобой одни среди этого ужаса. Каждую минуту то же самое может случиться с нами. Или что-нибудь похуже. Нам нечего делить. Надо держаться вместе. — Озвучил то, что она сама уже сказала ему взглядом.

В эту ночь он любил ее так, как уже много лет пытался кого-нибудь полюбить в своем воображении, до или после свидания, потому что реально всегда что-то мешало и разочаровывало, подсовывая вместо всепоглощающей страсти досадные детали и подробности. Тут не мешало ничего: ни давно изученное тело, ни странный запах волос, ни рискованные беседы, которыми они развлекались в перерывах, потные, отдыхая от собственного безумства.

— Когда я тебя встретил... Ты была вихрастым птенчиком...

— А ты? Помнишь, кем был ты?.. Уродом...

— Это когда перешел на летнюю форму одежды. Тебе я больше нравился в лохматой шапке. Кепка мешала... Козырек длинный такой...

— Дурачок... И чего ты хотел от этого мальчишки? У него еще пушок на лобке не отрос...

— Откуда тебе известно, отрос или нет? А? Вот я тебя и поймал!..

Маркину казалось, будто из него выходит черная кровь, давно угнетавшая мозг и сердце, будто он впервые за много дней сбрасывает с плеч какой-то давящий груз. Когда засыпал в обнимку с Галиной, в голове было чисто, дышалось легко, да и все тело ощущалось прозрачным и звенящим, как хрусталь...

17

К утру стало холодно.

Галина спросонок набрасывала поверх одеяла попадавшие под руку тряпки, даже пальто свое стащила с вешалки, чтобы укрыть ноги. Маркин тоже просыпался, кутался, поджимал колени. Однажды понял, что больше не уснет в таком холоде, и решил пойти прибавить в печке огня.

Печка не горела. Погасли и большое пламя, и запальный факел.

Сердце у Маркина упало. Он сразу понял, что печка погасла неспроста. С тех пор как они въехали в этот дом, факел горел непрерывно, его никто никогда не выключал. Однако хотелось еще надеяться, что печка работает как прежде, стоит лишь поджечь факел. Только Маркин не знал, как это делается.

Он хотел спросить Галину, но та наконец-то забылась под ворохом одежды, досматривая последние сны перед своей работой, жалко стало ее будить. Маркин послонялся туда-сюда возле печки, потирая озябшие руки. Дом выстывал быстро: уже теперь было всего восемь градусов, еще немного — и станет как на улице. Хотелось прежде всего потеплее одеться, но Маркин решил не откладывать дела в долгий ящик. Печка должна заработать до того, как проснется Галина.

Путь он выбрал самый простой: открыть кран и поднести спичку. Кран оказался уже открытым — да и кто мог его закрыть? Маркин склонился над печной дверцей и попытался на ощупь изучить устройство темного нутра. Различил что-то торчащее, вроде запальной горелки, чиркнул спичкой... Серная головка с шипением отлетела далеко в сторону. Вторая спичка сразу сломалась. Маркин понял, что нервничает, и рассердился на себя. Чего бояться-то? Третью спичку постарался зажечь аккуратно и осветил ею внутренности. То, что он принял за горелку, оказалось крепежным болтом. Спичка догорала, обжигая пальцы. Маркин склонился еще ниже, засунул голую руку почти по локоть в печку и принялся вслепую тыкаться со спичкой во все углы, надеясь успеть поджечь факел...

Вспышка его ослепила. Маркин опрокинулся навзничь — больше от неожиданности, чем от взрывного толчка. Когда Галина, разбуженная хлопком, вошла на кухню, Маркин еще не оправился от шока и не чувствовал боли.

— Холодище какой! — сказала Галина, широко зевая. — С печкой что-нибудь? Ты же говорил, вчера смотрели?

— Погасла, сейчас зажгу, — бодро сказал Маркин, оставаясь сидеть в углу, куда его опрокинул взрыв. — Ты случайно не умеешь ее включать? Эсма Воросовна не показывала?..

— Лучше позови мастера. Опять, что ли, не пойдешь на работу? Смотри, выгонят!

— Зачем вызывать, все просто, — виновато сказал Маркин, силясь скрыть от Галины свою неудачу. — Смотри, я зажигаю спичку и подношу... — Он взял в левую руку коробок и действительно собирался зажечь спичку. Только тут впервые бросил взгляд на свою правую руку. Сначала увидел, потом сразу почувствовал. И едва удержался от крика.

Это было не покраснение, как от кипятка. И не белые волдыри, вскакивающие от ожога раскаленной сковородкой или утюгом. Тыльную сторону кисти и запястье покрывал коричневый панцирь мгновенно сгоревшей в пламени взрыва кожи. При малейшем шевелении панцирь этот трескался и расползался, открывая кровоточащее мясо.

Маркин рефлексивно провел здоровой рукой по лицу и тоже почувствовал боль. Обожженные веки залипли, трудно было сморгнуть. Просто чудо, что ему удалось сохранить глаза.

— Забыла вчера сказать: я разговаривала с помощником прокурора. Он говорит, пока состава преступления в действиях этого... ну, усатого... нет. Если станет преследовать, вымогать деньги, лучше на все соглашаться. И сразу заявить в милицию. Я спросила, куда заявлять, говорит — только по месту прописки. Так что здешние нами не будут заниматься...

— Это не так уж важно, — тихо сказал Маркин. — У нас есть что-нибудь от ожогов?

— То тебе важно, то не важно, — возмутилась Галина. — Если не важно, чего же на работу не ходишь? Слушай, разбирайся с этим сам, а? — Прошлась по кухне, громыхнула посудой. — Даже чайник не догадался мне поставить. Да что говорить. Пора бы привыкнуть, за столько-то лет.

Она ставила чайник, намазывала на хлеб масло, торопливо ела и одевалась. Перед уходом смягчилась:

— Ну что сидишь, как китайский болванчик? Поешь! Слушай, если печка не заработает, позвони мне, ладно? Я у мамы переночую. Такая стужа, можно воспаление легких схватить.

Оглянулась на прощанье, но ничего не заметила: Маркин сидел в темном углу за печкой.

18

Он едва дождался, пока она уйдет. Руку облил растительным маслом, но перевязывать не стал: помешает, да и страшно было подумать, как присохший бинт станут с мясом отдирать в поликлинике... Маркин еще рассчитывал туда попасть. Однако раньше всего надо было растопить печку. Именно от этого зависело, восстановится ли жизнь хотя бы в прежних, темных и опасных, пределах или попросту рассыплется в прах. Маркин продолжал оспаривать у жизни свое право на жизнь, свою состоятельность. Теперь у него появилась цель, и он шел к ней с упорством безумного.

Опыт учел. Нельзя приближать к топке лицо и совать туда руку. И зажигать желательно не спичкой, а чем-то таким, что будет гореть долго и устойчиво, не потухнет от первой взрывной вспышки. Маркин нашел в шкафу деревянную скалку, которой Галина раскатывала по праздникам крутое тесто для слоеных пирожков, крепко обвязал один ее конец своей старой рубашкой и обильно полил все тем же растительным маслом. Лучше бы использовать бензин, но выходить на мороз к машине не было ни времени, ни сил. Все Маркин проделывал фактически одной рукой, держа другую на отлете и лишь иногда помогая себе локтем. Так же, одной левой, зажег спичку, придавив коробок ногой к полу. Тряпичный факел занялся спокойно и уверенно, и Маркин даже остался доволен, что применил именно масло: с бензином могли возникнуть неожиданности. К печке он приблизился на расстояние вытянутой руки и осторожно вложил горящий факел в топку...

Опомнился Маркин все там же, на кухне. Дом цел и не горит — первое, что до него дошло. Второе — что сам он лежит на боку между раковиной и холодильником, под плечом острый край разбитой чашки, а по лицу струится кровь. Маркин хотел вытереть липкую струйку, но когда-то здоровая левая рука оказалась парализованной. Глаза резало, но кое-что сквозь мутную пелену Маркин все же различал — словно не глазами, дру-

гим зрением. Он видел, что кожух печки разнесло на рваные клочья. Это то кожух и спас, вероятно, дом от пожара, сдержав пламя. Автоматический переключатель с краном оторвало от газовой трубы, на том месте зияло отверстие, откуда беспрепятственно шел газ.

Маркин знал, что надо любой ценой преодолеть отделявшие его от трубы два метра и чем-нибудь, хоть пальцем, заткнуть дыру. Если он этого не сделает, ничего не подозревающая Галина вернется вечером с работы, отворит дверь...

Как в тумане Маркин увидел, что дверь и в самом деле уже отворяется. В дом вошел человек в черном кожаном пальто и широкополой шляпе, с тонкими усиками на дергающейся губе.

— Вовремя, — выдохнул Маркин.

— Мы всегда приходим вовремя. — Разглядев в полутемной кухне лежащего Маркина, желчный пришелец расцвел деланной улыбкой. — Ваши дом, имущество, здоровье, сама жизнь — все является предметом нашей заботы...

— Ты видишь, какой я, — сказал Маркин, ослабившись обожженным ртом. — Теперь меня ничем не напугаешь. Напрасно стараешься.

— Вы не правы! — убежденно возразил усатый. — Каждому человеку, пока он жив, есть что терять! И вместо того чтобы потерять много или все, вы можете потратить некоторую часть своих доходов и более уже не волноваться за будущее. Ваша жизнь нам дорога.

— Еще бы! Но этот номер не пройдет. Поздно.

— Возможно, вы видели: вчера недалеко отсюда горел дом...

— Тоже твоя работа?

— Не совсем моя, но мы проявили к этому определенный интерес, речь идет о значительной сумме.

— Сколько же ты хочешь за свою царапину? — медленно, с трудом размыкая губы, спросил Маркин. — Мне все равно, я так, из любопытства... Для смеха. Сколько это, по-твоему, — «некоторая часть моих доходов»?

— Все зависит от вас, — осторожно начал усатый. — Должен вас предупредить, что чем дороже вы оцените вашу жизнь или имущество, тем меньший процент придется уплатить в качестве страхового взноса, хотя абсолютная величина суммы, естественно, возрастет...

— Ты уволенный за пьянку газовый мастер? — спросил Маркин, временно проваливаясь в бред, когда все в голове спутывается в один неряшливый клубок.

— Простите, это вас я вижу сейчас не в самом потребном виде, — обиделся усатый. — Но если даже вы выпьете лишнего, если на этой почве расстроится здоровье или случится иная досадная неприятность, вы и в этом случае не прогадаете, заключив с нами договор.

— Кто ты?

— Наша фирма предлагает все виды страхования, включая...

— Это ты стоял вчера у калитки?

— Вчера я обошел на вашей улице несколько домов, четверо застраховали на большие суммы строения, двое застраховали себя и своих детей, причем детей, это я хочу особенно подчеркнуть, можно страховать к свадьбе, сумма ваших взносов возвращается вам полностью и оказывается не только прекрасным подарком, но и той экономической основой, на которой молодая семья строит новую счастливую жизнь!

— Я... разбил... свою колбочку... — говорил Маркин в бреду. — Из-за того, на «мерседесе»... Колбочку, в которой сидел... И оказался... не готов... Тут другой воздух... Многовато газу...

На самом деле он все видел и понимал яснее, чем когда-либо. Усатый не заметил сломанной печки и не почувствовал запаха. А Маркин дарованным ему перед концом особым зрением различал невидимый газ, как будто это был сигаретный дым или пар: как он струится из отверстия, стелется по

полу, наслаиваясь, поднимаясь все выше, выше, вот уже усатый в нем по грудь, теперь по самый подбородок, точно забрался в речку и купается, скоро его захлестнет вместе со шляпой...

А усатый, выпалив заученные слова и тут же сникнув, как сдутый шарик, делал самый обыкновенный, привычный жест. Вставил в рот сигарету и полез в карман пальто за спичками. Как тогда, на ночной улице.

И Маркину стало обидно, что усатый — ненастоящий. А того, настоящего, из-за которого разбилась его колбочка и кто, как оказалось, даже не думал преследовать Маркина, не снизошел до этого, — того с ними нет. Гоняет себе где-нибудь на «мерседесе», запугивает, выкатив глаза и топорща усы, очередную жертву, стирает ее в пыль. Лучше бы им в этот трагический и торжественный момент неизбежного равенства оказаться вместе. Маркин знал, что равенство все равно существует, кто-то давно позаботился, чтобы все шло к одному концу, но ему очень хотелось ощутить, *пережить* это свое равенство с тем парнем хоть за минуту, хоть даже за секунду до конца.

19

«А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте».



ВЕЧНЫЕ КНИГИ И ВЕЩИЕ СНЫ

СЕМЕН ГРИНБЕРГ



Я ПОСЕЛИЛСЯ ПОСРЕДИ ЗЕМЛИ

и чтоб на краешке стола ее запястие лежало, не понял, повтори сначала, я, ожидаючи, приблизился к окну, пустая улица во всю свою длину, всего в два цвета — желтый и зеленый, — вдали сужаясь, истончалась в пыль, нет, не могу сказать, что город мне чужой, я не привык к нему, за год не привыкают, кружу в автобусе и про себя смекаю, большой он все же или не большой, с утра Иерусалим такой щеголеватый, и Бейт-Акерем, словно Чистые пруды, похож, похож и без воды, и без метро и тополиной ваты, автобус двадцать пять, все тот же двадцать пятый, шныряет целый день до полной темноты, когда выходят тощие коты исследовать асфальт на улице покатою, в окно автобуса я вижу край Иерусалима, холмы и камни, камни и холмы, и выходящего наружу господина, и следом торс его беременной жены, их дети поначалу не видны, лишь голоса, они проходят мимо, к ним обращаются в автобусной тени два в хаки облаченные блондина, сынок ее меж тем в коляске тихо спал, старик и мальчик говорят на идиш, старик сказал почти по-русски: видишь, тот посмотрел и вдруг захохотал, в автобусе беседа не с руки, и громкий разговор напоминает ссору, а в хаки девушки особенно тихи, и жены харедим¹, читающие Тору, дорога на Хеврон, подобная змее, поток машин с чужими номерами, и ближе, ближе, прямо под ногами медлительный араб в блестящей куфиё, и он смотрел и думал не спеша, автобус трогал, двери затворялись, на выражах согласно отклонялись и тело, и бессмертная душа

Наугад взятые из разных стихов строки. Образ Иерусалима. Единая картина, единый взгляд, единая интонация. В сущности, Семен Гринберг пишет последние пять лет одно нескончаемое стихотворение об Иерусалиме, огромное, не записанное полотно: лица, голоса, прохожие, пейзажи из окна, обрывки разговоров, остановки. Множество случайных лиц, бессмысленных частных и подробностей, кажущихся нелепыми, автобусных номеров, слов, жестов, ситуаций, улиц — все вместе неслучайный многоликий, шумящий город. Жаркий, яркий, летний и — зимний, темный, мокрый и холодный. «Я процитировал на память из письма, которое не мне предназначалось, была такая мокрая зима, что просочился весь Иерусалим, рубашка на балконе оставалась и за ночь намокала вместе с ним, и равномерный голос муэдзина мой сон сопровождал до самого утра, и март тянул, тянул свою резину, пока не снизошла блаженная жара». Град посреди земли, о, если я забуду, священных текстов град, в котором ходят в магазин и на работу. Смотрите, вот Давид, тогда еще не царь, сыграв концерт печальному Шаулю², сбежал по лестнице навстречу фонарю, вошел в кафе, где Гринберг пиво пьет, о боже мой, домашние сюжеты: моавитянка Рут³ из Ленинграда жила рукой подать, в Неве-Яаков, а дядька Голиаф служил здесь тридцать лет назад в Арабском легионе — «в единственной земле двенадцати колен, вдали снегов и мыслей о простуде...».

Переснимательные картинки. Переводные? Откуда же тогда у меня в памяти переснимательные? Опустить в воду, плотно прижать к бумаге, чтоб не ерзала, и, сопя от усердия, очень аккуратно, не повредить бы основу, стирать оболочку, пре-

¹ Примечания М. Горелика к словам, отмеченным звездочкой, см. в конце публикации.

вращающуюся на глазах в серенькие катышки. Наложение времен и пространств, несколько минут от шука Маханэ Иегуда до Сретенки, всего лишь миг — и веселый и хмельной царь, пляшущий перед всплывающим в Иерусалим ковчегом, читает «Шма» в газовой камере.

Русская муза в еврейском городе. Освоить сетчаткой, отмерить подошвами, покатать между небом и языком. Увидеть, наконец, Иерусалим через разбитое, мешавшее видеть стекло. Закат Иерусалима. Ведь не скажешь же: закат Москвы — просто закат, ибо Москва обыденно и привычно присутствует для родившихся здесь во всех вещах и явлениях — не требует названия, естественна, как воздух и закат. Не так в Иерусалиме. Для Гринберга. Пока еще не так. Тележка на иврите — агала, еще разок повторить, повторить вслух, ощутить на языке вкус этого слова, пусть запомнится. «Это потом, когда она слегла, а дети, сын и дочь, себя кормили сами, тележки стал катать в универсаме, тележка на иврите — агала». Русская речь, в которой нет-нет да и прозвучит ивритское словцо, израильский русский, уже обрученный с этими камнями, автобусами, поворотами улиц, шуками, соснами и маслинами, пешеходами, пассажирами, сабрами, олим, ватиками, арабами. Иерусалимские сюжеты, полные парафраз и аллюзий, ассимилированных цитат, погружающих в глубины русской словесности, — нерасторжима связь: кончалась тяжкая пора (была ужасная пора), он мысли и дела не ведал наперед (и мысли и дела он знает наперед), и нынче Голде кто-то положил премного разных камушков печальных (кузнечик в кузов пуза уложил прибрежных много разных трав и вер), как стали кудри наклонять и плакать и тени оставлять на Западной Стене...

Муза, принадлежащая двум мирам, летящая одновременно под двумя разными небесами, под единым небом, между Москвой и Иерусалимом, между Иерусалимом и Иерушалаимом — «на самом деле» Иерушалаимом. Что общего между Москвой и Иерушалаимом?

И, конечно, интонация, разговорная, печальная интонация, растворяющая все печаль, щемящая острота, единственность, неповторимость (а потому и значительность) преходящего, наискось услышанный разговор, листок, улетающий в вечность, *и чтоб на краешке стола ее запястие лежало, не понял, повтори сначала, — заметил кто-то из угла, я обернулся и узнал сидящего за чашкой чая, хамсин, помалу отпуская, в зеркальной глади исчезал, кончалась тяжкая пора, на ней сходились разговоры, и даже баба Генри Мура не остывала до утра.*

Михаил Горелик.

* *
*

Когда я поселился посреди земли,
Сосед меня приветствовал: «Хабиби»,
Я думал, что стекольщики пришли,
Я вне себя, гляди, окошко выбил,
И до сего дня вставить не могли!»

Я посочувствовал. Он выслушал. Вдвоем
Мы заглянули в выбитый проем.
Там догорал закат Иерусалима.
Он падал и дрожал, как стрекоза.
Сначала пламя, или нет, полымя,
А после золотая полоса.

Романс

Зонты кружились в поисках такси
На разноцветном крае тротуара,
Вода плыла, лоснилась и мигала,
Сигнал полиции вращался на оси.

С коротким треском взмыли жалюзи,
И обнажились внутренности бара,
Мужик тянул из долгого бокала,
Закусывая сельдью иваси.

И в самом средоточии зимы,
Где не слышны солдатские подковки,
Два старые плаща заключены
В квадрате освещенной остановки.

Гора Герцля

И нынче Голде кто-то положил
Премного разных камушков печальных.
Мне путь указывал случайный старожил,
Я слушал невпопад и не могу буквально
Пересказать, что он мне говорил.
И не хочу.
Но перечни фамилий.
И эти перед ними имена,
А ниже каждого и мачеха-страна —
Читай-угадывай, в каком полку служили.

Большие мальчики, пока я в русской школе,
Держались неподатливой земли
И оставались навзничь поневоле,
Пока сюда их не перенесли.

Иерусалимский автобус

Есть в Эрец-Исраэль прохладные места —
Не так, как на Руси, когда в печи поленья
Расцветивает вмиг тугая береста
И к чаю подают клубничное варенье,
А все наоборот. Еще без языка,
Сгибая пальчики, считают остановки
Две рыжие, две божие коровки,
Сошедшие с хасидского лубка.
Их шепоток почти неуловим
И холодок почти непримечаем,
И нынче как сказать «Иерусалим»,
Когда на самом деле он Ерушалаим.

* *
*

Чуть ниже Узиэль, повыше Бейт-Ваган,
А между ними садик Авраама.
На каменной скамье израильская мама,
Читающая кожаный роман.

Сойдя с автобуса, я вижу двух собак.
На противоположной остановке —
Пакеты, ящики, картонные коробки...
Увенчивает этот кавардак
Огромный чемодан, немислимый рюкзак
И полная рука татуировки.

И ведь нельзя сказать, что отродясь
 Такой не видывал — это, конечно, «наши».
 Израильская мама, углубясь,
 Легко читает комментарий Раши*.
 Сынок ее меж тем в коляске тихо спал.
 Старик и мальчик говорят на идиш,
 Старик сказал почти по-русски: «Видишь?»
 Тот посмотрел и вдруг захохотал.

* *
 *

Что город? Он совсем не золотой —
 Подъезды кошек, улочки крутые.
 Быть может, все столицы золотые?
 Идешь, бывалоче, на Сретенку Трубой,
 А купола, красивые такие,
 Полуразрушены. Ну, думаю, Россия!
 Я полагал, что здесь пейзаж заведомо другой.

Конечно, издали, с высокого холма,
 Перенести на холст или бумагу,
 Но где река? Должна же быть вода!
 И с чем сравнить? Похож на Злату Прагу?
 Но я ее не видел никогда.

* *
 *

Пешком от рынка Маханэ Иегуда,
 А по-арабски рынок просто шук,
 Так вот, от шука несколько минут
 До Сретенки, где бормоту дают
 И принимают винную посуду.
 Там в переулке нужный человек,
 Ларек ларьком, на пять копеек жиже,
 Но дочиста, а можно даже ближе,
 Где просят милость четверо калек.

Итак, набив стеклом авоську и рюкзак,
 Я огибаю памятник Давидке*,
 И Крупской тоже. Плавный поворот.
 Ведут, ведут, постукивая, плитки
 До Яффских или Сретенских ворот.

* *
 *

Все дни похожие, а этот не такой,
 Те будние, а этот был в апреле,
 Квартирку мы снимали у Яэли,
 Но это к слову, разговор иной.

В тот день я был везде, и ты была со мной
 В Гило, Рехавии, потом в Кирьят-Иовеле
 И в Старом городе, охваченном стеной,
 Где, несмотря на нестерпимый зной,
 С толпой зевак по сторонам глазели.

Что понял я тогда, непобедимый лапоть,
 Когда пошли мурашки по спине,
 Про них, про земляков в широкополых шляпах,
 Как стали кудри наклонять и плакать
 И тени оставлять на Западной Стене?

Три пьесы из Книги Царств

Урия

Как искажают наши имена —
 Давид — Вирсавию? Да ни за что на свете!
 Глаза воловие, чудовищные ноги эти...
 Смотри внимательно — сейчас войдет она,
 Нет, не Вирсавия, а козочка Бат-Шева*.
 Из-за такой же дурочки была
 Сто лет назад Троянская война.
 Царица Азии, Европы королева,
 Открыла дверь, и в комнату вошла
 Вдова, наследница листа военкомата,
 Где всем положены и камушек, и дата.
 Запястья звякнули, присела у стола,
 Мы помним, Господи, Давидовы дела,
 Помянем нынче Урию-солдата.

Давид

Упреки? Может быть. Зато ни тени страха.
 Он мысли и дела не ведал наперед,
 Но и не восседал в собраньях Маараха*
 И был как дерево весной в потоках вод,
 И слушал согревавшую его,
 Но так и не согревшую ни разу,
 Хотя, сказать по правде, нелегко
 Поверить ее странному рассказу:
 Из Ленинграда, с матушкой вдвоем,
 После войны сначала через Польшу,
 И вот теперь в Израиле живем
 И слова русского не слыхивали больше.

*Михаль**

Ну что, принцесса, стыдно за меня?
 И муж, и царь, а скачет, словно нищий,
 Халявную бутылку вина опустошивший.
 Пред всем Израилем и посередине дня.
 Куда изящнее: «Полцарства за коня!»
 И стать Щелкунчиком или того почище.
 Но, милая, пастух совсем иного ищет,
 Чужая ты и вся твоя родня.
 Нет, нет, Михаль, не закрывай окна,
 И чашку эту вылакай до дна,
 И шторы разведи, и стой, поджавши губки...
 А ты свою провидела судьбу?
 Или мою — у зева душегубки
 И с кожаной коробочкой на лбу*?

ПРИМЕЧАНИЯ

Жены харедим. — Харедим («богобоязненные») — ультраортодоксы; жены харедим легко узнаются по одежде: покрытые головы (или парики), длинные платья, длинные рукава, чулки.

Шауль — в русских переводах обычно Саул, Рут — Руфь, Михаль — Мелхола, Бат-Шева — Вирсавия.

«Шма» (иврит «слушай») — название и начало главной еврейской молитвы «Слушай, Израиль...». Эту молитву следует читать в том числе и перед смертью.

...сабрами, олим, ватиками... — то есть уроженцами Израиля, новыми репатриантами и репатриантами, уже живущими в стране долгое время.

Западная Стена — в нееврейской литературе ее называют обычно Стеной Плача.

Хабибби — пример языкового заимствования из арабского в иврит, анал. «драгой».

Комментарий Раши. — Раши (1040 — 1105) — автор классических комментариев к Торе и Талмуду.

Памятник Давидке — миномет времен войны за независимость (1948), установленный на одной из центральных площадей Иерусалима.

Но и не восседал в собраниях Маараха... — Ср.: Пс. 1: 1. Маарах — блок левых партий, уже не существующий. Наследницей Маараха является партия Авода (в настоящее время — правящая).

И с кожаной коробочкой на лбу? — Тфилин (или филиakterии) — фрагмент Торы в кожаной коробочке, который накладывается с помощью ремней на лоб и левую руку во время определенных молитв.

ЭЛЬМИРА КОТЛЯР



РОСКОШНОЕ МЕСТЕЧКО

А под старость лет мама стала писать про свое еврейское местечко. По десять раз исправляла каждое словечко. А потом болезнь ее одолела, и она просила меня довести записки ее до дела. И я, выполняя ее волю, пишу про детство ее и местечковую долю.

Царица Бейла-Хая

Почему прозвали
Бейлу-Хаю царицей?
Думаете, она была
важной птицей?
Она была нищенкой, вдовицей!
К субботе благотворительницы
приносили Бейле-Хае
ломтики халы.
Утром она заваривала кипятком
самые черствые корки
и съедала их в своей каморке.
Более мягкие ломтики
оставляла на субботний обед.
Суббота — в окошке свет!
А вечером съедала
самые мягкие ломтики халы.

И говорила: — Ну вот,
и святую субботу справила!
Чем я не царица? —
И Бога славил.
Гордости ее
могла бы позавидовать
и заправская
царица Савская!

Бася-Сура с культурой

В местечке ее называли
Басей-Сурой
с культурой.
Она была старая дева.
Скупко одарила ее чарами
прародительница Ева!
Бася-Сура собирала
из грошей и медяков
милостыню для старух и стариков.
Всегда ходила с книжкой,
в черном платке и с зонтом.
Говорила о Пушкине, о Толстом!
Открывала в местечках
Богом забытых
русские курсы для женщин,
нуждою забытых.
Читала еврейским девочкам
басни Крылова.
Бася-Сура несла в еврейский народ
русское слово!

Злата

Окружающие любили Злату.
Ее приглашали в любую хату.
Для нее открывались
шкатулки и сундуки.
Ей охотно одалживали
ротонды, шали, платки.
Ее появление —
бесплатное представленье!
А она, нарядившись,
изображала точь-в-точь
толстую, ленивую
купеческую дочь.
Или еврейскую невесту-скромницу
так передразнит,
что та от смущенья и не опомнится.
Или изобразит касатика —
пьяненького отставного солдatica.
Лица, лица, лица!..
Торговка, раввин, старая фельдшерица!
И всех представляет так метко
да так едко!..
Среди всеобщей скуки и суеты
это был глоток свежей воды!

Муке Бакаке

Прозвище его было Муке Бакаке!
 Штаны ему рвали собаки.
 Он не владел никаким мастерством.
 Ни кузнечным, ни плотницким,
 ни бондарным.
 Вечно толкался на месте базарном.
 Был на побегушках,
 почти что в побирушках.
 Надо бабе отнести с базара
 картошки пуд —
 он тут как тут!
 Извозчики его шпыняли,
 торговцы гоняли.
 Бедна, темна его халупка,
 но дома его ждет жена,
 Хава-голубка!
 Как солнце, в дому
 она улыбалась ему!
 И когда он зарабатывал
 четвертак, полтинник,
 радовался, как именинник,
 и, бедный еврей,
 со всех ног
 мчался к Хаве своей!

Еврейский театр

Еврейский театр приехал в местечко!
 Не одно забилося сердечко!..
 Афиша обещала с три короба:
 «Колдунья», «Суламифь», «Бар-Кохба»!
 Зал был большой сарай.
 Но зрителям казалось, что это рай.
 Театральный занавес, ramпы огни!..
 Ничего подобного не видели они.
 А когда комедиант Гоцмах
 «хасидскую пласку» плясал,
 ходуном ходил весь зал!
 Больше всех в театре пропадала Злата.
 Она, бывало,
 там, за кулисами, и дневала и ночевала.
 Артисты звали ее с собой,
 но она боялась играть с судьбой.
 Еще не пришли те годочки,
 когда из местечка убегали дочки.
 Когда театр уехал,
 Злата осталась одна.
 Весь еврейский театр — была она!

Хаим-Меир водовоз

Был знаменитостью
 Хаим-Меир водовоз!
 Рядом с бочкой воды
 он шествовал в зной и в мороз.
 Но главное, он был всем известной
 устной газетой местной!

Он останавливался с каждым
встречным-поперечным,
как с другом сердечным!
И знал, что в Думе говорится,
что у царя творится!..

...В пятницу стирка в местечке.
Хозяйки ждут воду с речки.
А когда Хаим-Меир приедет на место,
одному Богу известно.
Когда водовоз привозил на место бочку,
хозяйки сами разбирали воду,
а он имел моду —
в местный «клуб» — в парикмахерскую —
ходу!
Там зиму и лето
собирались местные «пикейные жилеты».
И пока мастера стригли затылки,
говорили о забастовках, арестах,
погромах, ссылке,
как коробейник, Хаим-Меир
высыпал кучу новостей
изо всех местечек, городков, областей!..
Он знал «за всю Россию»,
и ждали его, как Мессию!

Мордухай

«Специальностью» Мордухая
была керосиновая торговля.
Керосиновая лампа
нужна под каждою кровлей.
Он развозил керосин в бочке.
И знали его в каждом закуточке.
Он был набожен и всю дорогу
молился Богу.
И псалмы распевал.
А бочку пробкой заткнуть забывал.
И керосин выплескивался,
а он так и ехал за верстою верста!..
Приедет на место,
а бочка вполовину пуста!
На первом месте
у Мордухая был Бог.
Не воздавать Ему хвалу он не мог!

Торговец Аврум

Торговец Аврум местечки обходил
с бутылью чернил
собственного изготовления.
Но не писало писем население.
Чернила не продавались,
и он, выбиваясь из сил,
копейки домой не приносил!
Тогда он стал торговать уксусом,
но и тут не продавались бутылки.

Он только чесал в затылке.
 Тогда он принялся
 за прохладительные напитки.
 Но и от них были одни убытки.
 Стал торговать порошком от клопов,
 но и эта затея
 не сделала из него богатея!
 Он брался то за одно, то за другое дело,
 голова у него,
 как вечный двигатель, гудела!
 Но, как назло,
 ни в чем ему не везло.
 А он мечтал
 накопить небольшой капитал,
 открыть свою лавочку,
 торговать солью, крупой, мукой.
 Жениться, иметь дома покой.
 Может быть, у него был гениальный ум,
 но выходил один шурум-бурум!

Еврейский оркестр

Еврейский оркестр!
 Это были настоящие музыканты!
 Белые воротнички, банты.
 Как оркестранты на свадьбах наяривали!
 Как смычки со скрипками разговаривали!
 Как будто сама судьба,
 взывала труба!
 Барабан бухал и ухал!
 Тарелок медь
 не уставала звенеть!
 Гудел контрабас
 с флейтой вперепляс!
 Старый Мендель —
 руки в крендель!
 Как бегемот,
 топает Мотл!
 Ента — павою:
 поведет рукою левою,
 поведет рукою правою!..
 Руки под бочок —
 казачок!
 Вальс играют —
 душа замирает!
 Дорогу невесте,
 танцует с женихом вместе!
 Веселье, танцы, танцы,
 играйте, голодранцы!

Дед Юхим

Садовником у барина был дед Юхим.
 Да каким!
 Не было в округе
 другого такого сада.
 А барина взяла на Юхима досада.

У него была к нему ревность и злость.
 Стал ему Юхим как в горле кость!
 И однажды барин уволил его подчистую.
 Все труды его жизни — впустую!
 И надумалось диду
 написать царю про свою обиду.
 Отправил письмо, стал ждать ответа.
 Проходит зима, проходит лето!..
 До самой Мировой не терял надежды Юхим:
 не может царь к обиде его остаться глухим!
 А когда царь отрекся от престола,
 дед Юхим говорил, что вышло так не зря:
 Бог за него, за Юхима, наказал царя!
 «Нехай царь почуе, як на свити
 без миста жити!»

Арке мит ди шмотес¹

При рождении дали имя ему Аарон!
 Но «Арке мит ди шмотес!» —
 кричали ему со всех сторон.
 Он был старьевщик.
 Стал похож и сам на старую тряпицу,
 на общипанную птицу.
 Битую посуду, кости, тряпье
 приносил он в жилище свое.
 Какая у него еда?
 Гороховая похлебка, печеные бурачки,
 да и то не всегда!
 В синагоге место у него было не наследное —
 последнее!
 Но он не жаловался,
 считал не худшим свой заработок,
 свое житье!..
 Ведь на свете не переводилось тряпье!

Биндюжник Эли

Стар биндюжник Эли, бедняга,
 как и его коняга!
 Утром он кормит ее
 хлебными корочками
 и просит,
 чтобы не упала на пригорочке.
 Уговаривает потерпеть как-нибудь
 и до пятницы дотянуть!
 А в награду
 в субботу он пойдет с ней на леваду!
 Нет нигде травы вкусней и сочней!
 Поздно вечером
 Эли снимает с лошадки хомут,
 радуется, что они отдохнут.
 Приговаривает:
 — Сейчас я тебе хлебца дам! —
 И делит ломоть пополам.

¹ Арке-тряпичник (*идиш*).

Мастер Натан

Славились его каминны
в имении графов Браницких,
куда не очень-то допускали
Шмулей и Ициков!
Но Натан не дорожил
своим мастерством.
Музыке был предан
всем существом.
Когда выпадала свободная минутка,
он брался за скрипку
и берег ее, как детскую зыбку!
Он был самоучкою.
Бился сам
над каждою нотною закорючкою.
И скрипка его понимала.
Каждым звуком, каждой нотою
отвечала ему с охотою!
Когда он играл,
под окошком его
собирались и стар и мал.
По всей округе
Натан был знаменит
и женские сердца
притягивал, как магнит!

Сапожник Хаим

Жил в местечке Хаим —
первый в округе сапожник,
в своем ремесле художник!
Таково
было его мастерство,
что в Петербург царевичу
он послал своей работы сапожки,
и они пришлись ему по ножке.
Когда Хаим гулял по улице,
смотрел только вниз,
на ноги прохожих,
и все замечал:
какая колодка, какая кожа.
Обувь шили подмастерья,
он только кроил матерьял.
Этого никому не доверял.
Он выкраивал ботинок или сапог,
как Бог!

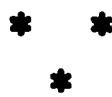
Местечко Роскошное

И это местечко, где ютилась голь беспортошная,
называлось Роскошное!

МИХАИЛ КРАВЦОВ



И БЕСПЛОДНОЕ СЕМЯ ПРИНОСИТ ПЛОДЫ



Исчерпав свою душу в прошедшем вращенье,
Не нашедший конца, но зашедший за грань,
Я живым оказался во дни посещения,
Когда Царь утешает упавшую лань.

И цветы расцветают на высохшей кроне,
И бесплодное семя приносит плоды,
И тяну я к росе нисходящей ладони,
Ощущая на пальцах прохладу воды.

Но не лечит роса мою древнюю рану,
В тело новую душу принять не могу,
Так Давида старик провожал к Иордану,
Проводил и остался на том берегу...

Гимн Лилит

Ода

Я знаю, что души моей
Воображения бессильны
И тени начертать твоей.

Державин.

О ты, являвшаяся самой
Прямой из выпуклых потерь
И ставшая бездонной ямой,
Тебя воспеть хочу теперь!
К тебе душа моя стремится,
Твоей воды хочу напиться,
Дерзаю чувствовать тебя,
Чтоб за тобою, непомерной,
Найти предел души неверной
И чтоб восславить, не любя!

Когда двойной хаос клубился
И был глагол, как точка, мал,
Твой первообраз там таился,
Где дух над бездною летал.
Ты провозвестница свободы,

Ты нижние разверзла воды,
Создав невоплощенный плод.
К тебе струится из короны
Тот круглый свет, слегка зеленый,
Скользящий задом наперед.

Твой первый плод вкусили люди.
Была ты, прах смешав с росой,
Для человека — суть от сути,
Но плотью сделалась другой.
Нашла для зверя полевого
Слова, лишенные покрова.
Свое подобье уязвив,
Ты вместе с ним была влекома
Ко всем семи царям Эдома,
Из-за тебя восьмой ревнив.

Михаил Кравцов родился в 1951 году в России. Религиозный философ, переводчик иудаистских классических текстов. «Зогар» («Сияние») — одна из великих и самых таинственных книг в человеческой культуре, оказавшая глубокое влияние на мировую религиозную мысль, — впервые появилась на русском языке в переводе Михаила Кравцова (см.: «Раби Шимон». Фрагмент из трактата «Зогар». Перев. с арамейского. М. «Гнозис». 1994) — с его же статьями, примечаниями, историческими и каббалистическими комментариями.

Михаил Кравцов с 1992 года живет в Иерусалиме.

Когда Адам был одинокий
И дух его во сне возрос,
Узрел он лик зеленоокий
И пряди рыжие волос.
Тогда, развратница и дева,
И он твое наполнил чрево
И обречен был воссоздать
Потомство тех, кто в горных безднах
Запутались в цепях железных.
Ты этим двум — сестра и мать.

Страницы ветхие листая,
Твой след змеинный нахожу
В любом деянии Шабтая
И в изречениях Иешу.
Я отыскал в словах Талмуда
Твои сказания — оттуда
Узнал я притчу об ином,
Срезавшем ветви ограждения,
Чтобы в твои включить владенья
Свой дважды разоренный дом.

Ты пламя, плавающее кольца
Миров, ты голос из тельца —
Тень речи творческой, ты боль ца-
Ря — разрыв одежд отца,
Излом цикличности небесной.
Лишь в вечности твоей совместны
Год солнечный и лунный год.
С тобой зиждатель жаждет слиться:
Времен двойная колесница
К тебе в багровой мгле плывет.

Когда в часы высоких бдений
Я знаки тайные чертил,
Меня твоей упругой тени
Покров трехрукий осенил.
Но я к тебе не устремился:
Я наготы твоей стыдился.
И ты ушла; издалика
Зовет меня твой крик совиный,
А я сижу среди руины
И строю храмы из песка...

Сфинкс

Дух мой растекся над бездною темной любви,
Влажная мудрость, как знойная ярость, незряча.
Древнею мглою рождается в белой крови
Горечь слезы безнадежного вечного плача.

Там, где недолго в волне отражает Нева
Город, построенный зодчими школы Хирама,
Видел я облик немого могучего Льва,
Превозносящийся к чудному лику Адама.

Мертвенным глянцем лоснятся тугие бока,
Рыбьи глядит с высоты недреманное око.
Где-то в пространствах оставив Орла и Быка,
Каменным зверем застыл над водой одиноко.

Эту загадку не тщится душа разгадать.
Бунтом любви рождено в небесах безразличье.
Разум умолк и готов, удивленный, отдать
Право на жизнь за еще неживое обличье.

Та ли цена, за которую ярко горим
Жадным огнем неизменно творящего слова?
В холоде камня уже сочелся Элогим
Тайну неженского с тайной всегда немужского.

Не отрекись от проклятия первой вины.
Дух мой над бездной кричит, как свободная птица.
Дверью, распахнутой в даль вожделенной страны,
Будет мне ныне другая, земная гробница.

* *
*

Плод от познания точных рецептов
Без исключения вкусил я вполне;
Что же наука покорных адептов
Сделала сердцу, желанью — и мне?

Весь я наполнен предписанным строем
Серых раздумий, движений и слов,
Жажда иссякла с житейским покоем,
Разум затих, не разрушив основ.

Сад запустел, и жилище в руине,
Город — наследье исчадья степей,
Там, где избранник ходил у святыни, —
Брюхом по праху волочится змей.

И, поселившись к востоку от сада,
Жду истощения чаши вины.
Что же? Ведь есть еще сердцу награда:
Вечные книги и вещие сны...

* *
*

Л. К.

В час, когда из груди соскользнет в немоту
Говорливая капля — душа человеческая,
Я, по книжным страницам блуждая, уйду
Из языческих стран в тишину Междуречья.

За прозрачными строками перистых стай,
Чей полет по листьям не измерить летами,
За женою туда уплывал Менелай,
И оттуда Иаков приходил со стадами.

И к востоку суда шестистопных стихов
Шли, качаясь на волнах протяжного звука,
Шли на запад стада обновившихся слов
По чернильной росе рукописного луга.

У источника смыслов живою водой
Я напьюсь и на свитке нетленном сумею
Стать короною тонкой, чуть зримой чертой,
Воплощенным дыханьем над буквой Твоею.



НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ТОРНТОН УАЙЛДЕР



К НЕБУ МОЙ ПУТЬ

Роман

ГЛАВА 8

Канзас-Сити. Суд Роберты Уэйерхаузер.
Наследство Херба

После того как Браш выписался из госпиталя в Канзас-Сити, он часто думал о том, что должен отыскать Роберту. Однажды на глаза ему попала реклама частного сыскного агентства. Он позвонил управляющему и рассказал все, что знал о Роберте. И вот после длительных поисков агентство прислало ему письмо. В письме был указан подробный адрес той самой фермы и добавлено, что одна из дочерей хозяина фермы, мисс Роберта Уэйерхаузер, оставила родной дом больше года назад, приехала в Канзас-Сити и в настоящее время работает официанткой в китайском ресторане при отеле «Восходящее солнце».

Вернувшись в город, Браш после полудня отправился в этот ресторан. Он поднялся по узкой лестнице и на втором этаже попал в просторный зал, увешанный китайскими фонариками. Пол в зале поднимался ярусами к центральной площадке для танцев. На каждом ярусе стояли кольцом столики для посетителей. Браш выбрал место на самом верхнем ярусе, сел за стол и огляделся. В зале работали пять официанток. Браш принялся тщательно их разглядывать, со страхом думая, что, пожалуй, любая из них может оказаться его Робертой. Они были одеты в платья, отдаленно напоминающие китайскую одежду, и красные атласные брючки. На щеках у них помадой были накрашены круги, а дорисованные тушью брови круто загибались к вискам. Официантка, подошедшая к Брашу принять заказ, была высокой и сухопарой девушкой с копной желтых взъерошенных волос и угрюмым выражением лица.

— Что заказываете? — спросила она.

Браш пробежал глазами меню.

— А что у вас есть особенно вкусное? — спросил он, не торопясь с выбором.

— У нас все вкусное.

— Ну, может быть, тогда что-нибудь, что вы сами любите?

— Я все люблю. Я просто без ума от всего! — с холодной яростью ответила девушка и почесала карандашом голову. — Любое из блюд оставит у вас такое впечатление, что до конца жизни не забудете.

Браш поднял на нее глаза.

— Могу ли я узнать, как вас зовут? — спросил он.

— Разумеется. Можете спрашивать обо всем, что вам угодно, — ответила она. — Меня зовут Какваса. Я живу с матерью; телефона у нас нет. Я

кончаю работу в четыре, но общаюсь с приятелями только дома. Я не люблю танцы, от кино у меня болят глаза. Что еще вы хотите узнать про меня?

Браш покраснел.

— Я вовсе не имел в виду что-то «такое», — произнес он тихим голосом. — Я только хотел узнать, нет ли среди ваших официанток девушки по имени Роберта Уэйерхаузер.

— И что же дальше? — спросила она с неожиданной яростью. — Зачем вам это знать! Кто вы такой?

— Я... я приятель мисс Уэйерхаузер.

— Отвечайте, кто вы такой! Кто-то ведь вас послал сюда?

— Так это вы — Роберта Уэйерхаузер?

— Нет. Это не я! — отрезала она. — Меня зовут Лили Уилсон, если уж вам приспичило. И знаете что, давайте-ка лучше займитесь своим делом и говорите ваш заказ, а я займусь своим. Так будет лучше!

Браш серьезно посмотрел на нее.

— Я задал вам вопрос, только и всего, — сказал он.

— побыстрее. Что вы заказываете?

Она записала заказ и ушла, оглядев презрительно Браша. Но не сделала и десяти шагов, как наконец вспомнила его. Она испустила громкий стон и, обернувшись, посмотрела на него с ненавистью. Он, следивший за нею, встретил ее гневный взгляд. Тогда она быстро пошла, почти побежала, прочь. Еду ему принесла другая девушка.

Вечером он снова пришел в этот ресторанчик. Звучала музыка, танцевали. Большинство столиков было занято, и ему не удалось найти место на участке, где обслуживала Роберта.

На следующее утро он явился туда завтракать и сел за тот же столик, что и вчера. Он долго ждал появления Роберты и вдруг услышал над ухом гневный голос:

— Если вы еще раз придете ко мне, я скажу управляющему, и он вызовет полицию. Это я вам точно говорю.

— Роберта!..

— Не называйте меня так!

— Можешь ты уделить мне минут десять? Я хотел поговорить с тобой.

— Видеть тебя не хочу! Не хочу, и все!

— Роберта, мне кажется, у меня есть право на разговор с тобой.

— Никакого права!

— Послушай, многие месяцы я искал дом твоего отца. Я исходил всю округу. Я не знал, как тебя найти!

— И очень рада, что не нашел. Заказывайте побыстрее и больше не приходите.

Браш попросил что-то принести — он сам не запомнил, что именно.

Когда она принесла тарелки и принялась расставлять перед ним, он сказал:

— Я буду приходить сюда до тех пор, пока ты не согласишься поговорить со мной. Назови место, я буду ждать.

— А я не хочу. Я уволюсь отсюда, я сменю квартиру, я уеду туда, где ты не найдешь меня. Ты самый ненавистный мне человек во всем мире! Я не хочу видеть тебя и разговаривать с тобой не буду. Из-за тебя мне пришлось пережить такой ужас, что я больше не хочу и думать о тебе! Это все.

Управляющий-китаец, очевидно, понял, что у них происходит необычный разговор. Он прошел мимо как бы невзначай, с видом полного равнодушия. Роберта, заметив его, поспешила прочь. Управляющий задержался у столика, где сидел Браш, и спросил:

— Все в порядке, сэр?

— О да! — поспешно ответил Браш. — Вкусно. Очень вкусно.

Когда Роберта принесла заказанный десерт, Браш прошептал:

— Я хочу жениться на тебе, Роберта.

— Идиот!

— Все равно мы уже женаты, ведь так?

— Ты сумасшедший и к тому же дурак! — закричала Роберта и ударила его по щеке.

Она убежала. Браш достал конверт, положил в него тридцать долларов, лизнул намазанный клеем край, хорошенько прижал и написал свое имя, адрес и номер телефона.

Приблизительно в четыре часа хозяйка позвала его к телефону.

— Мне ваши деньги не нужны, — сказала Роберта. — Я их не возьму.

— Где я могу встретиться с тобой?

Последовала долгая пауза.

— Если вы обещаете не приходить больше в наш ресторан, я могу уделить вам несколько минут.

— Прямо сейчас? Можно, мы увидимся прямо сейчас?

— В шесть я должна быть на работе.

— Где ты сейчас?

— Я в закускойной, в Центре.

— Ты можешь через двадцать минут подойти к Публичной библиотеке?

— Думаю, да. Где это?

— Это, — сказал Браш, — угол Девятой и Локусты.

— Если я приду, — сказала Роберта, — вы обещаете, что это в последний раз? Обещайте, что вы оставите меня в покое.

— Роберта, этого я обещать не могу. Но я обещаю сделать все, чтобы не мучить тебя.

Последовало молчание, затем оба осторожно повесили трубки.

Роберта ждала его на углу. Холодный ветер становился все сильнее. Она держала в руке свою шляпку; другая рука сжимала конверт с деньгами Браша. Она смотрела в сторону.

— Привет, Роберта, — сказал он.

Она протянула конверт.

— Здесь все, что вы положили. Я ничего не тронула, — сказала она.

— Я не возьму, — ответил он. — Я буду должен тебе всю мою жизнь. Я до самого конца буду поддерживать тебя деньгами.

Она бросила конверт под ноги. Браш поднял.

По-прежнему глядя в сторону, она заговорила тихим гневным голосом:

— Я понимаю, вам хочется затащить меня куда-нибудь в уголок и... Не выйдем!

— Роберта! Ты не так меня поняла!

— Тогда чего же? Чего вы хотите от меня?

— Разве ты не понимаешь? Ты считаешь меня своим врагом! Это невыносимо! Мне невыносима эта жизнь, в которой не должны происходить такие вещи, и все-таки они произошли! Мы должны стать друзьями, Роберта, разве ты не понимаешь? Если ты позволишь мне хотя бы звонить тебе, я думаю, ты лучше узнаешь мой характер и, может быть, потом полюбишь меня. Потому что дружба с тобой для меня важнее всего на свете.

— Ну хорошо, хорошо. Я ничего против не имею. Называйте это дружбой, если хотите. Только не приходите больше в наш ресторан. И перестаньте за мною охотиться.

Браш умолк на мгновение. Затем сказал серьезным тоном:

— Мы с тобой уже муж и жена, и этого не переменить.

— Вы, опять за свое. Мне даже вспоминать страшно о том, что было. Вы ненормальный.

— Роберта, я хочу поговорить с твоим отцом.

От этих его слов она пришла в смятение.

— Все! Хватит! — крикнула она. — Если вы это сделаете, я убью себя. Я не шучу. Я вам точно говорю: я убью себя!

— Тс-с! Тише! Не кричи. Роберта, я бы не хотел что-то предпринимать без твоего согласия.

— Ах, ты бы не хотел!

— Конечно нет. Послушай меня и не делай сумасшедшие глаза, когда услышишь, что я тебе скажу. Ближайшую неделю или полторы я буду в Канзас-Сити. Можно, я приду навестить тебя? Мы поговорим, пообедаем вместе, погуляем, а?

— Что толку в твоих разговорах, если ты все клонишь к одному и тому же — к тому, чтобы... Ты маньяк?

Браш молчал. Роберте было холодно, она дрожала.

— Я простыну из-за тебя, — сказала она, стуча зубами. — У меня нет охоты торчать тут в такую холодину. Ладно, я скажу тебе, что можно сделать в твоём положении. Моя сестра Лотти приедет навестить меня в Канзас-Сити в следующее воскресенье. Ты можешь сказать ей все, что захочешь. Она мне передаст.

— А ты сама там тоже будешь?

— Да.

— Где?

— Мы с сестрой встретим тебя здесь же, на углу, в четыре часа.

— Сегодня только вторник.

— Ничего. Я не хочу видеться с тобой до воскресенья. А то я тоже стану сумасшедшей.

— Можно, я напишу тебе?

— Да. Только не приходи больше в ресторан. Все. Мне пора идти.

— Роберта, ты можешь... принять от меня подарок?

Он вытащил из кармана бумажный сверток, развернул его и вынул наручные часы. Последней, кому он их предлагал, была Джесси Мэйхью. Роберта посмотрела на них и вдруг залилась слезами:

— Как ты не понимаешь, что я не хочу ничего видеть, что связано с тобой? Вся моя жизнь пошла кувырком из-за тебя, и я ничего больше не хочу, понимаешь? Я даже думать не желаю о том, что было между нами! Можешь ты это понять или нет?

— Нет. Не могу, — тоскливо сказал Браш.

— Ладно. Мне пора идти, — сказала она и зашагала прочь.

Оставшись один, Браш пошел в библиотеку и уселся читать статью о Конфуции в своей любимой «Британской энциклопедии». Однако его мысли блуждали далеко, он то и дело переворачивал страницу назад и начинал читать сначала. Наконец он достал из кармана листок бумаги и начал первое из своих ежедневных писем женщине, на которой собирался жениться.

В этот же вечер он пошел к Куини и долго стоял на улице, глядя на освещенное окно верхнего этажа. Потом свет погас, а через несколько минут из подъезда вышел Бэт и поспешил вдоль по улице. Браш проводил его взглядом, подошел к двери и нажал кнопку звонка.

— Здравствуй, Куини, как поживаешь?

— О, мистер Браш! Хорошо. А как вы?

— Вот зашел проведать. Пойдем к тебе, поболтаем. Мне не хочется, чтобы ребята видели меня. Как они тут?

— А вы разве не знаете? Мистер Мартин очень тяжело заболел.

— Это Херб, что ли?

— Да. Но его здесь нет. Его увезли в клинику, это за городом... Мистер Бэйкер сообщил, что врачи сказали — он скоро умрет. Конечно, я не могу знать...

— Ты ходила к нему туда?

— Да, я отвозила ему кое-что из белья, доставленного из прачечной. Машина мне обошлась в двадцать центов, и обратно столько же.

— Куини, ты не сможешь поехать туда завтра со мной?

— Можно, конечно...

— Сначала к нему войдешь ты и посмотришь, как он там. А перед тем как уходить, спроси его, можно ли мне прийти навестить его. Я не буду говорить ему ничего неприятного, я обещаю. Ну что, согласна?

— Думаю, я смогла бы, но только прямо с утра. А пока меня не будет, дочка миссис Кубински, что живет рядом, посидит у меня и подежурит; я попрошу ее.

На следующее утро Браш купил букет гвоздик, и они вместе с Куини поехали к Хербу.

— Чудесная прогулка, — сказала Куини. — Ничего так не люблю, как загородные прогулки на машине.

— Как поживает отец Пажиевски? — спросил Браш.

— Хорошо. Вы знаете, он болел, и очень сильно, но ему стало лучше, он почти выздоровел. Он продолжал ходить на прогулки вместе с «Рыцарями Святого Людовика», и знаете, камни у него растворились. Да, сэр, это так же верно, как и то, что вы видите меня.

— Растворились?

— Да. Вы знаете, я даже и не думала, что все так благополучно кончится. Но он все-таки был ужасно разочарован, мистер Браш. Если приглядеться внимательнее, то он выглядит ужасно разочарованным.

— Почему?

— Он недоволен тем, что его друзья, с которыми он ходил в походы, свернули с доброго пути. Вы знаете, все эти «Рыцари Святого Людовика» за два года доставили ему так много беспокойств. Они стали настоящими гангстерами. Да, сэр! Они приставали к прохожим в парке, воровали автомобили и многое другое. А большинство девушек из «Цветов Марии» стали платными партнершами в дансинге.

— М-м-м, Куини, а что такое платная партнерша?

— Ох, вы меня спрашиваете, а я и сама толком не знаю. Это, кажется, когда мужчина пришел на танцы без своей девушки и хочет потанцевать, то он платит другой девушке, чтобы она потанцевала с ним. Что-то вроде этого. Отец Пажиевски говорит, что, может быть, он ненароком сам толкнул их на эту дорожку, приводя на танцы, которые Билли Кон устраивает в «Розовых полянах».

— А разве это так уж безнравственно — быть платными партнершами, а, Куини?

— Нет. Я считаю, что нет. Но это не такое доброе дело, как, например, ходить в зоопарк. И теперь он сам не знает, как с ними быть. Они хотят зарабатывать деньги, потому что Депрессия и им нужны средства. С другой стороны, ни у кого из этих поляков, которые строят в нашем подвале кегельбан, нет другой работы. Они сидят на одной капусте! Им больше нечего есть!.. Давайте поговорим о чем-нибудь другом, мистер Браш. Я не могу слишком долго говорить о Депрессии. Мне становится плохо.

Браш искоса взглянул на Куини.

— Отец Пажиевски... Он что-нибудь спрашивал обо мне?

— Я же вам рассказывала. Разве я вам не рассказывала? Он молится за вас.

Браш побледнел; сердце у него замерло.

— Он молится за вас по пятницам, — добавила Куини. — А за меня — по вторникам, как раз вчера.

Справившись с волнением, Браш спросил тихим голосом:

— Куини, ты не ошиблась? Это в самом деле так?

— Конечно так. Я думала, что уже рассказывала вам.

Примерно через час они подъехали к клинике. Как и большинство лечебниц в Канзас-Сити, клиника, куда положили Херба, располагалась в обширном парке. Браш ожидал внизу на лестнице, пока Куини с букетом гвоздик ходила в палату к Хербу.

Куини скоро вернулась.

— Он говорит, что вы можете прийти. Я подожду здесь... и, мистер Браш, он сказал... что был слишком жесток, мистер Браш... Он сказал, чтобы вы не читали ему нравоучений. Он так переживает то, что произошло между вами. Мне кажется, не стоит мучить его.

— Да я вовсе не собираюсь его упрекать. Честное слово! Я и сам понимаю, что лучше этого не делать. Уж такие-то вещи я понимаю. Ему очень больно, Куини?

— Я не знаю, но вид у него ужасный. Так что приготовьтесь. Его вид мне очень не нравится.

Браш на цыпочках вошел в палату и, оглядевшись, увидел Херба. Херб разглядывал его с сардонической усмешкой на губах. Браш в смятении сел возле кровати.

— Привет, ненормальный, как дела? — сказал Херб.

— Хорошо.

— Я так и знал. Ты молодец. Ты всегда был молодцом. Это здорово.

Браш смотрел на него не отвечая.

— Ладно. Раз уж ты пришел сюда, я тебе кое-что скажу, — продолжал Херб. — Вообще-то я тебя не звал. Ты сам пришел — не так ли? Значит, я должен кое-что тебе сказать. Ты не возражаешь?

— Нет.

— Ну что ж, тогда прежде всего ты должен знать, что я одной ногой уже в гробу, но меня это не волнует. И теперь, когда мы прояснили это обстоятельство, я хочу попросить тебя оказать мне услугу. Все, что от тебя сейчас требуется, — это сказать «да» или «нет».

— Конечно, Херб, я согласен!

— Выслушай меня сначала, черт тебя побери! Словом, только да или нет. Мне нужно одно: можешь ты или не можешь. Да или нет — и конец. Ох, да не сиди ты, словно пьяный идиот, с открытым ртом! Закрой рот хотя бы, а то что-нибудь залетит. Это даже и не услуга, о чем я тебя прошу; это в каком-то смысле предложение. Во всяком случае, я не стану тебя за это благодарить. Можешь согласиться или отказаться — твое дело!

Медсестра, заправлявшая соседнюю кровать, обернулась и сказала:

— Вам нельзя волноваться, пятьдесят седьмой! Иначе я попрошу удалиться вашего посетителя. Только несколько минут — и все.

— Иди к черту! — зарычал Херб. — О Боже, как я ненавижу больницы! Слушай, Иисус, что я тебе скажу. Черт! А как тебя звать вообще-то?

— Браш. Джордж Браш.

— Браш, слушай меня. Значит, так: у меня есть двести сорок долларов, они лежат в банке, и я завещаю их тебе, чтобы ты для меня кое-что сделал. Сейчас я расскажу тебе одну историю — не бойся, я буду краток. Не знаю, слышал ты об этом или нет, но у меня были жена и ребенок. Я жил у Куини, а жена у своих друзей. Мы с ней жили хорошо, не ссорились... Мы не были разведены... Так уж мы с ней жили, вот и все. Я просто не мог жить в том же доме, где и она. Я не мог ходить к ней обедать в одно и то же время и катать малыша в коляске по улицам и делать прочую чепуху. Просто я человек не такого склада, вот и все. И вот однажды она все перевернула. С тех пор я ее больше не видел, поэтому я лишь предполагаю, что она ушла к другому человеку. Она уехала с ним и бросила ребенка. Люди, у которых она жила, страшно рассердились, так что я забрал ребенка и пристроил его в другом месте, у моих знакомых. Я плачу им за это три доллара в неделю. Итак, я оставляю эти деньги тебе, чтобы ты продолжал — разумеется, если ты согласишься — платить им три доллара в неделю. Я не хочу отдавать им все деньги сразу, потому что кто его знает, что они сделают с ребенком. Ну, что скажешь?

Херб даже дышать перестал. Браш хотел было что-то сказать, но Херб вдруг воскликнул с выражением муки на небритом лице:

— Не надо! Не говори ничего. Ты всегда говоришь глупости в подобных случаях. Если ты опять начнешь читать мне мораль, я прибью тебя!

— Не буду, не буду, Херб! Я только хочу спросить: а можно, я возьму малыша себе? Я хочу сказать, насовсем...

— Черт побери! Я же не предлагаю тебе своего ребенка!

— Как его зовут, Херб? Сколько ему лет?

— Я не знаю... Кажется, Элизабет. Это девочка. Ей четыре или пять... Что-то около этого.

— Херб, можно, я удочерю ее, по закону?

— Ох, я жалею, что рассказал тебе всю эту историю. Выкинь ее из головы. Забудь об этом.

— Нет, ты ответь мне: да или нет? Я могу привести юриста; он объяснит тебе...

— К черту твоего юриста! Ладно, забирай ее себе, если тебе так хочется.

— Отлично, Херб, — обрадовался Браш. — Я больше ничего и не хотел.

— Глупый! Не говори потом, что я взвалил на тебя чужого ребенка. Я ведь предлагал тебе свой вариант. Мне лично уже все равно.

Херб зашарил под подушкой. Он вытащил чековую книжку и несколько бланков.

— Херб, деньги мне не нужны, — поспешно сказал Браш. — У меня их достаточно, так что я даже не знаю, что с ними делать.

— Заткнись! Пиши, что я тебе скажу.

Браш выписал два чека: один на двадцать долларов на имя Герберта Мартина, другой на оставшуюся сумму на свое имя. С огромным трудом Херб поставил свою подпись дрожащей рукой.

— Там, на обратной стороне, — добавил он, — ты увидишь адрес ребенка. Миссис Бартон, где-то на Дрессер-стрит. Нашел?

— Да.

— Ниже — адрес моей матери. Я посылал ей четыре доллара в неделю. Последние несколько недель она ничего от меня не получала, пока я здесь куковал, в больнице, так что я даже и не знаю, как она там выкручивается. Она так ничего обо мне и не знает; она пристрастилась к джину. Как-нибудь на днях, если захочешь, можешь отцепить ей долларов двадцать — тридцать, понял? Хотя меня это не очень заботит. К дьяволу их всех, чтобы я еще о них заботился! Я рад, что наконец отвяжусь от них.

Наступила долгая пауза, во время которой Херб, сердито сопя, сверлил глазами потолок. Браш сидел, оцепеневший, рядом с кроватью.

Взгляд Херба наконец упал на Браша.

— Я вижу, что шуточки наших ребят тебя не очень-то достали.

— Нет-нет, — поспешил заверить Браш. — Я на следующий же день был уже в полном порядке.

— Слушай, будь добр, опусти штору — солнце в глаза. Они так высоко их поднимают. Они не знают, наверное, что такое валяться беспомощным на больничной койке... Ты, Браш, вот что... Ты давай иди, наверное, а то скажешь еще какую-нибудь глупость напоследок. Ты лучше ничего не говори, а сразу уходи. Только оставь свой адрес. Если я что-нибудь еще придумаю, я попрошу медсестру, чтобы написала тебе.

Браш вышел. В дверях он оглянулся. Херб накрыл лицо простыней. Браш спустился вниз, где его ожидала Куини. Угадав состояние Браша, она не стала его спрашивать, лишь молча шла рядом. Выйдя на дорогу, они остановились у телефонной будки в ожидании такси. Вдруг Браш упал на газон лицом в траву.

— Что с вами, мистер Браш, что случилось? — испугалась Куини.

— Мне жить не хочется, Куини! Мне жить не хочется в мире, где происходят такие вещи! Что-то случилось с нашим миром — он свихнулся!

Сначала Куини ничего не отвечала. Она прижала сухие кулачки к губам и смотрела на Браша круглыми от ужаса глазами. Потом сказала:

— Мистер Браш, мне стыдно за вас, за такие ваши слова.

— Куини, я всегда верил, что Бог помнит о нас. Но почему Он так медленно меняет наш мир к лучшему? Почему Он так изощренно обманывает таких чистых людей, как отец Пажиевски; почему Он позволяет так запутаться таким чудесным парням, как Херб?

— Мистер Браш, вы говорите ужасные слова. Я не хочу вас слушать.

— Но есть, в конце концов, этому всему какое-то объяснение?

— Я не хочу вас слушать!

Куини закрыла уши руками. Вдруг Браш встал с травы и, крепко схватив Куини за руку, взглянул ей в глаза. Он сказал тихо, словно себе самому:

— Куини, разве это не ужас, если я потеряю веру?

Куини ничего не отвечала. Она глядела на него широко раскрыв глаза. Он тихо продолжал:

— Даже... тогда... я буду... только если я... я полагаю... Только я не получу от этого никакого удовольствия. Жизнь не имеет смысла, если живешь только для себя. Во всяком случае, я еще не утратил веры, но теперь-то я знаю, что все не так просто, как мне казалось. Куини, вот тебе двадцать центов. Я не поеду с тобой. Я пойду пешком и дорогой хорошенько подумаю надо всем этим.

Проезжавшее мимо такси свернуло к ним.

— Вы не дойдете, мистер Браш, это слишком далеко! — воскликнула Куини.

— Нет-нет, я пойду пешком.

Куини уже садилась в такси, как вдруг Браша осенила еще одна мысль:

— Куини, тебе приходилось иметь дело с детьми?

— Да. А что?

— Сегодня я приведу тебе ребенка.

— Что?!

— Я говорю: сегодня я...

— Садитесь же наконец, мадам, или выходите, — сердито сказал таксист.

— Я приведу ребенка приблизительно в три часа. Это ребенок Херба.

— Водитель! — резко сказала Куини. — Можете вы подождать две минуты, в конце концов? Мистер Браш, садитесь в машину и поедemте вместе. Мистер Браш, вы и так нездоровы, а тут еще пешком идти...

— А еще я приведу одну пожилую леди, — продолжал Браш. — Это мать Херба.

Таксист надавил на клаксон.

— Мадам, садитесь или выходите! Нельзя же так долго разговаривать, — жалобно заворчал он. — Автомобиль должен ездить, а не стоять...

Взволнованная Куини наконец поместилась в машину. Но перед тем как унестиcь прочь, она высунулась в окно и успела выкрикнуть:

— Подумайте о себе!..

Браш топал пешком до самого Канзас-Сити. Постепенно приятное возбуждение от ходьбы и мысли о новых его подопечных вытеснили прежнюю подавленность. Добравшись до Канзас-Сити, Браш созвонился с Бартонами и привел Элизабет в ее новый дом. Мать Херба наотрез отказалась покинуть свою комнату. Она даже не пустила Браша к себе, и они разговаривали через запертую дверь. Тогда Браш договорился с ее домохозяйкой о будущем содержании престарелой леди. После чего отправил Хербу телеграмму с коротким докладом о сделанном и, вернувшись домой, уселся рассказывать маленькой Элизабет историю о Всемирном потопе.

ГЛАВА 9

Озарквилл, штат Миссури. Рода Мэй Грубер. Ограбление миссис Эфрим. Уголовное досье Джорджа Браша: заключение номер 3

Хотя с появлением Элизабет жизнь Браша наполнилась заботами по воспитанию и образованию ребенка, все-таки он ни на минуту не забывал о назначенной на воскресенье встрече с Робертой. Чтобы успокоиться и не изводить себя, воображая снова и снова будущий разговор, Браш заполнял работой все свое время. Ему было необходимо совершить несколько деловых поездок по штату, но сначала он решил посетить самых дальних сво-

их клиентов и утрясти дела с преподавателем математики, а заодно и с директором одной из средних школ в Озарквилле, в низовьях Миссури. По прибытии в город Браш выяснил, что у него есть несколько свободных дней: директор школы, с которым ему надлежало встретиться, уехал в инспекционную поездку по сельским районам. И тогда Браш решил осуществить план, который долго перед этим обдумывал. Он собирался провести целый день в молчании, следуя примеру своего духовного наставника Ганди. В четверг, начиная с четырех часов дня, и до самой пятницы, до четырех часов дня, ни единое слово не должно было сорваться с его языка. А чтобы сделать это событие более знаменательным, он придумал заодно целый день ничего не есть.

В этот день он сообщался с внешним миром только посредством карандаша и бумаги. Весь штат отеля «Бейкер» был весьма озадачен столь внезапным приступом ларингита у их нового постояльца, еще вчера довольно громогласно объяснявшегося с портье. Вечером в четверг мистер Бейкер, выйдя на балкон и посмотрев на небо, спросил Браша, не думает ли тот, что скоро выпадет снег. Вместо членораздельного ответа Браш промычал нечто невразумительное, вытащил блокнот и крупно начертил карандашом единственное слово: «Нет».

Но Браш ошибся. На следующее утро, проснувшись, он обнаружил, что снег шел всю ночь. Однако было тепло, и снегопад скоро превратился в дождь. Все утро Браш просидел в своем номере с ясной от голода головой, в состоянии необычайного ликования, чувствуя себя духовно обогащенным. После двух часов дня он вышел прогуляться, положив в карман несколько яблок и намереваясь закусить ими ровно в четыре. Он неторопливо шествовал по улице, разглядывая дома справа и слева, и вдруг его глазам предстала занимательная картина. Маленькая девочка сидела на ступенях у двери одного из домов в нескольких ярдах от тротуара. На шее у нее висела картонка с надписью: «Я — лгунья». Браш некоторое время разглядывал эту странную девочку, которая, в свою очередь, с самой серьезной миной внимательно рассматривала его. Немного поколебавшись, Браш подошел ближе, вытащил из кармана блокнот и написал:

«Как тебя зовут?»

Девочка взяла блокнот, прочитала и жестом попросила карандаш.

«Рода Мэй Грубер», — написала она в ответ.

«Ты можешь говорить?» — написал Браш.

Рода Мэй вновь потребовала карандаш и бумагу и написала:

«Да».

«Сколько тебе лет?»

«Десять».

«Говори. Ты ведь можешь разговаривать», — написал Браш.

«Да, — написала Рода Мэй. — Но только мне нельзя, потому что я грешница».

«Твоя мать и отец дома?»

«Да».

Браш хотел войти в дом, но опоздал. На крыльцо вышли сами Груберы и заговорили самыми обычными голосами. Они увидели Браша в окно и забеспокоились, заметив его странные переговоры с их дочерью.

— Что здесь происходит? — хмуро спросил мистер Грубер.

Браш доброжелательно улыбнулся ему.

— Рода! Встань со ступеней. Иди сюда, — резко сказала миссис Грубер.

Мистер Грубер не отрываясь смотрел на дочь.

— Сними свою вывеску, — приказал он. — Что он тебе говорил?

Миссис Грубер отвесила Роде довольно крепкий подзатыльник и тут же прижала ее к себе. Рода заплакала. Мистер Грубер повернулся к Брашу:

— Чего вы хотели от нее? А? Чего вам здесь надо?

Браш начал быстро писать в своем блокноте.

— Вы глухонемой? Что это? Рода, о чем он с тобой говорил? Наверное, о каких-нибудь гадостях? — произнес он, угрожающе поднимая брови. — Сходи-ка к Джонсу, дорогая, позвони с его телефона в полицию и вызови мистера Уоррена или самого шерифа, — сказал он жене и вновь повернулся к Брашу: — Чего вы от нее хотели? Вы что, продаете что-нибудь?

Браш оторвал глаза от блокнота, отрицательно покачал головой, взглянул на Роду Мэй, затем на картонку с надписью и продолжал что-то писать.

Рода заплакала еще громче. Отец шлепнул ее, но не очень сильно, и заворчал:

— Иди-ка в дом. Ты тоже иди, Мэри. Я постерегу его, — сказал он жене.

— Будь осторожен, Герман, — ответила жена.

Браш наконец закончил писать, вырвал лист и протянул мистеру Груберу.

«Я еще вернусь к вам, чтобы поговорить об этом наказании, которое вы придумали для нее. Я думаю, вы поймете, что я имею в виду», — прочел мистер Грубер и проводил взглядом уходящего Браша.

Уже ступив на тротуар, Браш обернулся и поклонился мистеру Груберу.

— И больше не шляйся здесь! — крикнул мистер Грубер Брашу. — Увижу тебя еще раз — шкуру спущу, слышишь? Я заявлю в полицию!

Браш кивнул, умиrotворяюще сложив руки.

— Только посмей появиться еще раз у моего дома! — совсем расхрабрился мистер Грубер. — Я тебе зубы повышибаю!

Погрозив Брашу кулаком, он зашел в дом и запер дверь, заглушив громкие вопли Роды Мэй.

Долгожданные четыре часа застали Браша в нескольких милях от города бредущим по дорожной грязи. Взглянув на часы и убедившись, что обет исполнен, он почувствовал удовлетворение, перешедшее тут же в бурный восторг. Он повернул обратно к городу и побежал. Он бежал с четверть часа, и грязь во все стороны летела у него из-под ног. Потом пошел шагом и, отдышавшись, достал яблоко и съел его с огромным аппетитом. Он с ликованием смотрел вокруг: на дома скваттеров, на охотничьих собак, бегающих за воротами в проволочных вольерах, на цыплят, что рискнули выйти за ограду в неярком свете зимнего солнца. Путь его пролегал среди высохшей травы обочь дороги, по узкому кривому деревянному тротуару. В отдалении он разглядел несколько проржавевших автомобилей, стоявших под длинным навесом перед фасадом магазина рядом с почтой.

На краю города он зашел в магазинчик. Собственно, это были два магазинчика, устроенные один внутри другого. Вывеска гласила:

Н. ЭФРИМ

Одежда и галантерея

Одна дверь была заколочена наглухо. На витринах беспорядочной грудой были свалены отрезки ткани, обрезки шифера, бумажные змеи и лакричные корни. Браш подумал, что у него есть удобный случай запастись несколькими плитками шоколада, а увидав в витрине целую шеренгу кукол, он также решил купить одну из них для маленькой Роды Мэй Грубер.

Миссис Эфрим сидела у окна и что-то вязала, бойко шевеля спицами, когда Браш вошел в магазин. Это была старая женщина с морщинистым лицом, похожим на морду умной страдающей обезьяны. Поверх толстого шерстяного платья она носила потертый свитер, а поверх свитера — короткую зеленовато-черную накидку с выцветшими узорами. Она поправила очки на длинном носу и взглянула на Браша.

— Мне... мне, пожалуйста, куклу, — попросил Браш.

Миссис Эфрим отложила вязанье в сторону, уперла руки в колени и, болезненно морщась, встала на ноги. Они вместе стали выбирать куклу.

— Это для девочки примерно десяти лет, — пояснил Браш. — Я думаю, вы ее знаете. Ее зовут Рода Мэй Грубер.

Миссис Эфрим кивнула. Браш рассказал ей о наказании, которое для Роды придумали родители.

— Это ужасно! — вздохнула миссис Эфрим.

Они посмотрели друг на друга и тут же стали друзьями. Им обоим хотелось поговорить. Они согласились, что так воспитывать детей нельзя. Браш с некоторой таинственностью признался, что вопрос воспитания маленьких девочек недавно превратился для него в главную жизненную проблему. У миссис Эфрим было шестеро детей, и Браш был рад послушать о хороших и плохих чертах этих сорванцов. Тут он вдруг вспомнил, что голоден, вынул яблоки и угостил миссис Эфрим, добавив, что он ничего не ел целые сутки, но чувствует себя прекрасно. Расплачиваясь за шоколад и за куклу, Браш протянул ей десятидолларовую бумажку. Старушка оказалась в затруднении.

— Давайте я схожу в закусную, разменяю, — предложил Браш.

— Нет-нет, — пробормотала миссис Эфрим. — Сдача-то у меня найдется, но только она у меня спрятана.

— Спрятана?

Миссис Эфрим взглянула на него и подмигнула:

— Здесь не только денежки, которые накопились за эти дни. Нет, сэр! Не будет вреда, если вы узнаете, где они прячутся. Смотрите!

С этими словами она запустила руку за рулон ткани и вытащила пакет, полный долларовых бумажек. Отодвинув в сторону катушки с лентой, она вытащила целую пачку пятидолларовых банкнот.

— Вот как это у нас делается!

— Да, я вижу, — протянул Браш.

Они рассчитались, но Браш все еще с интересом оглядывал магазин.

— Молодой человек, — сказала миссис Эфрим, снова усевшись у окна, — вы не смогли бы вдеть мне нитку в иголку? Я плохо вижу.

— Конечно, миссис Эфрим. Шить, кстати говоря, я тоже умею.

— Это хорошо. А вот мои глаза уже не такие зоркие, как хотелось бы. Мои дети каждое утро перед тем, как уйти в школу или на работу, — так вот, каждое утро они вдевали мне пять или шесть ниток в иголки, про запас, но иногда они забывали. Вот и вы вдели бы мне про запас несколько штук, а то мне еще много штопать...

— Конечно, конечно! Давайте ваши иглы.

В эту минуту в магазин вбежал мужчина и, выхватив револьвер, направил его на Браша, который стоял у окна и пытался попасть концом нитки в игольное ушко.

— Руки вверх! — приказал грабитель. — И ты тоже, старая ведьма!

— О Господи! — охнула миссис Эфрим.

— Стоять! Не двигаться! Закройте рты! Один писк — и пуля ваша! По-английски понимаете? Понимаете английский, спрашиваю?!

— Да, — в один голос ответили Браш и миссис Эфрим.

— Отлично. Стоять на месте!

Грабитель оказался нервным молодым человеком, еще не совсем опытным в своем деле. Было заметно, что пестрый платок, закрывавший поллица, очень ему мешают, то и дело приликая ко рту при вдохе и обвисая по плечам. Он принимал картинные позы, бросал грозные взгляды и очень старался напугать свои жертвы, тыча им чуть ли не в самый нос своим револьвером. Он осторожно, по-кошачьи, приблизился к прилавку, не сводя с Браша глаз и не опуская револьвера, открыл кассу и выгреб на прилавок серебряную мелочь. Потом наскоро осмотрелся, выбирая что поценнее. Браш и миссис Эфрим стояли рядом с поднятыми руками. На

лице у Браша было написано счастливое волнение. Он повернулся к миссис Эфрим и поймал ее взгляд — ему хотелось поделиться переполнявшей его радостью.

— Что ты там скалишься, ты, гиена? — рассердился грабитель. — Перестань, а то я продырявлю тебя!

Браш тут же напустил на себя самое серьезное выражение, более подходящее моменту, и грабитель, отчасти успокоившись, продолжил поиски.

В магазинчике долго стояла почти полная тишина, прерываемая порой бурчанием в пустом желудке Браша.

Наконец грабитель обернулся к ним и сказал:

— Я не набрал тут у вас и двух долларов! Эй вы, тут где-то у вас, должно быть, припрятано побольше, а? А ну-ка доставайте! — Свои слова он адресовал почему-то Брашу. — Эй ты, верзила, сними-ка свое пальто и брось мне. Ну-ну! Не так резко! Еще один такой жест — и ты покойник! Понял?

— Да, — доброжелательно ответил Браш.

Грабитель отложил револьвер, поправил платок на лице и принялся шарить по карманам пальто, которое Браш швырнул прямо в него. Сначала он вытащил два яблока, кошелек с двумя долларами и пилочку для ногтей. Из другого кармана извлек томик Шекспира, несколько газетных вырезок со статьями об Индии и черновик прошения о регистрации брака.

— Извините, можно, я кое-что вам скажу? — спросил Браш.

— Что за чертовщина! Что ты можешь мне сказать? Ну, говори!

— Вряд ли вы найдете что-нибудь в моем пальто, но я знаю, где спрятаны деньги.

Грабитель уставился на Браша, широко раскрыв глаза:

— Ну, где?

— Я ничего вам не скажу, если вы будете целиться в меня, — сказал Браш. — Так и знайте.

— Что за чертовщина!

— Вы ведь на самом деле не хотите нас застрелить. Но вы можете выстрелить случайно и кого-нибудь убьете.

— И что же, мне его выбросить? — спросил раздраженно грабитель, кивнув на свой револьвер.

— Зачем же? Оставьте себе. Только не надо целиться в человека, если не хотите убить его. Это правило должен знать каждый.

— Вот как! А вот я сейчас и в самом деле пальну-ка в тебя разок, чтобы ты не болтал ерунду. Отвечай, где деньги?

— Да я и сам хочу сказать вам, где они, но я не буду ничего говорить, пока вы не направите ствол в окно.

Грабитель отвел револьвер чуть влево и приказал:

— Ну, теперь давай выкладывай!

— Часть денег вы найдете на полке за кассой, — услужливо сообщил Браш, — да-да, там, за рулоном вон той синей материи.

— Боже праведный! — завопила миссис Эфрим. — Зачем ты ему сказал! Ты сумасшедший! Разговаривай после этого с такими!

Грабитель с недоверием взглянул на полку.

— Ты говоришь, здесь? Сейчас посмотрим.

Браш наклонился и тихо зашептал миссис Эфрим:

— Я все вам верну, миссис Эфрим. Ему ведь надо гораздо больше, чем у нас есть. Я клянусь вам, вы не потеряете ни цента.

И снова заговорил с грабителем:

— А вон там лежат пятидолларовые банкноты. Вон там, за теми катушками с лентой!

Миссис Эфрим завопила еще громче. Браш принялся ее успокаивать. Грабитель, еще не до конца веря Брашу, запустил руку в тайник, не сводя с Браша глаз.

— Видите ли, миссис Эфрим, эта ситуация представляет для меня огромный интерес, потому что я в настоящее время обдумываю свою теорию

о ворах и грабителях. Потом я объясню ее подробнее. Поверьте, я вам все компенсирую.

— Тихо, говорю! Заткнитесь оба! — прикрикнул на них грабитель. — Забыли, кто я такой? Я не шучу. Я ведь всерьез могу пальнуть! Где, ты сказал, еще лежат деньги?

Браш повторил. Грабитель вытащил спрятанные банкноты.

— Отлично! Ну, где еще прячутся денежки? Отвечай!

— Это все, что я знаю, — развел над головой руками Браш, — но если вы разрешите мне опустить хотя бы одну руку, я вам дам еще немного.

— Где они?

— В кармашке для часов, в брюках, вот здесь.

— Не двигайся! — истошно завопил грабитель. — Руки вверх! Продавлю, если опустишь!

— Да я просто хотел дать вам еще двадцать долларов!

— Держи руки, чтоб тебя! Ты что, дурак? Или притворяешься? Держи руки, черт тебя дери! Где, ты говоришь, деньги?

Браш мотнул головой, указывая взглядом и локтем на свой брючный карманчик.

Несколько мгновений грабитель и Браш смотрели друг другу в глаза. Затем Браш сказал вежливо:

— Вам ведь нужны деньги, не так ли? За ними вы и пришли сюда. А я хочу дать вам еще, больше. Но вы не разрешаете мне достать их.

В этот момент сильный порыв ветра распахнул неприкрытую дверь магазинчика и тут же с грохотом захлопнул ее. Поток воздуха пронесся по комнате, и качнувшиеся оконные створки скинули на пол вещи с подоконника. Грабитель страшно перепугался и выронил револьвер. Раздался выстрел, пуля ударила в оконный переплет. Миссис Эфрим завопила во весь голос. Грабитель, забыв о револьвере, спрятался за кассу и кричал оттуда:

— Что это? Кто это?

Браш подошел к револьверу, поднял его с пола и направил, наморщив лоб, в угол, в потолок.

— А теперь ты — руки вверх! — приказал он грабителю. — Я не люблю никакого оружия, но мне хочется постоять здесь с этой штуковиной, пока я кое-что тебе расскажу.

Грабитель, цедя сквозь зубы ругательства, испуганно выглядывал из-за кассы. Миссис Эфрим дернула Браша за рукав:

— Сначала пускай он вернет мои денежки!

— Нет, миссис Эфрим, нет! Как вы не понимаете? Это же эксперимент! Мы должны предоставить этому человеку шанс начать новую жизнь, вы понимаете? Я все вам верну до последнего цента.

— Не нужны мне ваши деньги! Мне нужны мои собственные денежки! Я сейчас же пойду позвоню мистеру Уоррену.

— Не надо, миссис Эфрим, я вас прошу.

— Нет, я позвоню!

— Миссис Эфрим! — сказал Браш сурово. — Сядьте на место и руки вверх!

— О Боже праведный! — охнула перепуганная старушка.

— Поднимите руки вверх, миссис Эфрим! Мне очень жаль, но я знаю, что я делаю. Эй вы, мистер грабитель! — позвал приветливо Браш незадачливого налетчика. — Как вас зовут?

Ответа не последовало.

— Вы какое-нибудь дело знаете? Торговое, например, или какое-нибудь другое?

Молчание.

— Вы давно занимаетесь этим делом? Грабежом, я имею в виду.

— Давай стреляй — и кончим комедию! — ругнулся с тоскливым презрением грабитель, но тем не менее из-за кассы не вышел, а остался сидеть в укрытии, лихорадочно сверкая глазами.

Браш ничуть не смутился в своей новой роли:

— Я думаю, что надо оставить вам долларов пятьдесят. Этого вам хватит первое время на еду и жилье. Вам надо хорошенько подумать о своих делах. Послушайте меня: даже мне ясно, что вы никогда не станете настоящим грабителем...

Проповедь Браша была в полном разгаре, когда его прервали. В магазинчик вошла покупательница, пожилая женщина, которая, увидев Браша с револьвером в руке, прижала ко рту сухие кулачки и пробормотала испуганно:

— Что у вас происходит, миссис Эфрим?

— Я сама не понимаю, миссис Робинсон, — мрачно ответила миссис Эфрим. — Я сама ничего не понимаю.

Браш оглянулся на вошедшую и учтиво произнес:

— Сейчас нельзя, мы заняты. Зайдите через полчаса.

— Миссис Эфрим! — выдохнула миссис Робинсон. — Я сейчас позову мистера Уоррена.

И она исчезла.

— Приход этой женщины все испортил, — с сожалением произнес Браш, опуская револьвер. — Нам надо поторопиться. Миссис Эфрим, а другого выхода отсюда нет?

— Не спрашивайте меня больше ни о чем, — сердито ответила миссис Эфрим. — Даже разговаривать с вами не хочу.

Браш подошел к прилавку, положил несколько банкнот.

— Эти деньги ваши, — сказал он грабителю. — Сюда также входит и стоимость револьвера. Теперь можете уходить. Вам следует поторопиться.

Грабитель взял деньги, которые отсчитал ему Браш, и, бочком пробравшись к двери, вдруг обернулся, надул щеки, издал губами неприличный звук и выскочил за дверь.

Браш осторожно отложил револьвер в сторону.

— Все это было чрезвычайно занимательно, не так ли, миссис Эфрим? Теперь я хочу возместить вам все убытки.

Миссис Эфрим не отвечала. Она подошла к кассе и с треском задвинула ящик для выручки.

— Не обижайтесь на меня, миссис Эфрим. Я должен был так поступить, чтобы остаться в согласии со своими принципами.

— Вы ненормальный.

— Нет, это не так.

— Нет, так! Вы сумасшедший. Где это слыхано, чтобы люди сами отдавали грабителям свои деньги? Позволить ему спокойно разгуливать на свободе!.. Нет, я не возьму ваших денег. Считайте, что это вы меня ограбили. А теперь проваливайте, пока не пришла полиция и не арестовала вас.

— Я не боюсь полиции.

— Делайте, что вам говорят! Уходите!

— Миссис Эфрим, если я сделал что-то не так, я все объясню, я оправдаюсь. Я вам должен приблизительно тридцать пять долларов...

В эту минуту в дверях появился мистер Уоррен, констебль города, в сопровождении нескольких человек, и среди них — миссис Робинсон.

— Выходи! — скомандовал Брашу мистер Уоррен. — Руки вверх и выходи!

Браш повернулся к миссис Эфрим.

— Он думает, что грабитель — я, — улыбнулся Браш. — Да не волнуйтесь, офицер, никуда я не денусь.

Мистер Уоррен надел ему наручники.

— Ох-ох, мистер Уоррен, как страшно! — съехидничал Браш. — Надеюсь, уж есть-то они мне не помешают. Я целые сутки ничего не ел, кроме одного яблока. Я хочу есть.

— Закрывайте свой магазин и идемте с нами, миссис Эфрим, — сказал мистер Уоррен. — Мы бы хотели прежде всего послушать ваш рассказ о том, что произошло.

— Да тут и говорить не о чем, — резко ответила миссис Эфрим. — Просто он глупец, каких свет не видывал. Нет, я не могу бросить свой магазин. Я не пойду.

Но мистер Уоррен настоял на своем, и вот вся процессия двинулась по Мэйн-стрит. К несчастью, на их пути попались мистер и миссис Грубер — они стояли под аркой и злорадно смотрели на закованного в наручники Браша.

— Смотри, Герман! — воскликнула миссис Грубер, хватая мужа за плечо. — Вот он! Похититель детей!

— Мистер Уоррен! — громко сказал мистер Грубер. — Я обвиняю этого человека в попытке похитить мою дочь Роду Мэй.

— Следуйте за мной, — сказал Уоррен.

Они пришли в тюрьму, и Браша заперли в камере. Оставшись в одиночестве, Браш поужинал вторым яблоком, удрученно вздохнул и улегся спать.

ГЛАВА 10

Озарквилл, штат Миссури. Джордж Браш встречается великого человека и узнает о себе нечто важное. Суд

На следующее утро надзиратель открыл дверь камеры, где сидел Браш, и сказал:

— Можешь выйти погулять, если хочешь. Судьи Карберри сегодня не будет до самого обеда. Он на рыбалке.

Стоял теплый солнечный день. Тюремный двор был ограничен с трех сторон каменными стенами тюрьмы, а с четвертой — высоким проволочным забором, за которым располагались служебные постройки. По внешней стороне гравийной прогулочной дорожки, опоясывавшей двор, стояли каменные скамьи. На одной из них, греясь на солнышке, растянулся человек в пальто. Он повернул голову и пристально взгляделся в Браша. У него было тонкое лицо с застывшей на нем сардонической миной и длинные шелковистые усы.

— Так-так, — произнес он. — Стало быть, еще один!

Браш приблизился, протянул ему руку.

— Меня зовут Джордж Марвин Браш, — сказал он. — Я приехал из Мичигана и торгую учебниками от «Каулькинса и компании».

— Родимые пятна есть?

— Чего? — не понял Браш.

— Меня зовут Зороастр Илз¹, — сказал человек. — Я лежу на лавке от самого себя.

Браш посмотрел на него с удивлением, но тот повернулся к нему спиной, и Брашу ничего не оставалось, как продолжать осмотр тюремного двора. По другую сторону проволочного ограждения огромный рыжий кот осторожно пробирался среди травы. Браш позвал его: «Кис-кис-кис!» Но кот даже не взглянул на Браша; он уселся и стал облизывать свои толстые передние лапы. Женщина развешивала на длинной веревке только что постиранное белье. Сначала она увидела Браша, потом кота и, словно испугавшись чего-то, закричала громко:

— Битти! Битти, сюда! Сюда, Битти!

Кот лениво поплелся к ней. Брашу пришло в голову, что неплохо бы сделать гимнастику. Он побегал по двору, потом остановился, успокоил дыхание и принялся за наклоны. Человек на лавке обернулся и открыл один глаз. Широко зевнув, он спустил ноги и сел.

— Эй, приятель, отдохни! — предложил он.

Браш обернулся к нему.

¹ Буквальный перевод с английского этого имени означает «Плети Зороастра».

— Да, отдыхать тоже надо, — ответил он, — но лучше всего — после того, как хорошенько поработаешь.

Наконец Браш остановился. Некоторое время они молчали.

— По существу, в этой тюрьме не так уж плохо, а? — произнес Браш.

— Даже хорошо, — ответил Илз и, чмокнув губами в знак удовольствия, добавил: — Просто чудесно!

Браш понял, что сделал неуместное замечание. Он слегка смутился и сказал:

— На яичницу с ветчиной и на прогулку, я думаю, рассчитывать можно, а?

— Да, конечно! — умилился его новый знакомый. — Они только и мечтают о том, как бы сделать нам что-нибудь приятное.

— Отпечатки пальцев здесь, по крайней мере, не снимают.

— Полагаю, персонально для тебя они могли бы это устроить, если ты хорошенько их попросишь. И уж тогда-то они разглядят твою благородную душу. Они сразу оценят тебя. Они просто мечтают о таких преступниках, как ты.

С этими словами Илз снова улегся на скамью и закрыл глаза.

— Они будут весьма сожалеть, когда ты выйдешь отсюда, — добавил он.

— Я вижу, у вас что ни слово, то шутка, — улыбаясь, сказал Браш. — Признаться, я не сразу вас понял.

Илз открыл глаза и уставился на Браша, затем снова их закрыл. Брашу расхотелось разговаривать, он встал и пошел бродить по тюремному двору; внезапно его охватило острое чувство одиночества. От нечего делать он стал собирать мусор и складывать его в кучку в одном из углов двора. Кучка уже порядком выросла, когда его новый товарищ поднялся со скамейки и с совершенно серьезным видом направился к нему.

— Ладно, не будем сердиться, — сказал он. — Меня зовут Буркин, Джордж Буркин. Дай руку, Браш, я пожму ее. Я из Нью-Йорка. В настоящее время я без работы. Но раньше я был кинорежиссером. Пойдем сядем и обсудим наш позор. Я попал сюда за подглядывание. А ты за что?

— Я здесь по двум причинам. Во-первых, они подумали, что я хотел украсть маленькую девочку. А во-вторых, они подумали, что я пытался ограбить магазин или по крайней мере помог грабителю скрыться.

— Понятно. Это, конечно, недоразумение?

— Да. Кроме последнего. Но даже и в этом случае я прекрасно понимал, что я делаю. Если хотите, я вам расскажу, как все произошло.

— Подожди минуту. У тебя найдется сигарета?

— Нет. Я не курю.

— Не куришь?

— Нет.

— Хм, ладно. Ну, давай послушаем твою историю.

И Браш рассказал ему обо всех своих приключениях, начиная с обета молчания и до самого прибытия в тюрьму. Затем он прибавил к этому рассказ об аресте в Армине, рассказал заодно о своей теории Добровольной Бедности и о теории относительно грабителей.

Он закончил, наступило долгое молчание. Наконец Буркин встал и, сунув руки за ремень, прищурившись, взглянул на тусклое солнце.

— Ну что ж. Хорошо, — произнес он. — А я, представь себе, уже давно ищу кого-нибудь вроде тебя. Мне подумалось, что надо бы посмотреть по тюрьмам, потому что таким, как ты, там самое место.

— Таким, как я?

— Да. Ты знаешь, кто ты есть? Ты самый настоящий *логик*. Да, самый неподлиннейший логик, какого я только встречал.

— Хм... Действительно, я всегда говорил всем, что поступаю логично... Но большинство людей, которых я встречал, считали, что я сумасшедший, — сказал Браш задумчиво и нерешительно добавил: — А это хорошо — быть логиком?

Буркин прошел несколько шагов не отвечая. Повернув обратно, он сказал:

— По крайней мере это не смешно.

— О да! — с чувством воскликнул Браш. — Я самый серьезный и самый счастливый человек из всех, кого я встречал!

— Что ж, пожалуй. На свой манер, разумеется.

Браш снова засомневался в том, что его воспринимают всерьез.

— Скажите, а какое недоразумение привело сюда вас? — запинаясь, спросил он.

— Скажу, — ответил Буркин.

Он с беспечным видом поставил ногу на скамейку и начал говорить, сперва спокойно, потом с нарастающим волнением. Нервное подергивание его левой щеки, которое Браш замечал и раньше, стало резче и явственней.

— Я стоял на лужайке возле дома и смотрел в окно. Человек из дома напротив позвонил в полицию, и меня засунули сюда. Вот и все.

Последовала пауза, потом он сказал:

— Я никогда ничего не объясняю. Я никогда ни в чем не раскаиваюсь. Меня не интересует, черт возьми, что они думают. И если они думают, что у меня только и забот, что подсматривать, как раздеваются их бабы, то пускай себе думают так. Пускай прячут меня в тюрьму, на сколько им захочется. Меня это не волнует. Я никогда ничего не объясняю. Я не стараюсь просвещать идиотов. Понял? Я каков есть, таков есть.

Браш затаил дыхание. Буркин наклонился к нему и выкрикнул ему прямо в лицо:

— Слушай! Настанет день, когда они так обрадуются мне, что такого и не упомнит весь их чертов город! Я — режиссер кино, понимаешь? Я лучший режиссер из всех бывших и будущих режиссеров. Я — величайший артист Америки, понял? Я — кинорежиссер. Это моя работа — знать все! Я разъезжаю на своем «форде» по стране и изучаю. Однажды ночью я оказался в Озарквилле, штат Миссури. И что ты думаешь? Я шел по улице и увидел освещенное окно. И что же? Какой-то мужчина с женой и ребенком ужинали за столом. Но если ты рассматриваешь человека в окно, а он не знает, что ты его разглядываешь, то ты увидишь и поймешь о нем гораздо больше, нежели ты смотришь на него как-то по-другому. Ты это себе представляешь?

— Да, — тихо сказал Браш.

— Ты увидишь чрезвычайно много! Ты увидишь самую его душу. Можешь ты это понять?

— Да.

— Я стоял там больше часа, пока меня не забрала полиция. Вот и все. Как тебе это нравится?

— Все, что от вас требовалось, — это объяснить им, как сейчас мне. Они бы вам поверили, — спокойно ответил Браш.

— Я же сказал тебе, что я никогда ничего никому не объясняю! — в бешенстве заорал Буркин, и щека у него задергалась еще сильнее.

— Тогда я сам все расскажу судье, — сказал Браш. Подняв на Буркина взгляд, он добавил с улыбкой: — Верить вам — одно удовольствие.

— А кто ты, собственно, такой, черт тебя побери? — спросил Буркин и пошел от него прочь, все еще сердитый. Но тут же вернулся: — И кроме того, разве ты не знаешь, что здешний судья тот еще жук! Уже сорок лет он держит в кулаке весь город. Он не блюдет даже вида законности, если послушать, что о нем говорят. Шансов у тебя не больше, чем у меня самого. Что ты оглядываешься вокруг с такой радостью?

— Сам не знаю, — тихо ответил Браш. — Наверное, потому, что я рад всему, что случается со мной.

— Ты сумасшедший, — сказал Буркин.

— Да, я знаю, — улыбаясь, ответил Браш, — но только что вы говорили, что я — логик.

— У тебя ничего с собой нет почитать?

— Есть. У меня в камере несколько книг. А с собой только это. — Он вытащил Новый Завет, «Короля Лира» и брошюрку о промывании кишечника.

Буркин выбрал «Лира», остальное вернул назад.

— А эту чепуху забери, пускай лежат вместе, — сказал он.

Браш стоял опустив глаза, раздумывая над его словами.

— А знаете, — произнес он, — мне не нравится, что вы так говорите об этих книгах.

— Мы живем в свободной стране и говорим что хотим, — беззаботно отвечал ему Буркин, заваливаясь обратно на скамейку с намерением прочесть «Короля Лира» от начала до конца.

Слухи о чудовище по имени Джордж Браш уже успели распространиться в городке, и в два часа дня зал судебных заседаний был переполнен зрителями, ожидавшими в богобоязненном молчании. А когда ввели Браша и он занял свое место, вокруг воцарилась совсем уже гробовая тишина. Весь зал затаил дыхание. Браш сидел бледный, крепко сжав зубы, бросая вокруг тревожные и вместе с тем отчаянные взоры. Судья Карберри был хорошо известен жителям города вот уже тридцать пять лет, но когда он вошел в зал заседаний, взгляды всех присутствующих обратились к нему, словно его видели впервые. Судья утомленно огляделся, почесал нос и опустился в кресло. Это был совершенно лысый пожилой человек с маленькими черными глазками, острым носом и усеянным густой сетью мелких морщин лицом, на котором читались благожелательность, проницательность и скука. Небывалая теснота в зале его весьма раздражала, и сегодня он был склонен зайти далее, чем обычно, в своем презрении к букве закона. Он сделал несколько указаний секретарю, который тут же начал неистово переключать папки, приуговаривая дела к рассмотрению. Пока зачитывалось обвинение, судья искусно соорудил перед собой на столе целый заслон из томов Блэкстоуна², прячась за которым он имел обыкновение читать какой-нибудь интригующий роман прямо во время заседания. В настоящую минуту он торопливо доглатывал Джорджа Элиота³ и уже поглядывал, предвкушая удовольствие, на лежащий рядом «Уэверли»⁴.

— ...пытался похитить ребенка... — скороговоркой бормотал секретарь, — ...содействие и соучастие в краже... не признает себя виновным... от защиты отказывается...

Вызвали мистера Уоррена.

— Значит, так, — откашлявшись, начал он свое свидетельское показание. — Звонит, значит, мне по телефону миссис Робинсон и говорит, что в магазин миссис Эфрим забрался, значит, вот этот самый вооруженный грабитель. И тогда, значит, я...

Судья урвал еще парочку абзацев из «Адама Бида», затем поднял голову.

— Оба эти обвинения предъявлены одному и тому же человеку? — сухо спросил он.

— Да, ваша честь.

— В один и тот же день?

— Да, ваша честь.

Судья перевел на Браша неприветливый взгляд, который Браш встретил не дрогнув. Наступило молчание. Браш поднял руку.

— Можно, я скажу несколько слов, ваша честь? — спросил он.

Сперва ему показалось, что судья не расслышал вопроса.

— Что вы хотите сказать? — поинтересовался наконец судья.

² Блэкстоун Уильям (1723 — 1780) — английский юрист, автор «Комментариев к английским законам».

³ Элиот Джордж (псевд., наст. имя — Мэри Анн Эванс; 1819 — 1880) — английская писательница, автор романов «Мельница на Флоссе», «Миддлмарч», «Адам Бид» и др.

⁴ «Уэверли» — роман Вальтера Скотта.

— Ваша честь, я полагаю, вы должны знать, что в моем деле вовсе нет состава преступления.

— Вот как?!

— Да. Это всего лишь недоразумение. И если вы позволите мне рассказать, как все произошло на самом деле, то все мы выйдем из этого здания меньше чем через пятнадцать минут. Кроме того, ваша честь, я могу объяснить дело мистера Буркина, которое вы будете рассматривать после моего. С ним тоже произошло недоразумение.

— Вы привлекались к суду прежде?

— Нет, ваша честь. — Браш помялся и добавил: — Но меня арестовывали.

— О, вот как!

— Да. Но это тоже было недоразумение. Меня выпустили буквально через час.

— Вы можете рассказать суду, где и за что вас арестовывали?

— Буду рад рассказать, ваша честь.

— А мы будем рады послушать.

— В первый раз это случилось в Батон-Руж, штат Луизиана. Меня арестовали за то, что я путешествовал в машине Джима Кроу. Я верю в равенство рас, ваша честь, в братство всех людей независимо от цвета кожи, поэтому я и поехал с Джимом в его машине, чтобы показать, что я верю в эти вещи. А они арестовали меня. Во второй раз меня...

Мановением руки судья остановил Браша. Медленно и с легким изумлением судья оглядел негромко переговаривавшуюся публику, затем повернулся к стенографистке и посмотрел на нее, словно хотел удостовериться, что все свидетельские показания фиксируются как положено. Потом он задумчиво посмотрел на верхние окна, словно размышлял, не пора ли заказывать новые рамы. Наконец — снова на Браша. Высморкавшись, судья учтиво предложил:

— Извольте продолжать.

— Второй раз меня арестовали месяц тому назад в Армине, штат Оклахома. Я забрал из банка свои сбережения и сказал президенту банка, что, по-моему, держать деньги в банках безнравственно. И меня тут же арестовали.

— У вас были основания считать, что этот банк несостоятелен?

— Нет, я так не считал, ваша честь. Просто я думаю, что все банки, и этот в том числе, существуют благодаря страху и порождают страх в людях. Это моя собственная теория, и она требует подробного объяснения.

— Все понятно, — сказал судья. — Ваши принципы не таковы, как у большинства других людей, не правда ли?

— Совершенно верно! — воскликнул Браш. — Я из-за этого все четыре года мучился в колледже. Мне пришлось выдержать столько труднейших собеседований по поводу религии, имевших целью внушить мне те же принципы, что и у большинства людей! Но...

Ошеломленный взгляд судьи снова обежал зал судебных заседаний. Судья увидел миссис Эфрим в окружении своих детей, приодетых ради такого случая и взиравших на него с благоговением и страхом. Он увидел Груберов и Роду Мэй, отмытую до розового цвета и наряженную в накрахмаленное платье.

— Можете сесть, — сказал он Брашу, шепнул секретарю несколько слов и вышел из зала заседаний. Он зашел в кабинет, где был телефон, и позвонил жене. Он говорил медленно, с длинными паузами и подчеркнутым безразличием.

— Ох, Эмма, — сказал он глядя вниз, скребя плохо выбритую щеку. — Ох-ох-ох! Отложи-ка свое шитье и приезжай к нам в суд.

— Что случилось, Дарвин?

— Что-что... Приезжай посмотри, что тут происходит.

— Нет, Дарвин, если там у вас в самом деле стряслось что-то неприличное, то... Ты же знаешь, я этого не люблю.

Судья пожевал губами.

— Нет, но... Как бы тебе сказать... В общем-то, все совершенно прилично.

— Ну и что же там у вас такое?

— ...тут один тип... Он немножко необычный. Лучше приезжай и посмотри сама.

— Дарвин, я не хочу видеть, как ты мучаешь какого-нибудь несчастного узника. Я прекрасно тебя знаю. Я знаю тебя и не желаю видеть твои безобразия.

У судьи дернулось плечо.

— Это он, твой узник, мучает меня, а не я его! Эмма, приезжай, у нас тут сегодня целое представление. Позвони Фреду, позови его, если у него нет дел. И Люсиль тоже захвати с собой.

Фред Харт являлся мэром Озарквилла вот уже двадцать лет. Люсиль была его жена. Харты и Карберри дружили семьями, трижды в неделю играли вместе в бридж по вечерам и знали друг друга уже давно.

— Ладно, Дарвин, если я приеду к тебе, обещаю тебе вести себя прилично. Я тебе тысячу раз говорила, что я не люблю, когда насмеются над людьми.

Судья вернулся в зал заседаний. Бросив на подсудимого взгляд, внушающий, по его мнению, трепет перед правосудием, он стал соображать, как бы задержать ход дела до приезда жены. Тем временем вызвали мистера Грубера. Он подробно описал необычное поведение обвиняемого и коварство, с которым тот притворялся немым, тогда как суд мог сам убедиться в том, что обвиняемый умеет разговаривать не хуже кого-либо другого. Браш поднял руку, требуя слова, но судья грубо приказал ему ждать. Пока Грубер монотонно бубнил свои показания, судья успел прочитать почти полглавы из «Адама Бида». Следующей к даче свидетельских показаний призвали миссис Грубер, и она бессвязно и путано изложила собственную версию происшествия. Наконец судья увидел, как в дальнем конце зала протиснулись сквозь плотную толпу и уселись в последнем ряду его жена и чета Харты. Тогда он вложил закладку в свою книгу и отодвинул ее в сторону. Миссис Грубер попросили удалиться, и опять вызвали Браша.

— Каков род ваших занятий, молодой человек, и что вы делали в Озарквилле? — спросил судья.

— Я командирован сюда «Каулькинсом и компанией», издателями учебников для школ и колледжей. Я приехал в город, чтобы встретиться с директором Макферсоном.

— Понятно. У вас когда-либо были дефекты речи?

— Нет, ваша честь.

— У вас был вчера ларингит?

— Нет, ваша честь.

— Можете ли вы объяснить, почему вчера вы делали вид, что страдаете немотой?

— Да, ваша честь, без труда.

— Я бы хотел услышать ваше объяснение.

— Ваша честь, — начал Браш. — Дело в том, что я очень живо интересуюсь личностью Ганди.

Судья со стуком швырнул на стол свой карандаш и сказал повысив голос:

— Молодой человек, будьте любезны отвечать только то, о чем вас спрашивают!

Браш пожал плечами.

— Что я и делаю, ваша честь. Это единственное, что я могу сказать в ответ. Я уже давно изучаю идеи Ганди и...

Судья бросил восторженный взгляд на жену, затем, прикрыв лицо рукой, грозно прогремел:

— Хватит! Немедленно прекратить! Я не позволю заседание нашего высокого суда превращать в балаган! Молодой человек, у суда нет времени

слушать ваши пространные рассказы. Вы отдаете себе отчет в том, что вам предъявлены два серьезнейших обвинения? Вы это понимаете?

— Да, — ответил Браш, стиснув зубы.

Судья опустил глаза.

— Продолжайте, — сказал он смягчившимся голосом. — И давайте без чепухи.

Браш хранил молчание, пауза затянулась.

Судья поднял брови.

— Вы, наверное, хотите выказать суду свое неуважение? Так? Ну хорошо же! Молодой человек, возможно, вы не представляете себе, в каком положении находитесь. Вы обвиняетесь в двух преступлениях, за каждое из которых вас можно отправить за решетку на весьма длительный срок. Вы пробьете в Озарквилле менее двух дней и уже попали под суд — под суд, повторяю! На протяжении вот уже пятидесяти лет у нас не случалось подобного преступления. И при этом вы ведете себя самым легкомысленным образом перед лицом всего нашего открытого суда!

Браш стал еще бледнее, но хранил твердость.

— Я не боюсь никого и ничего, ваша честь, — сказал он. — Я только хочу сказать правду; вы меня не так поняли.

— Хорошо. Тогда начнем сначала. Но если вы еще раз упомянете имя этого самого вашего Ганди, я отправлю вас на пару деньков в тюрьму, где вы быстро придете в себя.

Браш склонил голову.

— Причина, по которой вчера я ни с кем не разговаривал до четырех часов, состоит в том, что я дал обет молчания, — сказал он.

Судья, похоже, уловил суть. С трудом сдерживая хохот, он поднял голову над бастионом из книг и взглянул на жену. Миссис Карберри погрозила ему пальцем.

— Понятно. Продолжайте, — сказал он.

— Этот обет молчания, — продолжал Браш, — является обыкновенным подражанием некоторым культурным деятелям Индии. После двух часов я вышел на прогулку. Я увидел девочку, она сидела на ступенях крыльца своего дома. У нее на шее висела картонка с надписью: «Я — лгунья».

— Что-о-о? — переспросил судья.

— «Я — лгунья».

Когда волнение в зале утихло и слышались только глубокие жалостные вздохи, судья выпил воды и спросил:

— С какой целью вы приблизились к ребенку?

— Я вовсе не намеревался сделать ребенку что-нибудь плохое. Я просто думал, что ложь — это плохо, но ребенку, который лжет, ничего плохого сделать я не хотел.

— Понятно. А вы сами являетесь отцом, хотел бы я спросить?

Несколько мгновений Браш молчал.

— Нет, — наконец тихо сказал он. — Думаю, что нет.

— Прошу прощения?! — выпучив глаза, нараспев произнес судья. — Это как понимать?

— Я не могу сказать, что знаю наверняка, — сказал, запинаясь, Браш.

Судья Карберри пошуршал на столе бумагами.

— Ладно, не будем вдаваться в подробности, — сказал он. — Присутствует ли в суде эта самая девочка? — спросил он громким голосом.

Роду Мэй вывели для дачи свидетельских показаний. Ее со всей строгостью заставили дать присягу на Библии, но она тем не менее вела себя весьма самоуверенно и даже весело.

— Рода, расскажи нам, что произошло, — сказал судья.

Рода Мэй обернулась к аудитории. Она отыскала глазами свою мать и больше никуда не смотрела. Только один раз она обернулась к судье.

— Меня зовут Рода Мэй, — затараторила она. — Я сидела возле нашего дома, а этот дядька подошел к нашему дому, и я сразу поняла, что это плохой дядька.

- Рода, а почему ты сидела на ступенях?
- Потому что я была плохая.
- Так. Ну и что сделал этот человек?
- Он звал меня в плохое место, а я сказала ему, что не пойду, потому что я люблю папу и маму больше всего на свете.
- Он звал тебя идти с ним?
- Да, а я не пошла, потому что я очень люблю папу и маму.
- Рода Мэй, будь внимательнее. Ты должна говорить правду. Этот человек говорил ртом или писал рукой?
- Он писал рукой, господин судья Кар-Берри. Но я все равно знала, что он плохой, он ворует детей. А он посмотрел на меня вот так! — Тут она скорчила страшную рожицу и развела руки, будто готовилась что-то схватить. — А я тогда как дам ему! Я ему как дам! А он повернулся и убежал, а я догнала его и как дам! Прямо по лбу! А он...
- Мистер Грубер! — крикнул судья.
- Да, господин судья.
- Заберите вашу дочь. А теперь мы перейдем к рассмотрению второго обвинения.

В зале царило ошеломленное молчание, в то время как Груберы, опустив головы, шли между рядами к выходу.

Затем судья самым любезным тоном обратился к миссис Эфрим:

— Миссис Эфрим, не будете ли вы так добры рассказать нам о происшествии, которое случилось в вашем магазине вчера вечером?

Миссис Эфрим, шелестя объемистым черным шелковым платьем, выбралась из толпы своих детей и подошла к присяге. Судья выделял ее среди прочих свидетелей и старался это показать своей галантностью. Опустив руку после присяги, она начала:

— Судья Карберри, я не в состоянии выразить тот ужас, который я переживаю в настоящую минуту, находясь в суде в качестве участника процесса. Сорок лет я прожила в этом городе — я и мой муж, вечный покой душе его! — и ни разу мне не случалось бывать здесь, разве что для уплаты налогов.

— Но, миссис Эфрим, на вас это не отразилось, и вы по-прежнему обаятельны, уверяю вас...

— Вы можете говорить что угодно, господин судья, — сказала она, но морщины на ее лбу все-таки разгладились. — И это весьма любезно с вашей стороны, но это не меняет дела.

— Миссис Эфрим, — сказал судья, склоняя перед ней голову, — суд благодарит вас. Ваш муж и мой друг Натан Эфрим всегда был одним из самых уважаемых людей в нашем городе, и суд принимает за большую честь ваше присутствие здесь сегодня.

Миссис Эфрим с гордостью посмотрела на своих шестерых детей и сказала:

— В действительности, господин судья... ваша честь... я не выдвигаю обвинений против этого молодого человека. Я считаю, что он просто-напросто очень отличается от всех нас, вот и все. Я до сих пор не понимаю, что, собственно, произошло. Сначала я думала, что это обыкновенный хороший молодой человек. — Она быстро взглянула на Браша. — Я не знаю, что и думать, ваша честь.

— Большое спасибо, миссис Эфрим. А вы не могли бы просто рассказать, как было дело?

— Хорошо. Он вошел. Я сидела с вязаньем у окна, когда он вошел... а он не пробыл и двух минут, как мне стало казаться... я не знаю, как еще сказать, ваша честь. Словом, он начал втираться ко мне в доверие.

— Скажите на милость! — Судья сделал круглые глаза.

— Я не знаю, что еще рассказывать, ваша честь. Чего только он не вытворял! Пытался всучить мне яблоко, вдевал мне нитки в иголки...

— Прошу прощения? — не понял судья.

— Он вддел мне нитки в три или четыре иголки. Он спрашивал, как зовут моих детей. Он... он даже купил куклу. Да, сэр! Он даже угостил меня яблоком, а о себе сказал, что не ел целые сутки. А потом он... а потом он хитростью вынудил меня показать, где я прячу деньги.

— Ох, миссис Эфрим, в жизни не слышал ничего подобного! — Судья уже не скрывал улыбки.

— Да, теперь это смешно, ваша честь, — с упреком посмотрела на него миссис Эфрим. — Чего только он не делал! Но я должна сказать, что он мне очень понравился. По крайней мере до тех пор, пока не начал вести себя странным образом, когда ворвался тот самый грабитель.

— Пожалуйста, расскажите об этом подробнее.

Но миссис Эфрим ничего толком не могла рассказать. Из ее путаного повествования судья понял, что в ограблении участвовали, кроме троих или даже четверых вооруженных бандитов, еще и страшная буря и сломанное окно, и еще во всю эту белиберду каким-то непонятным образом вплелся забавный в своей нелепости размен денег. Судья вежливо поблагодарил миссис Эфрим, и она отправилась на место, к своим детям, которые почтительно и даже с восхищением взирали на маму, — ведь с нею только что разговаривал сам судья! Следом была вызвана миссис Робинсон. По ее версии, в магазине вообще не было никакого вооруженного грабителя с платком на лице. Никого, кроме обвиняемого, который стоял посреди магазина и угрожал револьвером миссис Эфрим. И эти показания в точности совпадали с показаниями мистера Уоррена.

Наконец дали слово самому Брашу.

— Молодой человек, вы узнали от миссис Эфрим, где она хранит свои деньги?

— Да, она...

— Вы сказали грабителю, где спрятаны ее деньги?

— Да, ваша честь, но я хотел возместить ей ущерб.

— Вы держали в руках револьвер и заставляли миссис Эфрим поднять руки?

— Да, но я вовсе не хотел...

— Не надо объяснять, что вы хотели и чего вы не хотели. Все, что мне надо, — это факты! А факты говорят сами за себя, не так ли? Далее. Вы позволили грабителю скрыться, когда узнали, что должен прибыть шериф города?

Браш молчал.

— Вы будете отвечать на этот вопрос?

Браш с окаменевшим лицом смотрел перед собой. Судья подождал, потом снова заговорил тихим зловещим голосом:

— Надо полагать, вы снова дали обет молчания? И не удивительно! Вам нечего сказать. Факты говорят сами за себя. Вы хотели убедить меня, что все это сплошное недоразумение. Вы уверяли нас, что мы все выйдем отсюда через четверть часа... Опустите руку! Итак, вы втерлись в доверие к миссис Эфрим? Втерлись! Вы вдевали ей нитки? Вдевали! Вы зашли так далеко, что даже купили куклу! Не удивительно, что после этого вам удалось выпытать у нее, где она прячет деньги!

Тут судью от собственного остроумия охватил такой восторг, что он, скрывшись опять за своим книжным барьером, зашелся кашлем, чтобы не расхохотаться. Успокоившись, он увидел, к своему изумлению, что Браш покинул место обвиняемого, спустился по ступеням в зал и уже идет в проходе между кресел, намереваясь, похоже, совсем покинуть здание суда.

— Вы куда? — завопил судья.

— Я не хочу разговаривать с вами, судья Карберри! — ответил Браш.

— Но ведь вы арестованы! Офицер, задержите этого человека!

— Вы не даете мне говорить! — крикнул Браш.

— Вернитесь на свое место! Вы находитесь под арестом! Вы, я вижу, переменили свое мнение. Теперь вам хочется говорить, не так ли? Куда?! Куда вы уходите?! Офицер!

— Я пошел назад в тюрьму, вот и все! — сказал Браш. — Лучше уж я буду сидеть в тюрьме и плести канат, чем терпеть здесь ваши издевательства, господин судья. Вы даже не захотели выслушать мое объяснение.

В этот момент, к еще большему удивлению и без того ошеломленной публики, на самую середину прохода выбежала миссис Карберри.

— Дарвин, не смей безобразничать! — закричала она судье, затем повернулась к Брашу и добавила: — Молодой человек, не обращайтесь внимания на его слова. Расскажите нам вашу историю. Это он так развлекается. Он вовсе не такой, каким хочет показаться. Вернитесь назад и расскажите нам всё.

— Тихо! Тихо! — закричал судья. — Мадам, сядьте на свое место и предоставьте мне вести судебное заседание. Ладно, Браш, я даю тебе последний шанс.

Но он не смог удержаться и приправил поднявшийся в зале шум и гам еще одним красочным комментарием, крикнув вслед ретирующейся к своему креслу жене:

— А вам, сударыня, достаточно того, что вы командуете у себя на кухне, а здесь, в суде, я сам буду командовать!

После этого заявления судья снова спрятался в укрытие из томов Блэкстоуна, чтобы привести себя в надлежащий вид. Он попробовал голос, утер платком слезы и наконец величественно произнес:

— Мистер Браш, можете ли вы объяснить суду ваше необычное поведение вчера вечером?

— Да, сэр, конечно.

— Мы готовы вас выслушать. Пожалуйста, не забудьте, что вы присягнули на Библии говорить правду, чистую правду и одну лишь правду. Подождите минуту!

Он сделал глоток воды и кивнул стенографистке, чтобы была внимательнее.

И Браш дал суду ясный и подробный отчет о своих поступках в магазине миссис Эфрим. Когда он закончил, судья некоторое время молчал, потом посмотрел в ту сторону, где сидела его жена. Он снял очки, подышал на них и неторопливо протер носовым платком. Публика затаив дыхание напряженно следила за ним. Судья повернулся к миссис Эфрим:

— Миссис Эфрим, имеете ли вы добавить что-нибудь или уточнить сказанное?

— Нет, господин судья. Все так и было.

— Ну что же, теперь по крайней мере мы имеем обо всем этом маломальски связное представление. Мистер Браш, можете ли вы объяснить суду причины, по которым вы отдали грабителю деньги, принадлежавшие миссис Эфрим?

— Да... Эти причины вытекают из моей теории. Вернее, из двух моих теорий.

— Что-о-о?

— Да. И основным их содержанием я обязан Ганди.

— Опять этот Ганди!

— В моих теориях все основано на ахимсе, ваша честь. Но прежде чем я перейду к ахимсе, я должен сказать вам, что я думаю о деньгах. — И Браш поведал суду свою теорию Добровольной Бедности.

— И вы сами живете, следуя этой теории? — спросил судья.

— Да, ваша честь. И главное положение моей теории состоит в следующем: бедный — это тот, кто постоянно думает о деньгах, даже если он и миллионер, а богатый — тот, кто о деньгах не заботится...

— Благодарю вас, мистер Браш, — сухо сказал судья. — Думаю, что на сегодня нам уже достаточно ваших теорий.

— ...и, таким образом, получается, что самые бедные люди во всем мире, — не унимался Браш, — это нищие и грабители. Сейчас вы поймете, что я имею в виду, когда говорю, что грабитель — это нищий человек, который сам не понимает того, что он нищий...

— Хорошо, хорошо, мистер Браш, достаточно. Теперь я должен спросить вас: что же хорошего в том, что вы отдаете свои деньги этим самым вашим грабителям-нищим?

— Это легко понять, господин судья. Когда вы сами отдаете свои деньги грабителю, вы сразу убиваете двух зайцев: своим поступком вы показываете ему, что в душе он — самый обыкновенный нищий попрошайка, и кроме того, вы создаете у него определенное сильное впечатление, что...

— Вы создаете у него впечатление, что вы либо трус, либо дурак.

Браш улыбнулся и покачал головой.

— Хорошо, я объясню свою теорию на другом примере. Это моя самая любимая идея, и я уже давно думаю над ней. Ваша честь, дело в том, что я — пацифист. И если меня пошлют на войну, я не буду стрелять в противника. Теперь представьте себе, что я сижу в какой-нибудь воронке от снаряда и вдруг встречаю вражеского солдата, который намерен застрелить меня. Предположим, я выбиваю у него из рук оружие. Естественно, он ожидает, что я застрелю его, но я-то не стану делать этого! И это непременно произведет на него сильное впечатление — не так ли?

— Пожалуй, что так.

— И здесь то же самое: если я сам указал, где спрятаны деньги, грабителю, который хотел их у меня отобрать, это тоже должно произвести на него впечатление.

— Да, конечно, произведет. Но он подумает, что вы — дурак.

— Ваша честь, конечно, он может так сказать про меня, но в глубине души он будет думать совершенно иначе.

— Вы закончили?

— Да, ваша честь.

— Итак, вы отдали грабителю тридцать или сорок долларов для того, чтобы произвести на него впечатление? Я вас правильно понял?

— Да.

— Но предположим, что вражеский солдат застрелит вас в вашей воронке. Кто тогда произведет на него впечатление?

— Господин судья, в моей душе живет учение ахимсы. И я верю, что свет этого учения может переходить от души к душе. Так говорит Ганди.

— А что станет с вашей ахимсой, мистер Браш, если вы вдруг увидите, что кто-то напал на вашу сестру?

— Да, мне приходилось уже слышать такие аргументы. Каждый, с кем я спорил, почему-то приводил именно этот аргумент с сестрой, на которую непременно нападают, — словно у человека не бывает других родственников. Признаться, это меня уже начинает раздражать. А если напали на тысячу сестер — тогда что? А? Пожалуйста, пускай нападают! Если насильники встретятся с истинной ахимсой, они ее воспримут в себя. Таким путем и распространяются идеи. Каждую минуту в мире нападают на чьих-то сестер — на миллионы сестер! — и никто ничего не может с этим поделать. Следовательно, пора искать новые пути их защиты. Прежде чем новая идея охватит весь мир, передаваясь от одной души к другой, пострадает еще немало людей.

— Понятно. Понятно. И вы хотите, чтобы мы не отказывали убийцам и ворам в шансе получить подобный урок. Но если бы вы обратились в Министерство юстиции, вам бы сказали, сколько приблизительно у нас в стране преступников. И что же, каждому из них ни за что ни про что подарить по стодолларовому билету? Так, что ли?

— Ну... смотря по обстоятельствам. Люди совершают преступления, а правительство их наказывает за эти преступления.

— Вот именно.

— Да, сэр. Но ведь убивать — это преступление, а правительство делает это. Запирать людей и лишать свободы на целые годы — тоже пре-

ступление, а правительство и это делает. Причем правительство совершает ежегодно тысячи и тысячи подобных преступлений. И каждое очередное преступление порождает новые преступления. Надо каким-то образом прекратить эту вакханалию преступлений, чтобы изменить порядок вещей.

Судья хранил молчание, поглаживая подбородок. Лишь беспокойное скрипение пера в руках стенографистки да звуки автомобильных клаксонов за окном нарушали мертвую тишину в зале. Судья окинул взглядом присутствующих, которые смотрели на него разинув рты.

— Где это вы набрались таких идей?

— У Толстого, — ответил Браш с достоинством.

Судья повторил по буквам непривычное имя остановившейся в недоумении стенографистке, а Браш тем временем достал из кармана небольшую синюю брошюрку «Высказывания Льва Толстого» и поднял над головой, показывая всему залу.

— И кто же еще оказал на вас влияние, мистер Браш?

Вместо ответа Браш принялся вынимать из карманов такие же маленькие брошюрки. С самым серьезным видом он раскладывал их на скамейке: Эпиктет, «Мысли Эдмунда Берка», «Разговоры после обеда» и прочее. Судья распорядился передать все это секретарю и зафиксировать. Затем он собрался с мыслями и сухо сказал:

— Ладно. Все это очень поэтично и сентиментально, мистер Браш, но это совсем не походит на действительную жизнь. Мне совершенно очевидно, что в основе ваших идей лежит абсолютное непонимание личности преступника.

— Я не знаю, что вы понимаете под личностью преступника, ваша честь. Я считаю, что преступник — это обыкновенный человек, который думает, что все на свете ненавидят его. Я думаю, и у вас в душе будет ад крошечный, если вы поверите в то, что весь мир ненавидит вас. Мы сможем преподать преступнику самый серьезный урок, если убедим его в том, что не питаем к нему ненависти.

Судья снова погрузился в раздумье, потом произнес:

— И вы ожидаете, что правительству Соединенных Штатов следовало бы...

— Господин судья! — прервал его Браш. — Люди, подобные мне, и все другие, кто верит в ахимсу... Словом, это не наше дело — заставлять других людей поступать так же. Наше дело — поступать так самим и использовать любую возможность рассказывать об ахимсе другим людям. В ней — истина, и потому она рано или поздно распространится во всем мире сама по себе.

— Миссис Эфрим, вас удовлетворяет данное объяснение того, что этот молодой человек сделал с вашими деньгами?

Миссис Эфрим поднялась в нерешительности.

— Господин судья... Я полагаю, этот молодой человек знает, что говорит.

— Суд удаляется на совещание, — объявил судья.

— Там есть еще одно дело, ваша честь, — торопливо сказал секретарь. — Джордж Буркин, который обвиняется в том, что...

— Суд удаляется на совещание, — рявкнул судья.

Секретарь несколько раз повторил объявление судьи для публики, остававшейся на своих местах и желавшей продолжения увлекательного зрелища. Карберри и Харты усадили Браша в машину мэра, чтобы вместе отправиться в тюрьму к Буркину.

— Позвольте, я объясню про Буркина, — сказал Браш. — Ведь он...

— Не надо. Подождите, пока не приедем туда, — остановил его судья.

Буркин сидел в камере и читал «Короля Лира». Его привели в кабинет начальника тюрьмы.

— Ну, в чем состоит ваше дело?

На бледном лице Буркина было написано презрение.

— Вы не поймете, — сказал он хмуро. — Вы не поймете. Идите и при-суждайте мне свои двадцать суток. Мне все равно надо написать несколько писем.

Судья с суровым видом слушал его, не говоря ни слова.

Буркин продолжал:

— Только оставьте со мной Маленького Ролло⁵. Ужасный похититель детей и грабитель магазинов. Ужасный враг общества. Правосудие — это фарс, и вы это прекрасно знаете!

— Продолжайте, — невозмутимо произнес судья. — Что вам инкриминируют? Подглядывание в окна?

Буркин даже затрясся от охватившего его негодования и сжал в волнении кулаки.

— Я же говорил вам, что вы не поймете. Идите и скажите вашему чертову мэру, что никто в Озарквилле меня не поймет. Таких, как я, у вас нет и не будет никогда!

Браш страдальчески сморщился.

— Позвольте, я объясню, — попросил он шепотом судью.

— Ну, Браш, и что же произошло с вашим другом?

И Браш объяснил все про Буркина — кто он такой и чем занимается в Озарквилле.

Теперь судья смотрел на Буркина уже другими глазами.

— Напрасно вы так с нами разговариваете, мистер Буркин, — смягчившимся голосом произнес судья. — Вот видите, даже мне оказалось по силам понять ваши обстоятельства.

Но тут же его лицо снова посуровело, он посмотрел на обоих:

— Джентльмены! Предпочтете ли вы ужинать в тюрьме или поищите другое местечко? У вас есть автомобиль?

— Да, — сказал Буркин, — моя машина стоит за воротами.

— Отлично. Я не хочу вас торопить, джентльмены, но у меня будет спокойнее на душе, если вы решите поужинать где-нибудь в другом городе.

Бывшие узники собрали свои пожитки и вышли на улицу.

Судья Карберри задержал Браша, положив ему руку на плечо. Браш остановился не поднимая глаз.

Судья заговорил мягко, почти заискивающе:

— Ты вот что, дружок... Я старый осел, и ты это сам прекрасно видишь... Погряз в рутине... Погряз... Ты знаешь что... Ты не торопись, не суетись — ты понял, что я имею в виду? Мне не хочется, чтобы ты попал в какую-нибудь нелепую историю... Не надо их раздражать по пустякам. Ты действуй постепенно, не торопись — понял, что я имею в виду?

— Нет. Не очень, — в замешательстве ответил Браш, поднимая на него глаза.

— Видишь ли, большинство людей не любят всякие там идеи... Короче, вот что, — сказал судья, кашлянув, словно у него запершило в горле, — если ты попадешь в неприятность, дай мне телеграмму — понял? Дай мне знать, если тебе понадобится помощь.

Браш ничего не понял из его слов.

— Не знаю, что вы подразумеваете под неприятностью, — сказал он, пожав плечами. — Но все равно большое вам спасибо, господин судья.

Они пожали друг другу руки, и Браш сел в машину рядом с Буркином. Буркин угрюмо вцепился в руль. Обернувшись, Браш на прощанье махнул рукой судье, мэру и начальнику тюрьмы, которые стояли у ворот и смотрели вслед удалявшейся машине, пока она не скрылась из вида.

⁵ Буркин ассоциирует Браша с главным героем «Рассказов о Ролло» американского писателя Дж. Эбботта.

ГЛАВА 11

Путь в Миссури. Главным образом разговоры, включая и религиозные.
Джордж Браш снова нарушает ахимсу

Когда они оказались за городом, Буркин спросил:

— Куда тебе надо?

— Вообще-то в Канзас-Сити, если это тебе по пути, — сказал Браш. — Видишь ли, я намерен жениться в следующий понедельник, в крайнем случае во вторник, и хочу в это воскресенье все подготовить к свадьбе.

— Вот это да! Ты мне об этом не говорил.

— Ох, это долгая история, и я не буду ее сейчас рассказывать.

— Мне, в общем-то, все равно, куда ехать. Но мне хотелось бы узнать вот о чем. Чего это ради судья и мэр сами приехали в тюрьму и выпустили нас? Что это за плутовство? Они в этом городе все посходили с ума? Или ты им запудрил мозги?

Браш рассказал ему все подробности судебного разбирательства.

— Ну и ну! — выдохнул в восторге Буркин, качая головой. — Такое продолжение! Ты неплохо показал себя в этой истории, Браш. Но я думаю, ты не долго будешь носиться со своими идеями и скоро их выбросишь из головы. Когда-нибудь ты так надоешь этим буржуа, что они разделяются с тобой.

Браш вопросительно посмотрел на приятеля, но ничего не сказал. Машина мчалась по равнине. Высокая силосная башня показалась в отдалении среди строений фермы, в стороне от дороги. Угасал бесцветный закат, на небе появились первые звезды.

— Стой! — воскликнул Браш, когда они промчались мимо человека с поднятым большим пальцем. — Подвези его!

— Ни за что в жизни!

— Остановись, говорю! — крикнул Браш, хватаясь за руль.

— В этих краях попутчиков не берут, — сказал сердито Буркин. — Это небезопасно.

Браш ухватился за рычаг ручного тормоза.

— Что ты всего боишься?! — воскликнул он с чувством.

— Да потому, что это может быть еще один грабитель, дурья твоя башка! Он отберет у нас машину.

— Я куплю тебе новую, — пообещал Браш. — Никогда не проезжай мимо голосующих. Понял? Ведь у нас же есть свободное место.

Буркин нажал на педаль тормоза.

— Ну, если ты такой богатый, то пожалуйста, — сказал он. — Под твою ответственность.

Человек, увидев, что машина останавливается, побежал к ним.

— Садись, земляк! — свойски пригласил Буркин, широко распахивая дверцу. — Считай, что это твоя машина!

Новый пассажир разместился на заднем сиденье среди чемоданов, машина набрала скорость, и только тут Браш узнал этого человека.

— Ба! Да это же тот самый грабитель, который хотел ограбить миссис Эфрим! Буркин, слышишь? Я тебе рассказывал о нем, — воскликнул Браш с удивлением.

Человек тоже узнал Браша. Он тут же рванулся к дверце, но выпрыгнуть на ходу у него не хватило духу.

— Я хочу выйти! Мне надо! Остановите машину! — истошно завопил он. — Отпустите меня!

— Заткнись! И сядь на место, — сказал Буркин. — Мы пальцем тебя не тронем. Однажды тебя, кажется, уже избавили от полиции, не так ли, Браш? Поэтому сиди и молчи в тряпочку, понял? А ты, Браш, не мучь его своими проповедями. Бедняга и так достаточно от тебя натерпелся.

— Я не хочу дальше ехать с вами, парни. Остановите, дайте я слезу! — продолжал канючить грабитель, но, не получив ответа, замолчал и впал в мрачную задумчивость.

Браш сказал на ухо Буркину:

— Хотел бы я знать, о чем он думает. Для меня это очень важно. Я считаю, это самое главное — знать, что происходит в голове у человека, когда он сталкивается с ахимсой.

— Ничего у него там не происходит, — ответил Буркин. — Все, на что он способен, — это несколько физиологических реакций. Этот тип, я уверен, смотрит на жизнь, как лиса на курятник.

— Ты не прав, — покачал головой Браш. — У него есть душа, сложная человеческая душа, как у всякого другого человека.

— Отпустите меня, парни! — снова занял их подневольный пассажир. — Выпустите меня, я пойду пешком...

— Как тебя звать? — спросил Буркин.

— Хокинс.

— Куда ты направляешься?

Хокинс хранил молчание. Буркин продолжал допрос:

— Чем ты занимаешься? У тебя есть профессия? И вообще, Хокинс, расскажи-ка нам о себе. Впереди у нас еще два или три часа езды. Давай рассказывай.

Но Хокинс не желал рассказывать о себе.

Браш тихо сказал Буркину:

— Вот видишь! Он чувствует себя очень неловко. Именно этого я и ожидал. В Библии сказано: если человек сделал тебе что-то плохое, ты должен дать ему шанс сделать тебе еще хуже; подставь ему правую щеку, если он ударил тебя по левой. Это из Нагорной проповеди. Но я всегда считал, что изменения должны быть небольшими. Если ты будешь абсолютно добр с человеком, который содеял тебе зло, то окончательно опозоришь его. Наверное, нет на земле человека плохого до такой степени, чтобы поступать с ним таким образом. Понимаешь? Ты в ответ на зло должен быть также и чуточку злым; только в этом случае оскорбивший тебя сохранит свое достоинство. Понял, что я имею в виду?

— Нет. Это для меня слишком утонченно, — ответил Буркин.

Подслушав кое-что из их разговора, Хокинс осмелел.

— Если вы не выпустите меня отсюда, я вам все тут перебыю! — вдруг заорал он и тут же высадил локтем боковое стекло.

Тогда Браш перегнулся через спинку своего сиденья и отвесил Хокинсу хорошую оплеуху.

— Сиди смирно, Хокинс, а то! — сказал Браш, помахав перед его носом своим кулачищем.

— Я тебя не узнаю, Браш! — захохотал Буркин. — Похоже на то, что ты больше не веришь в ахимсу.

— Но ведь я не покалечил его, — шепнул ему Браш. — Это я экспериментирую!

Несколько минут ехали в молчании. Вдруг Браш ощутил неожиданный удар сзади, по затылку.

— Хокинс! — укоризненно посмотрел он на съездившегося под его взглядом пассажира. — Вот этого как раз тебе не следовало бы делать.

Наклонившись к Буркину, Браш шепнул:

— Ну как, интересно? Ты понял, что все это означает? Это означает, что плохой человек не может просто так вынести благодеяние, в частности предыдущий мой воспитательный акт. Сейчас я его немножко припугну, чтобы пощадить его человеческое достоинство.

Браш развернулся, чуть не весь перелез к сжавшемуся на заднем сиденье Хокинсу, ухватил его за отвороты пиджака и потрянул так, что едва не перевернул автомобиль.

— Не знаю, как насчет достоинства, а голова у него в самом деле чуть не отвалилась, — охнул Буркин, следивший в зеркало за экспериментами Браша.

Через некоторое время машина въехала в какой-то поселок. Буркин поинтересовался через плечо:

— Как насчет поужинать с нами, Хокинс?

— Не хочется, — буркнул тот.

— Не падай духом, Хокинс! — усмехнулся Буркин, начинавший уже чувствовать к неожиданному попутчику легкую жалость. — Подумаешь, тряхнули разок! Ну и что? Пойдем перекусим. Мы заплатим за тебя.

Хокинс, не отвечая, хмуро блестел глазами из своего угла.

Едва они остановились у закусочной, Хокинс тут же выпрыгнул из машины и стрелой помчался по переулку прочь.

Браш захохотал ему вслед.

— Я думаю, это вполне подтверждает все, о чем я тебе говорил, — сказал он.

Буркин не спорил.

Они уселись на высокие табуреты перед стойкой, съели по несколько гамбургеров и запили их обжигающим кофе. Когда с ужином было покончено, Буркин спросил:

— Ну и как они там, в суде, восприняли твою теорию Добровольной Бедности?

— Я думаю, хорошо. По крайней мере они слушали меня.

— Послушай, Браш, ты хоть однажды кого-нибудь убедил в этой теории?

— Наверняка сказать нельзя, — пожал плечами Браш. — Я думаю, эти мысли должны созреть в голове у каждого человека и, возможно, будут оказывать влияние на его поступки гораздо позже.

Они заказали еще по куску пирога.

— Например, — продолжал Браш, — однажды я разговаривал на эту тему с миллионерами.

— О Боже!

— Это был единственный раз в моей жизни, когда я встретил миллионеров, и, естественно, мне было очень интересно пообщаться с ними. Когда я еду в поезде, я стараюсь поговорить с каждым. Однажды я разговаривал с молодой четой, и разговор каким-то образом свелся к моей теории Добровольной Бедности.

Буркин захохотал, но тут же подавился пирогом и закашлялся, так что Брашу пришлось несколько раз хорошенько стукнуть приятеля по спине.

— Я тебе рассказывал об этой парочке, — продолжал Браш. — Она, кажется, была школьным учителем в маленьком городке в Оклахоме и вышла замуж за парня, который работал носильщиком на вокзале. У него была красная шея, красные руки — он все время работал на улице. Но он был добрым, серьезным парнем. И она тоже была серьезной девушкой. Они оба мне понравились. И я, знаешь ли, рассказал им о своей теории Добровольной Бедности. Они сходили позавтракать в вагон-ресторан и опять вернулись, потому что им хотелось поговорить об этом еще. Они были так взволнованны! И потом мимоходом рассказали мне свою историю. Говорили они сразу оба, и она все время держала его за руку. Оказалось, они купили участок земли, а потом геологи обнаружили на нем залежи нефти. Они стали обладателями капитала почти в три миллиона долларов и не знали, что делать с этими деньгами.

— Мне не терпится узнать конец всей этой истории, — сказал Буркин. — Скажи сразу, сколько они тебе отвалили.

— Естественно, я не взял у них ни цента, — ответил Браш.

— Ладно, продолжай.

— Словом, они не знали, что делать с такими огромными деньгами. Они уже кое-что подарили и городской больнице, и городскому парку. А потом устроили раздачу провизии всем беднякам в городе. Но вскоре они поняли, что поступают глупо, раздавая еженедельно сотни корзинок с продуктами.

— Короче, что ты им посоветовал?

— Ты и сам можешь догадаться. Я сказал им, что они не будут по-настоящему счастливы до тех пор, пока владеют таким большим состоянием. Я посоветовал ей вернуться в школу и учить детей, а ему — вернуться на вокзал и носить чемоданы.

— Великолепно! А ты не думаешь о том, что все горожане успели их возненавидеть?

— Да, горожане их возненавидели сразу же, как только они прекратили бесплатную раздачу продуктов. И все-таки моя парочка не захотела перебраться в другой город.

— Надо было посоветовать им на время уехать за границу.

— Они уезжали за границу. Они полагали, что это потребует большой части их капитала, но когда вернулись, то обнаружили, что потратили всего две тысячи долларов. Они сказали, что ни в чем себе не отказывали, но не привыкли тратить деньги на глупости.

— Ну и что они тебе ответили, когда ты попытался обратить их к Добровольной Бедности?

— Девушка расплакалась.

— Итак, они попытались всучить свои капиталы тебе?

— Видишь ли, они вернулись из вагона-ресторана в мое купе как раз потому, что хотели дать мне часть своих денег. Они были методисты, читали Библию и считали, что каждый год должны жертвовать одну десятую своих доходов. Только они не знали, как это осуществить наилучшим образом. Возникла глупейшая ситуация, потому что они должны были выйти на следующей станции и поэтому торопились. В общем, муж сел за столик, достал ручку и стал выписывать чек в две тысячи долларов на мое имя.

— И ты его не взял?!

— Разумеется, нет. Я не мог принять этот чек. Разве не понятно, что эти деньги были бы пожертвованием только мне одному, а не многим нуждающимся? Это, кстати, еще одна моя теория. Если ты даришь что-нибудь без души...

— Ох, довольно! Не надо. Меня интересуют только факты. Оставь свою теорию себе. Итак, ты расстался с этими миллионерами?

— Да.

— И это вся история?

— Да.

— Ну, тогда идем в машину и поехали дальше.

Они вышли на тротуар. Буркин вдруг шумно вздохнул и сказал Брашу ни с того ни с сего:

— Господи, какой же ты глупый!

Они ехали в молчании. Браш чувствовал, что его спутник полон самого мрачного негодования. Наконец Буркин произнес с угрюмой тяжестью в голосе:

— Впрочем, и то хорошо, что ты еще не совсем переполнен этой дрянью. М-м-да! Пожалуй, ты натворишь немало неприятностей, дурача людей и ломая им жизнь. Ты ведь можешь основать новую веру или что-нибудь в этом роде!

— Что ты подразумеваешь под дрянью?

— Мозги. Мозги, мой милый. Личность... Дрянь...

Браш несколько минут молчал. Потом произнес:

— Не совсем хорошо так говорить.

— Можешь не соглашаться, дело твое.

Скоро невдалеке показались огни следующего городка. Браш потянулся к заднему сиденью, где лежали его вещи.

— Наверное, я выйду где-нибудь здесь, — сказал он, пытаясь вытащить из кучи вещей свой чемодан.

— Что случилось? Черт! Да что с тобой?!

— Я не хочу ехать с тобой дальше, если ты так думаешь обо мне.

Буркин был потрясен:

— А что я сказал?

— Ты считаешь, что у меня нет... мозгов или личности. Мне еще тогда, в тюрьме, не понравилось, как ты сказал про Новый Завет. И шуточки твои... о женщинах не очень-то, знаешь ли... В общем, я думаю, мне лучше выйти прямо здесь. Будь добр, останови машину.

— Черт побери! Вылезай ко всем чертям и стой на дороге! — в ярости воскликнул Буркин. — Я не собираюсь чесать языком впустую и уговаривать тебя, словно девушку. Вылезай, пока я сам не выкинул тебя отсюда. Резонер чертов! У тебя в башке один ветер. Убирайся вон!

Браш никак не мог вытянуть свой чемодан из-под груды вещей Буркина, заваливших половину заднего сиденья. К тому же ему вдруг понадобился носовой платок: от обиды на глаза навернулись слезы. Буркин бросил на него колючий взгляд, всмотрелся и воскликнул:

— Ох, да ты пустил слезу, что ли?

Вдруг он расплылся в улыбке:

— Ну ладно, покричали, погорячились — и хватит, о'кей? Браш, ты молодчина. Подожди, положи чемодан на место, оставь его. Я извиняюсь. Я больше не буду. Я извиняюсь за все.

Браш упрямылся.

— Я не могу оставаться здесь... Ты не принимаешь меня всерьез, — заявил он.

— Нет-нет, наоборот! С чего ты взял? У тебя все в порядке. Остайся. Я не могу бросить тебя здесь, в этой глуши. Я извиняюсь и уверяю тебя, что отношусь к тебе вполне серьезно. Я просто не согласен с тобой, вот и все. Но я отношусь к тебе вполне серьезно.

— Ладно, — смягчился Браш. — Мне бы не хотелось расставаться с тобой из-за этой глупой ссоры. Мне, конечно, приходилось терпеть и не такое, но только от старых друзей, которых я знаю давно. Вот почему я, как ты выразился, «пустил слезу».

Браш вытер глаза; путешествие продолжалось. Время от времени Буркин начинал смеяться, вспоминая минувшую размолвку. Браш чувствовал себя неловко, но потом тоже стал понемногу сконфуженно улыбаться. Наконец он тихо произнес:

— Мне кажется, я понимаю, что ты имел в виду, сказав, что я — резонер. Ты не первый говоришь такое. Но это вовсе не так. Это просто единственный способ моего самовыражения; он проистекает из моих главных представлений о жизни. Ты меня понимаешь?

— Понимаю, понимаю. Давай не будем больше об этом, — сказал Буркин.

Стояла прохладная звездная ночь. Перед ними лежала прямая дорога через прерию.

Браш получил приказ говорить не умолкая, чтобы не позволить водителю уснуть за рулем. И он пустился объяснять тонкости торговли учебниками. Исчерпав эту тему, он перешел к воспоминаниям о своих дорожных приключениях. Он поведал о том, как встретил однажды великую певицу мадам де Конти, — это было в Айове, на музыкальном фестивале, — и как она довольно горячо увлеклась им и даже подарила свою фотографию, подписав: «Моему хорошему другу, истинному американцу Джорджу Бачу, сыну чаяний Уолта Уитмена». И о том, как ему сулили тридцать пять тысяч долларов за женитьбу на Миссисипи Кори. И о том, как он просидел четверо суток без еды, чтобы лучше почувствовать, каково приходится русским студентам, и разделить страдания Махатмы. И о том, как однажды отправился в путешествие на автобусе из Абилина, штат Техас, в Лос-Анджелес, чтобы увидеть океан.

Буркин слушал его с пристальным вниманием, в котором под конец стало чувствоваться даже что-то зловещее.

— Как все это у тебя началось? Где ты впервые подхватил эту заразу? Я о религии. Дома?

— О нет. Мои домашние ни во что не верят. Они просто живут день за днем, вот и все. Не хочется вспоминать об этом. Когда я учился в колледже, я первый год жил точно так же. Интересовался только спортом да собирал марки. Но однажды что-то произошло со мной, и я преобразился; это было где-то в середине второго курса.

— В каком колледже ты учился?

— Баптистский колледж Шилока, в Ванаки, штат Южная Дакота, — очень хороший колледж. Я был старостой группы и очень интересовался политикой — школьной политикой, я имею в виду. Однажды мне на глаза попала афиша: в наш городок приехала девушка-евангелистка. Она установила тент недалеко от железной дороги и выступала дважды в день, собирая массу людей. Ее звали Марион Траби. На афише был ее портрет; она показалась мне такой привлекательной, что я не удержался и в первый же вечер отправился к ее тенту, чтобы только посмотреть на нее. Ну вот. Оказалось, что она не только очень красивая девушка, но еще и прекрасный оратор. В этот вечер и произошло мое преобразование, и я с тех пор стал интересоваться религией. С того самого момента моя жизнь совершенно переменилась. Я ходил на все ее выступления и с тех пор больше не пропускал ни одной лекции по истории религий, которые нам читали в колледже. Еще одно важное событие в моей жизни произошло, когда я прочитал о Ганди. Я попробовал жить так, как он предписал сам себе, и это, знаешь ли, натолкнуло меня на множество интересных идей...

— Постой. Ты сам, лично, хоть раз поговорил с той девушкой-евангелисткой?

— Минуту или две, не больше, — с неохотой ответил Браш.

— Что ж так мало? Что-то произошло между вами? — Буркин с неожиданным хищным любопытством всмотрелся в лицо Браша.

— Мне бы не хотелось об этом рассказывать, — замялся Браш, — но если уж ты настаиваешь... В самый последний вечер, после выступления, когда все уже стали расходиться, я решил пойти к ней в палатку и сказать ей, что ее слова перевернули все в моей душе. Наверное, думал я, она очень устала выступать два раза в день, всю неделю подряд, да еще петь гимны... И кроме того, она ходила среди собравшихся людей, беседовала с ними, убеждала, кто сомневался... Я не хочу рассказывать об этом, потому что ты не поймешь моих чувств... В общем, я дождался, пока все разошлись, чтобы поговорить с ней наедине. Там у них не было никаких дверей, так что постучать я не мог и просто вошел без стука. Она сидела в небольшой такой раздевалке и стонала...

— Как это — стонала?

— Да, стонала и охала. А какая-то старуха стояла над ней и втыкала ей в руку шприц.

— Да ты что!

— Теперь-то я, конечно, знаю, что это они там делали. Но даже после этого мои новые идеи не потеряли для меня своей ценности, и я считаю, что она сделала много хорошего и мне, и сотням других людей.

— Ты разговаривал с ней?

— Да, но она уже почти ничего не соображала. Старая ведьма тут же выпроводила меня.

— Ты потом встречал ее хоть раз?

— Нет. Я написал ей письмо, но ответа не получил. Если ты включишь свет, то я покажу тебе ее портрет.

Браш вытащил из бумажника и развернул сложенную газетную вырезку. На пожелтевшей бумаге была изображена Марион Траби.

— Я везде спрашивал о ней, — продолжал Браш, — но думаю, она скрывается. Возможно, она лежит где-нибудь больная. Если я найду ее, то буду помогать ей до конца жизни. Вот посмотри, здесь говорится, что она родилась в одиннадцатом году в Уэйко, штат Техас. Я написал в тамошнее почтовое управление, но мне ответили, что никто по фамилии Траби у них не проживает.

— Итак, получается, что все твои главные жизненные принципы внушены тебе шестнадцатилетней девчонкой, накачавшей себя наркотиками?

Браш не отвечал.

Буркин едко продолжал:

— Ты только вдумайся. Все это идет вместе — Добровольная Бедность и рождественские корзинки для грабителей. Все одно к одному. Ты перенял свои бредовые идеи от полуспятившей девки. Они ничего общего не имеют с реальной жизнью. Ты живешь в мутном, ирреальном наркотическом бреду. Подумай над этим. Послушай, чудак, разве ты не понимаешь, что религия — это всего лишь трепет малодушия? Ею человек заклиняет себя самого, потому что у него нет мужества взглянуть прямо в лицо жизни и смерти. Если ты учился в таком уважаемом колледже, у тебя была возможность ближе познакомиться с этими вещами. Ты всю свою жизнь прожил среди недоумков. Тебе просто еще не попадался человек, который в самом деле имеет достаточный мыслительный опыт.

— Лучше останови машину, — деловито сказал Браш. — Я выйду. — И добавил, сорвавшись на крик: — Ты всех считаешь безмозглыми дураками, у кого есть хоть капля религиозного чувства!

— Я мог бы поспорить с тобой. Я мог бы тебе показать истинное положение вещей. Но стоит только мне начать, как уже через две минуты ты начинаешь вопить как недорезанный поросенок и пытаешься выпрыгнуть из машины. Ты не хочешь взрослеть — вот в чем твоя беда. Ты ничего не читал; ты ничего не видел, за исключением, разумеется, сумасшедших глаз какой-то малолетней истерички и нескольких старых тупиц в своем Баптистском колледже. Ладно, черт с тобой! Если ты боишься истины, давай разговаривать о чем-нибудь другом.

Браш хранил молчание. Наконец он тихо произнес:

— Что бы ты ни говорил, я не изменю своим принципам.

— Уже половина двенадцатого, — вдруг решительно сказал Буркин. — Давай условимся: ты даешь мне говорить ровно полчаса, не больше, и в эти полчаса не возражаешь — согласен?

Браш смотрел перед собой.

— Где ты учился? — спросил он.

Буркин назвал один из восточных университетов.

— Но это ничего не значит, — добавил он. — Кроме этого я прошел еще целую кучу разных курсов. Я хорошо поработал над своим образованием. Я целый год провел в Берлинском университете. Я полгода жил в Париже. Я не торчал часами, слушая глупости, в тexasских вагонах для курящих и не зачитывался газетными вырезками из контор «Газета-почтой». Дай мне полчаса.

— Я и на свои собственные сомнения трачу слишком много времени, — тихо сказал Браш. — Зачем еще добавлять к ним чужие?

— Что же ты так боишься сомнений? Существуют и более страшные вещи. Бегство, например. Ты просто полон стремления к бегству. Ты даже не хочешь оглянуться вокруг. Ты гроша ломаного не дашь за истину!

— Я знаю истину и без тебя.

— Прекрасно. Но тогда, если ты уже знаешь истину, почему бы тебе с полчасика не послушать о моих заблуждениях?

В этот момент Браш почувствовал себя несчастным как никогда. Он искоса взглянул на Буркина, затем медленно поднес свои наручные часы к лампочке на приборной доске.

— Время пошло, — угрюмо выдавил он.

Буркин начал издали — с джунглей и пещерного человека. Он сделал экскурс в древнюю мифологию. Он бросил взгляд на Землю с точки зрения астрономического времени. Затем он разоблачил беспочвенные притязания субъективного религиозного опыта, нелепость противоречивых молитв и эгоистический страх человека перед вымиранием человечества как вида. Наконец он сказал:

— Если бы ты читал побольше, я бы показал тебе всю бессмысленность схоластических доказательств существования Бога; я показал бы тебе, как в человеке зарождается комплекс зависимости. Полчаса истекли?

Браш медленно произнес:

— Когда ты начинал свою речь, я думал, что ты будешь говорить о вещах, которые перевернут мои взгляды и потрясут меня. Ты говорил три четверти часа и сказал одну-единственную вещь, имеющую ко мне хоть какое-то отношение...

Голос его все нарастал:

— Я полагаю, что сумел бы изложить эту тему получше, чем это сделал ты. Потому что ты слишком мало времени потратил на свои мысли, чтобы сделать их достойными моего внимания. Разве ты не понимаешь, что ты не можешь знать ничего о религии, пока не будешь жить ею?

— Не ори, пожалуйста!

— Все, что ты сделал, — это лишь *подумал* о религии... Но этого мало, чтобы заявить, будто ты знаешь, что она такое. Даже твои сомнения нельзя назвать настоящими сомнениями.

— Я не глухой, говорю тебе. Заткнись и сядь.

— Ты...

— Ох, да заткнись же наконец!

Некоторое время они молчали. Наконец въехали в какой-то поселок. Огни уже были погашены, только в окнах закусочной невдалеке от дороги горел свет.

— Я выйду здесь, — сказал Браш.

Буркин остановил машину. Левая половина его лица снова задергалась. Браш поставил чемодан на землю.

— Я должен тебе три доллара за выбитое стекло, — сказал он, — и еще доллар за бензин.

— Вот именно!

— Получи. Прощай, — сказал Браш, протянув руку.

Буркин уехал ничего не ответив.

Перевел с английского А. Гобузов.

(Окончание следует.)



ПУБЛИЦИСТИКА

ЕВГЕНИЙ СТАРИКОВ



РАЗНЫЕ РУССКИЕ

«**С**оциальная пирамида» — традиционно устоявшийся термин-клише, служащий для обозначения социальной структуры общества. И в самом деле, какой бы критерий структурирования социума мы ни взяли — будь то «отношения собственности на средства производства», годовой доход, уровень образования, социальные и профессиональные функции, социальный статус, — при любом из этих подходов мы получим пирамидальную структуру, состоящую (в зависимости от избранного критерия) из социально-экономических классов или классов «имущественных» или разного рода «страт», ранжированных по прочим критериям, но всегда будут явно выделяться «нижние», «средние» и «высшие» классы, сословия, касты, слои и т. д. и т. п., различающиеся по «рангу», престижному статусу. Иными словами, все вышеозначенные критерии дают нам вертикальный срез общества.

Но есть и иной подход к структурированию общества: вертикально-пирамидальную его конструкцию можно рассечь по горизонтали; именно такую исследовательскую процедуру намерен провести автор по отношению к российскому социуму: отследить его региональные особенности, превращение региональных популяций в особые социальные группы в рамках социальной макроструктуры. Российский Север, казацкие регионы, Сибирь, в широком смысле слова периферия с ее селами и малыми городами дадут нам особый горизонтальный срез общества. Тогда мы обнаружим как особые региональные группы (население тех же сел и малых городов), обладающие собственными «микро»-пирамидальными структурами, так и квазисословные субэтнические группы (поморы, казаки, чалдоны, староверы и т. д.).

Сразу следует оговориться, что используемый здесь фактологический материал (то, что называется «эмпирической базой исследования») фрагментарен, неполон и имеет множество лакун. Это не случайно. Политика советского (да в некоторой степени и нынешнего российского) руководства отличалась принципиальным антигеографизмом и антирегионализмом, стремлением к тотальной унификации, к стиранию всех и всяких различий, в том числе и региональных. Одинаковые стандартные пятиэтажки строились и на Крайнем Севере, и на крайнем Юге, ассортимент завозимой в европейскую и азиатскую Россию одежды совершенно не учитывал разницу в климатических условиях. Короче говоря, региональные особенности России находились в вопиющем противоречии с политикой всеобщего усреднения, выравнивания и унификации, а следовательно, как бы и не существовали.

Несмотря на все помехи идеологического характера, регионалистика все же развивалась — преимущественно в рамках экономической географии. Как пишет доктор географических наук Б. Родоман, «советские географы разделили страну на несколько тысяч природных и хозяйственных районов, не совпадающих с административным делением, дали им названия и характеристики, нанесли их на карты. Районы, выделенные учеными, надо сгруппировать по зонам в зависимости от поставленных целей, для каждой зоны разработать, если нужно, свои варианты законов, норм, правил, различные налоги и тарифные сетки, разные программы и сроки реформ. Либо это районирование проведут сверху ученые, сотрудничающие с правительством и местной админист-

рацией, либо снизу начнется стихийное дробление страны на конфликтующие между собой уделы»¹.

Самое парадоксальное заключается в том, что зачинателем дробления России выступила Москва, отделившая себя от всей остальной страны системой бесчисленных административных фильтров, бюрократических рогаток и привилегий. Столица и раньше отнимала ресурсы у провинции. «Московскую прописку, подобно римскому гражданству, одни наследовали, как апостол Павел, другие получали за взятки и грязную службу, как арестовавший его тысяченачальник»². И сейчас мало что изменилось. Столица получает щедрое финансирование, имея одновременно долю со всех бюджетных статей, даже если деньги выделяются на нужды села или Крайнего Севера. Финансовые ресурсы выкачиваются в столицу филиалами московских банков, доходы от экспорта сырья концентрируются там же. Так, например, финансовый контроль над «Норильским никелем» захвачен московским капиталом, действующим в тесной связке с московскими политиками. По этому поводу — и гневная тирада В. Зубова, губернатора Красноярья, на территории которого находится Норильский комбинат: «В Москве же снижение объемов производства одно из самых больших, но динамика роста доходов на душу населения самая высокая в стране. У нас уже был однажды один на всех вполне коммунистический город. К тому, похоже, и возвращаемся. И пусть никого не восхищает великолепное, быстрое строительство в Москве, когда главы дальневосточных и сибирских регионов кричат, что их отрезают от России, что за ними закрепляют статус колоний» («Известия», 1995, 13 апреля).

Парадоксальное, на первый взгляд, требование переноса столицы в Новосибирск имеет свои резоны. Впервые эту проблему теоретически поставил В. Цымбурский³, мотивируя целесообразность подобного переноса необходимостью освоения «трудных территорий» Сибири и перемещением геополитического центра тяжести в азиатско-тихоокеанский регион. Но когда за перенос столицы в Новосибирск выступил депутат Госдумы Василий Липицкий, его аргументация была более прозаичной: в своей статье, опубликованной в «Вечернем Новосибирске», Липицкий отмечает, что Москва превратилась в своего рода «государство в государстве», обособленное от остальной России.

Сибирь и Север — это две трети территории Российской Федерации, на которых проживает 8 процентов ее населения и производится четверть всего валового национального продукта. До 60 процентов валютных поступлений в бюджет РФ дает именно Север. Ибо здесь сосредоточено большинство месторождений нефти и газа, более половины лесопроизводства, практически все олово и все апатитовые концентраты. Плюс золото, алмазы, алюминий. На долю этих регионов приходится добрая половина улова рыбы и морепродуктов страны.

Абсолютное большинство на Севере составляет нестабильное население, формирующееся в основном вместе с развитием добывающей промышленности. Эта «рабочая сила» завербована в обжитой части страны и мечтает, выйдя на пенсию, поселиться в сравнительно теплых краях. Численность старожильческого населения здесь относительно невелика. Миграционные потоки на Север, в Сибирь и Дальний Восток направлялись ведомствами, заинтересованными в дешевой рабсиле. Дешевизна ее определялась не уровнем зарплаты (на грандиозных стройках Севера неквалифицированный труд оплачивался гораздо выше квалифицированного), а ничтожностью затрат ведомств на обустройство этих сорванных по их ведомственной воле с насиженных мест людей. Если за 70 — 80-е годы население Сибири выросло на 20 процентов, то мощности инфраструктуры увеличились только на 1,5 процента. Таким образом, плюшкинская «экономия» на «человеческом факторе», дающая весьма относительный сиюминутный выигрыш в средствах, на деле оборачивается колоссальным их перерасходом в будущем. Завезенная рабсила методом самоотбора возводила бесчисленные «копай-города», «нахаловки» и «шанхай», аналогич-

¹ Родман Б. География и судьба России. — «Знание — сила», 1993, № 3, стр. 12 — 13.

² Там же, стр. 7.

³ Цымбурский В. Остров Россия. (Перспективы российской геополитики). — «Полис», 1993, № 5, стр. 22.

ные «фавеллам», «бидонвиллям» и «ранчос» в маргинальных кварталах латиноамериканских городов.

Даже там, где ведомства в силу крайней необходимости раскошеливались на строительство приличного жилья, все остальное — магазины, больницы и ясли — они оставляли на усмотрение абсолютно нищих местных властей. Таким образом, главный деформирующий фактор в осваиваемых регионах — это засилие «вертикальных» ведомственных структур и их абсолютное преобладание над «горизонтальными», территориальными. Каждое ведомство создавало свою собственную социальную инфраструктуру, дублирующую аналогичные структуры других ведомств. Качество жизни в районах такого промышленного освоения резко падает с началом этого освоения: ухудшаются все показатели в сфере здоровья, образования, культуры, структуры питания, использования свободного времени и т. д. В результате стабильные общности не формируются: устойчивость численности населения достигается за счет баланса его притока и оттока. Так, за последние двадцать лет в Якутию приехало более одного миллиона человек и столько же выехало. И это при общей численности населения республики чуть более одного миллиона человек!

В условиях подобного «хозяйствования» происходит колоссальная текучесть кадров, когда миллионы, если не десятки миллионов, людей пропускаются через особую «барачную субкультуру». Изменился и сам тип личности северянина. Как свидетельствует главный социолог «Главтюменьгеологии» А. Силин, «среди приезжего населения менее всего ценятся интеллигентность, совестливость, образованность. Заметна тенденция снижения ценности личности, а нередко и самой жизни человека... В новых поселениях Севера не налажен и правовой контроль. А доля ранее судимых тут выше, чем где бы то ни было. Поэтому здесь наиболее значительны деформации половой морали (гомосексуализм в поселках Заполярья, проституция в городах Северного Приобья). Лишены стабильности семейные отношения, что тоже вызвано особенностями структуры населения (например, в Ямало-Ненецком автономном округе женщины составляют лишь треть населения). Большая часть расходов молодых северян приходится на спиртные напитки и азартные игры»⁴.

Ведомственная разобщенность участников «освоения», пользующихся отдельными инфраструктурами и ревниво оберегающих их от «чужаков», дополняется противоречиями между «аборигенами» и «пришельцами», рабочими и управленцами, старшим поколением и молодежью, пионерами первой и последующих волн освоения, между постоянными жителями и вахтовиками и, наконец, между отдельными землячествами. Естественные трудности, вызванные климатическими условиями, не сближают, не сплачивают территориальные общности, но, будучи сдобрены искусственными сложностями сугубо социального свойства, наоборот, дробят сообщество на множество враждующих «фракций».

Традиционная культура природопользования, выработанная коренным населением, задавлена здесь бесцеремонным хозяйничаньем добывающей и лесной промышленности. А ведь интересы местных этносов всем своим укладом зависят от природы. Пришельцы-временщики не понимают, что такое сибирская тайга и тундра с ее тощим слоем земли (тронь — и ничего не останется). Вездеход, прошедший по тундре, оставляет незаживающий след. Не случайно местные народы так боялись тревожить эту землю и даже мертвых хоронили на поверхности. Как ответит природа на бесцеремонное вторжение пришельцев, никому не ведомо. Из обращения выведены огромные территории оленьих пастбищ и промысловых угодий площадью в десятки миллионов гектаров, сотни рек потеряли свое промысловое значение. «Проходы под трубами, которые недавно стали делать газовики, оленей отпугивают. Что касается самих коренных жителей... то отчисления газовиков в местный бюджет до конкретного ненца или ханты не доходят. Предложенный специалистами путь создания маленьких школ и медучреждений не реализуется, в факториях исправно торгуют лишь водкой, а зарплата в 40 тысяч считается удачей» («Известия», 1994, 5 октября).

⁴ Силин А. Томский Север — не колония. — «ЭКО», 1989, № 7, стр. 70.

В настоящий момент экономика «трудных территорий» переживает кризис гораздо более острый, чем в целом по стране. Дело в том, что до «рыночных реформ» продуктообмен между Севером и «материком» осуществлялся на принципиально нерыночной, принудительно-неэквивалентной основе, ибо невозможно было установить цену, которая устраивала бы одновременно покупателя и продавца. На чисто экономической основе «смычка» Севера и «материка» была невозможна, так как при равноправном торговом обмене взаимные потери в обоих направлениях превысили бы прибыль. Циркуляция народнохозяйственных «соков» была возможна только на основе принудительно-силовой их перекачки. И хотя Север и «материк» обоюдно нуждались в продукции друг друга, продуктообмен имел характер обмена потребительскими, но отнюдь не меновыми стоимостями. Короче говоря, такие рыночные категории, как себестоимость, цена, прибыль, амортизация и т. д., не учитывались принципиально, ибо введение их в обиход мгновенно порушило бы стройную систему принудительно-силовой перекачки ресурсов Севера на «материк» и продуктов жизнеобеспечения для северян — в обратном направлении. С введением «рынка» именно так все и получилось: темпы спада производства на Севере выше общероссийских. Даже добыча золота стала убыточной. Невыгодной оказалась и доставка продовольствия на Север из центральных районов страны из-за огромных транспортных расходов. Нерентабельными сделались целые отрасли хозяйства, еще недавно процветавшие. Хаос в ценах и тарифах на электрическую и тепловую энергию привел к «вымерзанию» северных городов, к остановке предприятий. В целом ситуация на Севере стала катастрофической.

Многие тысячи километров, составляющие пространственный разрыв между природоресурсной базой «трудных территорий» и обрабатывающей промышленностью «материка», обуславливают исключительную роль магистрального транспорта. Огромные пространства требуют колоссальных усилий для своего поддержания — обеспечения коммуникаций, инфраструктуры и прочего, — каковое поддержание принципиально невозможно на чисто рыночной основе. Об этом хорошо знали еще при царе-батюшке, когда железнодорожные билеты оплачивались пассажирами лишь на расстояние семисот верст от столицы, сверх того пассажир не платил ни копейки из своего кармана — за него это делало государство. Сейчас же спад грузовых перевозок на железнодорожном транспорте идет по нарастающей: в 1993 году на 18 процентов меньше, чем в 1992-м, а в 1994-м — на 26 процентов меньше, чем в 1993-м. Но при этом удельный вес российских железных дорог в отправлении грузов всеми видами транспорта увеличился с 48 процентов в 1993-м до 54 процентов в 1994-м («Финансовые известия», 1995, № 8). Каково же тогда было падение грузоперевозок другими видами транспорта? В 1994 году к окончанию традиционных сроков навигации в районы Крайнего Севера была завезена лишь треть необходимого. За последние три года тарифы на перевозку грузов морским флотом в Арктике увеличились в 425 раз, и правительство никак не успевает вовремя найти в тощем госбюджете средства на дотирование арктической навигации. В 1995 году ситуация с завозом грузов в Арктике оказалась еще сложнее.

Ранее северные и приравненные к ним территории являлись местом притяжения мигрантов в силу известных финансовых льгот. За десятилетие 1979 — 1988 годов миграционный баланс здесь был стабильно положительным, составляя ежегодно в среднем 235 тысяч человек.

Ныне же зарплата на Севере практически не превышает среднюю по России, а уровень цен здесь выше. И это не считая резкого, катастрофического падения общего качества жизни на «трудных территориях». С 1990 года начинается отток населения из этих мест. Сейчас, по данным Комитета по делам Севера, около двух миллионов живущих там людей «сидят на чемоданах», и лишь объективные трудности отъезда (запредельно высокие транспортные расходы, отсутствие контейнеров, неопределенность с получением жилья на новом месте) сдерживают повальное бегство северян. До конца 90-х годов, согласно оценкам Центра демографии, миграционные потери северных территорий достигнут 1,3 — 1,4 млн. человек в основном трудоспособных возрастов... Населению Севера в предстоящие 20 лет грозит опасность уменьшиться на 3 — 3,5 млн. человек, из которых 2 — 2,3 млн. (если сориентироваться на со-

временные миграционные установки) осядут в российских старообжитых областях, а 0,7 — 0,8 млн. человек и вовсе уедут из страны.

* * *

С Севера России перенесемся на Юг. Это прежде всего Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края. Достаточно благополучное (по среднероссийским меркам, конечно) положение этого региона на протяжении послевоенных лет превратило его в своеобразный магнит, притягивающий мигрантов — в первую очередь отставных офицеров и тех, кто проработал долгие годы по контракту на Севере. И если сейчас миграционное сальдо на Севере становится все более отрицательным, то на Юге все наоборот: густонаселенный регион, где жилье в дефиците, а земля плодородна, ныне захлестнут волной вынужденных переселенцев и беженцев из Закавказья и северокавказских республик России.

Ранее население Юга, привыкшее к постоянному миграционному потоку, отличалось терпимостью к другим культурам и стереотипам поведения. В то же время оно никогда не сливалось с пришельцами, а предоставляло каждой социально-профессиональной и этнической группе свою определенную нишу. Сейчас отношение коренных южан к новым волнам мигрантов резко изменилось, ибо мигранты эти оказались не такими, какими представлялись «аборигенам»: прежде всего, вновь прибывшие не пожелали в большинстве своем включиться в производство и, соответственно, занять нормативно одобренную нишу в социальной структуре Юга России. Так, по данным социологических исследований, проведенных МВД России на Кубани, 47 процентов местных жителей возмущены тем, что мигранты практически занялись посредническими махинациями, рыночной торговлей, полуполевыми и попросту криминальными делами. «Вместо потерявших все, оборванных, полуголодных, спасающих свою жизнь жертв конфликтов прибыли — в подавляющем большинстве — люди более обеспеченные, чем местные жители. Так по крайней мере считает половина опрошенных кубанцев... 37 процентов кубанцев обвиняют гостей в неуважении к местным обычаям, 26 процентов считают, что беженцы провоцируют межнациональные конфликты» («Мегаполис-экспресс», 1993, № 11, стр. 6).

Как следствие — скачкообразное усиление ксенофобии среди «местных» и соответствующее усиление политического влияния партий национал-патриотического толка. Так, например, Жириновский получил на Юге России в полтора раза больший процент голосов, нежели в среднем по стране. Традиционный для Юга России регионализм, более или менее явное противостояние Москве за последние годы резко усилились, но при этом парадоксальным образом дополнились ярко выраженными государственническими настроениями. «Это связано с осознанием «новой старой» роли Юга как форпоста русской культуры на Кавказе, пограничного края, барьера и буфера, защищающего всю Россию от нестабильности и гасящего волны межнациональных конфликтов, приходящие с Кавказа»⁵.

При подобном состоянии массового сознания в этом исторически казачьем регионе все взоры не могли не быть обращены на проблему воссоздания казачества как единственного гаранта (на Центр и его силовые министерства уже никто всерьез не надеялся) сохранения за Россией ее стратегических позиций в этом важнейшем, с точки зрения геополитики, регионе. На казаков с надеждой смотрят не только как на воинов-порубежников, но и как на силу, способную вместо бессильного МВД навести строгий внутренний порядок, подавить криминальный разгул и в то же время защитить русское население Юга России от агрессивного этнического экстремизма титульных этносов «маленьких, но гордых» республик, возникших на месте бывших автономий. Ибо многочисленны факты насильственного выживания казаков и славян из северокавказских республик, безнаказанных убийств, грабежей, разжигания межэтнической вражды. Русское население на Тереке и Кубани постоянно убыва-

⁵ Колосов В., Криндач А. Тенденции постсоветского развития массового сознания и политическая культура Юга России. — «Полис», 1994, № 6, стр. 123 — 124.

ет или просто утрачивает свои позиции, а нарушение хрупкого межэтнического баланса с объективной неизбежностью влечет вслед за собой дальнейшее обострение межэтнической розни, чреватое новыми кровавыми конфликтами. Особую заковыристость ситуации придает тот факт, что вновь зародившееся казачье движение не признает введенного за годы советской власти административного деления, проложившего новые границы по живому телу бывших казачьих войск. Так, в 1993 году «возрождено» Терское казачье войско, бывшая казачья пограничная линия, умозрительно проходящая по всем северокавказским республикам, в том числе и по Чечне. А поскольку казачество — достояние не одного только Юга России, то непризнание административных границ казачеством распространилось и на вновь сформированные границы СНГ: в Казахстане казаки, которых там никак не меньше миллиона, не пользуются многими гражданскими правами и просят российского гражданства; Черноморское войско подало прошение, чтобы 50 тысяч тамошних казаков были приняты в гражданство Российской Федерации.

С возникновением локальных конфликтов на территории бывшего Союза и на Балканах все чаще приходится слышать об активном участии в них донских казаков. О мотивах такого участия говорится с пафосом: «В Абхазии мы защищали обиженных и униженных, на берегах Днестра — русских, а в Боснии — саму православную веру». Как пишет журналист Виктор Алексеенко, «помимо приобретения боевого опыта, участие в подобных конфликтах позволяет без особых проблем добывать оружие. Сколько его «гуляет» сегодня по донским степям, известно лишь Богу да атаманам, которые намекают, что «стволов» достаточно, чтобы в смутной ситуации казачество выступило в роли третьей силы, идущей с юга России» («Московские новости», 1993, № 41, стр. 9, 13). Сложность и «неоднозначность» складывающейся ситуации не только в бесконтрольном расползании оружия и самостийном формировании казачьих войск, не признающих существующие территориальные границы, но и в том общеизвестном факте, что сейчас к любому движению или организации, обладающей силой и влиянием, объективно, вне зависимости от благих намерений участников и организаторов этих движений, тянутся и инфильтрируются в их состав криминальные элементы и политические авантюристы, имеющие свои собственные интересы, весьма далекие от целей охраны российских рубежей, а тем более — от защиты внутреннего порядка и законности.

Какова численность казаков на сегодняшний момент и по каким критериям их выделять из всей массы населения? До революции все обстояло просто: казаки были особым сословием с четко фиксированным правовым статусом. Общая численность казачьего населения и казаков, находящихся на военной службе, была точно известна. Как отправную точку отсчета приведем соответствующие данные за 1916 год. Всего казачьего населения — 4 млн. 434 тыс. человек, из них на военной службе — 285,4 тыс. Конкретное распределение по казачьим войскам (в тысячах человек населения): Донское войско — 1 495, Кубанское — 1 370, Оренбургское — 533, Забайкальское — 265, Терское — 255, Сибирское — 172, Уральское (Яицкое) — 166, Амурское — 49, Семиреченское — 45, Астраханское — 40, Уссурийское — 34, Енисейские казаки (иркутские и красноярские) — 10, Якутский полк — 3 (из них на военной службе 300 человек)⁶. Доля казаков в населении составила на Дону 42,3 процента, на Кубани — 43 процента («Мегаполис-экспресс», 1993, № 2, стр. 22).

И. Яковенко, возглавивший исследование донского и кубанского казачества социологической службой «Мониторинг», использовал три основных критерия принадлежности к казачеству: кровное происхождение, самоидентификация (то есть мнение о себе: «я — казак»), внешняя идентификация (то есть мнение окружающих: «он — казак»). Таким образом, принадлежность человека к казачеству рассматривается скорее как факт общественного сознания. На основе подобных критериев в ходе социологического исследования были получены такие (естественно, весьма условные) цифры, обозначающие долю казачества в населении: по Ростовской области — 28 процентов (то есть свыше миллиона человек), Краснодарский край — от 18 до 27 процентов, что также

⁶ «Современное донское казачество. (Политический, социальный, экономический портрет)». Ростов-на-Дону. 1992, стр. 21.

составит по максимуму один миллион человек. Весьма схожие цифры приводят и другие эксперты⁷.

Широко распространенный миф — представление о консервативности и реакционности казачества. Местные радикал-демократы воспринимают казачество как фатального противника демократических реформ. Естественно, что, глядя на нынешнее социальное и прочее безобразие, казаки вряд ли воскликнут: «Любо!» Впрочем, как и большинство «простых» россиян. Что же касается утверждения (приобретшего от частого повторения характер аксиомы), что казаки против частной собственности на землю, то социологические исследования его опровергают. На вопрос: «Ваше отношение к частной собственности на землю?» — 72 процента кубанских казаков твердо ответили «за» и лишь 19 — «против». Среди неказачьих эти цифры выглядят так: 59 и 25 процентов. Среди донских казаков «за» — 70,8, «против» — 14,6 процента. И прочие социально-политические ориентации казачества мало отличаются и в основном совпадают с установками всего населения в целом. Разница во взглядах несхожих возрастных групп более значительна, чем отличия казаков от неказачьих по тому же вопросу. Как гласит экспресс-отчет об итогах вышеназванного социологического исследования, «весьма примечательно, что ориентации на православие и духовность незначительны и казачество этим совершенно не отличается от неказачьего населения. Это позволяет сделать вывод, что речь идет о создании современной, хотя и специфической социальной общности, которая имеет с дореволюционным казачеством некоторую культурную, кровную связь, но все же не может быть воспринята как перенос в Россию 90-х годов XX века социальной общности, прекратившей свое существование в первой трети столетия. ...Казачество было сформировано «сцепкой» трех элементов: воинская служба — землевладение — самоуправление. Без этих элементов или без одного из них возрождение казачества приобретает фольклорно-этнический характер»⁸.

Индикатором ориентаций на воинскую казачью службу был вопрос: «Ваше отношение к идее создания воинских формирований казачества?» Разные градации положительной установки выразили 73,6 процента казаков и 34 процента неказачьих — жителей Ростовской области, отрицательной — 16,4 процента казаков и 45,5 процента неказачьих. Кроме того, каждый третий житель Ростовской области и каждый второй казак главной задачей казачьих войск считают защиту российских границ. Каждый четвертый ростовчанин и каждый третий казак солидарны в том, чтобы эти войска поддерживали общественный порядок.

Эти настроения пришлись по душе нашему генералитету, пострадавшему от негативного отношения к воинской службе большинства призывников и их родителей. Еще в конце октября 1993 года появился приказ министра обороны о воссоздании казачьих подразделений в Вооруженных Силах России. В настоящий момент изучается возможность участия казачества в охране границ России, несении таможенной службы.

По мнению большинства экспертов, собственные групповые интересы казачеством пока до конца не сформулированы, а посему оно выступает не столько как самостоятельная политическая сила, сколько как объект внешних манипуляций, специфический слой электората, который стараются использовать самые разные круги. Собственных лидеров, пользующихся известностью и популярностью в масштабе России, у казаков пока нет. Их политические симпатии достаточно размыты, и главной константой здесь является уважение к власти сильной, решительной, к лидерам «крутым» и жестким.

Налицо определеннный кризис казачьего движения, но пока не ясно, что он означает: или то, что его «пик, скорее всего, пройден», как считает ряд экспертов, или же временную («детскую») болезнь роста, которая будет преодолена, здоровые зерна отделятся от плевел и произойдет консолидация казачества.

⁷ «Современное донское казачество. (Политический, социальный, экономический портрет)», стр. 2.

⁸ Там же, стр. 11.

Так как же все-таки оценить процесс возрождения казачества? Казаки — это несомненный субэтнос (культурно-территориальная группа), а точнее, субэтносы русского и некоторых других народов России. За плечами казаков — многовековая историческая традиция, но вот только, беда, — насильственно прерванная на семидесятилетний период. «В известном смысле, — пишет Игорь Яковенко, — образовалась гигантская историческая ловушка — миллионы людей оказались в роли героя известного романа, проспавшего лютаргическим сном семь десятилетий и оказавшегося в мире, где царят иные законы и нет ему места»⁹. И тем не менее «казаки воспринимают себя как реальную общность, детерминированную объективными факторами: кровным родством, проживанием на исторически заселенных казаками землях, духовным влиянием казачества, необходимостью защиты от внешней и внутренней угрозы»¹⁰. Поэтому теоретически неверно, а политически вредно относиться к казачеству как к искусственной, «ложной» общности. Проснувшийся от лютаргического сна субэтнос ищет свое место в изменившемся мире — ищет методом проб и ошибок, а значит — и не без досадных издержек. Очевидно, что казачество возрождается не в том виде, в котором оно существовало до революции, — идет процесс рождения во многом новой социальной общности, сохранившей с прежней генетическую, духовную связь. Большинство казаков, являющихся таковыми по крови, по духу, в силу своего самосознания не готовы принять на себя весь комплекс сословных обязанностей и ограничений, в корне меняющих устоявшуюся жизнь. Но есть меньшинство, готовое вступить с государством в особые отношения (чем-то напоминающие сословные), взвалив на себя тяжкую ношу обязанностей, связанных прежде всего с охраной государственных рубежей не только на Северном Кавказе, но и на Дальнем Востоке — на территории Уссурийского, Амурского, Забайкальского округов. Иррегулярная воинская служба — не анахронизм и не исторический удел одних лишь российских казаков. В ряде развитых стран большую роль играют иррегулярные воинские формирования милиционного типа в виде пограничной охраны, национальной гвардии и т. п. Осовремененное российское казачество могло бы вновь послужить делу охраны российских рубежей. Но те, кто захочет в этом участвовать, должны получить от государства соответствующий правовой статус, четкий перечень прав и обязанностей властей, казака и казачьей организации, которая, в таком случае, перестает быть общественной, становясь элементом государственной структуры...

* * *

Если же с периферии Российской Федерации вернуться туда, откуда началась Россия, то здесь, в исконно русских регионах, мы встретимся с мерзостью запустения. По обезлюдению сельской местности наше Нечерноземье значительно опережает другие районы. Демографический дисбаланс — нарушение половозрастной структуры села — в корне подорвало возможность воспроизводства сельских популяций на своей собственной основе. Наряду с энтропией демографической, экономической и социальной на селе нарастает энтропия духовная, известная социологам под названием «аномия». Это такое состояние общества, когда порушены моральные нормы (греч. «номос» — норма, закон, «а» — отрицательная частица, отсюда и сам термин), девальвированы этические ценности, короче говоря, сломан морально-этический «скелет» человеческого поведения. Нет точки отсчета добра и зла, все моральные категории размыты и относительны. Еще в 1956 году американский социолог Говард Беккер дал описание нарастания духовной энтропии в сельских обществах, где «потеря культуры благодаря отставанию» приводит к постепенному разрушению норм и «каждое последующее поколение обладает меньшим количеством технических экспрессивных и контрольных возможностей культуры предков, чем его предшественники, и в результате образуется бесформенная

⁹ «Современное донское казачество. (Политический, социальный, экономический портрет)», стр. 5.

¹⁰ Там же, стр. 18.

расползающаяся масса созданий, чье поведение почти не поддается предсказанию даже для них самих, если только оно не выражено в весьма смутных общих выражениях»¹¹.

Отметим, что Беккер описывает «естественную» моральную деградацию, происходящую в «изолированных сельских обществах» из-за «медленного ослабления ограничений». У нас в деревне моральная деградация носит не столько «естественный» (в силу «культурного отставания»), сколько искусственно-принудительный характер.

Далеко не последнее место в числе причин морального одичания села занимает миграция. Из сельской местности уезжают наиболее работоспособные, энергичные, молодые, происходит вымывание интеллектуального потенциала деревни. Усиливается миграция в сельскую глубинку криминогенных элементов, все чаще здесь находят пристанище бывшие заключенные, лишённые в городе жилья, прописки и работы. Тюремно-лагерная субкультура все шире расползается по сельской территории, особенно в местностях, примыкающих к столичным и крупным городам. Таким образом, происходит своеобразное распределение миграционных потоков: город высасывает из села наиболее качественные человеческие кадры и сбрасывает туда свой балласт. «Сегодня «деревенские преступления» отличаются сколь нелепой, столь и дикой, извращенной жестокостью. Знаменитые сельские драки до первой крови сменились побоищами до первой (до второй, третьей, пятой...) смерти. Вместо поездок на лошадях в ночное — массовое конокрадство с циничным издевательством над животными. В милицейских сводках то и дело мелькают сообщения об убийствах на почве пьянства друг друга родственниками. Есть села, где групповые подростковые изнасилования приобрели просто-напросто обыденный характер» («Комсомольская правда», 1990, 4 ноября). Пьянство на селе достигло катастрофических размеров, семья деградировала, «воочию видна опасность нарастания в народонаселении патологического груза, прежде всего врожденной умственной отсталости, олигофрении в результате отравления материнского организма алкоголем» («Огонек», 1988, № 31, стр. 24). Профессор Вячеслав Алферов по результатам медицинского исследования здоровья сельского населения делает вывод: «Подорвана жизнь там, где начиналась Россия. Нас не первый год тревожит рост заболеваемости лейкозом на нашем Северо-Западе. Ясно, что идут изменения генетических функций, генофонда, но мы не имеем никакого точного понятия... куда процесс пойдет дальше» («Комсомольская правда», 1990, 14 октября).

Происходящее на селе тут же отражается на малых городах. Обескровив село и разрушив деревенскую субкультуру, мощные миграционные потоки ударили и по городам, размыв сформировавшиеся городские популяции и разрушив существенную и наиболее самобытную часть городской культуры. Произошла рурализация (от англ. «rural» — сельский, деревенский) города, замедление, а порой и обращение вспять процесса кристаллизации городского сообщества. Особенно неблагоприятно в этом плане положение городов малых, служащих промежуточным этапом и как бы стартовой площадкой для сельских мигрантов в их последующем прыжке в большой город. Ибо миграция в нашей стране, так же как и в странах «третьего мира», развивается по трехступенчатой схеме «село — малый город — большой город», 55 процентов жителей малых городов родились в сельской местности¹², а коренные горожане (то есть горожане третьего поколения) составляют в них всего лишь 7 процентов. Основная специфика малого города в том, что треть занятых в местном производстве вообще не является его жителями: это обитатели окрестных деревень, не занятые сельским хозяйством. Да и основная масса горожан первого поколения надолго на месте не задерживается. Таким образом, подобным городам уготована жалкая роль перевалочного пункта, временной остановки на пути из села к манящим огням большого города. Некогда уютные и своеобразные, малые города, превратившись в транзитные пункты миграционных потоков, утратили свое «лица необщее выраженье».

¹¹ Беккер Г. Современная теория священного и светского и ее развитие. — В кн.: Беккер Г., Босков А. Современная социологическая теория в ее преемственности и изменении. М. 1961, стр. 201 — 203, 205.

¹² «Советский город: социальная структура». М. 1988, стр. 224, 230.

В большинстве малых городов нет системы канализации и водоочистки, преобладает усадебный тип застройки с довеском в виде подсобного хозяйства. Поскольку подавляющая часть населения малых городов имеет участки и дачи, они живут в двух обиходах — городском и сельском. И ни в одном — полностью. То есть субкультура российского малого города — и не городская, и не сельская, а межеумочно-маргинальная, барачно-слободская, посадская.

Как структурировано подобное городское сообщество в социальном плане? Прежде всего оно расчленено по производственному признаку: связисты, к примеру, — это отдельный мир, водители автобусов — другой мир, водители грузовиков — третий. Они не смешиваются, у них разные дома, разные места для садовых участков. Кроме связи по месту работы существуют развитые формы связей семейных, соседских и дружеских. Но все они по своему уровню первичны и не конституируют собственно городскую структуру. Растущих снизу, спонтанных, автономных от властных инстанций общественных структур более высокого (то есть чисто городского) порядка в малых населенных пунктах почти не наблюдается. Иными словами, городские сообщества этого типа структурно аморфны и стоят не на собственных ногах, а на административных протезах. Именно властные, официальные инстанции создавали тот искусственный каркас, на котором держалась псевдогородская социальность. Правда, есть исключения из этого правила. Как считает архитектор и культуролог Вячеслав Глазычев, «главное — сохранилась или нет какая-то группа носителей пусть реликтового, но все равно городского сознания... Если обнаруживается хотя бы двести человек, являющихся активными носителями городской культурной нормы, то это работает» («Знание — сила», 1994, № 4, стр. 7). Энтузиастами и краеведами создаются библиотеки и музеи, вокруг них образуется все расширяющийся круг неформального культурного общения, завязываются процессы кристаллизации структур сугубо городского типа. И если раньше эти активные носители городской культурной нормы по большей части являлись социальными аутсайдерами, то сейчас они словно «легализованы» явочным порядком, а их лидеры как бы сами собой оказываются участниками властного процесса, хотя и не наделены никакими властными полномочиями. Местная «элита» малого города либо связана с ними, либо вышла из их среды. Все более сильно веет духом «земства».

Малые города, по существу, различаются не числом жителей, а наличием или отсутствием уникальных группово-личностных отношений, задаваемых активным культурным меньшинством. В сравнительно многолюдном городе это меньшинство может быть маргинальным, то есть оттесненным на задворки общественной жизни. И наоборот: в крохотном городке позиция таких людей может быть очень весома, и тогда это — пускай крохотный, но город. Человеческие связи — суть социальность. Как сказал Антуан де Сент-Экзюпери, «ничего нет в мире драгоценнее уз, соединяющих человека с человеком». Именно качество человеческих связей, а не наличие урбанистической застройки определяет специфически городской тип социальности, делает город городом. Поэтому, например, полумиллионные Набережные Челны, богатые типовой застройкой и бедные социальными связями (чистый эксперимент «молодежного города» без корней) — никакой не город, а огромный ПГТ (поселок городского типа).

Одним из признаков (хотя и не обязательным) малых городов России является навязанная им относительно узкая отраслевая специализация. В результате происходит деформирование функциональной структуры этих городов, превращение их в заводские монопоселения. В сегодняшних условиях судьба большинства таких городов-заводов трагична. Взять хотя бы «текстильные» поселки: 120 малых городов Центральной России содержались за счет 600 предприятий текстильной промышленности (800 тысяч работающих, в основном женщин). На некоторых предприятиях станочный парк не обновлялся с начала века. По ряду причин снизился спрос на отечественный текстиль. В период «реформ» легкая промышленность России получила наиболее сильный удар. «Утонувшие» фабрики потянули за собой на социальное дно и закрепленные за ними текстильные городки со всеми их обитательницами и обитателями.

В доперестроечный период на фоне нищей российской провинции сказочными «городами будущего», перенесенными из фантастических романов, выделялись острова «архипелага ВПК» — городки с нероссийской чистотой улиц, ухоженной зеленью, блестящим стеклом дворцов культуры, современных

больничных корпусов, а также целые закрытые города при оборонных заводах-гигантах — все эти Красноярск-26, Арзамас-16, Златоуст-36, Челябинск-70 и т. д. — особые миры с собственной энергетической базой, автономной инфраструктурой и почти европейским качеством жизни. От нескромного взгляда иностранного разведчика или собственного полуголодного соотечественника эти фантастические города защищались «режимом» — тройной системой пропусков, тройными рядами колючей проволоки, с контрольно-следовой полосой и со сторожевыми вышками, откуда стреляли без предупреждения по всякому, нарушившему границу закрытого чудо-города. Теперь маятник качнулся в противоположную сторону: заокеанские визитеры толпой устремились в ранее заповедные хранилища российских ноу-хау. Массовая скупка за гроши бесценных российских технологий за рубежом цинично именуется «сезоном охоты на дураков».

До открытия этого «охотничьего сезона» население «архипелага ВПК» привыкло жить по-особому, не в пример лучше остального населения. И считало, что имеет на это право: в отличие от номенклатурных тунеядцев (превратившихся затем в массовом масштабе в прозападных «демократов»), это действительно были лучшие технические умы и самые умелые руки нашей страны, способные производить высокотехнологичную, наукоемкую продукцию, некоторые образцы которой на десять — пятнадцать лет обгоняли аналогичные разработки в США и Японии. Сейчас многие из этих бесценных сокровищ практически задарма отданы нашим новым западным «друзьям».

Если для номенклатурщиков спецблага и спецпотребление, ориентированные на западные стандарты, были главным смыслом жизни, то не так у «оборонщиков». Последние никогда не страдали комплексом неполноценности, ибо во многом превосходили своих западных коллег по профессиональному уровню. Поэтому высокий уровень жизни — не самоцель, а лишь одно из подтверждений (причем не самое главное) высоты этого профессионализма, уникальности знаний и умений многих обитателей закрытых городов.

Сейчас средняя зарплата на предприятиях ВПК в 2 раза ниже, чем в целом по машиностроительной отрасли, и в 3 — 4 раза ниже, чем в строительной промышленности. Да и эта зарплата не выплачивается от трех месяцев до полугода и поэтому существенно «съедается» инфляцией. Обитатели закрытых ранее городов после их «открытия» впервые узнали, что такое преступность, массовое пьянство, нищета, разруха и запустение. Но не жизненные передряги в первую очередь травмируют этих специалистов экстра-класса, а то, что их умения и знания вдруг как-то сразу оказались не нужными стране. И дело здесь не в том, что работники ВПК — сплошь заядлые «ястребы»-милитаристы. Нет, они понимают необходимость конверсии, но понимают также, что конверсии автоматической, то есть дармовой — без плановых инвестиций, — не бывает. И что расхищение новейших российских ноу-хау и переход высокооснащенных заводов к технологиям качественно более низкого уровня — отнюдь не конверсия, а нечто совсем иное.

Резко возросла социальная напряженность среди полутора миллионов обитателей сорока семи прежде строго засекреченных монопоселений. Начался массовый исход наиболее квалифицированных ученых и рабочих из «оборонки». Эти асы своего дела ныне работают грузчиками в магазинах или разнорабочими на стройках, вместо сварки теплообменников для ядерных реакторов «варят» могильные ограды.

Происходит недопустимое — разрушение той особой культурной экосистемы, которая сложилась в закрытых городах. Так уж получилось, что в них сосредоточены лучшие умы и лучшие рабочие руки России, ее подлинная научно-производственная элита. Здесь сохранились почти вымершие уже у нас профессиональная гордость и чувство ответственности, нет агрессивности и повсеместной ненависти, зато доминируют спокойствие и уравновешенность.

Фактически полтора миллиона обитателей номерных городов — это новый российский субэтнос, возраст которого — несколько десятилетий — несопоставим, разумеется, с возрастом таких древних субэтнотосов, как казаки, поморы, чалдоны, старообрядцы. Может, это и парадоксально — подводить под общий знаменатель наследников церковного раскола XVII века и детей научно-техни-

ческой революции века XX. Но есть у них нечто общее: они — последний оплот «золотых генов» русской нации в море энтропии, захлестнувшей страну и поставившей русских на грань гибели как этноса. Наступили тяжкие времена — и вот ученые известных российских ядерных центров Арзамас-16 (Сарова) и Челябинска-70 (Снежинска) отдают свои деньги на создание универсальной быстродействующей супер-ЭВМ «Эльбрус-3-1». Денег у нищих атомщиков наскреблось немного, и принявшие заказ такие же нищие электронщики Института им. Сергея Лебедева вынуждены были создавать машину, минуя стадию опытного образца — сразу на промышленной основе. Летом 1993 года атомщики оказались вообще без зарплаты, но первая из промышленной серии супер-ЭВМ ушла в Арзамас-16. То, что должно было делать государство за счет бюджета, «оборонщики» сделали за свои деньги.

Про Арзамас-16 посетившие его визитеры написали: «И когда мы видели технический уровень исследований и квалификацию людей, часто хотелось сказать: «Не может быть!» Но и по поводу быта хотелось сказать те же слова, только с обратным знаком» («Известия», 1993, 21 апреля). Что ж, Родина должна знать не только своих героев, но и то, в каких условиях они живут. Приведенный выше отзыв писался в апреле 1993 года — по следам визита Президента РФ в Арзамас-16. Президент обещал помощь. Но именно с апреля 1993 года в Арзамасе-16 прекращается выдача заработной платы. В результате первый социальный взрыв в «закрытых» городах пришелся именно на Арзамас-16.

Не прошло и месяца с начала массовых выступлений в Арзамасе-16, как с беспрецедентным обращением выступили ядерщики Красноярска-26. Они уже не пытались апеллировать к руководству России, а через его голову обращались к гражданам страны и мира с настоятельной просьбой воздействовать на руководство РФ с тем, чтобы предотвратить возможную ядерную катастрофу под Красноярском. Завод, спрятанный в енисейских скалах, как и многое другое в нашей стране, оказался «не нужен» политикам. Но остановить производство оружейного плутония, как останавливают макаронную фабрику, невозможно. Прекращение финансирования чрезвычайно опасных подземных производств грозит катастрофой, может быть, более страшной, нежели черносбыльская. Из-за низкого уровня зарплаты, постоянных ее задержек с завода уходят высококвалифицированные специалисты. Заменить их некем.

Теми же днями в США вступил в действие новый иммиграционный закон, дающий право на въезд и получение работы в США 750 ученым и инженерам (не считая членов их семей), работавшим в бывшем СССР над созданием оружия массового поражения и средств его доставки к цели. Комментировать эту новость посольство США в Москве отказалось. Но и без комментариев ясно: пришедшие ученые потребовались США для создания ядерного оружия четвертого поколения.

С той поры прошло два года, ситуация в «оборонке» к лучшему, естественно, не изменилась («На целом ряде региональных предприятий оборонного комплекса зафиксированы случаи голодных обмороков у рабочих», — сообщила газета «Известия» 15 апреля 1995 года), но до сих пор ни один физик-ядерщик, являющийся носителем оружейной технологии, не выехал из России на постоянное жительство за рубеж. Сообщивший эти данные первый заместитель директора Федерального ядерного центра в Арзамасе-16 Юрий Туманов добавил: «Даже сейчас, когда зарплата в Федеральном ядерном центре составляет в среднем 300 000 рублей в месяц (около 60 долларов США), у высококвалифицированных специалистов сохраняется чувство долга, ответственности, патриотизма».

* * *

Более сорока лет назад упоминавшийся уже выше американский социолог Говард Беккер ввел понятие «Нормативная реакция на аномию». Обозначает это понятие такое примерно явление, ситуацию: в некоем обществе, нации, этносе происходят процессы нарастающего морального распада, этической деградации, то есть имеет место рост аномии. Все нормы поведения порушены, и общество оказывается в ситуации почти полного распада. Тут-то и срабатывает последний резервный механизм самосохранения общества — происходит «нормативная реакция на аномию». Людям, дошедшим до роковой чер-

ты, становится вдруг тошно от того, какими они стали, как ведут себя. И вот вокруг «одиночек, которые держат фронт, не оглядываясь на соседей», завязывается процесс кристаллизации моральных ценностей: полузабытые, отброшенные, оплеванные ценности вдруг начинают светиться новым, как бы мистическим светом. Они притягивают к себе все больше сторонников, все более и более жесткими становятся моральные требования людей к самим себе и друг к другу, ожившие ценности все более усиливаются и вновь соединяются в единую стройную систему, структуру норм поведения, следовать которым — категорический императив каждого члена общества. Пройдя испытания на излом, ценностная структура восстанавливается в обновленном виде. На смену безнормативной, «свободной от комплексов» общности приходит общество со стройной и строгой системой морали, причем при всех нововведениях в эту систему ее ценностный фундамент, состоящий из основополагающих принципов общежития, остается непоколебленным. Зависнувшее над бездной общество, которому, казалось бы, уже ничто не поможет, вновь обретает моральное здоровье и стабильность.

Красивая сказка или — реальная для России возможность? Покажет будущее.

Тула.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ИГОРЬ ДЕДКОВ



«КАК ТРУДНО ДАЮТСЯ ИНЫЕ ДНИ!»

Из дневниковых записей 1953 — 1974 годов

Игорь Александрович Дедков (1934 — 1994) сумел сказать в нашей культуре свое яркое и самобытное слово. Он принадлежал к поколению литераторов, искавших и отстаивавших правду в послесталинскую эпоху. И когда тоталитаризм затрещал по швам, а потом и рухнул, в наступившие новые времена ему не пришлось отрекаться от написанного и стыдиться его — ибо по совести жил и по совести говорил всегда.

Блестяще окончив в 1957 году факультет журналистики МГУ, Дедков не получил возможности остаться в аспирантуре и уехал жить в Кострому. Там, под недреманным оком госбезопасности, перлюстрировавшей его корреспонденцию и осуществлявшей слежку, прошли тридцать лет его литературной деятельности. Так что дневниковые записи Дедкова — это взгляд на жизнь нашу не из окна столичной квартиры или переделкинской дачи, а из российской глубинки; в дневниках упоминаются Чухлома, Макарьев, Солигалич, Нея... Провинция закалила Дедкова, выработала независимый от столичной политической и общественной конъюнктуры угол зрения...

Отказавшись в 1992 году от предложенного ему поста министра культуры, Дедков предпочел свою гражданскую позицию выражать через слово. Судя по поздним, предсмертным уже, записям, мирочувствование Александра Солженицына было близко ему. 11 декабря 1994 года — через месяц с лишним после думского выступления Солженицына — Дедков записывает: «Немало прошло дней, а забыть невозможно... Могли бы ведь и встать, подумал я, когда Солженицын поднимался на трибуну Государственной Думы. Могли бы и подзабыть на минутку свои несогласия, несовпадение взглядов и прочее. Могли бы отдать должное этому человеку, его писательскому таланту и огромному труду, его духовной стойкости и храбрости, его исторической роли в преобразовании России. Могли бы и встретить его приветственной речью председателя Думы. Но до того ли, до таких ли тонкостей?.. Встретили жидкими аплодисментами, слушали с кислыми лицами и проводили теми же жидкими хлопками. Не Пятая это Дума, Александр Исаевич, а какая — не знаю, да и Дума ли?..» («Свободная мысль», 1995, № 10).

...Дневниковые записи разных лет были собраны из тетрадей и блокнотов воедино Дедковым в 1992 году. «Для меня, — писал он, шутливо именуя дневники «мемуарами первой половины моей жизни», — там много правды. Если кому-нибудь угодно — личной правды. О действительность можно уколоться, как о булавку. Выступит капелька крови. Потом скатится и засохнет». О ком бы ни писал Дедков — о Залыгине или Можяеве, Астафьеве или Распутине, Богомолове, Шукшине или о публицистике расстрелянного на глазах детей у Валдайского озера «нововременца» М. О. Меньшикова, — тексты его пронизаны неповторимо теплой, естественной, доверительной интонацией. Но еще ощутимее она — в дневниках, фрагменты которых предлагаются ныне читательскому вниманию.

14.4.53.

Большая аудитория Политехнического музея. С рук купил билет¹. Люди всех возрастов. Председательствует А. Софронов. В президиуме Л. В. Маяковская. Выступают Л. Никулин (довольно слабо), П. Антокольский (о двух встречах с Маяковским — со вкусом, с отличным чтением, с «наивно вращающим глаза Каменским», с «очами сапфирными» Белого), А. Первенцев (в общем, умно), Л. Кассиль (остро и эффектно, о памятнике, о кино, о записках), М. Львов (перевод с якутского и старое о прожигающих асфальт шагах), М. Луконин (два стиха: «Поэт и управдом», «Немного о себе»), С. Кирсанов (просто чтение, приятное, отлично). Почему-то не выступал С. Щипачев, сидевший в президиуме. Первенцев сидел и на концерте.

Читали: Аксенов, Першин, Моргунов, Балашов, Сорокин, Попов. Вещи звучат очень злободневно.

Аудитория вечера отличная. Но есть и типы. Слева от меня сидели три сволочи, все ныли и сплетничали.

А мать В. В. еще жива. Ей передавали привет.

15.11.54.

Разве это справедливо? У меня новый дорогой костюм, а у него дешевенький, невидный. У меня позади школа и два курса университета. А у него? У меня впереди жизнь, какая будет — неизвестно, зато впереди. У него — инвалидность второй группы и двое детей. Образование — 9 классов. Будущего нет — учиться не позволяет рана. Разве это справедливо? Он в 17 лет пошел на фронт — я не видел горя. Переворачивается все внутри, когда разница проявляется. Так вчера, во время разговора о костюме, мне было не по себе — стыдно. Разве я имею право жить лучше, чем он сейчас? Нет. У меня нет ничего за душой, кроме будущего.

15.6.55. <На практике в Новосибирске, в областной газете.>

Вторую половину дня был убит горем. Непригодность статьи превзошла все мои ожидания <...>

Сегодня на летучке <...> редактор рассказал о положении в колхозах Новосибирской области. Если жаркая сухая погода продержится еще несколько дней, то яровые неминуемо погибнут. Не стоит, мол, однако, поддерживать разговоры наподобие следующих: дескать, не бойтесь, товарищи, государство, как всегда, поддержит и обеспечит хлебом. «У колхозников всегда есть запасы хлеба, и их будет достаточно на зиму». <...>

Если Октябрьской революции пришлось ломать государственную машину царизма, то это была игра в бирюльки по сравнению с той машиной, которую, возможно, придется убирать с пути будущему. Опирающаяся на сложившееся за 30 лет доверие масс машина советского и партийного аппарата почти не допускает разрушения. Помимо прочего во главе частей ее механизмов стоят люди опытные и поднаторелые. Противопоставить им опыт и знания в должной степени немыслимо. Компенсация должна последовать за счет энергии, смелости, гибкой тактики, дерзких помыслов и трезвого, расчетливого ума. Главная задача перед возможными переменами — вырвать народные массы из-под влияния власти, вселить в сердца смелость и вольность духа, противопоставить интересы правящего и трудящегося <...> Лишенная опоры в народе власть теряет смысл. Я б не сказал, что это рассуждение ново, но в данных обстоятельствах его приходится повторять.

Мы, люди, по сути дела, примиряемся с несправедливостью, с невозможностью равенства людей, примиряемся с различными разновидностями общественного и классового обмана <...>

Если бы у меня не было родителей и родных, я бы жил по-другому. Они мне слишком дороги, чтобы я позволил себе чем-нибудь их сильно огорчить. Ради них и нужно, главное, стараться выбиться в люди, да не просто в люди, а в «большие». Если б было иначе, я бы имел большее право на риск...

¹ Речь идет о вечере поэзии, посвященном 60-летию со дня рождения В. В. Маяковского.

17.6.55.

<...> Вчера были на «Риголетто». <...> Помещение театра прекрасно. Не то чтобы богато — Театр Красной Армии в Москве богаче, мне кажется, — но много простора и хорошая архитектура. Только вот лестницы, ведущие на ярусы, запутаны. Зрителей мало. Это самый разный народ, от колхозника и парня-ремесленника до солидных людей руководящего вида и лилипутов из приехавшей цирковой труппы. До конца спектакля некоторые ушли. Некоторые просидели все действие за пивными столиками. В результате попадались пьяные. Много школьников. Аплодировали хорошо, вызывали не более раза. Оркестрантам никакого внимания, они вроде чернорабочих при опере.

4.7.57. <Москва.>

Что ж, последние события в верхах можно только приветствовать. Но сколько горечи и сомнений поднимается в душе даже сегодня².

Борьба за власть — десятилетия жестокой эгоистической борьбы, тысячи расстрелянных и замученных, тысячи опустошенных и отравленных душ — и все это под прикрытием самых святых, самых человеколюбивых идей.

И это социализм! Без гласности, без доверия к народу. Произвол, держащийся на насилии в разных формах. Где же выход, где же эта проклятая истина? Или же все существующее разумно?

11.7.57.

<...> Иной раз глядишь, глядишь по сторонам — все кажется нормальным, советской власти не противоречащим, и даже наоборот. Вдруг, глас божий, не туда смотришь, не так видишь: явления-то ошибочные, тенденция-то ложная <...>

<...> В Белграде первый съезд рабочих советов открылся. Наш Гришин выступил — неужели это самое интересное на съезде? И вдруг среди прочих вестей — весть: «Новый мир» прищемили, основы подрывал. Батюшки, а я на него, дурак этакий, глупец непроходимый, 84 рубля в пятьдесят шестом году истратил.

<...> И вот сегодня — радостная весть. Даже жалко самого себя стало. До чего глупы, до чего глупы <...> Куда лезем, о чем задумываемся!

А дело вот в чем: «Москву» прищемили. Говоря просто, в «Литературке» статья И. Кремлева «Заметки о журнале „Москва”» размером почти в полосу.

<...> Так и просится параллель с 40 — 50 годами, с Гречем, Булгариным и прочими. Не литературный ли доносец?

<...> Кончается статья утверждением, что «Москва» не учла того, за что прищемили «Новый мир», и теперь приходится начинать понемногу прищемлять ее самое. <...>

Какой чудесный барометр общественного мнения наша любезная «Литературная газета».

Почему из нее не уходит В. Овечкин?³

12.7.57.

<...> Сегодня в «Комсомолке» передовая «В вузы идет новое пополнение». Какое-то двойственное впечатление. С одной стороны — справедливо, с другой поглядишь — грустно. <...> Все было бы ничего, если бы вкрадчивое противопоставление производственной молодежи — школьникам не было бы новым навязанным шаблоном...

² Июньский Пленум ЦК КПСС, о котором упоминает здесь автор дневника, вывел из состава Центрального Комитета так называемую «антипартийную группу» Маленкова — Кагановича — Молотова, что означало победу линии Н. С. Хрущева на демократизацию в стране.

³ Сам В. Овечкин, несколько позднее в письме от 11.11.57 одному из своих корреспондентов, сообщал: «Пусть Вас не смущает то, что моей фамилии больше нет в составе редколлегии «Литературной газеты». Я сам этого добился <...> Я не могу по-настоящему участвовать в работе редколлегии, живя в пятистах километрах от Москвы» (см.: Овечкин В. Статьи. Дневники. Письма. М. 1972, стр. 180).

17.7.57.

Третий день я в Болшеве (на даче). Жарко. Наверно, редкий человек не имеет сейчас повышенной температуры. А впрочем — какая это чепуха! Я чувствую себя вполне здоровым, и поэтому о болезнях — ни гугу.

У меня какое-то необыкновенное настроение <...> Мне кажется, что иногда я жил и живу вдохновенно, другого слова не подберешь. Это вдохновение — не в пьянящей сладости и легкости дела. Это спорость, непринужденность, дьявольская интуиция, это порыв, это миг откровения.

Лето 1957.

Жертвовать человеком ради интересов организации, — в 20-х годах говорил Узелков <герой П. Нилина>.

Месяц назад это же повторил мне Глеб Попандопуло, зам. секретаря комитета ВЛКСМ МГУ.

Несколько лет назад, в десятом классе, я был близок к таким идеям. Хотя как знать, как бы я реагировал на материализацию этой идеи со своим участием.

Теперь я все думаю: может, прав Д. Неру, когда расходится с нами в средствах, ведущих к миру и справедливости. Можно соглашаться в цели и не соглашаться в методах ее достижения.

Но мои сомнения ограничены: я допускаю «социальную солидарность» лишь в немногих странах, где возможно действие силы более значительной и эффективной, чем классовая вражда.

Также мои сомнения не касаются понятия диктатуры пролетариата в принципе. Но я уверен, что диктатура пролетариата должна эволюционировать.

Да, можно построить государственный социализм, социализм армейский, казарменный.

Там не будет уважения к рядовым людям, они останутся строителями, чернорабочими, их судьбы по-прежнему будут решать члены Святого семейства. Они по-прежнему будут марионетками в руках идеи, не собственной идеи, а идеи, господствующей в их воздухе. И я думаю о том, что человек живет один раз <...>

3.1.58. <Кострома.>

Падают серый утомительно-безнадежный снег. В моем корреспондентском удостоверении появляется цифра 1958. Она меня пугает, она кажется чересчур большой, она старит меня и толкает, спеши, спеши. А куда спешить, что делать? — неизвестно.

<...> Отличная судьба у нашего поколения — духовное рабство.

4.1.58.

О, какое оживление в нашем редакционном доме. С вечера велено выгладить брюки и побриться. На стены спешно вывешиваются портреты вождей, а у задней стены коридора появляются руководящие стол и трибуна. Сам первый секретарь обкома жалует к нам. Сам, сам Гиппопотам.

19.2.58.

Вот что рассказал сегодня литсотрудник отдела партийной жизни «Северной правды». Вчера к нему зашел товарищ по областной партшколе, работающий в Мантурове, и поведал историю одного человека.

Молодой демобилизованный офицер после войны работал в мантуровском заготзерне. Там его избрали секретарем партбюро. В 1950 году он был арестован. Материалом для доноса, соответственно обработанные, явились три факта:

— как-то раз снабженцы приобрели портрет Сталина, написанный местным художником. Парторг запретил этот портрет вешать, сказав, что в лице не соблюдены пропорции и проч., т. е. что портрет не похож;

— на одном из торжественных собраний парторг в должном месте не аплодировал;

— не пришел на демонстрацию (занимался в это время рыбной ловлей, был в отпуске).

Так или иначе, был арестован и доставлен в Костромское управление госбезопасности. Был брошен в подвал. Следствие вел некий Цибульский. Парторг сказал, что он невиновен. Тогда его на шесть дней поместили в каменный мешок, где он не мог даже сидеть. Можно было только стоять. Но и после этого он не признался. Тогда ему дали еще шесть дней в подвале, в холоде, в одних кальсонах. Спать было нельзя — крысы, вероятно, знали вкус мертвечины. После этого Цибульский предложил парторгу подписать написанные им, Цибульским, показания: «Так вы (ты) получите десять лет, иначе ничего не получите». Парторг подписал. После 1953 года он был реабилитирован. Этот молодой человек поседел совершенно. Он вернулся и первое, что сделал, — избил доносчика. Узнавал, работает ли Цибульский. В райкоме сказали: нет. Недавно умер полковник КГБ. Среди подписей под некрологом парторг увидел имя Цибульского...

30.3.58.

Задуматься над тем, как я живу: комната, где я сплю, где под кроватью чемодан; двери в нее распахнуты; хозяйева нас не стесняются, ругаются, шумят — это считается естественным. И никуда не денешься. Как на постоялом дворе. И я должен улыбаться и быть довольным.

Ты не должен поддаваться. Ты небогат временем, тебе скоро двадцать четыре, ты застрял на перепутье. Думай и пиши. Радуйся — сегодня у тебя свободные часы. От слова — свобода. Ты — хозяин сегодня самому себе. Волен думать и мечтать. На службе этого делать нельзя. <...>

5.4.58.

Как в Костромской области создали еще один совхоз. По рассказу И. И. Максимова (редактора «Северной правды»).

Несколько раз обращались в Совет Министров, в Цека. Отказывали.

Поехал Флорентьев⁴ на сессию. Пошел к Козлову⁵. Звонит ему из приемной. Тот говорит: заходи. Флорентьев заходит. Козлов уже одевается. Тут же, у дверей, состоялся разговор.

Флорентьев: «Ну, Фрол Романович, пока не ушел от нас (т. е. в Совет Министров СССР), помоги последний раз. Дайте нам совхоз». Тот подумал-подумал. «Ладно, — говорит, — дадим». Так и решили.

22.4.58.

<...> Этот человек начинал праздновать в тот момент, когда аэростат с портретом вождя или с красным флагом поднимался в небо. Увидев высоко над городом алеющий флаг, он поднимал первую рюмку.

15.7.58.

Во дворе умер пенсионер Дюдя (Иван Алексеевич, 64 лет). Опился: 14 флакончиков туалетной воды. До революции — приказчик. До войны — грузчик. Вернулся с фронта — жена умерла, трое сыновей погибли. Жил с единственной родной душой — сыном. Пили. Работал возчиком на фабрике. В последние годы получал пенсию 350 рублей. Не мог успокоиться, пока не пропивал <...> «Собачья у него была жизнь», — говорят люди. Развязал руки себе, государству, снохе и сыну. Освободил землю.

1958. <Кострома.>

Улица Чайковского — самая короткая в городе, но самая знаменитая. Одни называют ее проспектом Любви, другие — проспектом Последних надежд. Эта улица берет свое начало на перекрестке, где за витринами магазинов бьют родники картонных колбас, золотых серег и рисованных ананасов, где отечественные детективы покоряют сердца публики в кинотеатрах со скромными именами «Художественный» и «Малый».

⁴ Флорентьев Л. Я. — первый секретарь Костромского обкома КПСС с 1956 по 1965 год.

⁵ Козлов Ф. Р. (1908 — 1965) — секретарь ЦК КПСС в 1960 — 1964 годах.

Как учат школьные учебники, Волга начинается на Валдае ключевой водой прозрачной стекла, словно процеженной сквозь поры земли. Новорожденный человек несет в себе достоинства и пороки родителей, и потому эта новорожденная вода чище человека.

Улица Чайковского впадает в Волгу. Летними вечерами людской поток медленно течет вниз, к набережной, пестря берег нарядами, толкаясь, посмеиваясь, забавляясь. Молодые текстильщицы в блузках без рукавов, с шестимесячными завивками, юные няньки в тех же блузках и с теми же завивками, лихие солдаты, ищущие тех текстильщиц и нянек, что попроще и податливее, студентки, мечтающие о хороших парнях и довольные теми [из них], что тоже фланируют по тротуарам с печальными глазами и тоже мечтают — не о Джульеттах, не о Женни Маркс — о стройных ножках и тугих бедрах. Пошлые слова висят над толпой, как полчища комаров над болотом.

Но каждый день, под любым небом, под кустом, в черном зеве подъездов, в ночных смешках и смелых платьях, — среди вульгарности и скотства, — я видел всегда другое, в которое верю — наперекор...

<Без даты.>

Набережная, я пришел сюда на следующий день после приезда вечером как незнакомец и путешественник. Я открыл, что набережная — красивейшее место в городе, в котором я отныне служу.

Волга была спокойной, и заходящее солнце перекидывало через нее наискось багровый, слепящий мост. Гремя музыкой, проплывали теплоходы, населенные счастливыми и красивыми людьми. По крайней мере так казалось с берега.

Я был одинок в те первые пустые вечера в этом городе. Будущее, тяжелое своей неопределенностью, висело над моей головой, было моим небом.

Я не верю, что есть герои, не знающие сомнений. Бывают люди, отшвыривающие сомнения от себя, потому что это неудобно и лишает покоя. Я же отдался им, открыв все закоулки своего сознания: я задыхался в те дни — мне не хватало веры — этой мягкой, неисчерпаемой кислородной подушки человечества.

1959. <Москва.>

Самодовольство плыло по тротуарам густою уличною толпою — мужчинами, знающими все на сто лет вперед, как писал Пильняк, и женщинами, не похожими на Ларису Рейснер.

В этих улицах, близких и памятных памятью многолетней давности — мемориальными досками мраморными и мемориальными досками жестяными — именами с проспектов, тупиков и площадей; в этих улицах, видевших баррикады и трагедию 9 марта⁶, плыло довольство: узкобочное, накрашенное, по-цирковому яркое и по-торгашески упитанное, чванное и веселое, — возродившееся племя наплевизма.

Горечь и злоба не знают правил приличия: наползают слова скоморохов и народных трибунов, крикливые и больные слова.

Но в утренний час в очереди за газетами, когда почти физически ощущаешь свою затерянность и незначительность среди миллиардов — так бывает со мной в любой очереди, — я вижу иных людей: в заглаженных до блеска пиджаках с засаленными воротами, груболицых и малословных, с небритыми шеями. Они молчаливы, но глаза их молчаливее языка, в них спокойствие, мужество и самое редкое в наши дни — духовное здоровье.

У Мавзолея, возле многотонной гранитной крышки гроба, толпа командировочных, экскурсантов, гостей. Прикатила провинция — костромская, вологодская, тамбовская, российская, вытащив из сундуков ненадеванное, самое праздничное, мужнины, женины подарки, понабрав десятки заказов, впитав сотни советов и пропустив мимо ушей еще сотни, и вот, покрасневшие и усталые, повязанные платками из сельповского магазина, в платьях с высокими плечиками, будто с забытыми распялками, глазают вдовы, законные супру-

⁶ 9 марта 1953 года — похороны Сталина.

ги и девки, доярки, свинарки, хлеборобы, и кажется, трещат платья от дьявольской силы их рук, плеч, бедер. Чернопиджачное сословие бабьего начальства — председатели, бригадиры, секретари, торжественные, будто перед базарным фотографом, плятятся на экскурсовода, на Мавзолей, проглотив по аршину, и лишь изредка, вспомнив о медалях и орденах, когда-то святых регалиях, хранимых ныне в укромных уголках рядом с пачками сталинских облигаций, вспомнив о крови и победах в великом несчастье, которое можно назвать героическим и нельзя до конца оправдать, они снова, по-забытому, начинают знать все на сто лет вперед, как знают это рабочие у киоска «Союзпечати», чумакая шоферня в аду чухломского бездорожья, пенсионеры-большевики, доживающие последние дни в скептических диспутах в скверах, похожих на кладбища, и чего не дано знать пижонам у ресторанных дверей, где на шнурке «Свободных мест нет», и другим, благочинным, благопристойным, благообразным народным благодетелям, воскуряющим тот фимиам, которым окутана наша милая родина.

9.5.59.

Может быть, то, о чем я собираюсь писать, совершенно неинтересно. Особенно для тех людей, которые знают все на свете и уполномочены измерять совесть, ум, преданность, убеждения миллионов таких, как я. Им глубоко безразлично, что творится в одинокой человеческой голове, лишь бы подводная лодка мысли не выплывала на спокойную поверхность моря, лишь бы люди оставались одинокими, когда плачут, сомневаются, ненавидят и мечтают. Полезно только то, что повышает производительность труда. Полезен только тот, кто служит винтиком в машине государства. Вы хотите быть искренним? У вас есть свои соображения? В каком веке вы живете, синьор? Ихтиозавры — вымирающее племя...

Может быть, этот дневник прирастет к моей душе, и я буду аккуратен в записях. Опыт прошлого подсказывает мне, что писать дневник — рискованное дело. У тебя его могут стащить, посмеяться над тобой за глаза и потом сжечь тетрадь. Или еще лучше — превратить ее в обвинительный акт. И все-таки я пишу. В конце концов, есть же у меня друзья, которым захочется понять, почему так трудно, так неумело жил их товарищ. А может, не захочется? Идут годы, и круг друзей рвется. Есть такая быстро вращающаяся плоскость в парках культуры, что за рубль разбрасывает людей со своего полюса в разные концы. Чем быстрее вращение, тем меньше людей удерживается на этом диске. Сколько наших слетело с него, а я зацепился на самом краю, будто ребром своим зацепился, — слечу, грудную клетку к чертям, — вымру. Такова участь ихтиозавров.

5.6.59.

Иногда я прихожу в библиотеку со странным чувством бесцельности. Перебираю карточки каталогов, ищу имена тех, кого здесь не может быть, выдвигаю и задвигаю ящички, и недовольно косится на меня библиограф. Похожее случается и дома, когда среди десятков непрочитанных или недочитанных книг никак не попадается нужная. И бродишь тогда, как зверь в клетке. В тот вечер я случайно наткнулся на книжицу Волошина о Верхарне, а домой потащил еще Гофмана.

Книжка о Верхарне издана в 1919 году. Я хочу выписать оттуда некоторые фразы. Не в знак моего согласия, в знак уважения и для никуда не годной памяти.

«В наступающие железные времена человечеству не понадобятся больше ни поэты, ни художники».

«Во имя республиканского равенства, для того, чтобы показать, что художник ничем не лучше чернорабочего, их ставили застрельщиками при атаках, то есть обрекали на верную гибель: равенство всегда обрубают ноги более высокому, так как не может заставить вырасти карлика».

«Когда происходит битва на земле, надо, чтобы кто-то стоял на коленях в своей келье и молился за всех враждующих: и за врагов, и за братьев. В эпохи всеобщего ожесточения и вражды надо, чтобы оставались те, кто может противиться чувству мести и ненависти и заклинять благословением обезумевшую действительность. В этом религиозный долг, в этом Дхарма поэта».

1960. <Шабаново⁷.>

<...> Кажется мне, что печально и тихо в русской деревне. Стариной веет, запахом веков, а земля наша кажется больше и прекраснее, и почему-то жалеешь ее сильнее, чем в городе. В городе, думая об атомных бомбардировках, я никогда не представлял себе, как рушатся здания, здесь же я почти плакал, обводя глазами окрестность. Ужасно, если погибнут наши города, но смертельно, если огонь выжжет леса, травы, реки и русские деревни.

Мне кажется, что в деревне легче умирать: здесь больше шансов вырасти хорошей елкой, кленом или кустом орешника. Здесь больше шансов принадлежать всей земле, а не купленному клочку огороженного смердящего пространства. Деревни умирают, как люди: на месте изб — холмики земли, поросшие крапивой и полынью; склоняются над ними потрескавшийся тополь, полузасохшая черемуха или одичавшая яблоня. И проходишь вдоль этого кладбища и думаешь о людях, мелких, обыкновенных, которые жили здесь, а потом ушли куда-то или вымерли, потеряв наследников в войнах и в городах.

Шабаново — не знаменитая деревня. Было в ней до войны 45 дворов, осталось четырнадцать. Похорожки принесли в каждую избу. Сейчас один мужчина пастушит, другой промышляет кротами, третий служит почтальоном, четвертый механизатор. Было еще двое молодых ребят-трактористов: забрали в армию. Хозяйничают на полях женщины, бабы и бабушки. Спозаранок, широко ступая босыми ногами, идут они гуськом в луга, и за их мужскими плечами тускло светятся лезвия кос. <...>

Среди славных шабановских тружениц наша тетя Тася. Все, что написано впереди, это претензия на предисловие к письмам тети Таси. Письма эти не попадут в архивы, никакому историку не придет в голову по ним изучать нашу выдающуюся эпоху, они не привлекут внимания фольклористов. И все-таки я не могу спокойно их перечитывать. В них печаль и тишина деревни, вечерние слезы и тоска о несбывшемся. В них — суровая жизнь современной крестьянки.

Историки все еще пишут жизнеописания вождей и хронику сражений, без конца твердя о народе — творце истории. Народ они исчисляют семизначными и восьмизначными цифрами: столько-то миллионов погибло в первую мировую войну, столько-то — во вторую, столько-то погибнет — в третью. Будь на свете Господь Бог, взял бы он за шиворот нашу любезную историческую науку и повел бы ее к творцам истории за стол, под черную икону, под фотографии убитых и сказал бы так: здесь ваш единственно верный первоисточник. Вслушайтесь, как дышит этот дом, сложенный много лет назад, взгляды-вайтесь в морщины хозяйки, в ее отполированные трудом ладони; в ее выцветшие глаза, выпейте с ней вина, выслушайте ее повесть, если она вам ее расскажет. А если не расскажет, то угадайте сами, для чего она живет на белом свете, чего она ждет, о чем думает в новогоднюю ночь, и думает ли о чем, почему плачет над письмами родне, себя ли жалея или всех бедных людей на земле. Проверьте, можно ли убиваться по корове или теленку, и не день, не два, неделями? Можно ли жить, не слушая тарактения радио и не читая газет? Можно ли десятилетиями помнить любимых, убитых, загубленных и не изменять им, отказываясь от столь ценимого людьми личного счастья, и может ли самая великолепная стратегическая победа восстановить справедливость в глазах такой женщины? Да разве столько вопросов задает жизнь, и разве столько вопросов никогда не находит ответа.

Тетя Тася почти ровесница революции: родилась она в восемнадцатом году. Если бы она появилась на свет десятью годами раньше или позже, было бы для нее лучше. Но, как учат нас всевозможные столпы науки, вовремя рождаются только великие люди: история заранее планирует их приход. Наша тетя Тася в список великих не попала. Видимо, потому, что на ближайшие полвека лимит «великих» был трагически перерасходован, на грани с растратой. Возможно, последнее обстоятельство особенно сказалось на всей жизни тети Таси и многих ее далеких и близких соплеменников. Когда великие мира сего затеяли всемирное побоище, тетя Тася проводила на фронт жениха. В срок втором она получила похоронное извещение. Другого жениха не искала, хотя и помнила пословицу: перемелется — мука будет. Ничего, однако, не перемололось, разве что через много лет после войны тетя Тася перестала ждать

⁷ Ш а б а н о в о — деревня в Вологодской области, ныне не существующая, где был дом родственников.

возвращения своего суженого. Теперь она живет в большом и старом доме-пятистенке вместе с родным братом — Харитоном. На доме, как старый сургучный штамп, жестяной кружок с надписью: «Страховое общество «Якорь», 1886 год». Нельзя сказать, что разрушенной оказалась вся жизнь нашей тети Таси: она бригадирствовала, председательствовала, но для человека этого явно мало. О ней говорили: «Она соблюла себя для мертвого».

Сегодня тете Тасе можно дать 50 — 55 лет, у нее широкая, прямоугольная спина и тяжелые большие руки. Лицо у нее скуластое, строгое и малоподвижное. Я всматриваюсь в него: оно мне кажется непроницаемым и властным. Я немного опасаясь тети Таси, я жду от нее каких-то резких слов, осуждающих мою интеллигентскую деликатность, но она молчит. Она вообще говорит очень мало, и если мы заводим разговор, то о погоде, о бычке Ждане и корове Марте, о бабе Маше, в сених у которой уже не первый год стоит гроб и не может дожидаться ее кончины.

Мне хочется взглянуть на погибшего жениха, но в рамке под стеклом на месте его фотографии — белый пустой прямоугольник. Рядом новый портрет тети Тасиной племянницы. Когда эта девица была еще девочкой, она жила вместе с двумя двоюродными сестрами, такими же тети Тасиными племянницами, в деревне, и тетя Тася была им вместо матери. Тогда была война, и это чего-нибудь да стоит — возиться с тремя малыми детьми и работать в колхозе. Когда холоднолицая Люся приехала в деревню, ей было шесть месяцев, и никто не называл ее тогда холоднолицей, а когда она уезжала, ей исполнилось девять лет, и никто не думал, что она вырастет холоднолицей.

Теперь Люся — секретарша и машинистка, она живет в большом городе и знает толк в кое-каких вопросах городской культуры и морали. Раз в год она приезжает в отпуск пить парное молоко, ходить по грибы, играть с деревенскими мальчишками в круговую лапту и привозит тете Тасе свои новые фотографии.

Одна из них висит на том самом месте, где много лет сидел-посиживал на венском стуле и раскуривал свою долгую папиросу парень в пилотке. У фотографии была своя история, своя история была у венского стула, у этой солдатской папиросы, потому что была война, и сидел покуривал этот солдат, может быть, после боя, может, перед боем, и, может быть, были на десять солдат один венский стул, одна мирная роскошная папироса и один мирный районный фотограф, и каждый из десяти хотел предстать перед далекой родней, перед далекими девушками в наилучшем виде, в полном благополучии и процветании.

Об этой фотографии мне рассказывала Тома: не о венском стуле, не о папиросе, а о солдате в пилотке, который сидел покуривал, закинув ногу на ногу, и смотрел прямо перед собой, на всех, переступающих порог избы. Шли годы, вырастали Люси, умирали бабушки, а солдат сидел, покуривал и все смотрел, смотрел, и будто табачным дымом заволакивало его лицо.

Потом тетя Тася вынула солдата из-под стекла и куда-то его спрятала... <Еще> хранит тетя Тася две старые тетради: в одной — молитвенные песни, в другой — песни печальные, слезные, той военной поры. Наверное, лег к ним на покой беспокойный куряка солдат: на дно заветного сундучка, на самое дно души.

Пела ли она эти песни, читала ли про себя, плача и причитая, — для людских ли это глаз зрелище, для любопытных ли присмотрщиков искушение? Если и были свидетели, то неречистее сумрачной Богородицы в углу под потолком да робкого и стеснительного домового, верного сотрудника страхового общества «Якорь». Домовой, мохнатый старичок ростом с кролика, сидел на полатах, рядом с почтовой сумкой дяди Харитона, и вздыхал на весь дом.

Немало слез было пролито в этом дому, еще больше слез обронено у околицы. Уезжают отпускники восвояси, к своим заботам, работам, к своим сундукам заветным, где на самом дне своя печаль, своя душевная тайна, закрытая от глаз людских, от анкет, от суда. Плачут у околицы, будто навсегда расстаются, и щемит сердце, как бы ни звала дорога. И оборачиваемся мы и машем рукой, раз, другой, десятый, и уходим все дальше и дальше, а там, позади, у опущенного березового шлагбаума, стоит тетя Тася, простоволосая, угловатая, и машет нам белым платком, и будто уносит нас неотвратимый поезд, а она остается на зеленой и тихой платформе с белым платком в опущенной руке. Но вот поворот, и не видно оставленной деревни, и не видно, как закрывает тетя Тася бере-

зовый «шлагбаум», чтобы не убежал куда-нибудь в поисках лучшей доли чер- ный с белыми пятнами теленок Ждан и его разномастные братья и сестры.

А потом придут письма, написанные карандашом, письма тети Таси из од- ного далека в другое далеко.

10.6.60.—22.7.60.

Вот и сюда, в тихое Шабаново, пришла весть о смерти Хемингуэя. Мы мучились с керогазом, он явно не хотел гореть. <...>

Рядом на лавке возле ведер с водой и мотка колодезной веревки лежала газета, сообщившая нам о смерти Хемингуэя. На газету кто-то поставил глубо- кую тарелку с блинами. Они возвышались розовой круглой башней, по ней стекало масло и капало на газету, расплываясь темными прозрачными пятна- ми, в которых проступали буквы обратной стороны газетного листа. Желтое пламя упрямо уползало с черного кольца фитиля. <...>

Мне снова казалось, что живет в нашем мире незримо и потаенно жесто- кая и насмешливая ирония. Она не любит, когда мы взбираемся на трибуну, а в детстве становимся на стул для декламации. Она не любит, когда говорят высокие слова — в горе ли, в радости. Прислушиваясь к ней, я понимаю, по- чему скрипит кресло в торжественной тишине зала, где, захлебываясь святыми словами, витийствуют верховные жрецы.

Кому-то в такие минуты становится стыдно. Тихим седым женщинам у дверей с программками в руках? Микрофонам, красной скатерти, скрипнув- шему креслу, ускользящему времени? Кому же?

Мой старый товарищ вернулся из Анадыря и подарил мне божка, которо- го почитают чукчи. Божок размером в спичечную коробку и сделан, выточен из моржовой кости. У него узкие глаза и рот до ушей. Он стоит у нас на книжной полке и смотрит сверху узкими ехидными глазами, улыбаясь лягу- шачьим добродушным ртом. Мне кажется, что в нашей комнате поселился тайный агент всемирной беспощадной иронии. Наверное, это он меня застав- ляет оглушительно чихать, когда я в сумерках пытаюсь говорить <...> слова, без которых трудно жить человеку и которые я не устаю повторять.

Теперь я думаю: может быть, он прав? И стоит любить, жалеть и ненави- деть молча?

В тихом Шабанове раскосого божка не было. Он остался охранять дом. Из темного угла смотрела на нас печальными глазами пресвятая Богородица в тяже- лой раме из черных, тусклых досок. Под нею было страшно сидеть. Она не уме- ла улыбаться, и в ее печальных глазах не было жалости, когда я читал у нее под носом о смерти великого чужеземца. Мне хотелось бежать из избы и совать всем встречным газету: «Умер Хемингуэй. Вы понимаете, умер Хемингуэй. Это был великий писатель. Без него мы станем беднее, ниже ростом, короче мыслью». Слезы бродили во мне, и было хорошо от этих невидимых слез, от того, что так тронула меня смерть далекого и такого, в сущности, чужого старика.

Я никуда не побежал, а сказал только Томе, которая возилась с керогазом. Мне хотелось поговорить, рассказать про свои невидимые слезы, а пришлось садиться на корточки и тыкать спичкой в проклятый черный фитиль, не же- лавший загораться. Керогаз выжимал из меня пот, он насмеялся надо мной, он не хотел слушать про мои слезы, он скрипел и чихал, будто ему в носу ще- котали травинкой. Я разозлился, и керогаз наконец засветился синим пламе- нем. Я вышел на крыльцо. Избы стояли тихие, будто пустые. За ними в низи- не колыхались озера голубого тумана. Пятимесячный бычок Ждан кланчил хлеба, тычась черной мордой в мое колено. У Ждана было необыкновенно яс- ное будущее: кастрация и мясокомбинат. Лучше бы он был бойцом и умирал сражаясь. Даже сражаясь ни за что.

Пожалуй, очень хорошо, что я не болтал в тот вечер, когда в заброшен- ную, умирающую русскую деревню пришла весть о смерти самого немного- словного писателя земли, знавшего истинную цену человеческому молчанию и мужеству. Может быть, тененто Эрнесто еще в 1914 году услышал насмешли- вый голос своего божка, умеющего скрипеть, чихать и свистеть, когда в мире звучит аллилуйя, когда микрофоны дрожат от раскатов святых слов, а в брат- ские могилы грузят трупы юнцов, погибших за гроб Господень или еще черт знает за что.

1960. <Кострома.>

Долгое время всякие добрые люди из сослуживцев называли меня «наивным», а я долгое время никак не мог понять, что означает это слово в их устах. Возможно, тем, кого я не вполне серьезно называю добрыми людьми, казалась недостаточной моя осведомленность в роковых и тайных вопросах взаимоотношения полов, и им, людям, умудренным по дамской части, хотелось восполнить некие деликатные пробелы в моем университетском, по их мнению, сугубо непрактическом образовании. Если бы это было так, я бы не удивлялся и не ломал голову, так как добрые люди таким манером лишь подтверждали бы свою духовную и моральную цельность, свободную от предрассудков и от чуждого им болезненного раздвоения личности, когда одну из сторон ее бытия неправомерно объявляют интимной и скрывают от любознательной общественности, жаждущей здоровой и деловой откровенности. Это и было так, но лишь потому, что моя «наивность», как я понял позднее, вмещала в себя по меньшей мере миллион всяких неосведомленностей в проблемах быстротекущей жизни <...>

Я было решил, что «наивность» — это незнание, этот самый «миллион неосведомленностей», и мое сердце сжималось, когда я слышал на собраниях это «стыдное» слово, уличающее меня в профессиональной и человеческой неполноценности. Потом я догадался, что мое незнание какого-то особого рода, ничего общего не имеющее с малограмотностью и моим не трудовым, а школярским прошлым. Из публичных упреков, из раздраженных резолюций редактора на моих корреспонденциях я наконец уяснил, что я не то чтобы не знаю действительности, а просто не знаю, как ее объяснить, и потому толкую ее наивно, незрело. Со временем я смирился с упреками в «наивности», но не отказался от превратных толкований, которые казались мне если и не единственно возможными, то, во всяком случае, честными. В эти первые годы моей газетной работы я полюбил слово «наивный», хотя очень редко слышал, чтобы оно употреблялось в положительном значении. С тех пор я прямо-таки возненавидел многоопытных «добрых» наставников заблуждающегося юношества, о которых стоило бы написать много резких и презрительных слов, хотя вряд ли изменят их даже самые яростные филиппики.

Случается, и это бывает радостным событием для меня, открывать наново какое-нибудь старое, хорошо знакомое и даже наскучившее слово, содержимое которого вроде бы знаешь, как свои карманы. Может быть, я безнадежно запаздываю в своем развитии, но я продолжаю «открывать» слова до сих пор. В одной из последних пьес Штейна я вычитал, что слово «Совет» родилось от слова «советоваться», и это потрясло меня как откровение. Наверное, по этому «потрясению» можно заключить: от наивности я так и не излечился.

Однажды где-то у Ленина, кажется в «Философских тетрадах», мне попались слова: «наивный значит свежий». По нашим временам не могло быть лучшей защитительной речи для этого «стыдного» слова. Сам я не нуждался в оправдательном приговоре «добрых людей», мне надо было оправдать самого себя перед самим собой без компромиссов с совестью, столь покладистой в наших внутренних делах. Я нуждался в таком оправдании не потому, что чувствовал себя виноватым: кто-то ведь должен говорить человеку, что он прав, кто-то ведь должен быть ему судьей и учителем. Страшно идти одному по пустынной дороге, затыкая уши от шепота и крика: «Ты не прав, твоя дорога никуда не ведет, ты наивен в своем никому не нужном упорстве!» Невеселое занятие твердить себе под нос: «Ты сам свой высший суд!» <...>

31.3.62.

Обеспокоенные райгазетчики толкуются в нашей редакции. Приехал местный писатель Николай Колотилов⁸ в потертом пальто, без шарфа. Надел, видимо, лучший свой костюм и белоснежную рубашку с белым же галстуком. У него большая благородная голова, в спокойных, холодноватых голубых гла-

⁸ Колотилов Н. Ф. (1919 — 1967) — костромской писатель, участник Великой Отечественной войны.

зах — беспомощность. «Наконец-то получил в Нерехте комнату. А теперь снова сниматься с места?» Он не очень-то верит, что его возьмут в межрайонную газету <...> Но Колотилов шутит: «Слава богу! Умирает могильщица великого русского языка!»

Сегодня Колотилов рассказал историю, которую хочется записать. Было это уже после смерти Сталина. (Вот она — историческая веха, от которой отсчитывают новый календарь!) Довелось Колотилову побывать в какой-то глухой ярославской деревне. Впрочем, это могло быть и в дальнем райцентре. Продавал старик грибы, а женщины его упрекали: дорого. (Или в райцентрах грибами не торгуют? Ну, бог с ним, суть важна!) Старик оправдывался: «На курево надо, бабы. В день уходит осьмушка и еще пол-осьмушки. Да на газету нужно рубль в день». Я удивился, рассказывал Колотилов. Почему рубль? Газета стоит 20 копеек. «Это тебе 20 копеек, а мне рубль», — сказал старик. Колотилов пошел на почту, и девушка служащая расплакалась. Старик жил будто в военное время, когда газеты были дороги и на них трудно было подписаться. Девушка его не разубеждала, ей тоже нужны были деньги, и она брала по рублю. Колотилов решил выписать старику газету без обмана. Но выписать удалось только берлинскую газету, на другие — подписка кончилась. Уже позднее старик очень благодарил Колотилова: ему очень понравилась немецкая бумага. Когда получал газету, то аккуратно разрезал ее на узкие полоски, свертывал их в маленькие рулоны и распихивал по карманам. Из советских газет старик очень не уважал «Советскую Россию»: не удовлетворяла бумага. По подсчетам Колотилова, старик этот выкурил за долгую жизнь сенной сарай табаку. Умер старик от курева: отнялись ноги, потом еще что-то стряслось, и кончилась жизнь знатока современной прессы.

8.4.62.

<...> Товарищ мой В. Л. был в командировке в Судиславле. Присутствовал на каком-то заседании председателей колхозов. Там объявили, что нужно в кратчайшие сроки представить списки на бронирование: начальство, лучшие механизаторы и проч.⁹ Великолепная новость. Если вдуматься — мерзейший идиотизм. Всякая подготовка к войне отвратительна. Я боюсь не за себя, я боюсь за сына и за миллионы таких, как он. Люди рождаются, чтобы жить. Если это убеждение — пацифизм, то я — пацифист. А мы всё мельчим и мельчим, подчиняемся служебной суете, тщеславным помыслам, мним себя чем-то. А что мы значим, когда за нас думают, за нас решают, нами располагают. Дети любят играть в оловянных солдатиков. Жаль, что даже престарелые взрослые не отучиваются от этой игры. Не зря марксисты так не любили государство. Чувствуешь себя ничтожеством, потому что нет никаких гарантий.

За окном мерцают ночные огни. Они тоже зыбки, их благополучие иллюзорно.

Я, наверное, рискую, делая такую запись. Илья Эренбург не зря писал, что наше время оставит мало дневников, писем, исповедей. Оно больше время анкет, протоколов допросов, добровольных объяснений, написанных с горечью и отвращением. А я все-таки пишу. То ли я верю в доброту новых времен, то ли я уже ничего не боюсь, потому что верю в свою правоту и невиновность.

Таня Львова¹⁰ рассказывала о наших однокурсниках. Черт с ними. У каждого своя дорога, и каждый оправдывает ее перед собой на сто процентов. Я не завидую им, не осуждаю их, просто что-то потеряно, что-то оставлено позади. И горько от этого и невесело. И главное — не ново все это, совсем не ново. Помню, Лев Тихомиров писал о революционерах, ставших добродетельными чиновниками. Он всех мерил по себе. Так то хоть были революционеры. А мы так... самостоятельно мыслящие молодые люди. Грошова мы с вами публика, ребята!

Утром сочинял статью о костромских писателях. Замучился. Самому страшно, когда повесть на глазах разваливается на части, из коих была составлена. В радиоприемнике сотни деталей, металлических, стеклянных, пластмассовых и прочих; объединенные в определенной последовательности, они дают потряса-

⁹ Время Карибского кризиса.

¹⁰ Т. А. Львова-Макеева, журналист, однокурсница И. Дедкова по университету.

ющий, сказочный эффект. В плохой литературе факты жизни объединены дурацкой схемой, которая не дает никакого эффекта. Факты и детали погибают, пылясь и плесневея. Вот ведь не берутся встречные и поперечные монтировать приемники. А книги стряпают, да еще оберегают их, как злые цепные собаки.

14.4.62.

<...> Приходил в редакцию маленький молодой мужчина — Вячеслав О., электромонтер. Пришел чумазый, пьяный, искать помощи. У него жена и маленькая девочка, лет трех, что ли. Живут в сыром подвале, очень тесном. У девочки врожденный порок сердца. Возили ее в Москву, жили у знакомых, в железнодорожном вагоне. «Хоть воздухом чистым подышали после подвала». Врачи посоветовали операцию. Скоро повезут девочку оперировать. Сейчас жена в родильном доме. «Роды назначены на двадцатое». А квартиры все не дают и не дают. Вот он и пришел в редакцию за помощью, хлебнув для храбрости. Говорит мне: «Не знаю, что делать, Игорь. Бьюсь, бьюсь, а ничего не получается». А чем я ему могу помочь? Сколько таких, как он, обивает пороги нашего отдела писем? В обмороки падают, плачут. А я ведь Вячеслава знал раньше. Он приносил ультрапатриотические стихи, написанные аккуратнейшим почерком очень ясного человека. Сейчас ему писать некогда. Жена давно не работает из-за больной девочки, и он после работы ставит счетчики, делает проводку и прочую мелкую работу случайным клиентам. Но мне кажется, что, если он опять притащит мне стихи, написанные все в том же подвале, они будут прежними, ультрапатриотическими. Я назвал его маленьким молодым мужчиной потому, что он очень низкоросл, к тому же горбится, и волей-неволей вспоминаю о пигмеях, целом народе.

<...> Сегодня дочитал «Зиму тревоги нашей» Стейнбека. Великолепный роман, в котором зазря не уронено ни слова. Я бы сказал, что это высокоорганизованный роман. Жизнь сталкивала, сталкивала, сталкивала человека, но столкнуть не смогла. И даже если один огонек добра все-таки зальют водой пошлости, грязи, корысти и предательства, то непременно зажгется другой огонек. Мал и одинок этот огонек, но он еще теплится в человечестве.

Полицейского начальника Скоби у Грэма Грина тоже сталкивали, сталкивали, но столкнуть не смогли¹¹. Человеческой подлости он предпочел смерть. А нас не сталкивают ли так же упорно в ту же пропасть? Только толчки эти легкие, я бы сказал, обходительные, вежливые, но зато они неотвратимы. В общем-то, человек, видимо, повсюду борется с одним и тем же. С античеловеком в себе и с античеловечностью вокруг. И в 99 случаях из ста, наверное, совсем не борется. Может быть, Веркор прав: многие люди не понимают, кто такой — человек и чем он отличается от прочего живого мира. <...>

25.4.62.

<....> Вчера был вечер поэзии Луговского в библиотеке. Народу было очень мало. Асеев и Межелайтис собирали больше. Говорил и я. Неважно, без подготовки. В углу зала сидел в штатском майор <госбезопасности> и откровенно записывал нужное. Я увидел его сразу, как пришел в библиотеку, но ребятам не сказал, боялся, что начнут нервничать. Когда шли домой, Виктор Бочков¹² спросил, знаю ли я того типа в углу. Я сказал, что знаю. Мы сказали о Лаврове и Мише. Судя по его лицу, он не испугался. А может быть, и испугался. Ему это, кажется, впервой. А я вроде бы давнишний поднадзорный. Пришел домой, настроение испорчено. Зачем он приходил, чего ему надо, чего надо им всем, чего они боятся, кого они боятся? Одна из «непричесанных мыслей» Ежи Леца звучит примерно так: «Входя в душу ближнего, вытирайте ноги». Хотя бы вытирали ноги.

В четвертом «Новом мире» прочитал сегодня Эренбурга¹³. И труднее стало, и легче, мои переживания показались мне микроскопическими. Главное — не надо бояться.

¹¹ Грин Г. Суть дела. Роман. Перев. с англ. М. 1961.

¹² Бочков В. Н. (1937 — 1991) — историк, краевед, друг И. А. Дедкова.

¹³ Речь идет о 4-й книге воспоминаний И. Г. Эренбурга «Люди, годы, жизнь».

Сегодня Кеннеди отдал приказ о начале наземных ядерных испытаний. Еще один шаг к концу. Удивительно бесчеловечный век. А ведь время человечности кажется таким недалеким, люди заждались человечности. <...>

23.6.63.

Вчера исполнилось 22 года с начала последней войны. Поколения получили с тех пор жизнь. Они совсем не помнят войну, они изучают или будут изучать ее в школе. А я помню первый день войны, и второй, и третий, и многие, многие другие. Значит, я уже совсем не молодой человек. Помню, в сорок третьем году мы были во Фрунзе, и я каждый день с судками ходил в столовую получать какой-то обед. Верно, это был папин обед, он приехал тогда с фронта учиться в инженерную академию, которую перевели из Москвы во Фрунзе. Запахи этих обедов я помню до сих пор, и иногда они вспоминаются мне посреди улицы, и тогда я замедляю шаги, припоминая, какой это суп мог так пахнуть. Однажды меня сбил велосипедист, ехавший по тротуару. Я пролил суп, мигом впитавшийся в горячий киргизский песок. (Мы жили на Пишпеке, там не было асфальтированных дорожек.) Выпал из кастрюльки и кусок брынзы, выданный на второе. Дома на меня сильно кричал отец, он ударил меня за то, что я не подобрал эту брынзу: ее можно было бы обмыть и съесть. Папины обеды мы ели все вместе — вчетвером. Я многое забыл, но этот кусок брынзы — белый, разомлевший на жаре — я хорошо помню без всякой обиды на отца.

Детство мое в военные годы я вспоминаю как далекий горячечный бред. Лишь немногие картины я храню в себе с радостью, немногие ощущения.

На будущий год мне — тридцать, а я все еще кажусь себе юношей студенческой поры. Я не жалею, что из всех возможных выбрал «костромской» путь. Жаль только, что здоровье, нервы, умственная энергия так часто расходовались на дело казенное, конторское, на три четверти бесполезное, на людей фальшивых, недалеких и самодовольных. Там, на триста семьдесят шестом километре от Москвы, я открыл, что служба требует не ума и творчества, а послушания и ремесленничества. Ум и творчество — это сугубо добровольное и беспокойное приложение к служебной нуде, которое ты делаешь в силу угнездившихся в тебе идеалов...

Здесь каждый день идут дожди. Льет и сейчас, косо, с северной стороны. Коровы, повернувшись к дождю задом, бродят носом в траве на единственной шабановской улице. Домой их еще не пускают — рано. Коровы не бунтуют, они рады, что их не кусают полты, как здесь называют то ли оводов, то ли слепней. Иногда мне не по себе от здешней тишины и спокойного равнодушия до всего, что не касается этой деревни, хотя эти унылые, особенно в дожде, и замкнутые в себе избы во многом правы, что именно так, недоверчиво и без восторга, воспринимают далекий и суетливый мир, гудящий в радиоприемниках, когда какие-то неизвестные олухи соблаговолит включить в сети электричество. Никто в Шабанове газет не выписывает. Дядю Харитона за это ругают, а он говорит одно: у людей нет денег. Но это и правда. В колхозе уже два месяца ничего не платят, за сдаваемое ежедневно государству молоко — тоже. <....>

Лето 1963 года.

<...> Помню, как меня агитировали вступить в партию. «Зачем ты тянешь: у тебя не будет хода, у тебя такая работа, ты ставишь крест на своем будущем». Мама даже плакала. На службе косились: он что-то затаил; и говорили: тебе пора вступать. А я — ничего не таил. В одиночку — разве доверишь такое! — я примирял противоречия: политическую апатию и несамостоятельность, косность и пошлость окружающих я соотносил с великими идеалами революции, с выношенным образом коммуниста-революционера, мучился, не находя точек соприкосновения, и снова искал эти проклятые точки и, не найдя их, писал заявление, думая о Революции, о Ленине и его соратниках, о многих миллионах коммунистов на всех широтах, борющихся за истинную свободу и братство людей.

Вскоре меня повысили в должности, а через некоторое время попросили зайти в обком партии, чтобы получить медицинскую карточку на себя и на жену для спецполиклиники. Так здоровье жены и мое стало особо важным для партии. Я повысился в своей ценности: до этого события я мог вскочить в

шесть утра и бежать в общую поликлинику, чтобы занять очередь за талончиками к зубному врачу. Теперь я могу не стоять в общей очереди рядом со всякими там пенсионерами, мелкими служащими и простыми работягами. Я повысился в цене, раз я лечусь там, где лечатся все городские начальники. Спецполиклиника — романтика исключительности, привилегированности, избранности.

Когда я уходил в отпуск, мне выдали лечебные — для поправки моего драгоценного здоровья. Я могу быть здоровяком из здоровяков, меня все равно награждают лечебными, потому что я — на руководящей работе: заведую отделом.

Странно, что неделю назад, когда еще не был подписан приказ о моем назначении, мое здоровье никого не волновало.

Мелкие фактики нашего скромного бытия! У меня — мелкого служащего, мелкого — на общем фоне огромной лестницы, уходящей под облака и до последней ступени занятой важными и блистательными лицами, для которых мои лечебные в пятьдесят рублей никогда не могли бы стать событием, как для меня, — вот на таком-то фоне я начинаю чувствовать себя частицей великого живописного полотна, именуемого историей. Просыпается мое разгоряченное первой привилегией воображение. Я неустанно зрю в будущее.

Оно могло бы быть лучезарным: квартира из трех-четырех комнат на троих, служебная машина, казенная дача, бесплатная путевка, зарплата в три раза выше, чем у сотрудников, обязательное место в президиумах. Представляю, как убоги эти мечты, ограниченные провинциальным кругозором. <...>

Высшее проявление демократичности современного руководителя — это путешествие пешком из дома на службу и энергичный мат при общении с рабочим народом. Мат укорачивает расстояние между сердцами, обеспечивает наилучшее взаимопонимание.

1—2.12.63.

Читаю «Дневник писателя» Андрея Белого¹⁴ и случайно замечаю, что параллельно с процессом понимания Белого возникает в сознании моем воспоминание о давнем и повторяющемся время от времени сне. Широкая мраморная лестница во дворце, ведущая в верхний этаж — этого верха я не вижу и там не бывал, — а вправо и влево от нее — лабиринт комнат, залов, в которых я раз блуждал, через которые мчался то ли прячась от кого, то ли разыскивая чей-то след и выход.

Странно, когда я стал записывать это невесть откуда взявшееся — совершенно бессознательно — ощущение, я подумал, что оно имеет — по случаю — прямое отношение к прочитанным статьям Белого. И не потому, что мысль его — запутанный лабиринт, — это неправда, и во сне — не лабиринт мне повторялся, скорее что-то, похожее на детскую еще память о таинственных коридорах гриновской «Золотой цепи». Не лабиринт у Белого, а гулкие комнаты — гулкие, как ночные лестничные клетки и как перроны столичных вокзалов, — он ищет в себе человека, свободного от эгоистического индивидуализма, эгоизма социального, но до сих пор никто такого человека еще не выслушал из нынешней человеческой особи — ни из себя, ни из других.

В «Дневнике» — летящая мысль, она — в самом полете, я вижу, как она летит, сначала будто бы бесстрастно и гулко, философически великолепно, а потом, не выдержав будто высоты, вочеловечивается в искреннейшем прощении писателя и человека Белого на имя республики и всей общественности: дайте несколько поленцев, дайте быть самим собою!

Мысль бежит сквозь комнаты, саму себя волоча за хвост. За философичностью — человеческая трагедия: да я и сам здесь, кажется, не нужен! И еще: безмерность обреченных претензий. Кажется, что претензии — выше сил его, и не презираешь его за это — жалеешь и понимаешь.

Я, кажется, научился понимать даже то, что не приемлю, — не Белого здесь имею в виду — Розанова, например; эротику Пильняка, программное еретничество Замятина и т. п. Нет во мне возмущения, отрицания, отфыркивания. И потому не понимаю критический, политическо-обвинительный пафос современного литературоведения: по инерции ищут политических врагов,

¹⁴ Белый А. Дневник писателя. М. «Записки мечтателей». 1919, № 1; 1921, № 2 — 3.

что ли, опасаются реставрации — считают несостоявшимися пособниками несостоявшейся реставрации? Я вижу людей талантливых, мятущихся, — популярное ныне слово, — самостоятельных по праву художничества, особо русского. За прожитое усвоил я крепко, что таких легко ругать, почетно ругать и выгодно, но таким стоит кланяться в пояс, что есть они и были, раз сами быть такими не можем или трусим. Не научился я только прощать, а значит, и понимать политического и литературного торгашества и нахальства, а также непогрешимости, удобно покоящейся на авторитетном фундаменте власти. Может быть, потому что все это — от пренебрежения людьми, от узкополитического подхода к ним, от нежелания знать больше. Вот почему нельзя не уважать меньшинство, какое бы оно ни было. И еще не забыть бы, что самое противное — это физическая сила; власть — та же физическая сила. Силу не хочется понимать, она вне истинно человеческого.

Зачем я пустился в эту абстрактную словесность? Не про то бы писать — не про силу и нахальство, а про ночь и тишину деревни в городе и про завтрашний день, от которого не ждешь ничего хорошего, и про жизнь, которая как песок сквозь пальцы, и про кофе, который не дает мне спать, и про то, как простаивает без надобности кому-либо, чему-либо, зачем-либо моя душа. И не душа вовсе, а весь человек, и бегу я седьмой год по унылым комнатам с гигантскими письменными столами, и мелькают двери, пронумерованные и оприходованные, и никуда не выскочишь, и нумерация кажется бесконечной, осыпается земля под <ногами>, локтями, и ногти болят цепляться, и жалеешь себя, и молишь о чуде, и тысяча услужливых голосов твердит тебе, что дирекция Зоопарка купила тебя навечно, и клетка твоя закреплена за тобой пожизненно, и корм твой никто не отнимет, а потому иди по кругу, и подавай всем лапу, и улыбайся счастливо, и щерь, щерь свои осыпающиеся зубы, и радуйся небу, и солнцу, и птичкам, и мягкой подстилке...

И не об этом хотел написать я — не обвинительный акт против себя, а печальную правду и светлую доброту, не отрицание, не глумление, а робкое утверждение, тишайшую исповедь, но гордую и смелую, если бывает смелость тишайшая и гордость робкая. О смиренном несмирении написать бы, о честности потаенной, о молчании моем и нашем, и еще о молчании, и еще о молчании и о молчаливой болтовне, и о любви, с которой будто родился, и умрешь не будто, а верно, о верности словно от века, словно вечной и какой-то последней, как последней бывает надежда. И не напишешь потому, что надо сочинять роман, и надо писать разговоры, и надо тысячу ночей, и еще надо талант, а без него не спасут и миллионы ночей и вся жизнь, просиженная над бумагой, и ничто вообще не спасет, и не надо, чтобы что-нибудь спасало: пусть романы пишут другие, а я напишу эту чепуху, эту беготню по комнатам большого дома и больших ожиданий, и никто не слышит, как гулко стучат мои каблуки и как поскрипывает в углах паркет и чуть ли не гнется, как молодой лед, и как хорошо, что все спят и не смотрят на меня, и не слушают, как я иду, и не видят, как дрожат у меня колени, и не видят, как хочется мне идти по одной половице, чтобы никому не помешать и не оступиться, и кого-нибудь встретить в этой пустыне, и найти окно или дверь в сад или на площадь, но в доме нету слуг и камердинера и добрых фей, и нет в нем ни одной знакомой, пройденной комнаты, потому что дороги назад нет и двери позади меня исчезают. И потому пора просыпаться. Всегда просыпаются, когда страшно. Всегда кончают писать, когда писать надоедает и круг завершен.

6.12.63.

«Задача строительства пролет. культуры может быть разрешена только силами самого пролетариата», — писал В. Плетнев («Правда», 1922, 24 сентября, № 217). Реплика Ленина: «А крестьяне?» Не ленинская реплика, всецело находящаяся в плену определенной схемы, кажется мне важной, а тот «изоляционизм» (об этом говорил З. Паперный в предисловии к книге «Пролетарские поэты первых лет советской эпохи», 1959), который отчетливо выражается в словах Плетнева, по-современному интересен. И не потому, что как этот случай, так и другие — некоторые программные пункты «рабочей оппозиции» и «троцкизма» и «демократического централизма» — находят свои аналогии, пусть и не

прямые, в наше время. Не в случайных аналогиях и «совпадениях» дело, а в некой закономерности, с которой движется революционное преобразование пролетарского толка. «Изоляционизм» — как сопутствующая болезнь. При Сталине — полная изоляция республики от остального мира (после 1945 года).

Рецидивы можно наблюдать и у нас, и в Китае. Как следствие искаженного мыслительного процесса, как следствие высокомерия и боязни, что сосед или противник окажутся умнее и значительнее. Уроки из минувших исторических периодов извлекаются сегодня робко и очень редко, будто это не задача публициста или даже историка. Двадцатые годы как не до конца проявленная фотография последующей эпохи. Точнее, в них можно обнаружить предпосылки, намеки, предчувствия, прообразы, не до конца проявленную сущность последовавшего за ними трагического десятилетия предвоенного. Вся беда в том, что люди потрясающе забывчивы во всем, что касается прежде всего общественной жизни. Так почему бы им не напомнить, почему бы не напоминать время от времени об истинных героях и об истинных предшественниках?

Даже нынешнее равнение на читателя — рабочего или крестьянина, нынешняя многозначительная поддержка поэта с рабочей специальностью — несколько видоизмененное повторение старой ставки на пролетарскую литературу. Минули десятилетия, изменились лишь масштабы и цель, существо осталось прежним: недоверие к интеллигенции, показное «прислушивание» к мнению народа.

9.12.63.

«Необыкновенная весна» Хена и Лесевича¹⁵. После польских фильмов я хожу взволнованный и умиротворенный. Будто что-то утолено неутоленное, получено неполученное. Иногда, как сегодня, прощаешь многое, но зато сколько радости, сочувствия, понимания, сколько согласия в понимании доброго и злого, человеческого и казенно-риторического. Говорят, что поляки не любят нас, русских. Я не верю этому. Но даже пусть так. Я люблю поляков, их литературу, искусство, их дух. Может быть, это «литературные» поляки, но разве литература настоящая обманывает?

Какие мы все трусы! Это так бесспорно, потому что мы все всё объясняем, стараемся быть умнее самих себя. Все наше существо вопит: «Нет!», а поразмыслив, мы говорим: «Да!» Или молчим. И молчание считаем своей высочайшей доблестью. <...> Мы меряем нынешней меркой, мы укорачиваемся сами, мы пригибаемся, чтобы наши головы не торчали и не возвышались. <...>

12.1.64.

Вот оно какое — время! Увольнение отца¹⁶ я воспринимаю не как неприятный его переход в иную социальную категорию, а как еще один шаг к покою и — как ни страшно это сказать — к смерти. Раньше я никогда не задумывался над тем, что родители стареют. Теперь их дни рождения для меня печальны. И эта печаль безысходна. Только в последние годы я понял всю силу неотвратимости <смерти> и невозвратности нашей жизни. Но даже понимая это, я чувствую где-то глубоко в себе веру, а может быть, даже знание — насколько это ощущение не от меня, не от моей чувствительности, — знание, что необратимость будет обратимой или, во всяком случае, не трагической. Когда-нибудь жизнь будет иной и мера ее будет иной, но этого мы не увидим, не ощутим. И тогда, наверное, человек будет дорого стоить... И никто не сможет из года в год снижать на него цены.

29.4.64.

До чего же мы чертовски пропащие парни! Беда в том, что позади у нас ничего нет. Наша ранняя седина не стоит ломаного гроша. Попытки нас сломать остались только попытками, горьким, но не страшным следом. А реальные испытания, через которые мы прошли, не требовали мужества и тем более героизма. Это не были испытания кровью и смертью. Поэтому полномочные

¹⁵ Фильм польского кинорежиссера Витольда Лесевича по роману Юзефа Хена (1961). В нашем прокате — «Незабываемая весна».

¹⁶ В демобилизации отца из армии неблаговидную роль сыграл Особый отдел, сбвнявший А. С. Дедкова в недостаточно идеологически выдержанном воспитании детей.

представители нашего поколения рассуждают, как питомцы инкубаторов, для которых нет выше трагедии, чем не предусмотренные режимом колебания температуры.

Последние годы я уклоняюсь от любых прямых столкновений. Я не отстаиваю ни слова в своих писаниях. Слова пробиваются сами, и, если они в чем-то преуспели, это их заслуга. Компромиссы стали нашим бытом. И мы же, такие, как я, или худшие, чем я, мним себя почти героями времени — конечно, не героями вообще, а героями ситуации, — во всяком случае, порядочными людьми. Надо, однако, быть глубоким, неисправимым созерцателем, чтобы удовлетворяться этой порядочностью и не завидовать людям более тяжелой и кровавой судьбы, которым выпало действовать и страдать в действительности, на самом деле, а не в воображении. Возможно, я гиблый дурак, но я не могу спокойно слышать о Варшавском восстании, о его участниках, о прошедших концлагеря. Герой повести Е. Ставинского <«В погоне за Адамом»>, при всей его недоговоренности, подавляет меня не особенностями мышления, а грузом прошлого, значительностью этого прошлого, перед которым наше фрондерство — школьная неудовлетворенность, непоследовательная, с верой в хороших учителей, век которых непременно наступит.

Участие в войне против фашизма не всегда, редко было связано с тяжелым решением каких-либо морально-политических проблем. В Варшавском восстании, в Армии Крайовой проблемы нравственно-политического характера занимают важнейшее место. Их решение определяло судьбу людей на долгие годы. Рядом с такими людьми наше поколение кажется мне поколением школяров, послушных «непослушных» мальчиков. Многие имеют позади пять лет войны, бездну орденов и отличий, но героизм военных служаек, фронтового братства — извечен и пустозвонен при всей его кровавости. Он не трагичен перед лицом мировой истории, не трагичен, потому что не чреват будущим, потому что соответствует уставу.

22.5.64.

<...> Мне надо бы писать мою «книгу», как я называю про себя работу о Воронском¹⁷. Но я никак не нахожу нужного тона. Написаны уже четыре куска, но они разностильны и содержат в себе только подступы, рассуждения. Мне недавно захотелось написать не последовательную эволюцию взглядов этого человека, а очень прихотливое сочинение, где были бы смешаны история, наука и лирика. Но вот я не пишу. <...>

10.11.64.

Я сказал сегодня Е., что нужно менять не правительства, а отношение к человеку.

Происходят не изменения, а переименование — или пересаживание музыкантов.

Мы крутимся как белки в колесе.

Но дрессировщики убеждают нас, что в колесе могут крутиться и тигры.

Мы не можем «энегрично фукцировать».

Или это старение, или умирание, но я что-то вспомнил старосветских помещиков. На такой быт плюс современный треп о переименованиях и пересадках согласилось бы немало публики.

Щедрин у Туркова¹⁸ напоминает еще раз, что Россия неисправима. Технический прогресс, образовательный прогресс далеко не совпадают с прогрессом общественных отношений. Щедринская Россия продолжается, «слова, слова, слова» — это бедствие, безобидное по внешности и страшное. Повторю старое: инфляция слов. И не выкарабкаешься. Затяжной кризис.

¹⁷ И. Дедков работал над книжкой под условным названием «На перевале» — об А. Воронском, известном литературном критике и редакторе журнала «Красная новь».

¹⁸ Турков А. Салтыков-Щедрин. М. «Молодая гвардия». 1964 (серия «Жизнь замечательных людей»).

(Окончание следует.)

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

В. ШЕНТАЛИНСКИЙ



ЯШКА КОШЕЛЕК И ВЛАДИМИР ЛЕНИН

Судьба столкнула их случайно, всего на несколько минут, на холодной и темной, заваленной снегом московской улице. Был канун Рождества, сочельник, когда на земле происходят всякие чудеса.

Один выехал в черном «ролс-ройсе» из кремлевских ворот — навестить больную жену, жившую, по совету врачей, за городом. Другой — с воровской малины, крепко выпив и закусив, отправился со своей братвой на очередное дело.

В Сокольниках пути их пересеклись.

— В чем дело? Я — Ленин! — возмутился первый, когда второй бесцеремонно вытащил его из машины на снег.

— Черт стобой, что ты Левин, а я — Кошельков, хозяин города ночью!

Что за невероятный сюжет! Плод воображения лихого сочинителя? Эпизод крутого боевика?

Нет, действительность, самая что ни на есть правда, которая фантастичней любой выдумки. Ибо взят этот сюжет из досье, более полувека погребенного в бездонных архивах Лубянки и только сейчас вызволенного на свет.

«Дело о вооруженном нападении бандитов на В. И. Ленина 6 января 1919 года». Двадцать три пухлых тома с пожелтевшими страницами. Увлекательная криминальная история из жизни московских уголовников, полная живописных и душераздирающих подробностей, — готовая литература! В одной из папок — записки чекиста Мартынова, начальника особой ударной группы по борьбе с бандитизмом. Главные герои здесь — доблестные рыцари Чека и отвратительные разбойники.

И самым неожиданным образом вся эта криминальная и уголовная история связалась с именами наших корифеев пера: рукописи Мартынова, как явствует из дела, были литературно обработаны и подготовлены к печати... Исааком Бабелем и Михаилом Булгаковым. Дело оказалось как бы с двойным дном. Ищешь Индию — найдешь Америку! Наш многолетний литературный поиск в лубянских архивах высветил имена Бабеля и Булгакова в уголовном досье Н-215...

Скажем сразу, что труд чекиста, отшлифованный мастерами, так и не дошел до читателя.

Кошмарному происшествию с Ильичем в этом сочинении уделено весьма скромное место, что и понятно: случай в Сокольниках никак не красил вождя и плохо укладывался в его каноническое житие. Всего дела Н-215 знаменитые литобработчики, конечно, не видели, а потому и самый острый его сюжет не попал в руки остросюжетных писателей... А жаль!

Теперь же нельзя упустить случай, чтобы не рассказать об этой предрождественской чертовщине, происшедшей с самым знаменитым персонажем XX века. Ведь в том, что сообщалось об этом случае раньше, столько тумана, путаницы, неточностей, благостных приукрашиваний! Даже со временем дей-

Начинаем публикацию глав из новой работы Виталия Шенталинского «Рабы свободы. Книга вторая» (фрагменты книги первой см.: «Новый мир», 1995, № 3 — 4). Читатель познакомится с лубянскими досье Б. Савинкова, М. Булгакова, С. Эфрона, Александры Толстой... (Примеч. ред.)

ствия — неразбериха, вечная чехарда в датах «старого» и «нового» стиля. Хоть и известно, что все произошло в канун Рождества, в сочельник (то есть по старому стилю это было 24 декабря 1918-го, а по новому — 6 января уже следующего года), многие, даже весьма уважаемые, исследователи, указывая дату 19 января 1919 года, умудрились прибавить нужные тринадцать дней уже к «новому» Рождеству, по-видимому от небрежения к самому церковному празднику... И их черт попутал!

Так как же все было на самом деле?

Ильичу в тот год везло на дикие приключения.

Однажды его автомобиль попал в засаду, пули сыпались, как горох, — спасло чудо в лице оказавшегося рядом немецкого коммуниста Фрица Платтена: вовремя пригнул драгоценную голову и подставил под выстрел свою руку. Несколько раз открывали стрельбу милиционеры, не разобравшись сразу, кто едет, пытаясь остановить машину.

В августе пуля все-таки достала Ильича — о том, чьей жертвой он стал, историки спорят до сих пор. Схватили и спешно расстреляли, едва допросив, эсерку Фанни Каплан. В эту официальную версию сейчас мало кто верит. Вновь открывшиеся документы позволяют думать, что покушавшихся было несколько и что след их ведет не куда-нибудь, а в Чека... Что же до Фанни Каплан, то она просто стала удобной мишенью, чтобы продемонстрировать возмездие и закрыть дело. Очередная мистификация большевиков, эпизод борьбы за власть в Кремле? Темна эта история, всей правды о ней мы, возможно, уже не узнаем.

Парадокс, но ранение Ильича пришлось как нельзя более кстати. Как говорят в таких случаях, если бы этого не было, это надо было придумать. Положение большевиков в тот момент — критическое, на грани безнадежного. Три четверти территории страны они уже потеряли. Мертвая петля войны. А внутри — голод, саботаж, разруха. Только жесточайший террор мог спасти новую власть от поражения. Выстрел в вождя стал хорошим предлогом. Уже через шесть дней после покушения был издан тот самый декрет о красном терроре, развязавший руки для невиданных по своим масштабам массовых казней. По инициативе Ленина широко практиковалось заложничество — классический прием мирового бандитизма. Тотальная палаческая система возведена в принцип.

Патриарх Тихон устами всех верующих вопиет к безбожной власти: «Никто не чувствует себя в безопасности, все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела... По вашему наущению разграблены или отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот, грабят деньги, вещи, мебель, одежду... Да, мы переживаем ужасное время вашего владычества, и долго оно не изгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ Зверя...»

Власть оказалась в руках политической мафии, революционных экстремистов, чинивших расправу без всяких законов, а одной лишь наглой силой и не брезговавших при этом ничем.

В этот момент и шагнул навстречу Ленину, на арену истории, из темной преисподней уголовного мира король московских бандитов Яков Кошельков.

Встретились — два крестных отца, два «хозяина города».

Бандитов было шестеро: сам Яков Кошельков (по кличке — Кошелек, Янька, Король), Иван Волков (Конек), Василий Зайцев (Заяц), Алексей Кириллов (Сапожник), Федор Алексеев (Лягушка) и Василий Михайлов (Черный). Все — закоренелые преступники с большим уголовным стажем...

«После пьянки вся банда... направилась на ограбление... Недалеко от Сокольнического совета показался свет машины, и бандиты, имея у себя шофера Ваську Зайца, решили забрать машину... Как только машина стала подходить, бандиты заслонили дорогу, а Кошельков поднял руку, остановив машину. Бандиты были заинтересованы исключительно машиной и только попутно стали обыскивать пассажиров, ища оружие. Тов. Ленин думал, что это патрули, и сказал:

— В чем дело? Я Ленин.

На это Кошельков ответил:

— Черт с тобой, что ты Левин, а я Кошельков, хозяин города ночью...»

Так описывает происшествие начальник особой ударной группы Чека по борьбе с бандитизмом Мартынов, основываясь на допросах пойманных впоследствии членов кошельковской шайки.

В деле есть и показания непосредственных свидетелей, а точнее, жертв нападения, сопровождавших Ильича в той роковой поездке. Самые достоверные и подробные — бессменного личного шофера и любимца Ленина, возившего его с первых дней революции до самой смерти, — Степана Казимировича Гиля. (В машинописной копии показаний — оригинал не сохранился — есть приписка: «Ввиду неграмотности изложения в подлиннике сюда внесены грамматические, синтаксические и незначительные стилистические исправления».)

Опасность подстерегала коммунистического вождя с самого начала его рождественского путешествия по заснеженным столичным улицам, где в революционной мути бесчинствовало ворье.

«24 декабря 1918 года Владимир Ильич позвонил мне по телефону около четырех часов, чтобы через полчаса подать ему машину. В начале пятого я подал к подъезду машину, взяв с собой помощника, тов. Чабанова. Ровно в назначенное время выходит Владимир Ильич вместе с Марией Ильиничной.

— Поедемте, товарищ Гиль, к Надежде Константиновне, — тихо сказал мне Владимир Ильич.

...Снег с дорог совсем не убрали, и более или менее быстро можно было ехать только по линии трамвая. Вскоре на улице стало совсем темно, так как город совершенно не освещался. Нам это было не страшно, потому что освещение у машины было превосходное. Мы ехали со скоростью 40 — 50 километров и быстро проехали Лубянскую площадь, Мясницкую, пересекли Садовую и стали подъезжать к ночлежному дому. Мне было видно каждого человека под сильным освещением машины и отчетливо видны даже все идущие по тротуару. Я заметил троих, шедших по одному направлению с нами. Вдруг один из них быстро подбежал к машине и почти поравнялся с нами с криком: «Стой!» В руке у него револьвер. Я сразу сообразил, что это не патруль. Вижу, он в шинели, а винтовки нет у него. Это бросилось мне в глаза — без винтовок, значит, не патруль. Я быстро увеличил скорость, не обращая внимания, что здесь крутой поворот. Я был уверен, что с машиной справлюсь. Сзади что-то кричали. Я был уверен, что это были бандиты и стрелять зря они не будут. Так и вышло, ни одного выстрела по нас они не сделали.

Владимир Ильич стучит в окно, спрашивает:

— В чем дело, нам что-то кричали?..

— Да это пьяные, — отвечаю я ему.

Миновали мы Николаевский вокзал. Едем по улице, которая ведет к Сокольникам. Тьма, хоть глаз выколи. Но нам далеко и хорошо видно. Ввиду сочельника народу на тротуарах много. Я ехал по рельсам трамвая довольно быстро. Вдруг, не доезжая пивного завода, бывшего Калининского, впереди машины, за несколько шагов, выбегают трое, вооруженных револьверами — маузерами, и кричат: «Стой!»

Я на этот раз немного замедлил ход и говорю Чабанову:

— Ну, Ванька, попали мы к бандитам.

— Да, — говорит он, — это не патруль.

Вот я уже совсем близко от них, посмотрел по сторонам, народа порядочно. Многие стали останавливаться, видимо заинтересованные нашей встречей. И я решил не останавливаться, а проскочить быстро мимо них. В тот момент, когда осталось несколько саженей, я быстро увеличил скорость — и прямо на них. Они успели отскочить.

— Стой! Стой! Стрелять будем! — кричат они вслед.

Дорога на этом месте идет под уклон. Я быстро взяв разгон, но вот Владимир Ильич стучит в окно. Я как будто не слышу и продолжаю ехать. Тогда Владимир Ильич стучит гораздо сильнее. Я убавляю ход. Владимир Ильич открывает дверцу и говорит:

— Товарищ Гиль, надо остановиться и узнать, что им надо, может быть, это патруль?

Мы ехали совсем тихо. Сзади нас, слышу, бегут и продолжают кричать: «Стой! Стрелять будем!»

— Ну вот видите, — говорит Владимир Ильич, — надо остановиться.

Я нехотя стал тормозить машину. Смотрю вперед, вижу, за железнодорожным мостом горит яркий фонарь, и там стоит часовой. Это — районный Совет, я знал. Меня взяло сомнение, — навряд ли бандиты, наверное, патруль, рядом с Советом напасть не решатся бандиты, — подумал я и сказал об этом товарищу Чабанову. Он оглянулся назад и говорит мне:

— К нам бегут четверо, и они совсем близко.

В это время подбегают к машине несколько человек, резко открывают дверь машины и кричат:

— Выходи!

— В чем дело, товарищи? — спросил Владимир Ильич.

— Не разговаривать! Выходи, говорят!

И один из них, выше всех ростом, схватил Владимира Ильича за рукав и сильно потянул к себе из машины, грубо говоря:

— Живей выходи!

Как оказалось после, это был главарь по прозвищу Кошелек.

Владимира Ильича буквально вытащили за рукава. Он сделал шага три к передку машины и остановился против меня, все время говоря:

— Что вам нужно?..

Мария Ильинична быстро вышла за Владимиром Ильичем и, обращаясь к бандитам, говорит:

— Что вы делаете, как вы смеее так обращаться?

На нее они не обращают никакого внимания, Чабанова тоже дернули за рукав с криком: «Выходи!»

Я смотрю на Владимира Ильича. Он стоит, держа в руках пропуск. По бокам его стоят двое и, целясь в голову, говорят:

— Не шевелись!..

— Я Ленин. Вот мой документ...

Как это сказал Владимир Ильич, у меня сердце замерло. Ну, думаю, погиб Владимир Ильич...

— Молчать! Не разговаривать! — закричал на него грубым голосом главарь, вырвав из рук пропуск и кладя его в карман даже не посмотрев.

Затем он схватил за лацкан пальто Владимира Ильича и резко дернул, почти отрывая пуговицы, и полез в боковой карман. Вынул оттуда бумажник, браунинг и все это кладет к себе в карман.

Мария Ильинична продолжает возмущенно протестовать, но никто из бандитов на нее не обращает внимания.

Товарищ Чабанов тоже стоит под дулом. Я все это вижу, про меня как будто забыли. Сажу за рулем, мотор работает. Держу наган и из-под левой руки целюсь в ближайшего, то есть как раз в главаря. Он от меня в двух шагах. Дверца переднего сиденья открыта, промаха быть не может... Но Владимир Ильич стоит под двумя дулами револьверов, и делается мне страшно... Как молния, озаряет мысль — нельзя стрелять... нельзя... Сейчас же после моего выстрела Владимира Ильича уложат первого на месте. И я решил выйти из машины, но не успел пошевелиться, как получил удар в висок дулом револьвера с правой стороны и окрик:

— Выходи! Чего сидишь?

Я быстро сунул наган за подушку сиденья, авось не найдут, подумал я, и не успел встать на подножку, как на мое место сел быстро шофер-бандит. Четверо сели в купе, один стал на подножку, и, целясь в нас, со словами «Не шевелись!», шофер быстро взял с места, и поехали...»

Другой спутник Ленина, его охранник Иван Васильевич Чабанов, в общем, подтверждает рассказ Гиля, хотя добавляет от себя штрих, по всей видимости сильно поразивший его: «Когда нас высаживали из машины, народ стоял и смотрел...»

«Минуту длилось молчание», — продолжает Гиль.

«— Да, ловко, — первым сказал Владимир Ильич. — Вооруженные люди — и отдали машину. Стыдно!»

— Об этом поговорим после, Владимир Ильич, — сказал я ему в ответ, — а сейчас пойдете в Совет, и поскорее...

И мы направились в райсовет.

Опять беда. Часовой не пускает Владимира Ильича.

— Я товарищ Ленин, — говорит он, — хотя доказать вам этого сейчас не могу. Вот мой шофер, он подтвердит, — указывая на меня, сказал Владимир Ильич. — Мы ехали на машине, нас остановили, высадили, машину угнали, а также взяли мой бумажник с документами и мой пропуск.

Долго колебался часовой, но наконец он нас пропустил в райсовет...»

(«Нахрапом прошли в Совет», — подтверждает Чабанов.)

«Входим. В Совете по случаю праздника — ни души. Кое-как разыскал я дежурного телефониста, объясняю ему, в чем дело. Он не верит.

— Слушайте, товарищ, вызывайте председателя, — наконец говорю я ему.

— Его нет, кого хотите?

— Мы отвечаем за все, дело серьезное...

Телефонист мнетя, не знает, как ему поступить. Дело уж, видно, очень необычное. Наконец он кого-то вызвал.

Владимир Ильич, задумавшись, ходит взад-вперед по комнате. Мария Ильинична сидит на диване, и вижу, очень она взволнована. Никто не идет. Тогда я думаю: «Буду сам распоряжаться, а то время идет, бандиты могут удрать». Пошел к телефону, телефонист не протестует.

— Дайте ВЧК.

Соединили меня.

— Слушаю, — отвечает товарищ Петерс.

Я вкратце объясняю, в чем дело. Подошел Владимир Ильич. Я передаю ему трубку, и он стал говорить с товарищем Петерсом, объясняя ему, в чем дело и как все случилось. Я звоню по другому телефону, вызываю автобазу Совнаркома, вызываю три машины с вооруженными...»

А что же бандиты? Они в это время возвращались за Лениным.

Мартынов сообщает, что когда Кошельков все-таки рассмотрел документы и понял, что за птица упорхнула от него, то велел шоферу Ваське Зайцу поворачивать машину обратно. Кошельков решил захватить Ленина как заложника и освободить за него всю Бутырскую тюрьму...

Была и другая версия. Ее излагает в своем докладе в Чека начальник Московского управления уголовного розыска Трепалов: «Кошельков повернул автомобиль обратно, чтобы догнать Ленина и убить...»

Некоторые лениноведы утверждали, что будто бы бандиты пытались захватить Ильича с целью устроить государственный переворот. В уста Яшки была вложена фраза:

— Что мы сделали! Ведь это ехал Ленин. Если мы догоним и убьем его, то на нас не подумают, а подумают на контрреволюционеров, и может быть переворот...

Это уже явно плод творчества большевистских идеологов или чекистов, стремившихся сделать из уголовного дела политическое.

Но так или иначе, какие бы планы ни строил Яшка Кошелек, шанс свой он на этот раз упустил.

На месте ограбления, разумеется, уже никого не было. Покрутившись туда-сюда, банда повернула обратно.

Гиль:

«Владимир Ильич кончил говорить по телефону и стал опять ходить по комнате. Мы покамест находимся одни.

— Вы сказали, Владимир Ильич, что мы вооруженные люди и отдали машину, — обратился я к нему.

— Да, я сказал, — ответил он.

— Владимир Ильич, нам не было выхода, вспомните, вы стояли под дулами револьверов, я бы мог стрелять, у меня было время, они забыли меня минуты на три, но какой был бы результат моего выстрела? Я бы одного уложил наверняка, но после моего первого выстрела они тоже уложили бы вас на месте, потому что им нужно было бы стрелять ради самозащиты, и вы бы пали

первым. Вот почему, быстро сообразив невыгодность нашего положения, я не стал стрелять. При этом я понял, что им нужна только машина, а не мы.

— Да, товарищ Гиль, вы говорите правду, вы рассчитали правильно, — ответил Владимир Ильич, с минуту подумав. — Тут силой мы ничего бы не сделали, только благодаря тому, что мы не сопротивлялись, мы уцелели...»

Да, не хрестоматийный образ Ильича предстает нам со страниц этого дела... Прожектер, витающий в грандиозных утопиях, наивно-беспомощный в прямом столкновении с жизнью на улицах. Сам попался в ловушку, потребовав остановить машину, уверенный в своей неприкосновенности.

И оказывается, народного кумира никто даже не узнает — от бандита до часового. А когда его грабили посреди Москвы, при всем честном народе, «народ стоял и смотрел». Да и отношение шофера к своему высокому пассажиру чем-то очень напоминает снисходительно-покровительственную опеку Санчо Пансы. Послушался бы умного человека, все было бы в порядке.

А странные события в Сокольническом райсовете между тем шли своим ходом. Там появился сам председатель.

Чабанов:

«Тогда-то тов. Ленин обратился к нему, объяснив, что у него отняли машину. Тот ответил, что у нас не отнимают машину, почему у вас отняли? Тов. Ленин ответил: «Они вас знают, а вот меня не знают, поэтому у меня отняли машину». После чего тов. Ленин попросил дать позвонить по телефону. Подходит к телефону товарищ Петерс. Тов. Ленин стал ему объяснять о случившемся, что случай этот не политический, а бандитский... Товарищ из райсовета очень покраснел, чувствуя, что попал в неловкое положение. Тов. Ленин был недоволен таким случаем, очень волновался, прохаживаясь по комнате и заложивши руки под жилетку. Все время ходил по комнате...»

Излюбленная поза Ильича, известная по тысячам изображений... Да, тут заволнуешься: теперь не только бандит или часовой — сама Советская власть в лице ее официального представителя не узнает своего вождя! И только при появлении на горизонте заместителя председателя Чека товарища Петерса начинает реагировать...

Гиль рассказывает, как дальше развивались события. Поднялась суматоха. Товарища из Совета как ветром сдуло: сорвался с места и куда-то исчез. Потом так же стремительно появился и доложил, что все меры немедленно будут приняты для быстрой погони.

«— Поздновато, — говорит, улыбаясь, Владимир Ильич. — Я никогда не думал и даже предположить не мог, что почти у самого Совета, на глазах у постовых совершаются такие дела, открытые грабежи, и никаких мер Совет не принимает по охране граждан от насилия. Наверное, такие случаи у вас нередки. Грабят ли у вас, в вашем районе на улицах граждан? — задает вопрос Владимир Ильич и пристально смотрит на товарища.

— Да, случается нередко, — смущенно говорит он.

— А что же вы предпринимаете?

— Боремся, как можем, — говорит он.

— Но, очевидно, не так энергично, как нужно, — говорит Владимир Ильич.

— Надо, товарищи, надо взяться за это серьезно, — говорит Владимир Ильич.

В это время пришли машины из автобазы. Я провожаю Владимира Ильича до машины, хочу сесть за руль, а он не разрешает.

— А вы, товарищ Гиль, — говорит он, улыбаясь, — отправляйтесь на розыски машины, без машины домой не являйтесь...»

Итак, Ильич направился наконец к своей заждавшейся супруге. Машину нашли в тот же вечер — брошенной в сугробе на набережной Москвы-реки. А вот бандитов ловили долго...

Силы стражей порядка и уголовников тогда были едва ли не соизмеримы. Трудно сказать, кто из этих конкурентов по части устрашения населения был

больше хозяином на улицах. Бандитизм в Москве стал сущим бедствием: здесь действовали десятки отчаянных, хорошо организованных и вооруженных до зубов шаек, державших в страхе весь город. В самой крупной из них — кошельковской, — по прикидкам чекистов, было больше ста головорезов.

«Принять срочные и беспощадные меры по борьбе с бандитизмом!» — предписал Ильич, едва пришел в себя после дорожной передраги.

И меры, конечно, приняли.

Через несколько дней в газетах появился грозный приказ: «Всем военным властям и учреждениям народной милиции в пределах линии Московской окружной железной дороги расстреливать всех уличенных и захваченных на месте преступления, виновных в производстве грабежа и насилия...»

Город был поднят на ноги, прочесан вдоль и поперек. Охрану Ильича резко усилили, забрали в учреждениях машины для патрулирования улиц. Столица перешла на военное положение.

Вскоре начальник Центрального управления уголовного розыска Розенталь рапортовал Ленину:

«В целях расследования случая разбойного нападения на Вас при Вашем проезде по Сокольническому шоссе, а также в интересах пресечения бандитизма мною было поручено произвести обход и обследование всех частных меблированных комнат и частных квартир, в которых мог найти убежище преступный элемент г. Москвы. Были подвергнуты немедленному аресту все лица, заподозренные в причастности к нападению... Удалось задержать и арестовать до 200 человек...»

Однако Кошелька с друзьями среди арестованных не значилось. Милиция с ленинской задачей явно не справлялась. Тогда-то и была организована особая ударная группа Чека во главе с бывшим рабочим славной своей революционной историей «Трехгорной мануфактуры», испытанным партийцем и матерым сыщиком Мартыновым.

Захватывающим эпизодам охоты за Кошельком посвящена та из рукописей Мартынова, которая досталась для обработки автору «Одесских рассказов» Исааку Бабелю. Перед писателем во всем своем жутком великолепии предстал московский вариант бессмертного Бени Крика.

Яшку искали денно и ночью. По улицам для приманки разъезжали легкие автомобили и роскошные лихачи-извозчики — следом ехали комиссары. Чекисты обшаривали кабаки, притоны и воровские шалманы, вербовали там сексотов и сами втирались в уголовные шайки, надевая маски бандитов и с успехом играя их роль, совсем как ряженые в круговерти святочной фантасмагории.

И вот лубянским пинкертонам повезло: удалось узнать клички трех членов кошельковской банды: Конек, Лягушка и Черный, а потом и выйти на их след.

Мартынов со вкусом описывает, как это произошло. Заглянув в один из злачных подвалов на Пресне, он подсел там к теплой компании.

— Ну, наливайте и мне! А что, братцы, не встречал ли кто Лягушку?

Посмотрели подозрительно.

— Чего нужен Лягушка?

— Деньги надо отдать.

— Аккуратная личность! А не пропить ли их вместе?..

Пришлось разориться на ханжу — китайскую рисовую водку. В результате после долгих хитростей удалось проведать, что Лягушка со товарищи собирался в баню. Быстро смотав удочки и прихватив по пути помощников, Мартынов рванул туда, в Проточный переулок. Едва прибыли на место, как в переулок влетает лихач и в нем — двое бандитов с третьим на коленях. Все было как в лучшем голливудском боевике: «Я вынул два револьвера, другой сотрудник тоже, а третий... ухитрился под уздцы остановить лошадь. Ни один из бандитов не успел сделать ни одного движения, чтобы выхватить револьвер. Мы обезоружили их и повели...»

Следствие велось на самом высоком уровне, в допросах участвовал сам Феликс Дзержинский. Бандитов поставили к стенке и потребовали адрес Кошелька. Адрес, разумеется, был получен. А бандитов, разумеется, расстреляли.

Два дня сидели на квартире в засаде. На третий день появилась «развязная личность, именуемая Ленька Сапожник», как оказалось, подосланная в качестве приманки. И когда чекисты вывели Леньку на улицу, то сами, в свою очередь, напоролась на кошельковскую засаду. Завязался бой, в результате которого двое конвоиров были убиты, а Ленька Сапожник ушел.

И снова след Кошелька простыл.

Через несколько дней судьба опять посмеялась над чекистами. Они нагрянули с арестом к одному сахарному спекулянту, а у него в тот момент совершенно случайно оказался в гостях сам Кошелек. Увидев опасность, он через черный ход выскочил на улицу и там лицом к лицу столкнулся с двумя сотрудниками Чека. Мгновенно преобразившись, Яшка грозно надвинулся на них:

— Кого ждете? Вы из какого отделения? Предъявите документы!

— А вы кто? — опешили чекисты.

— Я Петерс, — не задумываясь, ответил Яшка.

Высокий, представительный, в серой шинели и меховой папахе, он произвел на чекистов гипнотическое впечатление: они покорно протянули ему документы — и получили в ответ пули. Один был убит, другой ранен, а Яшка и на этот раз благополучно унес ноги.

Роль видного чекиста Кошельку явно понравилась. Он раздобыл соответствующие документы и сам перешел в наступление: стал появляться со своей свитой открыто. Тешился вовсю. Заявлялся домой к какому-нибудь работнику Чека и требовал адреса его коллег, а на прощанье хладнокровно приканчивал хозяина дома. Устраивал обыски с изъятием денег и золота на заводах — по всей форме, в присутствии рабочих, с приглашением администрации и профсоюза. Останавливал на улице военных и «конфисковывал» у них оружие, выдавая себя за начальника отдела Чека. Потом эти доверчивые вояки послушно являлись на Лубянку просить вернуть им револьверы...

Карнавал разгулялся: чекисты притворялись бандитами, а бандиты чекистами — менялись масками, перенимали друг у друга опыт и приемы, а иногда так входили в роль, что не хотели с ней расставаться и переходили в стан противника. Зачастую среди работников Чека и милиции оказывались уголовники: убийцы, воры и мошенники. Мартынов пишет: «Состав сотрудников тогдашнего розыска... не только представлял собою в большей части антисоветский элемент, но и прямо-таки содержал в себе всякие отбросы, которые в некоторых случаях сами держали дружескую связь с бандитами».

Перепуганные граждане уже с трудом различали, кто есть кто. Даже сами большевики признавали: «То, что сейчас творится... это не красный террор, а сплошная уголовщина...» («Вечерние известия», 1919, 3 февраля).

Шел июнь 1919 года, когда Мартынову выпала чрезвычайная удача: попала «невеста» Кошелька — Ольга Федорова, двадцатилетняя красотка, служившая конторщицей в РОСТе. После соответствующей лубянской обработки она подробно рассказала о своем «женихе» и даже вызвалась помочь в его поимке. Ольга была уверена, что Яшка непременно заявится к ней домой.

— Он придет ко мне... он влюблен в меня. Человек он очень практичный, корректный и в общении мягкий, знает иностранные языки — французский, немного говорит по-немецки, знает латинский, по-татарскому... Много начитан...

Видно, здорово запудрил девчонке мозги, фраер!

А сам Кошелек, лишившись «невесты», впал в дикую ярость. Он объявил московским стражам порядка войну на уничтожение. И использовал для этого очень простое устройство — милицейский свисток. Выезжал по вечерам на автомобиле на улицу, поравнявшись с милицейским постом, громко свистел, а когда дежурный милиционер подходил на зов, навстречу гремел выстрел или летела бомба.

Постепенно подвиги Кошелька покрыли его легендарной славой. Каким-то чудом ему удавалось уйти невредимо из любых переделок. И все же пришел день, когда отряд Мартынова подстерег разбойника.

Случилось это на Божедомке, где в одном из домов он, по сведениям чекистов, должен был появиться. Была устроена двойная засада: часть чекистов засела внутри дома, другие — в доме напротив.

«Мы его увидели, он появился, — пишет Мартынов. — Он шел с одним из своих сообщников... Не было места ни для каких раздумий. Не нужно было стараться взять его живым. Лишь бы как-нибудь взять! Мы выскочили и стали стрелять. Первым же выстрелом попали в голову Яшиному сообщнику. Он завернулся по оси от силы удара, его бросило к воротам, и сразу он вышел из боя.

Яша применил свою обычную систему — одновременно двумя руками он буквально забросал пулями все окна в том доме, где его ждали. Выстрелом из карабина Кошельков был смертельно ранен. Яша завалился навзничь... Но уже лежа, полуослепший от крови, механически продолжал жать гашетки и стрелять в небо. Мы подошли к нему, и один из сотрудников крикнул:

— Кошельков, брось! Можешь числиться мертвым!..

Яша ослабел, стал хрипеть и умер...»

Так кончил жизнь Яша Кошельков — король московских бандитов.

В карманах его нашлось много интересного: несколько чекистских удостоверений, пачка денег, пробитая пулей, браунинг Ильича и книжечка с дневниковыми записями. Выдержка из них сохранилась в деле Н-215. Это крик души Кошелька, обращенный к его «невесте» Ольге:

«Детка, моя крошка, моя бедная козочка. Что за несчастный рок висит надо мною. Никак не везет. Детка моя, дорогая моя, что, за что все это? О, Боже мой, что они над тобой сделают. Я буду мстить и мстить без конца. Я буду жить только для мести.

Ведь ты — мое сердце, ты моя радость, ты мое все, все, для кого стоит жить. Детка, неужели все кончено? О, кажется, я не в состоянии выдержать и пережить этого. Боже, как я себя плохо чувствую и физически, и нравственно. Душа болит. Я готов сейчас все бить и палить. Ой, как мне сейчас ненавистно, мне ненавистно счастье людей. За мной охотятся, как за зверем: никого не щадят. Что же они хотят от меня, я дал жизнь Ленину.

Детка, милая крошка, крепись. Плюнь на все, береги свое здоровье...»

Владимир Ильич Ленин тоже оставил литературный памятник о рождественской встрече с Яшкой Кошельком. Он не был бы великим человеком, если бы даже такое событие не употребил с пользой.

«Представьте себе, — пишет он в своей книге «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», — что ваш автомобиль остановили вооруженные бандиты. Вы даете им деньги, паспорт, револьвер, автомобиль. Вы получаете избавление от приятного соседства с бандитами. Компромисс налицо, несомненно. «Do ut des» («даю» тебе деньги, оружие, автомобиль, «чтобы ты дал» мне возможность уйти подобру-поздорову). Но трудно найти не сошедшего с ума человека, который объявил бы подобный компромисс «принципиально недопустимым»... Наш компромисс с бандитами германского империализма был подобен такому компромиссу...»

Ближайший сотрудник Ленина Бонч-Бруевич рассказывает, что когда Ильич узнал о смерти бандита, перешедшего ему дорогу, то распорядился: «Дело сдать в архив!» Куда оно и было упрятано. И только теперь нарушен завет Ильича — это дело извлекли на свет.

История не знает сослагательного наклонения: что было бы, если бы... И все же вопрос напрашивается сам собой: что было бы, если бы Ильича тогда все-таки порешили? На пути Ленина встал не заурядный воришка, а мастер своего дела, — Кошелек никого не щадил, стрелял налево и направо и в упор. Наследственный бандит, сын известного вора-рецидивиста, каторжника, кончившего виселицей, — «послужной список» двадцативосьмилетнего преступника занял несколько увесистых томов.

По прихоти случая судьба страны и всей мировой революции вдруг оказалась на мгновение в руках уголовного пахана...

Конечно, машинист для паровоза революции нашелся бы. Не тот, так другой. Но ясно: наша история могла пойти совсем по иным рельсам. Как знать, устояла бы или нет Советская власть в тот отчаянный для себя исторический момент — без своего гениального вождя.

Р. С. Каким же образом записки Мартынова попали на письменные столы Исаака Бабеля и Михаила Булгакова?

В деле — две рукописи чекиста. Про одну из них, озаглавленную «Бандиты», с правкой Бабеля, сообщается, что она была напечатана в журнале «30 дней» в 1925 году. Лубянский делопроизводитель ошибся. Ни в одном номере этого популярного журнала, ни в 1925-м (когда журнал начал выходить), ни в последующих, такой публикации нет.

Другой рукописи про бандитов — «Как жил и работал Сабан» (Сабан — еще один уголовный авторитет, «всемирный преступник и борец за свободу», как он себя аттестовал) — предпослана фраза: «Настоящая статья, написанная Мартыновым и литературно обработанная писателем Булгаковым, была предназначена для печати в журнале «30 дней», однако напечатана не была»...

Можно предположить, что Мартынов предложил свои записки журналу и уже оттуда их передали для обработки писателям — чтобы довести текст до нужной кондиции. Из сноски на полях одной из рукописей следует, что она побывала в руках журналиста Регинина, участвовавшего в создании «30 дней». Ожидалось, что Бабель напишет к «Бандитам» предисловие — в начале рукописи есть приписка: «Со вступительной статьей И. Бабеля», сделанная самим писателем.

Однако по каким-то причинам публикация так и не состоялась. И неудачливый детективщик в конце концов передал свой труд в архив родного ведомства — на Лубянку, до востребования потомков, «Хранить вечно».

Бабеля и Булгакова свела на миг «левая работа» — чекистская рукопись.

Почти ровесники, оба талантливы — и оба в начале своего непредсказуемого писательского пути, у обоих еще не вышло ни одной книги. И тот и другой явились на покорение московского литературного Олимпа со стороны — один из Одессы, другой из Киева. Вот, пожалуй, и все, что было общего между ними.

Бабель в это время — на взлете своей писательской славы, первые же его рассказы, появившиеся в периодике, принесли шумный успех. Кому, как не автору «Бени Крика», доверить «Бандитов»? Да и с работой чекистов он знаком не понаслышке: сам какое-то время служил в Чека переводчиком, там у него немало друзей.

Другое дело — Булгаков. Это еще неизвестный автор, фельетонист газеты «Гудок». Давно созревший писатель, но «передержанный» — в статусе начинающего. И написанным им книгам суждено еще долго пробиваться к читателю.

Один — уже обеспечен гонорарами, отнюдь не беден («Хожу в генералах... Заработки удовлетворительны...» — пишет о себе Бабель).

Другой — нищ и готов на любую литературную поденщину, чтобы как-то прокормиться («Себе я ничего не желаю, кроме смерти. Так хороши мои дела...» — признается Булгаков в письме другу).

Бабель берется за чекистскую рукопись засучив рукава: решительно сокращает, делает текст более мускулистым и ярким, убирает риторiku и «романтику»...

Булгаков, в отличие от своего коллеги по перу, едва трогает чужой текст — только исправляет ошибки и неграмотности, уточняет смысл и вычеркивает слишком разухабистые и игривые выражения. И все же наверняка он не равнодушен к этой работе, наверняка не делает ее лишь механически или с брезгливым любопытством. И его острому взгляду близка уголовная тема — своей дьявольщиной, интересен блатной герой — человек с «собачьим сердцем». Только что он напечатал «Комаровское дело» — фельетон о нашумевшем уголовном процессе над убийцей, как раз в это время задумывает «Зойкину квартиру», пьесу с персонажами из угрозыска, в первоначальном тексте которой в «волшебном фонаре» проходят фотографии из муровских досье. Да и потом, спустя много лет, эта тема воскреснет — в «Мастере и Маргарите», переведенная, правда, с бытового на другой — мистический — уровень.

Бабель и Булгаков. Два совсем непохожих по стилю писателя, совершенно разных по натуре и взглядам человека. Один — определенно «красный», другой — несомненно «белый»... И в будущем они не сблизятся, останутся чуждыми друг другу. А если и будет в их жизни все-таки что-то похожее, так это непреходящая любовь к ним читателей и трагическая судьба.

Следы перьев Бабеля и Булгакова в лубяньских архивах неожиданно пересеклись со следами на рождественском снегу Ильича и Яшки Кошелька. Так они и всплывают в этом сюжете парами: вождь мирового пролетариата и король московских бандитов, автор «Конармии» и автор «Белой гвардии»...

Грабь награбленное! Во имя революции все дозволено! — эти лозунги Ильича были заложены в основу советского режима. Бандитскими методами большевики пролезли к власти, кровью и насилием утвердили ее, поправ элементарные законы морали и права. Яшка Кошелек — только бытовая, уголовная проекция Красного Террориста.

Бандиты в личине государственных стражей ворвутся в дом и жизнь и Бабеля, и Булгакова, перевернут там все вверх дном и унесут с собой все, что захотят. Грабили бесценное — плоды творчества, запугивали и уродовали сознание, отнимая, в конце концов, и последнее — саму возможность дышать. Так будет и с другими героями этой книги.

Революционный смерч поднял всю муть со дна человеческой души, выпустил наружу звериные инстинкты, развратил, искалечил несколько поколений, обреченных жить между мафией власти и властью мафии.

Рождественская ночь 1919 года — только интермедия, фарсовая прелюдия к страшному карнавалу новейшей нашей истории.

1995.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ



МУЖИКИ И БАРЕ

Старая тема и новая литература

— И что вы называете народом?

— Я, что ли, не народ!

На заре гласности такие слова в устах покрашенной редакционной дамы, пришедшей на очередной «круглый стол», или богемного юноши, не-пременного участника всех «тусовок», звучали дерзко, вызывающе. И хотя ответ на них очень прост («Я» — не может быть «народом»), отвечать этим дамам и юношам почему-то не решались, полагая, наверное, что «личность» при тоталитаризме пострадала гораздо больше, чем «народ». В сущности, спор о «народе» и «личности» и был идейным центром споров о сталинских репрессиях между «левыми» и «правыми».

Но что-то здесь не работает. Что-то сломалось в нашей истории, чтобы вопрос «о вине и ответственности» мог быть решен так просто.

Я поймал больную птицу,
но боюсь ее лечить.
Что-то к смерти в ней стремится,
что-то рвет живую нить.

Эти талантливые стихи Ивана Жданова, написанные уже давно, честно говоря, одно время казались мне надуманными, «декадентскими». Но почему-то именно их я часто вспоминал в последнее время.

На каком «круглом столе», каком высоком собрании нынче не услышишь, что хватит говорить о народе, хватит жалеть крестьян! Такое впечатление, что собравшиеся полжизни потратили на то, что жалели и жалели мужика, проплакали все очи и только вот сейчас опомнились и начинают правильно жить.

— Каждый сам за себя! Если мужик спивается, это его личное дело!

Какая тема самая немодная? Народ и интеллигенция. «Я, что ли, не народ! Интеллигенция, что ли, не народ!» И вот скажи: не народ! — и все равно что испортишь воздух. В литературе заметят все, что угодно, любую словесную поделку, но о рассказах Василия Белова «Лейкоз» и «У котла» («Москва», 1995, № 3), в которых без всякого пафоса изображается физическое вымирание русских крестьян (как манси или индейцев), не скажут ни слова.

Мы — фрицы!

Однажды в конце осени я на автомобиле забирая друга с его семейством из своего деревенского дома между Орлом и Тулой. Как и положено, дом был в свое время куплен за бесценок у пьющего пастуха, которому местная власть даровала квартиру в центральной усадьбе в доме как бы городского типа. При покупке меня задела одна деталь: государство ухитрилось выжать из меня в виде налогов (страховой и проч.) сумму в полтора раза больше той, что получал владелец дома. Впрочем, обе суммы были так ничтожны, что бунтовать я не стал. Пастух тоже принял это спокойно.

В моей брошенной деревне — «классическая ситуация», описанная в новоязном рассказе Петрушевской «Новые Робинзоны» (1989, № 8). Три стару-

хи, окруженные пришлыми городскими жителями. Дешевые овощи, молоко, бесплатный воздух, ягоды, грибы... Осенью деревня словно вымирает. Старухи зимуют одни и ждут дачников, как поля грачей.

Мой «жигуленок», чтобы не завязнуть в непролазной грязи, был оставлен на взгорке, метрах в двухстах от крайнего дома. Я и приятель носили туда продукты: картошку, морковку, мясо, молоко, сметану, — частью купленные у старух по нежащим городской слух ценам, частью отданные за так. Старухи не имели своих внуков от спившихся, а то и сгинувших по городам и весям детей и души не чаяли в пятилетней дочке моего приятеля; ее-то улыбка до ушей и лукавые глазенки и стали своеобразной платой за экологически чистые продукты.

И все было чудесно! Как всегда, старухи легонько поплакивали, оставаясь на зиму одни в своих домах (снегом так заносит, что и дороги между тремя избами они не расчищают и сходятся только у родничка). И нам было чуть-чуть грустно; ведь мы с приятелем давно уже решили, что лучшего места, чем наша деревенька, на всем земном шаре не найти! Солнце светило. Но вот багажник забит до отказа, и, отирая со лба приятный пот — как же, добытчики, кормильцы! — мы сели возле машины перекурить.

И тут меня «стукнуло»:

— Слушай! Знаешь, на кого мы похожи? Мы — фрицы!

Он сначала не понял и взглянул, как на сумасшедшего. Потом улыбнулся. Ну конечно, фрицы! Вот наш танк, готовый рыча рвануть с места. Вот «курка, яйцо, млеко» — не голодать солдатам на зимних квартирах! И разумеется, все отдано нам добровольно, таким милым, славным, цивилизованным немецким парням из доблестной армии Гудериана, не обидевшим трех русских старух, а, напротив... Ведь могли бы и...

Над этой шуткой мы недолго смеялись. И половину обратной дороги почему-то молчали.

Почему Иван был Африканычем?

Кому случалось из Болховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живет в дрянных осиновых избушках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти; калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах.

И. Тургенев, «Записки охотника», «Хорь и Калиныч».

Сколько раз читал эти строки — и ни разу слух мой, убаюканный мелодией тургеневской речи, не замечал опорного слова — порода! И даже так: порода людей. А ведь это самое важное в «Записках охотника»! Не типы и даже не характеры изображаются в этой книге, а особая порода людей. И автор к этой породе явно не принадлежит.

Странный смысл этого места, как ни парадоксально, немного прояснится, если мы придадим ему совсем уж абсурдистский характер. Допустим, что вы каким-то загадочным образом читаете длинный отчет марсианина о путешествии на Землю. Вот это место: «Кому случалось из Болховского уезда перелетать в Жиздринский, того, вероятно, поражала...» и т. д. Но ведь Тургенев и ощущал себя таким «марсианином» среди крестьян своей матушки и соседских помещиков. Отсюда сила поэтического очарования «Записок охотника», которая рождалась из мистического тяготения и отталкивания двух миров: людей и людей, русских и русских. Ничем иначе объяснить это нельзя. Человек показан глазами человека, больше того — русский показан глазами русского же, и в то же время вы подсознательно чувствуете, что это — какой-то иной мир и какие-то иные существа. Каждый жест их непредсказуем, каждое душевное движение вызывает любопытство. Даже их внешность какая-то не такая...

«Я не тотчас ему ответил: до того поразила меня его наружность. Вообразите себе карлика лет пятидесяти с маленьким смуглым и сморщенным лицом, острым носиком, карими, едва заметными глазками и курчавыми, густыми, черными волосами, которые, как шляпка на грибе, широко сидели на крошечной его головке. Все тело его было чрезвычайно тщедушно и худо, и решительно нельзя передать словами, до чего был необыкновенен и странен его взгляд».

Из какой «Аэлиты» взяты эти строки? Да нет — это просто портрет забавного мужичка из рассказа «Касьян с Красивой Мечи». Даже умирают эти существа как-то иначе — не так, как мы с вами:

«Я приблизился и — остоленел от удивления. Передо мною лежало живое человеческое существо, но что это было такое?»

Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая — ни дать ни взять икона старинного письма; нос узкий, как лезвие ножа; губ почти не видать, только зубы белеют и глаза, да из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди желтых волос...

— Лукерья! — воскликнул я. — Ты ли это? Возможно ли?

— Я, да, барин, — я. Я — Лукерья.

Я не знал, что сказать, и как ошеломленный глядел на это темное, неподвижное лицо с устремленными на меня светлыми и мертвенными глазами» («Живые мощи»).

Отчего роман Оноре де Бальзака «Крестьяне» явно не относится к наиболее сильным, поэтическим его произведениям, уступая в этом плане, например, «Гобсеку»? Отчего переделка из тургеневской «Муму» под названием «Мадемуазель Кокотка» несомненно не лучшее творение Мопассана? Да оттого, что в глазах Бальзака Гобсек, мистически связанный с деньгами, являлся куда более таинственным существом, чем грубые, воинственные крестьяне. С последними было все понятно, а вот с Гобсеком непонятно ничего. Рассказ Мопассана так и останется просто страшной историей, потому что Мопассан не понял главного в «Муму»: не в гибели собаки тут было дело! Тут сшиблись две породы, две воли — барыни и мужика, — и вторая оказалась сильнее. Иначе не объяснить факт, что барыня не решилась силой вернуть крепостного дворника из его самовольного бегства.

Тема «барина и мужика» в русской прозе XIX века — это бесконечная череда открытий, узнаваний, изумлений. Две нации — но с одним именем — смотрели одна на другую, и в том скрещении взглядов (Гринев и Пугачев в сцене казни) рождалась подлинная «музыка» прозы «золотого века» музыка, о которой русские догадались гораздо раньше Ницше.

«Музыка жизни рождается, — писал К. Н. Леонтьев в письме к неизвестному, — сменой боли и наслаждения, и все поэтическое выходит или из грязного народа, или из изящной аристократической крови».

Об «изящной аристократической крови» мы скажем потом. Но пока заметим, что Леонтьев, говоря о «музыке», которая «жизнию рождается», прежде всего, конечно, имел в виду опыт русской литературы. Петр Гринев на пиру Пугачева. Все — грязно, отвратительно: и Пугачев в роли «осударя», и «господа енералы» с рваными ноздрями. Балаган, да и только! Но вот звучит каторжная песня. «Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, — все потрясло меня каким-то *пиитическим ужасом* (курсив мой. — П. Б.)».

Вспомним, что до этого Гринев баловался стихами, над которыми смеялся Швабрин и которые в самом деле были настолько плохи, что их не спасала даже чистая любовь сочинителя к Машеньке Мироновой. Откуда тут в нем просыпается поэт, если вспомнить, что поэзия — это прежде всего «состояние души»?

Дистанция! Ее мгновенное нарушение! Два мира, две породы внезапно сошлись — и родилась вспышка. Но дальше им быть рядом нельзя; встречи Гринева и Пугачева должны быть краткими, мимолетными. Как глубоко изображает Пушкин и невозможность нарушения дистанции, и неизбежность! «Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку. «Целуй руку, целуй руку!» — говорили около

меня. Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению. «Батюшка Петр Андреич! — шептал Савельич, стоя за мной и толкая меня. — Не упрямясь! что тебе стоит? плюнь да поцелуй у злод... (тьфу!) поцелуй у него ручку». Я не шевелился. Пугачев опустил руку...»

Поцеловать ручку — значит смазать границы, смешать краски. Помимо дворянской чести Гринева останавливает еще и природный поэтический вкус. Будет пошлость, будет Швабрин. Между прочим, выдержав однажды дистанцию, он потом ведет себя гораздо менее решительно: подчиняется приказам «государя» немедленно явиться и вообще — не всегда твердо помнит о дворянской чести: «то, на что был я готов под виселицею в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостию».

Пугачев при каждой встрече с Гриневым только посмеивается. И сам Гринева, глядя на него, не может остановиться, прыскает со смеху (и это в тот день, когда пала крепость и казнили Ивана Кузмича Миронова и Василису Егоровну!). Идет игра в «угадай-ка!», в «маска, ты кто?»: «мужик» играет «барина», а природный «барин» не прочь хотя бы частично поддержать его игру и в это же время не может сдержаться от смеха. «Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец, он засмеялся, и с такою непритворной веселостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не знаю чему...

— Чему ты усмехаешься? — спросил он меня нахмурясь. — Или ты не веришь, что я великий государь?»

Два мира поменялись местами, и мир перевернулся и — все в мире. Гринева и сам не понимает, кто он: живой или казненный, гость или узник, дворянский офицер или пугачевский шпион? Но вот все встало на места. Пугачев разгромлен. Отчего же некое «странное чувство» омрачает радость Гринева? Пугачев прежде, чем лишиться головы, видит Гринева в толпе — и кивает ему на прощанье. Мол, «ничего, барин, видишь, все вернулось, поживи пока, как всегда».

Что такое «как всегда», предельно ясно изображено в пропущенной главе из «Капитанской дочки»:

«— Ну что, дураки, — сказал он им, — зачем вы вздумали бунтовать?»

— Виноваты, государь ты наш, — отвечали они в голос.

— То-то, виноваты. Напроказят, да и сами не рады. Прощаю вас для радости, что Бог привел меня свидеться с сыном Петром Андреичем. Ну, добро: повинную голову меч не сечет.

— Виноваты!

— Конечно, виноваты. Бог дал ведро, пора бы сено убрать; а вы, дурачье, целые три дня что делали? Староста! Нарядить поголовно на сенокос; да смотри, рыжая bestия, чтоб у меня к Иванову дню все сено было в копнах. Убирайтесь.

Мужики поклонились и пошли на барщину как ни в чем не бывало».

И вновь — период со-существования. Два мира замыкаются в себе. И вновь «барская» культура словно высаживает свой «десант» в «мужицкий» мир. Что самое поразительное — каждый раз этот мир открывается заново, будто Америка; будто Некрасов и Тургенев, Толстой и Григорович, Бунин и даже Горький родились хотя и на одной земле, но вовсе не на той, которую они взялись описывать. Толстого так же изумляет смерть русского солдата («Рубка леса») или ямщика («Три смерти»), как Тургенева и зумляла смерть Лукерьи в «Живых мощах». Казалось бы, чему изумляться! Сотни и тысячи мужиков на протяжении целых веков умирали одинаково. Нет, — восторг, изумление, потрясение — нечаянное открытие!

И все происходит «вдруг», будто в джунглях! Некрасов видит «вдруг» в истории ямщика настоящий «роман» («В дороге»). Тургенев «вдруг» набредает на избушку, где тихо помирает Лукерья (так персонажи «Острова сокровищ» «вдруг» находили хижину в лесу). Бунин «вдруг» замечает, что мужики едят ядовитые грибы («Косцы»). А вот Горький решил поставить изучение «мужика» на плановую основу и отправился путешествовать «по Руси», словно Миклухо-Маклай. Слово воспитала его не та же «Русь», не те же «мужики», не дед и бабушка, а неизвестные «господа».

И так же «вдруг» меняется мировоззрение и эстетика «неправильного барина» — каким про себя считает Оленина его слуга в «Казаках». Случай Толстого — наиболее радикальный. Но аналогичные вещи происходят и с Некрасовым, внезапно отчетливо увидевшим образ «крестьянской» Музы, и с Тургеневым, для которого, как считал М. О. Гершензон, образ Лукерьи оказался едва ли не самым главным в мировоззренческом плане («Мечта и мысль Тургенева». М. 1919). Неожиданный надлом в отношении Горького к мужикам, случившийся с ним в ранней юности и описанный в очерке «Вывод», по сути, определил и все дальнейшее поведение писателя в эпоху революции и после нее. Избитый до полусмерти мужиками за свой «рыцарский» жест (пытался спасти от публичного наказания женщину), он так и не мог этого простить, и его выбор в пользу Сталина, в частности, объясняется еще и этим.

Как могло быть такое? Невольно согласишься с теорией Ленина о «двух культурах в национальной культуре» и их классовом характере. Но вот что любопытно. Совершим скачок через эпоху и обратимся к нашему недавнему прошлому и настоящему — посмотрим, как решается тема «барина и мужика» в современной литературе.

Возьмите «Матренин двор» А. Солженицына, одно из самых ярких произведений ранней деревенской прозы. То же узнавание и изумление, смесь ужаса и восторга. Деревенский учитель много месяцев проводит в одной избе с Матрениной, прежде чем удостоивается ее исповеди. Право слово, туземцы с острова Пасхи раскрывались перед Туром Хейердалом гораздо быстрее! А ведь рассказчик (вернее, его автобиографический прототип) прошел с этим народом от Орла до Восточной Пруссии и несколько лет провел с ним на лагерных работах. И опять — дистанция! И опять сшибка двух миров, двух пород. И опять музыка Матрениной жизни открывается автору внезапно, «вдруг». Но поразительно даже не это, а то, что эта музыка только автору одному и слышна; соседи и родственники Матрены ее не слышат! Точно так же Лукерья была «феноменом» для одного Тургенева — для крестьян в ее долгом умирании не было ничего необычного, просто судьба такая...

Казалось бы, это противоречие должно было решиться в основном корпусе деревенской прозы, написанной природными «мужиками»: Беловым, Абрамовым, Воробьевым, Распутиным, Астафьевым, Шукшиным, Личутиным. Ничуть не бывало! Дистанция только упрочилась! Вся деревенская проза — это проза не просто о параллельном мире, но и о мире, который, существуя параллельно, отходит в инобытие — в незримый глазу град Китеж. Претензии, что деревенская проза идеализировала «мужика», совершенно неосновательны; с разной степенью верности можно обвинить Гомера в идеализации античности, а «рыцарский роман» в идеализации рыцарства. Кто проверит?

В стихах Николая Рубцова самые рядовые вещи происходят точно во сне, точно в сказке:

В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...

Оттого они так и волнуют своей музыкой, что она звучит будто из иного мира, который, еще не потеряв «одновременного существования», уже превратился в инобытие. И получается, что слышит эту музыку только автор стихов; современному читателю расслышать ее «без посредника» все труднее и труднее; современный человек все больше становится туговат на ухо. То, что внезапно достигало слуха Тургенева или Солженицына благодаря удивительной резкости этого звука, теперь звучит все тише и тише.

В рассказе Л. Петрушевской «Новые Робинзоны» музыки почти не слышно. Что-то еле-еле пробивается в конце, когда старуха Анисья приходит к городским беженцам в их лесное убежище и пытается быть «душою» их временного дома. Но — ни о чем ее не просят рассказать, ибо заняты только проблемой выживания. У других старух даже лиц не видно: «Весной Марфутка, закутанная во множество сальных шалей, тряпок и одеял, являлась к Анисье в теплый дом и сидела там как мумия, ничего не говоря... Марфутка сидела, я посмотрела однажды в ее лицо, вернее, в тот участок ее лица, который был

виден из тряпья, и увидела, что лицо у нее маленькое и темное, а глаза — как мокрые дырочки».

Редко-редко в «новой русской прозе» звучит что-то, отдаленно напоминающее былую музыку. Последним событием я считаю рассказ Алексея Варламова «Галаша», напечатанный не так давно в «Новом мире». Но и здесь исповедь деревенского мужика вызывает в авторе не изумление, а скорее недоверчивое любопытство: вот, оказывается, что рядом происходит! В остальных вещах, как, например, в повести А. Слаповского «Первое второе пришествие», обращение к деревенской теме всего лишь становится поводом для разыгрывания карнавала масок, шутовского действия, отличающегося от кровавого «карнавала» «Капитанской дочери» тем, что все здесь происходит как бы не всерьез, как бы понарошку. Гораздо более удачным примером «карнавального» подхода к этой теме мне видится повесть Валерия Володина «Русский народ едет на шашлыки и обратно». Здесь под смешным просматривается кошмарное: пир для городских «начальников» устроен в буквальном смысле на могилах вымирающей деревни; он, таким образом, оказывается пиром «после чумы», а это едва ли не более страшно, чем пир «во время».

Что случилось с «музыкой»? Рухнули все границы? Наступило время демократии, когда говорить об этом вроде как нет резона, ибо ни «барина», ни «мужика» давно нет в природе? Но, говоря о «мужике», мы почти забыли о «барине».

Прощай, дворяне!

Я свой народ знаю. Вот он где у меня, в кулаке. Мандельштама Осипа Эмильевича читали? «Благословить тебя в глубокий ад сойдет стопами легкими Россия». Это он написал о комиссаре Линде. Его солдаты в 1918 году убили. Он ими, инородец, решил управлять. А народа русского, характера его — не знал. И погиб. А меня, нет, врешь, сволочь, не возьмешь. И я тобой, а не ты мной управлять будешь. Ты вот смену отстоял у станка грязного, гадкого, выточил деталь дешевую, глупую. А я за это время на машинку пишушкой дома, в тепле, в холе: «чуки-чуки-чук» — 18 страничек. И заработал столько, сколько ты за месяц. Понял, харя российская, как русский дворянин деньги зарабатывает? И всегда так будет. И денежки эти я потрачу не так, как ты, а куплю винца хорошего и с девушкой приятной в Цэдзеле посижу. А ты нажрешься сивухи и будешь блевать в подъезде, где кошки гадят. Так-то, милый. Будешь слушаться меня и таких, как я, и все у тебя начнет тоже по-хорошему получаться. Начнешь опять кочевряжиться — так и останешься свиньей гадкой, совком. Я ведь не держу зла-то на тебя. Я тебе добра хочу-то. Не твоего ума дело Галковского судить. Не нравится он тебе, а ты гордыню-то смири, терпи. Вот не было его 70 лет. Хорошо тебе было? А с ним — все лучше будет. Он ум твой. Какой-никакой, а есть. А не будет Галковского, так и ничего не будет. Так что, брат, прости. «Дело господское».

Д. Галковский.

В нынешнем сознании царит чрезвычайная путаница во всем, что касается «барской» культуры. Едва ли не главную роль сыграл в этом советский кинематограф. Реабилитация внешних атрибутов «барства» — от шлафроков и чубуков до ментиков и аксельбантов — по своей цветастой нелепости сравнима разве только с черно-белой реабилитацией фашистской эстетики в сериале «Семнадцать мгновений весны». В фильмах вроде «Звезда пленительного счастья», «О бедном гусаре замолвите слово», «Эскадрон гусар летучих» и даже такой талантливой экранизации романа Гончарова, как «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», внешняя сторона дворянской эстетики явно преобладала над ее содержанием, и создавалось впечатление, что дворянство — нечто прежде всего красивое. С другой стороны, интересным феноменом являются советские фильмы о Гражданской войне, где «правильная» революционная идея никак не противоречила «ностальгическим» белогвардейским мотивам.

Увлечение внешними признаками «барства» часто приводит и к странному пониманию его роли в русской литературе. Для большинства школьников лермонтовский Максим Максимыч представляется «народным» типом, в отличие от Печорина, который, разумеется, «дворянин». Но Максим Максимыч не просто дворянин, как и Печорин, — а и стоит выше последнего по званию. Так, при встрече с Максимом Максимычем прапорщик Григорий Печорин отвечает ему по полной форме: «Точно так, господин штабс-капитан». И лишь благодаря демократичному отношению начальника к подчиненному между ними завязались приятельские отношения. Манкировать беседой со штабс-капитаном в следующей главе Печорину позволяет лишь то обстоятельство, что к этому времени он уже вышел в отставку.

Из той же путаницы берет начало твердое убеждение, что «барской» культуры при социализме быть не могло; что те, кто мнили себя в это время «барами», на самом-то деле были просто выскочками «из грязи да в князи». И наоборот — после конца социализма возможно возрождение «легитимного дворянства». В роскошном журнале с типичным названием «Imperial Magazine» читаем статью «Старая аристократия в новом времени» о потомках графов и князей Голицыне, Бобринском, Глинке, Оболенском и других. Они уверены, что их возрождение не за горами. Например, В. Н. Оболенский считает, что «бизнесмены очень заинтересованы в контактах с нами», и хочет открыть аристократический клуб, «куда соберутся не только дворяне, но и крупные бизнесмены». И хотя очевидно, что это будет собрание псевдодворян без Двора и дворов вкупе с возможными уголовниками, г-на Оболенского это ничуть не смущает.

Но вот почему бы не считать настоящим «барином» красного графа А. Н. Толстого, который до возвращения в СССР скорее был просто не самым известным писателем и не самым крупным белогвардейским журналистом и лишь в Стране Советов приобрел положение настоящего «барина», в писательской и театральной, по крайней мере, среде? Чем его жизнь, с размахом, с бешеными удовольствиями, о которых и по сей день вспоминают старые писатели и театралы, не была «барской»? Угождал режиму? Ну и что! Всякого дворянина царь заслушание мог послать хоть на Камчатку.

Почему не признать «барами» крупных и не очень начальников ГУЛАГа? В их полном подчинении находились миллионы людей, от их капризов зависели многие тысячи судеб. И как можно это сравнить, например, с положением дворянина Ивана Кузмича Миронова и его Василисы Егоровны: «Услыша, что у батюшки триста душ крестьян, „легко ли! — сказала она, — ведь есть же на свете богатые люди! А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка Палашка, да слава Богу, живем помаленьку”».

Очевидно, что понятия «барин» и «дворянин» не только отличаются друг от друга, но часто являются антонимами. И очевидно, что «барство» оказалось куда более живучим явлением, чем «дворянство». «Барство» осталось и тогда, когда «дворянство» как понятие государственной службы было истреблено в советском сознании и подменено внешними признаками красивой, богатой жизни. Но в то же время между этими понятиями существует глубокая связь, которая не позволяет так просто развести их в стороны.

Умный и тонкий исследователь русской религиозности В. П. Рябушинский относит возникновение «барства» как особой культуры к XVII — XVIII векам, когда окончательно закрепились и привилегии дворянства: «Линия, отделявшая в России, начиная с первых годов 18 века, мужика от барина, была странная и извилистая, очень ясная при наглядном обозрении, трудно, иногда, объяснимая словесно и логично, особенно в дальнейшем.

Начитанный, богатый купец — старообрядец с бородой и в русском длиннополом платье, талантливый промышленник, хозяин для сотен, иногда тысяч, человек рабочего люда, и в то же время знаток древнего русского искусства, археолог, собиратель икон, книг, рукописей, разбирающийся в исторических и экономических вопросах, любящий свое дело, но полный и духовных запросов, такой человек был „мужик”; а мелкий канцелярист, выбритый, в западном камзоле, схвативший кое-какие верхушки образования, в сущности малокультурный, часто взяточник, хотя и по нужде, всех выше себя стоящих втайне критикующий и осуждающий, мужика глубоко презирающий, один из предков грядущего русского интеллигента, — это уже „барин”» (Рябушин-

ский Вл. Старообрядчество и русское религиозное чувство. Москва — Иерусалим. 1994).

Время Никона и Петра Рябушинский считает «моральным землетрясением», когда над религиозным чувством нации было произведено такое же надругательство, как над всей Россией в семнадцатом году нашего века: «Теперь чека, гепеу — тогда Преображенский Приказ, Тайная канцелярия: названия и формы переменялись, а суть осталась».

Но когда «землетрясение» «стало утихать и жизнь постепенно начала утрясаться, то образовавшиеся в результате катаклизмов 2 класса, вернее даже 2 нации, мужичья и барская, хотя религиозно и чувствовали по-разному, все-таки от постоянного соприкосновения, сначала слабо, а потом все сильнее и сильнее, стали влиять друг на друга. И в этом отношении 19 век значительно отличается от 18-го».

Конечно, XIX век — это время напряженного и внимательного всматривания «барской» культуры в «мужицкую». Уже с двадцатых годов ключевыми понятиями русской мысли и критики становятся понятия «народности», а потом и просто — «русскости» (то есть «русскость» понималась верхней культурой как проблема, и положение это сохранилось до наших дней).

Но вот самый радикальный теоретик «мужицкой» культуры И. Солоневич полагал, что влияние «барской» культуры на «мужицкую» было скорее отрицательным и разлагающим. Зато и от «барской» культуры, считал он, отделился «штабс-капитанский», или «служилый», элемент, он-то и стал наиболее здоровым центром пересечения двух культур (Солоневич Иван. Народная монархия. М. 1991).

Вот как описывает этот элемент Михаил Лермонтов в очерке «Кавказец»: «Настоящий кавказец человек удивительный, достойный всякого уважения и участия. До 18 лет он воспитывался в кадетском корпусе и вышел оттуда отличным офицером; он потихоньку в классах читал «Кавказского Пленника» и воспламенился страстью к Кавказу. Он с 10 товарищами был отправлен туда на казенный счет с большими надеждами и маленьким чемоданом... Вот пошли в экспедицию; наш юноша кидается всюду, где только провизжала одна пуля. Он думает поймать руками десятка два горцев, ему снятся страшные битвы, реки крови и генеральские эполеты... Между тем жары изнурительны летом, а осенью слякоть и холода. Скучно! промелькнуло пять, шесть лет: все одно и то же. Он приобретает опытность, становится холодно храбр и смеется над новичками, которые подставляют лоб без нужды. Между тем, хотя грудь его увешана крестами, а чины нейдут...»

Нужно ли говорить, что русская литература не обошла вниманием «штабс-капитанский» элемент? Пушкинский капитан Миронов, лермонтовский «кавказец» и Максим Максимыч, толстовский капитан Тушин и так далее вплоть до капитана Хабарова современного молодого прозаика Олега Павлова («Казенная сказка»). Даже в годы Гражданской войны, когда между «мужицкой» и «барской» культурами вроде бы не могло быть примирения ни с одной, ни с другой стороны, появляется «Белая гвардия» М. Булгакова, из которой становится понятно, что в преданной, проданной России сохранился «штабс-капитанский» элемент. Но понятно и другое. Он сохранился не благодаря «белой» или «красной» или какой-то другой «жгучей» идее, но сам по себе, как наиболее реальное и нравственно крепкое зерно, не затронутое эпохой всеобщей смуты. Так во время землетрясения сохраняются островки земли, на которых не возникают трещины, разломы; на этих-то островках и спасается население.

Что было с «мужицкой» культурой в XX веке, вряд ли стоит напоминать¹. Об этом, слава Богу, существует огромная и прекрасная литература: от деревенской прозы до мощной публицистики Солженицына. А вот что было с культурой «барской»? Сохранилась ли она?

¹ Особая тема, которой я не хочу здесь касаться, — судьбы Есенина, Клюева, Орешина и других «новокрестьянских» поэтов. Ясно, однако, что их трагедия, в отличие от судеб Кольцова и Никитина, во многом зависела именно от того, что дистанция между двумя культурами, не будучи преодоленной, оказалась попросту искаженной «смутным» временем. Произошла история еще более сложная, чем та, что описана в повести Пушкина. «Мужик», превращаясь в «барина», тем временем старательно исполнял роль «мужика», ибо «барин» так хотел! См. в этой связи очерк Владислава Ходасевича о Сергее Есенине, где изумительно показана «масочность» поведения Есенина и Клюева.

Быть может, это покажется странным, но первым и открытым апофеозом «барской», господской идеи в русской литературе были рассказы и пьеса М. Горького о босяках. Вот «прирожденные господа», «правильные бары»: Челкаш, Шакро, Артем, Сатин, Мальва и другие. Их глубокое презрение к «мужику», их высокомерное отношение ко всякой «службе» выдают их «барство» с головой. Но даже не это в них самое главное. Главное — их «эстетизм»! Все должно быть непременно красивым, статным, великолепным! «Человек... это великолепно!» Горьковский Данко — не просто «герой», но — «барин», «легитимный» господин. «Но тут явился Данко и спас всех один». Он — «молодой красавец», а «красивые — всегда смелы». Люди сразу понимают, что он «лучший из всех». «Вы сказали: «Веди!» и я повел!.. Во мне есть мужество вести, вот потому я повел вас! А вы? Что сделали вы в помощь себе?.. Вы только шли, шли, как стадо овец!»

«О, братья мои, — говорит Заратустра, — я жалею вас в новую знать: вы должны стать созидателями и воспитателями — сеятелями будущего, —

— поистине, не в ту знать, что могли бы купить вы, как торгаши, золотом торгашей: ибо мало ценности во всем том, что имеет свою цену.

Не то, откуда вы идете, пусть составит отныне вашу честь, а то, куда вы идете! Ваша воля и ваши шаги, идущие дальше вас самих, — пусть будут отныне вашей новой честью!» (Фридрих Ницше, «Так говорил Заратустра»).

Несомненно, «барство» XX века было замешено на этой идее, не важно, в каких формах это реализовывалось: фашизме или коммунизме. Однако любые «жгучие» идеи либо побеждаются другими, более «жгучими», либо неизбежно остывают. А вот рутинное «барство» остается. Оказывается, оно не может быть побеждено ничем; его живучесть просто изумительна. «Вас, как и евреев, можно уничтожить только физически!» — кричит об аристократах XX века «плебей» Митишатьев из «Пушкинского дома» А. Битова. Правда, его отношение к «барству» испорчено комплексом неполноценности и смутным сомнением в собственной «русскости» — отсюда такое преувеличенное и чисто «интеллигентское» обострение «еврейского вопроса». Но и сам автор в чем-то согласен с Митишатьевым, если он пишет о замечательной способности аристократии выжить при любых обстоятельствах. Мимоходом он задевает и «служилый» элемент, доказывая, что «барство» смогло выжить благодаря умению «служить» и «не рассуждать», в отличие от интеллигенции.

Битовская версия мне не кажется до конца верной. Он смешивает понятия «барство» и «дворянство» и выпускает из поля зрения «штабс-капитанский» элемент, сосредоточиваясь на дорогой его сердцу «интеллигентской» культуре. Последняя была и остается частью «барской» культуры; ее плодотворность и неплодотворность зависели от того, насколько она понимала собственное «барство» как проблему (то есть опять-таки тяготела к типу «неправильного барина», которым, между прочим, и является битовский Лева Одоевцев).

Гораздо глубже тема «барства» была решена Юрием Трифоновым. Трифонов еще толком не прочитан, но уже полузабыт, в отличие от Битова, в котором культура «русского постмодернизма» нашла какие-то близкие ей вещи. Если внимательно прочитать Трифонова сегодня, то окажется, что он предельно беспощаден к «барству», почти издевается над ним; и это переживается автором тем сильнее, что происхождением своим он обязан именно советскому «барству».

В «Доме на набережной» социальными антагонистами на деле оказываются не профессор Ганчук и Левка Шулепа, а Левка Шулепа и баба Нила. Левка Шулепа, сын коммунистического «барина», именинник жизни, дьявол, искушающий Глебова. «В Левкиных отцах, — замечает Трифонов, — можно было запутаться. Но мать у него всегда оставалась одна. И это была редкая женщина! Левка говорил, что она дворянского рода и что он, между прочим, потомок князей Барятинских».

Но и квартира Ганчуков служит для Глебова не менее серьезным искушением. Вся она: и ее размеры, и обстановка, и поведение хозяев — говорит о возможности какой-то «другой» жизни, отличной от той, которая достанется «мужику» Глебову и — всей стране. С каким же высокомерием процеживают через «барское» сито посетителей квартиры Ганчуки! С каким омерзением, гадливостью мать Сони, Юлия Михайловна, хочет откупиться от «мужика»

Глебова, только бы он, предатель, не испортил их кровь! А ведь, по сути, она губит свою дочь, которую Глебов, плохой или хороший, искренно любит.

И только баба Нила ценой смерти невольно спасает Глебова от неминуемой подлости. Глебов уже весь принадлежит «барской» культуре; рано или поздно он станет «барином»; и важно лишь, каким «барином» он станет: «штабс-капитаном» или отцом нового Шулепы.

Так же глубоко поставлена тема «барства» в романе Леонида Бородина «Божеполье». Бородин идет на последний решительный шаг: прямо отождествляет белое и красное «барство» и показывает, что оба они способны существовать только за счет «мужика». Первым толчком к пути в коммунистическое «барство» для видного чиновника Павла Дмитриевича Клементьева стала «картинка» детства: он, деревенский пацан, с завистью глядит на сына казачьего белогвардейского офицера. Этот мальчик, проезжающий с эскадроном через деревню, его одежда, его взгляд, его гордая осанка в седле — что-то разом надломили в деревенском пацане и отравили его отношение к своим товарищам, своим родителям. Вот начало его комсомольской и коммунистической карьеры! Вот источник его «барства»! И все это в конце концов осуществляется мистической ценой гибели Божеполья, в реальности расходуемого на торф, а в символическом плане ставшего источником жизненной энергии для нового «барства».

Однако Бородин не спешит вынести Павлу Дмитриевичу Клементьеву последний приговор. В нем есть «служилый» элемент — как его понимает коммунистический чиновник. А вот на смену приходит новейшее «барство» в лице Жоржа Сидорова. Суть этой новой «барской» породы в том, что она напроць лишена «почвы» и «музыки»; ей уже нечем питаться в мистическом плане; и вот она-то и оказывается последней «нежитью».

Прав или нет Бородин, но пока наша литература ничего яркого о «новых русских» не сказала². И в то же время в отсутствие оригинала (как об этом уже писалось на страницах «Нового мира») появились пародии на литературу, которой пока нет. Самой талантливой был роман Б. Кенжеева «Иван Безуглов» — смесь мещанского и революционного романов. Да и цитата из Галковского в эпиграфе из той же серии.

Если так будет продолжаться, нам придется задуматься над тем, что ожидает «барскую» культуру в XXI веке. Будет ли это принципиально новая культура, культура без музыки, что «жизнию рождается», или культуры не будет вовсе, но будет только ее имитация?

— Скучно! скучно!.. Ямщик удалой!

.....
Самому мне невесело, барин!

(Н. Некрасов, «В дороге»)

² Между тем проблема «барина и мужика» вовсе не исчезла из литературы. Ее поднимают, скажем, такие непохожие во всем писатели, как Петр Алешковский (роман «Владимир Чигринцев». — «Дружба народов», 1995, № 9 — 10) и Николай Шипилов (поэма «Прощайте, дворяне!». — «Лепта», 1995, № 26). И выходит, что русская литература все-таки обречена решать эту проблему.

ТАТЬЯНА КАСАТКИНА



«НО СТРАШНО МНЕ: ИЗМЕНИШЬ ОБЛИК ТЫ...»

Видимые проявления человеческой эстетики не полны. Искусство проявляется и развивается односторонне, в том направлении, какое дал ему мужчина. Оно приобретет высшее могущество, сделается верховным, полным, существенно человеческим искусством, когда женщина будет жить свойственной ей, личной жизнью и тем доведет до максимума умственную производительность в человечестве. Неведомые сочетания колебательных или каких-либо других движений мысли увеличат творческую ее силу и заставят ее разрешиться блестящими произведениями какого-нибудь удивительного синтеза, могущими рассчитывать на верное бессмертие, вследствие многочисленности и разнообразия их глубоких корней. Развитие человеческое будет иметь свой предел; но оно будет полным, оно исчерпает всякие возможности в проявлении красоты и добра только тогда, когда с полной свободой примет в нем сотрудничество и женщина.

Жак Лурбе.

Рассказ Макарина «Кавказский пленный» («Новый мир», 1995, № 4) мой добрый друг принес мне со словами: «Посмотри, вот настоящая мужская проза». Не то чтобы высказывание это было вполне спонтанным, нет, оно отчасти было спровоцировано моим заявлением, что если уж писать о современных прозаиках, то, конечно, — о женщинах, ибо это, безусловно, самое интересное, что есть в современной отечественной литературе. Но сама возможность — даже спровоцированного — такого высказывания говорит о многом. Все же раньше была проза и «женская проза», противопоставленная прозе вообще или включенная в нее в знак особой милости. Теперь деление, видимо, проходит несколько иначе. Есть женский мир, написанный женщиной, включающий ее представления о мужчине, и мужской мир, описанный мужчиной, включая его представления о женщине. Вероятно, в обоих случаях представления будут иметь мало общего с реальностью — даже в случае не подверженной сомнению гениальности автора. В том-то и дело, что умной и возвышенной Татьяне во время ее последней, например, беседы с Онегиным пришло в голову предостаточно мыслей, соображений, а главное — эмоций, которые никак не могли прийти в голову Пушкину. Между тем их легко угадала бы (и угадала!) третьестепенная писательница¹.

Все мне кажется, что у Александра Сергеевича Татьяна, выиграв в цельности и законченности — навек, навек же проиграла в достоверности, но — мало того — еще народила и женщинам и мужчинам кучу лишних комплексов, всегда возникающих из-за необходимости соотносить свое поведение с идеальной схемой, в которой к тому же не учтена как минимум половина реальных действующих сил. Оговорюсь: Пушкин здесь ни в малейшей степени «не виноват», ибо Татьяна сказала то, что сказала, и никак не оговорено, о чем именно она не нашла нужным сообщать Онегину. Но именно из-за этой

¹ Имеется в виду повесть О. А. Шапир «Авдотьины дочери» (1898), где явно чувствуется скрытая полемика с пушкинским романом по поводу чувств, испытываемых молодой женщиной к «старому мужу» и «молодому соблазнителью».

неоговоренности и возникает читательское впечатление, что она сказала — все.

Значит ли это, что, не отражая реальности женщины/мужчины, мужская/женская проза не отражает вовсе никакой реальности? Понятно, не значит, ибо она отражает реальность восприятия мужчиной женщины и, соответственно, наоборот. В свете этого положения и следует рассматривать все дальнейшие рассуждения.

Перед нами произведения нескольких авторов: самого мужественного мужчины, самой решительной женщины и мужчины и женщины в соавторстве, предлагающих не что иное, как «Роман воспитания», — очевидно, весьма гармоничной пары, ибо их «роман» лежит за пределами взаимоотношений мужчины и женщины. Речь пойдет о рассказе Владимира Маканина, о сборнике прозы «Тайна дома» Людмилы Петрушевской (М. СП «Квадрат». 1995) и «Романе воспитания» Нины Горлановой и Вячеслава Букура («Новый мир», 1995, № 8 — 9). А говорится, как ни странно, везде об одном и том же — о красоте... Поскольку мужская проза ставит проблему с первой строчки и наиболее остро, то с нее и начнем.

«Солдаты, скорее всего, не знали про то, что *красота спасет мир*, но что такое красота, оба они, в общем, знали», — так начинается свой рассказ Владимир Маканин. Однако было бы точнее, если бы он сказал, что солдаты чувствовали красоту. И чувство, которое она у них вызывала, довольно неожиданное и очень точно (с мужской точки зрения) указанное, — это страх.

Во всяком случае, мужчина, воспринимая себя как субъект, объектом для которого является весь мир, стремился не быть красивым, но владеть красивым. Красота была то, что ему противостояло. Так вот, эта красота за последний век с некоторой неизбежностью улетучилась из женского образа. Женщина стала-таки человеком в полном смысле этого слова. В русской системе ценностей на самом деле это значило только одно: она перестала быть ангелом. Известная американская славистка-феминистка Барбара Хелдт так и назвала свою весьма небезынтересную книгу о женщинах и русской литературе «Угрожающее совершенство». Она утверждает, в частности, что возведение женщины в ранг идеала и совершенства в русской литературе XIX века было формой ее порабощения. Если свести эту мысль к более распространенной, то это будет положение о двойной морали. Распутный родитель, пока в его душе есть представление о том, что он живет распутно и неправильно, если он по слабости не имеет силы отказаться от своего образа жизни и даже ценит его, не пожелает его своему ребенку и будет всячески противодействовать ему в попытках вступить на этот путь. Охранить лучшее и любимое от своих ошибок и мерзости — в этом, конечно, присутствует доля понятного протекционизма, но есть и нечто другое, более глубокое, — стремление охранить «свое лучшее». Мужчина смотрел на женщину как на призванную сохранить чистоту и идеал, им безнадежно утерянные в себе, в своей повседневности. Как на свою «лучшую половину». Это сродни отношению к праведнику: «Пусть мы малы и мерзки, а ты не должен». У русского человека идеалы, как водится, столь высоки и неудобноносимы, что он с радостью перекладывает их несение на кого-нибудь другого. Но и почитает же он зато этого другого! Кстати, причина столь поражающей западных феминисток невосприимчивости русских женщин к феминизму, видимо, лежит именно здесь. При всем бытовом и прочем безобразии жизни, русская женщина всегда имела возможность почувствовать себя королевой в силу давней традиции. А с королевой, конечно, смешно толковать о равноправии. Но маканинский рассказ свидетельствует о затухании этой традиции поклонения.

Тут и встает вопрос: где же разместить эту красоту, предназначенную спасти мир (вот ведь бросил Достоевский фразочку!), которая все-таки была не так враждебна до тех пор, пока она воплощалась в женщине — в силу ли привычки, в силу ли материнского начала, обволакивающего эту красоту или растворяющего ее в себе, делающего ее тем самым не такой страшной — ибо не такой незнакомой, не такой угрожающей. С того момента, как женщина спускается с пьедестала, достигая на миг некоторого равноправия, которое сейчас увидим, к чему приведет, красота приобретает совсем уже грозные и непонятные формы.

Вообще, красота в понимании Маканина — своего рода сигнал опасности, предупредительный знак. И, на первый взгляд, в этом смысле она и спасает. Красота в маканинском мире появляется рядом с тем, что опасно. Он пишет: «Заставляя насторожиться, красота заставляет помнить». Но, исходя из его же текста, заставляя насторожиться, красота скорее заставляет испугаться. И вот именно заставляя испугаться и отпрянуть от своего носителя или заставляя испугаться и уничтожить своего носителя красота и «спасает» героев-деятели маканинского мира. Но что при этом происходит с самим миром? С миром, излучающим красоту?

Носителем красоты в этом мире является юноша. Почему? Да потому, видимо, что красота, которая спасет мир или хотя бы имеет какие-либо реальные шансы его спасти, должна оставаться недоступной, неподвластной искушению или очень основательно от него защищенной. Красота, разлученная с женским образом, вообще исчезает из привычного мира. Она, повторю, и останавливает внимание постольку, поскольку она пугает. Отношения Рубахина к пленному юноше его пугают, именно поэтому появляется возможность возникновения гораздо более глубокого чувства, чем вроде бы предполагает вся ситуация маканинского рассказа.

Сквозь женскую красоту герои просто проходят, не замечая ее, как сквозь привычное. Женщину отбрасывают, как выпитую бутылку портвейна: без всякой злобы или какого-то другого чувства — вообще без какого-либо чувства. Есть просто некоторая функция и некоторая ненужность после ее осуществления. Красота ко всему этому давно уже не имеет никакого отношения.

Пленный же у Маканина как бы не имеет пола. И солдаты, конечно, ощущают это — тоже как страх. Это существо насыщено чувством пола, тревогой, напряжением пола, но при этом его собственная, реальная половая принадлежность как бы не важна. Своеобразное присвоение ангельской сущности, утерянной женщиной.

Не-спасение красотой ее носителя, неясность призыва, который обращает к человеку красота, вроде бы оправдываются у Маканина тем, что эта красота — чужая. Но ведь она чужая уже «который век», как оговорится в конце рассказа его герой. «Который век» — такой срок, за который чужое давно могло бы стать своим, если бы вообще к этому имелись хоть какие-то основания.

Пленный юноша (все время стоит в памяти разговор подполковника Гурова с Алибеком — неизвестно, кто у кого в плену) намекает на причину чуждости солдатам красоты, говоря Рубахину: «Солдаты никогда не имеют красивых женщин».

Но красивой женщины не «имеет» в рассказе никто, и нет надежды на то, чтобы это могло как-то осуществиться, потому что «имение» женщины и солдатом, и подполковником сводится к одному и тому же, включая в себя в одном случае ключи от холодильника на хладокомбинате, а в другом — бутылку портвейна. «Иметь» таким образом красоту невозможно — это как иметь книгу, которую вы никогда не прочтете, пластинку, которую вы никогда не будете слушать. Видимо, «иметь» красоту (и маканинский рассказ позволяет догадаться об этом) можно только одним способом — служа ей. (Поэтому здесь и исключается женщина — из-за прагматизма в этом случае.)

Единственный способ, которым красота может спасти мир, — это напомнив человеку, что он не для себя и мир не для него, что если он поставит себя в центр мироздания, то пройдет сквозь него, гордясь своим одиночеством, как ныне проходит мужчина сквозь женщину, — не задетый им, ни на чем не остановив взора — и исчезнет в ничтожестве.

Служение красоте должно быть абсолютным — с риском чем угодно, с жертвой чем угодно, включая собственную жизнь. Чувствующий это каким-то собачьим инстинктом Рубахин (ощущающий свою заботу физически: «В руках, как болезнь, появилось мелкое нетерпение») не знает и не понимает этого. Оттого красота и гибнет в его руках.

Впрочем, маканинский герой — Рубахин — уже вне этих мерок. Он — пленный. Красота пленила его и не отпускает, а он даже и не понимает, что мешает ему покинуть эти горы. Не постигая, «что, собственно, красота их хотела ему сказать? зачем окликала?», он все же учится служить ей — чужой и тревожной, но, значит, уже не совсем чужой.

И если все — так, если мы, русские, прикованы к Кавказу его красотой и просто не можем уйти, пытаюсь который век эту красоту разгадать, то нам жизненно необходимо научиться, чтобы красота не гибла в наших руках. Иначе нам уже не будет никакого спасения.

Женщина, традиционно являясь носителем красоты, слишком хорошо знает, что «красота в жизни не помощница» (рассказ Л. Петрушевской «Поэзия в жизни»), что красота не спасает, но сама нуждается в спасении. Потому что красота — это Божественный знак, зримый оттиск богосыновства — но и дьяволово искушение.

Красота — это пик, на который поставил дьявол Христа во время искушения в пустыне. Не многие знают, что во славу Божию надо на нем устоять. И верзятся вниз под сатанинский хохот, где ждут их смерть и увечье, мерзость и унижение. И как часто, поставив на острие женщину, говорит дьявол голосом мужчины...

Из мира, где женщина была лишь малой и невыразительной частью жизни мужчины, мы вместе с Петрушевской попадаем в зазеркалье, в мир, увиденный с обратной стороны! Этот мир все еще удивителен. Удивителен уже потому, что видеть женщину частью универсума мужчины мы привыкли в гораздо большей степени, чем видеть мужчину частью универсума женщины, — это все еще представляется чем-то странным, необычным, как бы для него даже и унижительным. Тем более, что тут одно странное обстоятельство: если мужчины в художественных текстах склонны были изображать женщин в некоем идеальном образе, позволяя себе немало уничижительных высказываний в публицистике (не соотношение ли подсознания и сознания?), то женщины, отдавая в своей публицистике должное всем вызывающим уважение и восхищение мужским качествам, в художественных произведениях представляют их как что-то в высшей степени ущербное, в высшей степени не способное ни на какую, хоть самую слабую, адекватность женщине. Мужчина в произведениях Петрушевской (первое впечатление — оно потом значительно корректируется, однако возникает) предстает как существо недовершенное. Можно даже представить себе, что это просто искаженная женщина, женщина-недоделка. Что, кстати, было бы забавно проиллюстрировать при помощи популярной генетики. Как известно, мужчины — носители XY-хромосом, а женщины — XX-хромосом, этим, собственно, и определяется пол. Так вот, если графически представить, что такое Y, то ведь это, конечно, не более чем X с отломанной ножкой. Можно вообразить, что такие качества, как преданность, способность к самопожертвованию и самоотречению, способность к настоящей человеческой любви, которая обычно не разделяется у женщины с половой любовью и так часто не имеет к ней никакого отношения у мужчины, — вот все это и было заложено в ту самую отломанную ножку X, из которой образовался Y мужской хромосомы. Впечатление это, еще раз оговорюсь, довольно слабо соответствует действительности, а возникает все от того же факта, общего и для мужской, и для женской прозы: представитель противоположного пола неизбежно будет более схематичен и несравним по богатству эмоций с героем или, соответственно, героиней. Просто пока у нас была перед глазами только мужская проза (а ведь долгое время пишущие женщины писали все-таки «мужскую» прозу — с отдельными неизбежными прорывами и находками), эта неизбежная схематичность не могла быть замечена. Но Петрушевская и не пытается насытить схему придуманными чувствами и мыслями — у нее и без того безбрежное поле деятельности. Сталкиваясь с проявлениями мужского мужества (простите за тавтологию, но мужчина сравнительно редко обладает в рассказах Петрушевской этим женским, в ее глазах, качеством) и мужского величия, она ставит их на пьедестал для всеобщего обозрения и замирает в восхищенном поклоне («Бессмертная любовь»).

И все же схематическое изображение мужчины у Петрушевской несет на себе и другую нагрузку: получается не просто видение другого, но своего рода видение его насквозь, видение мужчины вне тех одежд, в которые он сам, мужчина, себя облек. Это срывание с него всех качеств, которые были приписаны, присвоены, в конце концов, в какой-то мере вписаны в него, реального мужчину, всей предыдущей литературой, культурой. Это обнажение природного существа, каковым мужчина и остается, как правило, в отношениях с жен-

щиной в том случае, если отношения эти хоть сколько-нибудь выходят за пределы строго очерченных культурных, жанровых ситуаций, в которых он знает, как действовать, в которых он, сознательно или бессознательно, привык надевать на себя упомянутые мужские одежды.

Дело не в том, что Петрушевская всегда на стороне женщины (если об этом вообще можно говорить в таких категориях). Дело в том, что она — со стороны женщины. Мужчина у Петрушевской так всегда и будет «толстеньким ребенком», ничего не понимающим и безответственным, — причиной, поводом для любви, для страдания, для самоотдачи — для отдачи того, что никому вроде бы и не нужно и за что никто не поблагодарит, но без чего, на самом деле, не будет стоять мир. Женщина у Петрушевской внешне всегда поставлена в самые унижительные обстоятельства. Но при этом она совсем не предстает маленькой, забитой и униженной. Она — целый мир, к которому мужчина относится как часть к целому.

Если маканинский мужчина одинок, женщина Петрушевской никогда не бывает одинока. Она умрет — или вывернется из одиночества. Это различие странным образом напоминает разницу между западным и русским человеком в ситуации общения стандартной, социально-бытовой, не предполагающей близких отношений между людьми. На Западе за внешней доброжелательностью — безразличие, отчужденность, у нас (до недавнего времени) — часто никакой доброжелательности, но зато и никакого безразличия. В ситуации, когда мужчине будет естественно уйти в одиночество и отчужденность, женщина предпочтет ненависть отчуждению. Она предпочтет раскаленное железо скандалов и истерик (а то и преступления) холоду молчания («Отец и мать», «Медея»). Она — теплокровное животное и не умеет впадать в анабиоз. Для нее холод — это дыхание смерти.

Для мужчины отстаивание своего одиночества — победа. Одиночество женщины воспринимается как позор (в рассказе «Темная судьба»: «...ее недавно бросил муж, и она пережидала свой позор в одиночку»). Но это глубоко неверно было бы объяснять тем, что женщина «лишена самостоятельного существования и есть придаток мужчины». Если вспомнить историю, рассказанную, кстати, писателем «одного безумия» с Петрушевской, то ведь когда нос покинул майора Ковалева, то именно майор Ковалев воспринимал это как свой позор и свою ущербность — нос-то воспринимал это как свою победу. Можно также вспомнить, что Бог пошел на страшное унижение и смертную тоску, чтобы восстановить связь, порванную человеком. Это человек рвет ее вновь и вновь... И если позор преследует одинокую женщину как бы извне, то мужчину начинает охватывать чувство потерянности, тревоги и ощущение угрозы со стороны мира, в котором он, отстояв свое одиночество, остался один.

Пожалуй, наиболее полно концепцию взаимоотношений мужчины и женщины у Петрушевской представляет рассказ «Случай Богородицы». В этом рассказе в одном лице как бы соединены и муж, и сын, и бросивший женщину возлюбленный, но в этом рассказе и наиболее очевидно, что причина разъединения любящих, причина ухода мужчины от женщины всегда кроется в некоторой совершенно определенной вине женщины перед ним — в том, что она в свое время его каким-то образом отторгла и отвергла. И хотя он может совершенно ничего об этом не помнить и она может ему ни слова об этом не сказать, тем не менее все последующее проистекает из этой его брошенности в прошлом, обманутости и покинутости. Характерно, что рассказ разделен на две части: в первой описываются их нынешние отношения с ее тоской о нем, с ее попытками слиться с ним, объединить их жизни, с ее настаиванием, что он для нее все (зачем иначе так упорно рассказывать мальчику, что она легла на родильный стол девственницей и женщиной ее сделал сын), а во второй — как бы до начала времен — о том, как она его от себя гнала и отбрасывала, как она его покидала — и сломала-таки его истощную к ней привязанность. Но об этом он ничего не помнит, и она никогда не посмеет ему напомнить.

Мучась этой своей виной, она пытается всячески окружить его собой, а он, из последних сил отстаивая свою свободу, полученную в результате отторгнутости его же от нее же, проходит сквозь нее, сохраняя свое одиночество, пока у него есть силы. (Эта картина получается уже при совмещении концепций мужской и женской прозы.)

Ощущение себя изгнанным со всеобщего пира, выкидышем из мира, которое так точно описано у Достоевского в романе «Идиот», — видимо, таково наиболее глубокое мужское чувство («синдром победителя» — лишь его обратная сторона), и образуется оно именно из-за отторженности его в свое время от женщины. Он не может существовать вне этого мира, но он хочет, насколько возможно, обезопасить свой с ним контакт. Именно поэтому мужчина и стремится превратить женщину в простую физиологическую функцию. Так проститутка оказывается самым любимым и уважаемым человеком.

Чтобы предыдущие описания взаимоотношений мужчины и женщины не показались слишком физиологичными — а они таковыми на самом деле очень мало являются, — нужно помнить, что мужчина у Петрушевской в своем наиболее адекватном проявлении — именно ребенок (часто буквально — сын, внук), так что собственно физиологический оттенок если и присутствует (конечно, присутствует!), то входит как составная часть во что-то гораздо более сложное и гораздо более укорененное в метафизике, чем в физической природе.

Вообще, творчество Петрушевской в высшей степени метафизично. За ее простенькими, на первый взгляд маленькими рассказиками стоят глубокие и вечные вещи. (Кстати, она сильно проигрывает при попытке писать откровенные параболы, а как раз ее «житейские» рассказы — настоящие притчи.) Для примера только возьмем рассказ «Отец и мать», где из слез, ненависти, боли, болезненного подозрения расставшихся наконец супругов возникает пространство, в котором и живет потом всю жизнь счастливо дочь Танька, покинувшая семью семнадцати лет — через год после того, как ушел из нее, от бесчисленных мук и мытарств, отец. Но ведь это же миф, громадный по своим обобщениям, лежащий в основе «космологии» Петрушевской, и что характерно — он имеет параллели в других космологиях. В египетской мифологии место мира, пространство между небом и землей создается из боли и тоски Геба и Нут (бога земли и богини неба), ссорившихся из-за детей (!) до тех пор, пока их не разделил навсегда их отец Шу («пустота», бог воздуха и пространства). А в шумерской мифологии пространство мира создается посредством разъятия объятий старших богов, Ана и Ки (бога неба и богини земли). Их старший сын Энлиль разрезает их объятие по просьбе младших богов, которым тесно внутри его (они им порождены), и оставляет их в вечной разлуке и вечной тоске друг о друге. Удивительно, что мир так часто возникал для детей из разлуки их родителей.

Этот рассказ при всем желании несводим к простой мысли, как бы высказанной впрямую в конце: Танькина светлая жизнь создалась тем простым обстоятельством, что она в своей семье нахлебалась такого, после чего все остальное воспринимается просто как незначительная помеха. Ведь все пространство рассказа посвящено как бы упорному стремлению доказать необходимость этого расставания. Причем стремление это исходит от женщины, казалось бы, более всего заинтересованной в сохранении семьи. Но она знает, что всякий мужчина — предатель, и она не даст, не позволит своему мужу сделать вид, что это не так, она заставит его показать свою истинную сущность, как бы он ни пытался остаться с семьей, как бы он ни пытался уклониться от бегства. Именно она, разрушительница, расширяет для дочери границы возможного мира, пространство допустимого существования — условия, при которых человек не просто выживает, но живет легко и радостно. Петрушевская отчасти сама играет роль такой же матери-разрушительницы для своих читателей — и особенно читательниц: тех, кто знаком с ее миром, мало что испугает в жизни, им мало что покажется в ней непереносимым.

Боль и грязь того, что зовется жизнью, проходит сквозь женщину, она как бы является носителем этой боли и грязи (рассказ «Вот вам и хлопоты»). Аборт, рождение мертвого ребенка и тому подобное — это то, что мужчина, столкнувшись, может вынести, стиснув зубы, или — не вынеся — сбежать. Но у женщины нет никакого выбора, она не может от этого убежать, заключая все это внутри себя. Мужчина может попытаться, перебрав жизнь, выбрать из нее только те стороны, которые представляются счастливыми и необременительными, — вот в этой возможности и укоренен психоз Петровны («Отец и мать»). Однако рассказ «Вот вам и хлопоты» заканчивается характерным напоминанием: но ведь ему все равно не уйти, «он-то все равно будет умирать, и

жена его умрет, вот вам и хлопоты». Он напоминает о том, что те боль и грязь, которые происходят в женщине от того, что люди называют жизнью, неизбежно втянут в себя и мужчину. И если он всю свою жизнь, с рождения, пытался остаться в сфере легких касаний к плодоносной грязи жизни, то смерть придет к нему как незнакомое и грозное, путающее и чужое.

Когда, давным-давно, мне пришлось впервые отвечать на вопросы студентов о творчестве Петрушевской, я, в молодом раздражении и запале, сказала следующее: «Это автор, который пишет в диапазоне от бедер до бровей», — то есть легкие ноги и светлый разум остаются за пределами ее творчества. Это, конечно, неправильно, и все же какая-то частица истины в том, что я сказала тогда, была. Петрушевская ничего не конструирует (я говорю сейчас лишь о сборнике ее прозы). У нее просто особое устройство глаза, я бы рискнула сказать, изъян зрения. Примерно тем же изъяном страдал Гоголь. Страшно здесь то, что после Гоголя русская жизнь очень изменилась: появилось довольно много людей с изъянами, которые углядел в здоровых людях больной глаз. Страшно то, что теперь, почти десять лет спустя после того разговора со студентами, творчество Петрушевской уже не представляется мне таким ужасным, таким невыразимо невыносимым. Возможно, у меня потихоньку портятся глаза. Хотя остается и еще одно объяснение: глаза привыкли к ее тьме и увидели в ней — свет.

Разнообразные постмодернистские игры и попытки реконструкции чернухи по народным образцам не имеют никакого значения и абсолютно не страшны рядом с этим реальным изъяном, который порождает большого художника и именно поэтому обладает всей силой воздействия на читателя.

И вот здесь самое время вспомнить о том, о чем мы говорим, — о красоте. Л. Петрушевская разрушает красоту женского облика — уже в силу того, что живой человек не может быть всегда так же прекрасен, как нарисованная с него гениальным мастером картина или вылепленная гениальным скульптором статуя. Страшно, что этот новый — вживленный в прежний «идеальный» и постепенно замещающий его — облик расшатывает и в жизни последние остатки формы.

Вообще-то материализм научил нас накрепко, что миром правят идеи. Для доказательства очевидного приведу один курьезный факт. Н. П. Анциферов в своих мемуарах («Из дум о былом»), описывая юношеский кружок, собиравшийся в доме Оберучевых, упоминает: «Характерная деталь: «поэзия отношений» запрещала нам пользоваться уборной в квартире Оберучевых». Я склонна приписать этот факт всецело влиянию литературы, формировавшей этих юношей и девушек: дело в том, что подобные «факты житейские» просто оказывались за пределами создаваемого ею универсума. Я совсем не собираюсь утверждать, что фактов, приводимых Петрушевской, не было в жизни до ее рассказов. Они были. Но она добавила им прочности, вписав в человеческий, женский облик. Они стали признанной частью образа. Это его расширяет — но и расшатывает.

На любой факт можно посмотреть с точки зрения происходящего в духе и происходящего во чреве. Но мир Петрушевской вовсе не концентрируется во чреве, он скорее находится в душе, которая, как думают индусы, помещается в солнечном сплетении — месте тесном, узком и темном. То, что видно из этого места, — далеко не вся правда о факте. Более того, может, это и не главная о нем правда.

Итак, появление полноправной женской прозы действительно изменило лик мира, создаваемого литературой. Этот мир получил своего другого — и в известном смысле впервые начал существовать, во всяком случае, впервые обрел завершенность универсума. Поставленные лицом к лицу, мужская и женская проза отвечают на вопросы друг друга, каждое начало обретает свое завершение в другой половине целого. Становится понятно, что многие загадки человеческого существования загадочны так же, как загадочна половина картины — до тех пор, пока не отыскали другую ее половину. Но мы еще не видели этого мира в полноте...

И вот тут на сцену выступает наш третий герой — «Роман воспитания» Н. Горлановой и В. Букура. И здесь человек (он и она — полный человек, таков герой романа, таков и его автор) пытается овладеть красотой — спасая,

принимая к себе маленькую девочку из подворотни, открывая в ней и пестуя замечательный талант художника. Они знают, что красоте нужно служить, они делают все, что могут сделать хорошие, умные, самоотверженные люди. Любящие люди. И все же их «роман» с девочкой-приемышем кончается крахом, кончается ее уходом. Почему? Через весь роман проходит рефреном хрупкая идея удочерения. Удочерение постоянно откладывается, сначала — «у тебя есть родная мама», потом — из-за комнаты, которую может получить девочка Настя только в том случае, если будет опекаемой. И она пытается периодически уйти от этих добрых и хороших людей, отыскивая — хорошей жизни? Может, и так, но может быть, еще и некоторый абсолют, любовь безусловную, необходимость свою неотменную, без возможности отказа от нее — предательства, которое все равно совершают хорошие люди. Они хотят любить ее хорошей. А она хочет, чтобы ее любили всякой. В этой выяснившейся невозможности абсолютной самоотдачи — причины происшедшей трагедии. В несовершенной любви. И чем она лучше, полнее и необычнее, тем виднее ее несовершенство, ее недоведенность до искомого Настей абсолюта. В середине своего воспитательного приключения герои все-таки отвергли возможность использования Бога в качестве воспитательного средства. Но любовь — любовь они попытались так использовать. Забыв, что Бог и есть Любовь. И что если поместить (вместить) Бога (Любовь) в сердце, то, может, не нужно уже будет «принимать меры». Талант, надо думать, погиб. Ибо он питался любовью.

Если бы все закончилось хорошо, перед нами было бы остроумное, умное, добротное, полезное чтение, о котором, в сущности, не место было бы здесь писать. Но все кончилось плохо.

И перед нами еще одна трагедия несовершенной любви к так и оставшейся чужой красоте.



ПО ХОДУ ДЕЛА

ВАЛЕРИЙ СЕНДЕРОВ



В МУТНОМ ЗЕРКАЛЕ ЛИКОПИСАНИЯ

Есть легион книг, уберегаемых обычно судьбой от сомнительной известности: отклика в серьезном журнале. Наверно, на многие из них находится поначалу какой-нибудь чудак, он читает, не верит глазам своим, запасается бумагой, начинает лихорадочно делать закладки и выписки. Число их множится, быстро приходит пора резать бумагу для новых закладок. Но чудак почему-то медлит; подняв голову от книги, он вдруг задумывается. Потом пожимает плечами, досадливо машет рукой: «Да что это я? Бог с нею совсем...»

А легион пополняется, в новобранцах недостатка нет — и магазинная полка недолго служит им пристанищем: ведь если тема вышедшего издания важна для людей — оно не даст позабыть о «дефиците», этом основополагающем термине славных времен.

Книга «Патриарх Тихон»¹ издана вторично в издавна пользующейся популярностью серии (первый полный вариант, «Святитель Тихон», вышел в московском издательстве «Соратник» в 1994 году). Она уже исчезает из магазинов. И потому первый возникший по ее прочтении порыв — выкинуть закладки и махнуть рукой — нельзя считать самым правильным.

В книге три сотни страниц; закладок у меня накопилось меньше — около семидесяти. Первая из них относится к третьей по счету странице издания.

«Окончив в 1878 году училище, Василий Беллавин покидает отчий дом, чтобы продолжить учебу в Псковской духовной семинарии <...> если раньше семинаристы заполняли свои заветные тетрадки стихами Пушкина и Жуковского, то теперь — выдержками из речей Лассаля, памфлетов Герцена и статей революционного «Колокола». Россия, пока еще недопонимая пророческого романа «Бесы», увлеклась идеями экономического прогресса и свободомыслия».

«Недопонимая романа...», «увлеклась идеями прогресса...» Но по теме «язык» закладки найдутся и выразительней, а на этой нацарапано: «история».

Про Пушкина и Жуковского поверим на слово, про Герцена и «Колокол» — не удастся. Потому что умер создатель Вольной русской типографии в 1870-м. А его «памфлеты» последних лет жизни — не таковы, как думает М. Вострышев: наблюдал Искандер террор коммунаров, жестокости победителей — и, не мирясь с самодержавием, делал сравнения и выводы не в пользу Европы. Что не способствовало распространению «Колокола» в России: последние номера постигла участь первых, их тираж практически не ушел с заграничных складов.

Хорошо. Книга, в конце концов, не о Герцене. Но есть все-таки «программинимум», выполнение которой желательно; и в нее входит требование точности хотя бы цитат.

История движется, повествование — вместе с ней, — и вот мы попадаем на представительное заседание.

«Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, — заявил во Второй Государственной думе <...> Столыпин, — путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия».

Что-то в цитате смущает: и вяловатый, нестолыпинский, стиль, и — еще больше — смысловая неточность. «Хотелось бы избрать...» — странной кажется эта

¹ Вострышев Михаил. Патриарх Тихон. М. «Молодая гвардия». 1995. 302 стр. (серия «Жизнь замечательных людей»).

фраза, если вспомнить, что пик террора был уже позади: сбит чрезвычайным законом до выборов во Вторую думу.

«Противники государственности хотят освободиться от исторического прошлого России. Нам предлагают среди других сильных и крепких народов превратить Россию в развалины — чтобы на этих развалинах строить неведомое нам отечество. Им нужны — великие потрясения, нам нужна — Великая Россия!» (цитирую по «Красному Колесу»).

Что ж, примем как данность, что автору не до суетной светской истории, и посмотрим, как излагается в книге история церковная.

«16 октября 1700 года, со смертью патриарха Адриана, император Петр I, испугавшись, что новый избранный Церковным Собором патриарх станет в России вторым государем <...> решил подмять под себя Церковь, уничтожив патриаршество...»

Вынужден заверить автора: слухи о страхе Петра преувеличены. Потому что с притязаниями патриаршей власти покончил еще Собор 1666 года. А новый царь был человек последовательный, к тому же плотник — вот он и вбил последние гвозди в гроб неудавшейся российской церковно-государственной «симфонии».

Так окончилось патриаршество на Руси. Возрождалось же оно, согласно книге, при следующих обстоятельствах.

«Витте непрестанно торопил императора Николая II с созывом Собора. Ему вторили высшие православные иерархи, убедившиеся в необходимости борьбы с глубоко пустившими корни в русскую землю иноземными «измами» — атеизмом, марксизмом, анархизмом (разрядка здесь и далее моя. — В. С.)»

Словно бы и не было глубинной внутренней жизни Греко-Российской Православной Церкви. Словно бы не выступили мощно на поверхность тенденции этой жизни, церковная воля: уже при известном победоносцевском опросе подавляющее большинство архиереев высказалось в пользу восстановления патриаршества.

Мы демонстрируем примитивизирующую методологию книги на примере первой ее части. В последних главах «мелочей» будет не меньше. Но они обретут целенаправленность: искажения, умолчания, упрощения станут «работать» на подлинную вульгаризацию трагедии святого Патриарха.

О слоге книги можно составить представление по уже приведенным цитатам. Примеров явной языковой нескладицы не так уж и много: «Львов стремился то ли уничтожить, то ли надсмеяться над православием». «Манифест о веротерпимости <...> ослабил ограничения для сектантов и прочих неправославных религий». (Как-то даже неловко констатировать, что «уничтожить» можно кого-то или что-то, а не последующую запятую; «сектанты» же не являются «религией», пусть и неправославной.) Эти и подобные корявые фразы служат как бы нижним стилистическим пределом, иллюстрирующим качество всего текста.

Итак, книга написана на определенном историческом и религиозном уровне и некоторым языком. (Заменить выделенные слова более точными предоставляем читателю.) И в ней наличествуют известные тенденции.

«Часть интеллигенции, в стремлении походить на европейцев, бросилась в политические крайности, презрев народ и ненавидя власть». Так сказано о начале века. Перед нами, надо полагать, популяризация веховских идей, что-то вроде Булгакова, Гершензона, Струве для простонародья. Любопытно было бы, однако, представить себе кого-либо из критиков «ордена русской интеллигенции», для кого слово «европеец» — ругательство...²

«В ночь с 29 на 30 декабря злодейски убит врачеватель больного наследника российской короны Григорий Распутин». Эта хроника текущих событий оказывается особенно умилительной, если перевернуть страницу и перечитать негодующие слова автора в адрес сектантов. «Хлыстовская» репутация Распутина, его оргии нанесли по престижу царской семьи сокрушительный удар. Но есть ценностная система, в которой почитание «старца» Григория — явление вполне органичное, «нутряное».

² Попутно замечу вот что. В подготовке и проведении всероссийского церковного Собора 1917 — 1918 годов проявилась (впервые в русской истории) роль церковной интеллигенции. В близком окружении Патриарха видим Е. Н. Трубецкого и С. Н. Булгакова, получившего от Тихона благословение на принятие священства. Ни слова обо всем этом в книге нет.

«Манифест о веротерпимости <...> усилил влияние католицизма в России. Многим православным иерархам казалось, что Церковь брошена на произвол судьбы, оставлена без государственной поддержки в самый критический момент истории. Да, свобода вероисповедания должна существовать. Но это идеал, которого можно желать, которого можно достичь лишь в идеальном государстве. Даже в стране свободы совести, как все любят называть Швейцарию, существует множество ограничений для других религий по сравнению с основной государственной».

Перед нами один из типичных приемов книги. Рассуждение о нереальности свободы вероисповедания — вполне мракобесное, и автор понимает это, потому-то и апеллирует к авторитету «многих православных иерархов». И насчет Швейцарии тоже, надо полагать, они, иерархи, подметили?

С такими маленькими хитростями сталкиваешься на каждом шагу: они-то и станут основным приемом повествования о драме последних лет Патриарха.

...Хотя в книге и говорится про католическую напасть, но еще одного ожидаемого ингредиента мы здесь, к счастью, не находим. На Патриарха, Церковь, Россию набрасываются не тайные «темные силы» жидомасонского отлива, а вполне явные ярко-красные ленинские разбойники.

Да, в атаку на Предстоятеля были брошены отборные советские кадры. Прагматичные вожди переворота отчетливо понимали, что главное для них сейчас — не в «убеждении масс» или каком-то там «социалистическом строительстве»: Менжинский, Тучков и другие острые умы были сгруппированы на единственно важном фронте войны со страной — в Чрезвычайке. Удалось ли автору передать трагизм долгого, обреченного на внешнее поражение противостояния Патриархацвету нового мира? От ответа на этот вопрос зависит оценка книги — при любых иных ее достоинствах и недостатках.

Увы, все описанные выше методы остаются в арсенале автора до конца, более того, умолчания и лукавые передержки в последних главах агрессивно сгущаются. Автор очевидным образом ставит перед собой благую цель: восславить силу духа и негибимость Патриарха, защитить его от нападков и клеветы. Отчего же эти главы повергают знакомого с фактами читателя в легкий столбняк?

«Горько пришлось плакать патриарху <...> когда был убит его келейник, секретарь и телохранитель Яков Анисимович Полозов. Сын Полозова записал <...> «Мать увидела отца, который хрипел... Убийцы убежали. Но моментально приехали работники ГПУ во главе с Тучковым, который сразу же заявил, что здесь дело рук белогвардейцев. Откуда он это взял?» <...> Москвичи, не зная даже подробностей покушения, решили, что мученик Полозов <...> вытащил смертный жребий, предназначавшийся Святейшему Тихону».

(Дело же было так: только что убившие келейника бандиты пустились бежать... А Патриарх, на которого они не посягали, пытался остановить их. И угрозыск искал налетчиков, сохранилась подробная документация. Она излагается в статье А. Нежного «Завещание Патриарха»³.)

Вот что пишет М. Вострышев еще об одной покушавшейся:

«Ее сумели задержать, и спустя четыре месяца Совнарсуд при участии знаменитого безбожника Красикова постановил обвиняемую „от наказания освободить и озаботиться помещением ее в условия, наиболее соответствующие ее психическому состоянию”».

(Было так: несчастная женщина сообщила следствию, что «послана Богом для уничтожения гордых сатанинских вождей». Но ЧК было не с руки воспользоваться этой историей в своих интересах, и безумную посадили в сумасшедший дом.)

Большевики выглядят у Вострышева неумехами, прямо-таки дилетантами в мокрых делах: покушаются на Патриарха, покушаются, да все не выходит.

(И не собирались приканчивать: планы ленинцев были, как ясно из обнародованных тем же А. Нежным документов, много страшней.)

Патриарх бестрепетен, холодно и насмешливо отвечает он судьям. М. Вострышев подробно цитирует допрос Патриарха на московском процессе 1922 года.

(Но допросы шли и далее, по нарастающей — и подвергнуты они строгой авторской цензуре.)

На некоторые уступки Патриарх все же пошел. Почему? Ответ на этот вопрос — самое приметное, пожалуй, место в книге.

³ См. альманах «Христiанос», Рига, 1995, вып. IV.

«Что значит тюрьма да и сама смерть для патриарха, еще в 1891 году принявшего монашество и навсегда отрешившегося от земных утех в угоду Церкви! Нет, собственная судьба владыку Тихона не волновала, в темнице, в терновом венце мученика, умереть было легко и радостно. Тяжелее было выбрать жизнь и терпеливо нести свой крест ради спасения Церкви от гонений и внутреннего раздора. Тем, кто упрекал патриарха в „соглашательстве с Советской властью“, он отвечал: „Пусть погибнет имя мое в истории, только бы Церкви была польза“».

Что ж, картина получается внушительная и назидательная.

Но было не совсем так, как в книге, — и автору ее об этом известно.

«Приведем несколько ответов «гражданина Беллавина» из протоколов допросов, надеясь, что читатель сам сумеет отделить зерна от плевел». Вот так, «со значением», предваряет М. Вострышев избранные (очень избранные...) ответы Патриарха.

Сеятель плевел, как известно, сатана: лжец и отец лжи. И странно думать, что скорбная память Святителя может пострадать от правды.

«Гражданин Василий Беллавин» долго держался против уникально бесчеловечной машины; но предел наступил, и удалось ей его придавить. И он соглашался с обвинителями, дал подписку о неразглашении «тайны следствия». И называл имена «сообщников»...

Божий избранник, однако, не «перепутал» правду с ложью, человеческую слабость свою — с силою и «пользой» Церкви. Ясно успел сказать Патриарх о бесполезности уступок советскому строю, благословил он стойкую часть паствы на уход в Катакомбы. Об этом — исторический разговор Святителя с врачом Таганской тюрьмы Михаилом Александровичем Жижиленко (позже — епископом Максимом, получившим в 1931-м вполне заслуженные им «девять грамм»)⁴. Разговор с Жижиленко упомянут автором — на странице 286-й — глухо и невнятно. Так что читатель, не знающий загодя, что такое Катакомбная Церковь, и по прочтении книги ничего не узнает об этом.

Не узнает читатель ничего и о главном и безусловном пункте, в котором с Патриархом Тихоном разошлось последующее возглавление официальной части Российской Православной Церкви: Святитель никогда не благословлял официальный путь как единственный. Мудрый его Указ № 362 дает обоснование различным формам церковной жизни. Вплоть до созыва поместного всероссийского Собора, когда это наконец станет возможно...

Качество изданного труда ясно многим читателям. Но... «Хоть основные вехи жизни Святителя буду знать», — говорят обычно в таких случаях.

Вряд ли, однако, стоит довольствоваться двусмысленной полуправдой. Полноту же фактов, полноту жизни, страданий и мужества святителя Тихона в книге бесполезно искать: она безжалостно принесена в жертву на алтарь идеологической лакировки.

В заключение приведу слова о. Сергия Булгакова о Патриархе (запись в Ялтинском дневнике от 6/19 мая 1922 года — эту публикацию в № 170 «Вестника РХД» за 1994 год М. Вострышев мог еще не знать):

«Вчера я прочел моск<овскую> газету с отчетом о процессе духовенства и о вызове святейшего патриарха на суд, о поношениях и глумлениях над ним. Боже, до чего тяжело! Как будто присутствуешь при поношениях и истязаниях Христа и апостолов. <...> Патриарх избранник Божий как мученик, но вместе с тем вполне трагическая фигура <...> Быть поставленным у церковного кормила в самый страшный час русской истории, <...> всеми нами, «соборянами», вольно или невольно брошенный, без власти, но с ответственностью и «подотчетностью собору», поставленный лицом к лицу с самыми свирепыми и бессовестными врагами веры, пред лицом закономерного развала церковного единства, он, жертвенный и чистый, обречен искупить чужие грехи, по образу Христову. Безнадежная и великая, страшная и прекрасная судьба».

⁴ См.: Польский М., протопресвитер. Новые мученики российские, т. 2. Джорданвилл (США). 1957, стр. 21.

РЕСТАВРАЦИЯ ВЕДЕТСЯ

Петр Алешковский. Владимир Чигринцев. Роман. — «Дружба народов», 1995, № 9 — 10.

Петр Алешковский. Старгород. Голоса из хора. М. Издательство имени Сабашниковых. 1995. 256 стр.

Эпиграф, придуманный автором к «Старгороду», заслуживает упоминания при разговоре об обеих его последних вещах: «Старгород — город нарочито невеликий. Стоит на Озере. Имеет химический завод, ГПЗ-4, кирпичный завод, завод сельскохозяйственного оборудования, мебельный комбинат, Кремль и множество старинных церквей и монастырей. Реставрация ведется... *Из путеводителя*». (Ну да, так мы и поверили, что это из путеводителя. Не из «Миргорода» ли?)

В «Жизнеописании Хорька» тоже где-то прорывался-упоминался Старгород, что говорит о некоем распространенном значении-звучании этого имени, с его отсылкой к «корням». (Не к Ильфу же и Петрову. Шутка.)

Что ж, и «Владимир Чигринцев» отсылает туда же. Это образцовая вариация на тему «русского романа», причем с безотказной установкой: и интеллектуал — когда увидит в толстом журнале — заглочит (есть споры о России), и широкий покупатель — если в лоснящемся переплете — купит (есть авантюрная линия). Умело используются хрестоматийные приемы, мотивы — начиная с имени заглавного героя, которое откровенно рифмуется с набоковским Чердынцевым, и кончая тем, что в финале «жигуленок», «верный Росинант», тихо вздрагивал, в чем есть намек и на умеренное донкихотство героя, и на гоголевскую тройку.

Описания реалистично пластичные, даже нарочито пластичные, как этот поголовски оживший портрет, привидевшийся Чигринцеву во сне: «Со стоном, как глубокий старик, тот опустил в черное отцовское кресло, медленно положил на колени тяжелые руки. Широкая загорелая кисть, толстые пальцы, короткие, покрестьянски остриженные ногти, вздувшиеся узловатые вены — руки, похоже, сильные, жилистые, привыкшие к труду. ...Наконец, поднялась голова, лунный свет пал на хищно блеснувший зрачок, зашевелились пергаментные сухие губы». Особенно характерны пергаментные губы — мертвеца. Банально, зато точно.

Касательно же сюжетных линий и системы персонажей, здесь тоже очевидны цитатность, реминисцентность. Отношения Татьяны и ее талантливого, но деспотичного отца Дербетева, подавляющего дочь, но готового выдать ее за своего ученика, — это реминисценция из Чехова.

А вот линия Владимир Чигринцев (Воля) — Аристов преимущественно тургеневская.

О Воле чуть подробнее. Не то чтобы это был ярко выписанный, запоминающийся характер (любопытно, что и портрета его нет, как-то не удастся взглянуть ему в лицо), но функции у этого персонажа есть, он прописан скорее в действии, чем в психологии. Для крепости романного каркаса у персонажей должны быть функции.

Воля — тридцатитрехлетний книжный художник (вольный художник, артист), но с дворянской кровью и говорящим именем. Он малость шалопай («добрый малый»): и заказы издательства затягивает до последнего срока, и, увлекаясь, проигрывает екатерининские золотые уличным наперсточникам (а мы думали, последний золотой Раневская отдала сто лет назад), но все равно милый. Милый, обаятельный, добрый, отзывчивый, причем деятельно отзывчивый. И отношения с народом у него, по-русски говоря, субстанциальные — с деревенскими мужиками, бабами, детишками (поселянами и поселянками). Он и на печи в крестьянской избе ночует. Он ведет себя с артистической и аристократической непосредственностью, даже не думая об этом (кстати, кто-то недавно на какой-то московской кухне сказал, что Алешковский написал «сословный» роман).

А вот Аристов Виктор, молодой доктор наук, выучившийся-выбившийся благодаря Дербетеву, — парень башковитый. Но не обаятельный. И губастый он, как присоска, и профессорскую дочь сторожит, как собака, и напивается как-то осо-

бенно противно, крича, что он алкаш, сын алкаша. И в Америку готов ехать, и бизнесменом стать. Да ведь он выскочка, разночинец, интеллигент — в том еще смысле. Одно дело — мужик-поселянин Борька, он хоть и пьет, и землю продает заезжим охотникам, но он «земляной», более невинный, что ли, и потому более симпатичный. Аристов же доктор наук, а — бизнесмен. Прямо новый русский какой-то.

Что еще должно быть в «русском романе»? Непременно должны быть споры о России, о народе, о Боге, истории и т. п. Постановка вопроса должна быть глобальной, например, я и Россия (есть даже книжка такая научная — «Тургенев и Россия»). Здесь же эта тема приобретает несколько более упрощенный оттенок: уезжать или не уезжать. Сразу видно, что роман интеллигентский (уж не знаю, словесный ли) — в современном смысле, потому что эта проблема, я уверен, волнует население гораздо меньше, чем интеллигенцию. А у Алешковского даже какая-то совершенно эпизодическая тетка затем и встречается на пути, чтобы объявить, что она отбывает в Германию к своему зятю — алтайскому немцу.

Когда-то писали: у Печорина есть воля без знаний, у Рудина — знание без воли, а у Базарова — и воля, и знания. Но дело теперь не в них. Посмотрим, на что есть воля у Воли Чигринцева. Хоть он немного и плейбой, но у него была воля помочь профессору и дочери его Татьяне в трудное время, была воля поехать в Пылаиху и Бобры (несмотря на предупреждающие знамения вроде аварии — типично киношный ход) — не за кладом, конечно, а за корнями, за истоками (авантюрная линия — надеюсь — не для клада же, не для вурдалака же придумана). Была воля освободиться от всех долларов, легко к нему пришедших.

Но — припасть к истокам или попрощаться с ними? Или все же проникнуться сознанием, что он за них в ответе?

Он, дворянин-артист-бессребреник, отдает доллары крестьянам, но Бобры-то, но «имение»-то дербетовское он все же берет в наследство?

Осталось еще разгадать, от чего он освободился, когда затолкал в соборе в фанерную коробку («на реставрацию храма») последние доллары и, «не крестя лба, фланирующей походкой покинул храм».

Осталось еще разгадать, чему он, собственно, смеется в финале после многих перипетий, «тугой горячей струей» освобождая мочевой пузырь у дороги: «Лицо пылало. Стихия еще безумствовала вокруг, но тут радостное, невероятное чувство свободы ворвалось в душу и окрылило: беззащитная улыбка расцвела на губах. Вот она растянула рот шире, и, уже не в силах себя сдерживать, он рассмеялся во всю глотку, как смеется увидавший нечто и впрямь комическое и межеумочное. Глаза слезились от секущего порывистого ветра. Печально светили красные габаритные огоньки, верный Росинант тихо вздрагивал: грязный и продрогший, он дожидался хозяина, чтобы продолжить дальнейший совместный их путь».

Почти ясно, от чего он освободился, но интересно, с чем остался обаяшка.

Ну да вольному — воля, спасенному — рай.

Роман уже отрецензирован в «Литературной газете» и отнесен к продолжению классической традиции, а сам П. Алешковский — к «классикам». В кавычках, правда, но слово сказано. Но что немного пугает и что немного скучно: все как по команде бросили постмодернизм и вспомнили о классической традиции и о том еще, что реализм — это и есть подлинный аристократизм стиля (право, в пору постмодернистов позацищать — в знак протеста).

...Параллельно с выходом более или менее замеченных повестей «Чайки», «Арлекин» («Астраханский попovich»), а также «Жизнеописания Хорька», побывавшего — и вполне заслуженно — в букеровской номинации, с публикацией «Владимира Чигринцева» постепенно складывался и распечатывался в журналах большой цикл рассказов Петра Алешковского «Старгород», объединенный образом условного города со всеми положенными атрибутами. И я не скажу, что рассказы эти — остатки, отходы от больших вещей. Отнюдь. Это самостоятельная работа, хотя и параллельная, тесно связанная с остальными вещами.

А то, что город именно сочиненный, сразу же угадываешь по обмолвке-разъяснению в эпиграфе: «...город нарочито невеликий». Понимаете, город не может быть нарочито большим или нарочито маленьким. Он такой, как есть. А вот сочинив, вообразив такой город, автор имеет право настаивать, что город именно такой, какой ему нужен. А «нужен» ему город провинциальный, где русский народ более или менее похож на русский и более или менее на народ, и может — по крайней мере — рассматриваться в таком качестве, но при этом город безвозраст-

но старый, чтобы были разные временные разрезы, разные слои: то наше время, а то более или менее давнее. Вот они, эти временные слои, по мере углубления: химический завод, ГПЗ-4 (никто точно не знает, что это такое, но в этом вся прелесть), кирпичный завод, Кремль и множество старинных церквей и монастырей. Без Кремля и множества монастырей (в маленьком городе сколько может быть монастырей?) стилистичности не будет.

А то, что здесь не один город, но нацеленность на больший или меньший охват России (Кремль-то случайно или не случайно с большой буквы?), видно и по этим самым монастырям-кремлям, по многообразию фабул, «картин», «типов», исторических, культурных, литературных отсылок-упоминаний.

Но что такое классическая русская традиция? — зададим себе в тысячный раз вопрос, слишком, пожалуй, риторический для рецензии. Реставрация, ремонт, перелицовка, имитация или что-то более глубокое? На сегодняшний день в творчестве конкретного автора Петра Алешковского к этому «глубокому» все-таки тяготеет (в том числе и с учетом новейших романа и сборника рассказов) «Хорек» с его, слава Богу, не дежурным надрывом и не надуманными духовностью и «гиперморализмом». Последнее слово один современный автор, хороня литературу, употребил в ироническом смысле. Но это ничего, не страшно. (Вспомним, например: словосочетание «натуральная школа» тоже написал в ироническом смысле один не очень симпатичный человек, но слова-то сгодились и на нужное дело.)

И какой стилевой поток считать более классическим, более традицией? Авторский стиль начался с Карамзина и Пушкина и стал образцовым литературным стилем, «большим» стилем, но сформировался он не без первоначальной приглядки к французской приятности.

Однако со времен Лескова (вернее — особенно со времен Лескова) происходит очень существенный сдвиг: в повествовании полномочия от автора переходят к персонажу, обычно к «низовому» персонажу, в устной речи которого прорывается какая-то собственно русская, народная интонация, отличная от «господской» литературы (говоря по-литературоведчески — от авторского стиля). Формируется мощный стилевой ареал, нынче многих и многих не оставляющий равнодушными, — сказ.

Я уже заикнулся, что у П. Алешковского «Старгород» — не отходы от несостоявшегося Букера, а самостоятельная работа. Если большие вещи у него — это все-таки преимущественно авторский стиль с вкраплениями «документов» и несобственно прямой речи, то в «Старгороде» разные, причем многочисленные, варианты «устной речи» «низового персонажа» решительно преобладают.

«Солнце высоко. Турист ходит толпой. Турист ходит парочками. Обнаженный столичный и заграничный турист, с волосатыми ногами, в заграничных шортах, в варенках-ополосках, в ярких, сексуальных майках». Так разговорно — «турист» вместо «туристы» — думает-наблюдает плановик Пищутин из рассказа «Над схваткой».

А приклатенный пэтэушник Санька повествует не иначе как со словами «пацаны», «по кайфу», «кофэ с молоком», «чѐ бояться» и т. п. («По кайфу»).

А вот почти безукоризненная речь Натальи Петровны Кивокурцевой, из дворян, а если выпал кусочек «так» из союза «так как», то только потому, что речь все-таки как бы «устная»: «Пошла в музыкальную школу, в ней до пенсии дослужила, а как без высшего образования, то вышла пенсия чуть больше колхозной» («Сметана»).

И чем культурнее, чем ближе к автору персонаж, тем речь его правильной, даже естественней, тем меньше там стилизаторских ужимок. Пусть это не монолог, а несобственно прямая речь, но с передачей интонации, неврастенической например, как у экскурсовода Татьяны Златковой («Живой колодец пустыни»): «Как пелена с глаз спала: она возненавидела экскурсантов. За их мелочность, невоспитанность, грубость. Особенно детей — разболтанных, невнимательных, крикливых...»

В прозе П. Алешковского очень чувствуется сознательное стремление к ритмической закругленности фразы: «По раннему утру, по залитому солнцем городу, по улицам с молодой зеленью лип и тополей, среди редких пешеходов, продвигается человечек» («Крепость»). Не считая некоторых рыхлых, натужно написанных вещей вроде «Владика Кузнецова», «Настоящей жизни», «Старгородской вендетты» (последняя отчетливо претенциозна), эта проза может доставить удовольствие и гурману, любящему различать вкусовые оттенки в «букете». Вот в «современной сказке» «Отец и дочь» повествование ведется, конечно, не только и не столько от лица подростка Катюшки, но в повествование вплетается, даже преобладает ска-

зочная интонация, возможно отцовская: это, наверное, он называет дочку Катюшкой-девчушкой. Ведь и сказку вставную о некоем купце, изнасиловавшем свою дочь, он тоже сам рассказал (а Катюшка ее как бы вспоминает). Сказка вставная, а интонация, темп и ритм ее рассказывания заранее распространяются на все повествование: «А она куда идет? Идет себе, милая, бредет, как баржа по реке, хлюп-хлюп по мокрому песку пятками. И пусть идет — ей ведь жить да жить: это не горе-беда, это грех-смех, то ли еще будет. А горе-море переплывет».

Интонация «чужого» (не Катюшкиного) рассказывания наслаивается на «мысли» Катюшки, ощущаясь и тогда, когда на передний план выдвигается речь самой героини: «А горе-море переплывет. Если что, девчонки помогут, вот только деньги где взять на аборт? Лешке сказала, так он сразу в кусты: «А я при чем?» Теперь и не здороваются, словно ничего не было. Хрен с ним, с Лешкой».

Таким образом, прозаик озвучает сразу: 1) голос героини («Если что, девчонки помогут», «Хрен с ним, с Лешкой»); 2) голос отца («Катюшка-девчушка»); 3) «голос», тон сказочного повествования («Это не горе-беда, это грех-смех, то ли еще будет»). Может быть, и нарочито проведен прием, где-то по-стилизаторски резковато, но иного читателя занятие увлечет: дегустировать, разгадывать, что в «фонограмме» повествования намешано.

А сейчас самое время напомнить о подзаголовке к «Старгороду» — «Голоса из хора». И о втором эпиграфе: «Грустно! мне заранее грустно! Но обратимся к рассказу. Н. В. Гоголь, „Старосветские помещики“». Заголовок и подзаголовок, как и пара эпиграфов, являют собой компоненты оппозиции (бинарной, если угодно), содержащей в себе одновременно момент объединяющий (Старгород — намек на целостный организм страны, народа) и разъединяющий, рассыпающий (не хор, а голоса из хора).

А вот у Лескова и Платонова был все-таки хор или только отдельные голоса из хора? Вот в «Левше» повествование ведется только ли от лица тульских мастеров? Или можно говорить о вообще народном персонаже, вообще народе, вытаскиваемом Лесковым в литературу, выходящем из немоты? Пожалуй, еще интереснее в этом отношении Платонов. Он-то речь — какого сословия, речь какого персонажа имитировал-стилизировал? Или он озвучивал голос народа вообще, массовое сознание вообще в тот период гигантских сдвигов социальных, культурных, речевых пластов?

Что касается нашего случая, то здесь, кстати, стилизуется не только устная речь, но и письменная («Старгородская вендетта»). Характерно, что стилизуется не только речь, но и сюжеты. Я имею в виду, например, запоминающиеся «фабль» «Чудо и явление» и «Комолый и матушка Любовь». Таких сюжетов на фоне рыхлости современных «лирических» рассказов теперь не так уж много. Но вот, как нарочно, в той же «Дружбе народов» (так что не пропустишь), где помещено начало «Владимира Чигринцева» (все время сбиваюсь на Чердынцева), есть статья Н. Александрова «„Я леплю из пластилина...“». Заметки о современном рассказе», где строго, даже слишком строго говорится: «...возвращение к ограничивающей жанровой норме возможно только при подчеркнутой стилизации... жанровые правила соблюдаются в случае обращения к умершему, не бытующему жанру». А то, что Алешковский отреставрировал именно старый рассказ, совершенно очевидно, потому что в прошлом веке под русским рассказом подразумевалось не просто небольшое прозаическое сочинение, то был рассказ в буквальном и точном смысле, там был рассказчик, излагавший некую историю, анекдот, событие, приключение и т. п. А теперь это стилизованный рассказ: и со стилизованной историей, и со стилизованным голосом рассказчика (в прошлом-то рассказчик говорил все же голосом автора — хоть и Рудый Панько, к примеру).

Сюжеты Алешковского бывают схематичными, что вполне понятно, потому что его рассказы принципиально не описательны, не «лиричны», но они зачастую плотные, динамичные, насыщенные. Рассказ «Блаженства» читаешь почти что затаив дыхание: еще бы, некто чуть не выстрелил в церкви в свою мать. Но оказывается, что это игра, это «понарошку». Вот оно, слово-разгадка, для поэтики «Старгорода» — «понарошку».

Вот чем отличается стилизация под сказ от сказа как стиля. Стилизация — это все-таки скорее понарошку, а сказ — это все-таки скорее взаправду при всей его необычности, диковинности.

Возможно, сказ взаправдашний был тогда, когда все-таки существовал носитель этого вообще народного сознания? А позднее сказ отделился от

своего носителя, перешел в иную сферу и, прирученный литературой, стал стилизацией? А сейчас так называемое массовое сознание расслоилось настолько в социально-профессионально-возрастном смысле, что уловить общий тон трудно, невозможно? Или еще просто не найден сказовый аналог для нового массового сознания?

Но сдается, А. Солженицын работает с речью, которая должна бы напомнить о неких началах, о вообще народной, вообще национальной стихии (я имею в виду, в частности, его словотворчество и синтаксис — манеру передвигать глагол в конец предложения). И в его недавних новомирских «Двух рассказах» (1995, № 5) общий стилевой знаменатель — сказ, несмотря на оттенки. Вспомним также многочисленные опыты в сфере воспроизведения народной речи, сказа или хотя бы просто несобственно прямой речи в последних работах разных писателей, от В. Белова и Л. Петрушевской до С. Долженко, Г. Петрова, А. Хургина и других. Органичен густой традиционный сказ в новомирских вещах О. Павлова.

Так что сказ — один из основных стилевых потоков в современной прозе, и давать последние ответы на последние вопросы еще не время. А где сказа нет, там стилизация под сказ есть. Есть, по крайней мере, культура, кремли, так сказать, и монастыри, а значит, реставрация продолжается.

Вл. СЛАВЕЦКИЙ.



В ПОИСКАХ СВОЕЙ СТОРОНЫ

Геннадий Головин. Чужая сторона. Повести и рассказы. М. СП «Квадрат». 1994. 604 стр.

Геннадий Головин. Стрельба по бегущему оленю. М. СП «Квадрат». 1995. 575 стр.

Одновременно вышедшие две большие книги Геннадия Головина — сборник его зрелых произведений и ранняя проза — не столько дополняют, сколько отменяют друг друга.

Ранний Головин наверняка разочарует поклонников Головина «настоящего», а любителям детективов покажется пресен. Впрочем, возможно, у серии «Современная российская проза» и у серии «Современный российский детектив» — совсем разные читатели.

И все же сравнивать эти книги любопытно, образ писателя приобретает некую загадочность и одновременно проясняется. Загадочность — потому что Головиных, хочешь не хочешь, становится двое, и встает вопрос: которого считать подлинным? Проясняется же, из каких корней растет головинская проза. Ведь про Головина не скажешь, что он рос у читателя на глазах, скорее он возник в литературе, так сказать, совершенно готовым.

К детективной книге писателя стоит приглядеться не для того, чтобы попрекнуть его несовершенством ранних вещей, — она поможет определить пройденную дистанцию, позволит понять, от чего уходил писатель. А проза из сборника «Чужая сторона» знакомит с тем, к чему он пришел. Наконец, при сопоставлении этих книг обнаружатся общие темы и мотивы, в которых, видимо, и сосредоточено собственно «головинское» начало.

«Стрельба по бегущему оленю» — книга, как нетрудно догадаться, написанная в последние предперестроечные и в перестроечные годы. Сюжеты привычны до такой степени, что с первых страниц невольно начинаешь рыться в памяти: на что похоже, не в кино ли это видел когда-то. Помните, телевидение в 70-х — начале 80-х годов постоянно баловало нас историями о борьбе большевиков с расхитителями культурных ценностей, о том, как спасали от своекорыстных белогвардейцев скрипки Страдивари, картины Рафаэля, короны Российской империи. Историй этих становилось так много, что они уже потеснили реальную Историю, заставив забыть, что у Октябрьского переворота были еще и другие цели. Или вооруженная борьба с рваческими настроениями в интеллигентской среде — тоже одна из постоянных забот всех следователей-«знатоков» с момента зарождения советского детектива.

Такую литературу трудно связать с тем или иным писательским именем: она порождена как бы и не конкретными людьми, но — конкретной эпохой. Тем ин-

интереснее в ней индивидуальные акценты. Ведь чем жестче канон, тем мучительнее он преодолевается. Усилие, с которым выбираются из скорлупы канона, как раз и обнаруживает индивидуальную пластику, выдает характер писателя.

Понятно, например, что у детектива как жанра свои версии борьбы со злом. Как правило, важнейшим атрибутом зла здесь оказывается его артистизм — способность менять маски, рядиться в чужие одежды (скрывая собственную природу), ошеломлять, очаровывать и околдовывать жертву. Соответственно, борьба добра и зла сплошь и рядом оказывается войной этики и эстетики.

У Головина же зло неэстетично. Это мягко говоря. Выражение, к которому он прибегает не однажды и в разных повестях, — «клондайк развитого социализма» — обобщенное название для свалок, образующих целые острова и материки. Омерзительные гниющие россыпи всяческого непотребства, помойки внутриквартирные и уличные, вытеснившие детские площадки и места молодежных гуляний, — их вид словно околдовывает писателя, вынуждая буквально в каждой повести давать соответствующие «картинки», выписанные со всеми тошнотворными подробностями.

Но в его прозе эти вкрапления не натуралистические — скорее метафизические. Перед нами зримый облик зла. Для Головина сор — не просто груды выпотрошенных оболочек, скорлуп, лишившихся содержания, а зловещая темная сила, материализованная стихия растления, смертоносная для всего живого. Кучи мусора — это продукты распада воли, знаки старческой апатии человечества, его маратической неспособности выгрести из-под себя. Одолеть это зло в открытом поединке — достижение неслыханное. Вот эти почти неправдоподобные, невероятные истории о том, что неизувеченная жизнь существует, творческие силы жизни еще способны побеждать, — они-то автору на самом деле интересны, и именно это, проявившись, как теперь видно, в начале работы прозаика, отличает его по сей день.

Неудивительно, что главные жанровые приметы детектива — пальба, преследования, опасности — Головиным приводятся в движение без азарта, как бы нехотя, как выплата досадной повинности.

И еще особенность детективов Головина: преступления в них раскрываются не путем сбора и сличения улик, не в ходе опроса свидетелей и даже не в результате хитроумной аналитической работы следователя (это все потом), а благодаря озарению, чуть ли не ясновидчески. Разоблачитель может долгие годы пребывать в уверенности, что ему ничего не известно о виновнике происшествия, и вдруг, пережив что-то вроде откровения (часто во сне), понять, что знает о нем всё.

Один из головинских расследователей, Павел, «не стеснясь, упивался злорадством, которое вспыхнуло в нем при виде этого полинявшего супермена. Он уже знал (разрядка не моя. — Т. К.): перед ним человек, который будет делать ошибки — одна за другой, — пока не разоблачит себя окончательно! Если бы его спросили сейчас, почему он так считает, он не смог бы, пожалуй, внятно ответить, но он уже знал» («Стрельба по бегущему оленю»).

Этим загадочным и всемогущим чутьем наделены у Головина те, кто способен к незамутненности восприятия. Собственно, это всего лишь нечасто напоминающая о себе готовность ясно и здраво смотреть на вещи, без подгонки под ответ, незашоренным взглядом. Для Головина мир по природе своей — прост и открыт каждому. В нем нет тайн — есть обманы, нет сложностей изначальных — есть хитросплетения недобрых умыслов, интриги и козни тех, кому эта простота и ясность бытия не по плечу и не по нутру, кто не хочет, чтобы его увидели в натуральную величину и без прикрас. В общем, все сложное — от лукавого, а все, что необходимо для жизни, человек знает и понимает, если специально не закрывает на это глаза.

Всю мудрость жизни, считает писатель, нетрудно уложить в несколько незатейливых формул. Позднее, в повести «Покой и воля», он и попытается это сделать: «Поражения начинаются с уныния. Ищи азарт в преоборении. Верь! Никогда еще не бывало, чтобы за веру не воздавалось по полной мере.

Душе вашей противно, понимаю, но все же почаще избегайте воображением сцены вашего ухода с этой земли, из этой жизни. Смотрите почаще от туда, с последней той точки на нынешнее житье-бытье — много спокойствия обретете».

Можно сказать, что книги его, и ранние, и сегодняшние, — о нечеловеческой сложности достижения простого. И отыскивают головинские детективы не убий-

цу-похитителя-расхитителя, а эту ясность общей картины мироздания. И находят ее сначала в себе, а затем уже — вовне.

Детектив по самим своим жанровым свойствам, хоть и декларирует наказуемость порока, преступления, — на самом деле слишком захвачен именно этой темной изнанкой бытия. И по сути, в некотором небрежении остается другая сторона жизни — та, что сопротивляется преступной активности и страдает от нее. Мир нормальной жизни не интересен детективу.

Между тем Головин — поэт нормы, и не просто призывает к ней, а способен передать радость естественной, здоровой жизни.

Особенно содержательными оказываются у него вещи событийно небогатые. События — это не жизнь, а чаще — то, что жизнь осложняет. Чем их меньше, тем лучше. Не приведи Бог жить в интересные времена — это очень «головинское» ощущение.

Книга «Чужая сторона» открывается двумя повестями о блаженной и упоительной «неинтересной» жизни.

Бездомной семейной паре, где муж без профессии, а жена на сносях, предстоит провести зиму в дачном домике обезлюдевшего подмосковного садово-огородного поселка; чего это будет им стоить, можно только предполагать, и предполагается соответственно самое страшное («Джек, Братишка и другие»). Но за этой сиротской прелюдией следует история незабываемо счастливой полнокровной жизни.

Здесь, в прорехе бытия, в Богом забытой дыре, супруги не просто налаживают быт — но вокруг них вырастает целый мир. Не возносясь и не посягая ни на чьи прерогативы, поставленный в условия, когда иного просто не дано, герой повести последовательно осуществляет всю известную программу мироздания, с разделением света и тьмы, тверди и хляби и дальше по порядку вплоть до появления человека (у героя рождается сын). И видит, что это добро зело.

В этой жизни есть только самое необходимое, зато здесь все, что есть, — взаимно необходимо, один без другого и одно без другого просто не может обходиться. Все проникнуто взаимным влечением и симпатией. Даже кошки с собаками никакие не враги. Повествователь вообще убежден, что их прославленная взаимная ненависть — не более чем веселая игра. И человек, недавно еще ощущавший себя «бесхозным», тоже своего рода дворняжкой, понимает, что давно взят под опеку какими-то сопредельными «божествами», каждое из которых тоже очертило свою сферу порядка, свой круг ответственности. Покровительствует погода, подкидывают бесценные советы немногие соседи, приглядывают за людьми собаки. И все это вместе узаконивает, упрочает существование героев: «Они (собаки. — Т. К.) настолько не удивлялись тому, что мы тут живем, когда в поселке уже никто не живет, они с такой уверенностью ломались по утрам в наши двери, ни на секунду, видимо, не допуская мысли, что мы можем, например, сбежать, они с такой простотой и безусловностью включили наше житье-бытье в свое собачье житье-бытье, что, ей-богу, совестно было, как ни смешно это звучит, да и стыдно было выглядеть в их глазах по-иному. «Они тут живут... — думали о нас псы. — Чего может быть проще?»

Мы тут живем — решили и мы. И что, действительно, могло быть проще сказано в оправдание этой нашей незаслуженно райской жизни?»

Здесь у человека нет никаких оснований для высокомерия в отношении других живущих, хоть бы и собак. Того, что Головин и считает собственно жизнью, в них, собаках, больше, чем в человеке, поэтому люди так нуждаются в их привязанности, в их своего рода одобрении, верховной санкции на продолжение собственного существования. «Людей, братцы мои, — уговаривает Джека и Братишку повествователь, — надо любить. Потому что если их, горемычных, перестанут любить даже собаки, произойдет катастрофа». Стоит ли удивляться, что собачья жизнь (без кавычек) здесь — на первом плане: никто из людей не награжден здесь предысторией, а у псов она есть, и очень красочная, самая трагическая судьба — у них, подвиги во имя любви — у них. Как это ни странно, даже характерами, во всяком случае разработанными, наделены не «человеческие» персонажи, а эти псы.

Собаки покровительствуют людям в той же мере, что и люди собакам. И когда Джек гибнет от рук шкуродеров, Братишка не озлобляется против человечества, а, как кажется повествователю, начинает еще больше «жалеть нас — людей, живущих среди людей».

Вообще же житье в дачном поселке, при всех его горестных сторонах, гораздо богаче и многосоставнее всего, к чему привыкли. «Ужасно мучительна была эта наша городская слепо-глухота! Слышим в лесу чей-нибудь потешный, затейливо выводящий сложнейшую фиоритуру голосок. «Кто это?» — с улыбкой спрашиваем друг у друга. «Птичка...» — с грустным стыдом отвечаем друг другу».

Миры — маленький, созданный человеком, и большой, не им созданный, — хотят соединиться, и средством их объединения становится слово, писательство. И герой этих повестей видит свою главную обязанность в отыскивании слов. На фоне первобытно-простой и полной насущных дел жизни это занятие вовсе не выглядит надуманно зряшным интеллигентским чудачеством, а, наоборот, возвращает себе исконный статус прямого мужского дела — дела Адама в раю.

Может быть, особую остроту этим эдемским переживаниям героев придает знание об их неминуемом «изгнании из рая» — о временности этого гармоничного существования: не век же на даче жить, да еще круглый год, да еще и на чужой. Перед нами не утопическая программа возвращения к первобытной гармонии, а горестная констатация ее недостижимости. Разве что случайно, разве что иногда...

Если первая повесть сборника — о сотворении мира, то тематически и сюжетно связанная с ней вторая просто обязана быть книгой заповедей.

В результате вторая повесть («Покой и воля») рядом с первой несколько проигрывает в живости и непосредственности наблюдений. Назидательный пыл повествователя мог бы и утомить, если бы мы не понимали, что он занят не столько доведением до нашего сведения норм и правил общежития, сколько — самовнушением. То, что он доказывает, он доказывает себе. Слишком неустойчиво все, что возводилось, слишком многое делает его шатким. Созданный мир, ни с чем не сравнимый по своей красоте и ценности, может рухнуть от чего угодно, и его надо укрепить хотя бы словом.

Это ощущение тревоги словно бы заражает и другие произведения сборника. Может быть, в первую очередь — несколько натужно оптимистическую повесть «День рождения покойника», с ее неубедительно мотивированным перерождением главного героя: да, сочли Васю Пепеляева, вполне живого, умершим и не хотят пускать назад, в живые. Никто, даже собственная мать, в нем не нуждается. Это кого угодно потрясет и подтолкнет начать новую жизнь. Но ведь долгое время не потрясало и не начинал, а потом, когда уже и привыкнуть мог бы ко всем этим чудесам, вдруг потрясло и начал... Если автор и выдает желаемое за действительное, мечты за факты, он, видимо, не очень верит, что мечты осуществятся.

Как ни странно, гораздо просветленнее звучит другое, давшее название сборнику и, возможно, самое известное произведение Геннадия Головина — повесть «Чужая сторона». Кажется, куда уж беспросветней: смерть главвождя застойной эпохи рождает неистовый круговорот, бешеное мельтешение мелких вождей в природе; все спешат отрекомендоваться новому начальству, напомнить о себе, так что обычному человеку невозможно протиснуться сквозь эту оголтелую толпу, даже если очень надо, — как главному герою, который едет хоронить мать, а все дороги перекрыты, и билетов не достать. И родная страна оборачивается почти непроходимой чужой стороной, и нет конца обидам и затруднениям в без того горестном пути. Но одновременно выясняется, что существует не только круговая порука чиновных бездельников, но и заведомое тайное взаимопонимание порядочных людей, узнающих друг друга с полуслова, с полувзгляда. С их помощью Чашкин все же добирается до материнской деревни, и когда он, растерзанный и полуживой, совершивший возможное и невозможное, все-таки попадает на похороны и видит еще не опущенный в землю гроб, при всей горестности этой сцены она звучит как гимн жизни — не смерти.

В целом же пафос борьбы и противостояния, свойственный прозе Головина со времен ее детективного прошлого, постепенно уходит из творчества писателя. Чуткость к органике жизни, обаянию ее естественного движения заставляет отказываться от схематизма и двумерности, присущих детективу. Об этом ясно говорят повести-портреты «Анна Петровна» и «Антон Павлович».

Их герои не поддаются оценке по двухбалльной шкале — да и писатель на сей раз с оценкой не торопится. Он делает нечто совершенно противоположное: позволяет своим персонажам выйти из строго очерченного круга заготовленных мнений, уйти от суда. Волею художника он дает героям шанс...

Смерть одинокой старухи и жизнь неудачника — темы невеселые, и мрачноватый колорит здесь, кажется, предопределен. Но прозе Головина удается с годами становиться все многоцветнее, обогащаться новыми оттенками, и наши предчувствия не оправдываются. Ярко прожитая жизнь возвращается к Анне Петровне праздничными видениями-воспоминаниями; сама смерть старой женщины выглядит как окончательное растворение в этой радостной стихии.

А несчастного Антона Павловича, бездарного писателя, болезненно переживающего постоянные напоминания о своем ничтожестве, Головин оставляет перед лицом нового жизненного поворота, который неизвестно что, но что-то сулит.

Герой, лишившийся окончательной определенности, переходящий в новое состояние и новое качество и потому неуловимый для оценок, вытесняет у Головина прежнего протагониста, предсказуемого, окончательно определившегося в своих отношениях с миром, однозначно хорошего или однозначно плохого.

Произведения Головина — это литература, которая все меньше хочет быть литературой. Текст не желает становиться ловушкой для героя, обрекать его на жизненный итог и читательский приговор, на последнюю страницу. Писатель норовит выпустить персонажей наружу, на свободу — дать герою созреть, разогнаться и вытолкнуть его затем в реальность, на которую так старается походить нынешняя проза Геннадия Головина.

Татьяна КАЗАРИНА.

Самара.



СТАРШИЙ БАХТИН

Н. М. Бахтин. Из жизни идей. Статьи, эссе, диалоги. М. «Лабиринт». 1995. 152 стр.

Такая сцена: лагерь одного из батальонов Иностранного легиона где-то в колониальной Африке, наутро предстоит ликвидация неких Бени-Уаллемов, а пока глубокая ночь и разговор — за возлиянием — двух легионеров.

А. ...Вся так называемая «философия» — это тысячелетиями разработанная техника умаления бытия до смысла¹. Я шел в противоположном направлении: к конкретному, эротическому узрению сущего в его божественной единственности и живой полноте — через ненависть, боль, радость, вожделение, через живое и жадное осязание жизни. Я видел, что бытие неисчерпаемо никаким смыслом, перерастает все оценки, переливается через край всех определений, отрицает всякий предикат, превращаясь в его противоположность...

В. Оригинальная «теория познания»! Все сводится, в конце концов, к тому, чтобы осуществить в себе «райское» состояние, предшествовавшее различению добра и зла...»

Разговор прерывается на полуслове, ибо Бени-Уаллемы неожиданно атакуют первыми; но после того, как предприимчивые африканцы загоняют батальон на какую-то высоту и у легионеров вновь появляется досуг, разговор возобновляется, постепенно доходя до точки кипения.

В. ...Вас — солдата — я обвиняю в мятеже против строя и иерархии, и вас — эллиниста — в темной, варварской вражде к Логосу и в каком-то, поистине библейском, неприятии строгого и расчлененного космоса культуры. Вот вам!..

А. Итак, вот к чему сводится ваше обвинение во вражде к культуре: я отказываюсь признать ее абсолютной; принимаю и утверждаю ее — как и самого себя — во всей ее обреченности и относительности. И потом, для вас она дана извне, как нагромождение многообразных форм и ценностей, которым надо подчиниться, как сложность, которую надо усвоить и принять. Я же принимаю ее, лишь поскольку могу утвердить в ней и через нее себя... до конца осуществить и исчерпать себя, ослепительно вспыхнуть между двумя пределами: возникновением и гибелью...» («Об оптимизме»).

Ведущийся между двумя легионерами философический разговор, скорее всего, как об этом говорит составитель и комментатор сборника С. Федякин, — действительно «фрагмент длительного спора с самим собой», да и затруднительно пред-

¹ Здесь и далее в цитатах курсив Н. М. Бахтина.

положить, чтобы в Иностранном легионе одновременно сосуществовали два таких пытливых ума, как А и В. Но вот наступательная позиция А, его напор и убежденность дают достаточно веские основания утверждать, что этот голос в значительной мере является актуальным голосом самого автора, а оппозиция В исходит откуда-то из кафедрально-академического прошлого...

Николай Михайлович Бахтин — старший брат всемирно известного литературоведа — отступил с Белой армией и, будучи неимущим эмигрантом, завербовался в Иностранный легион. В 1924 — 1928 годах сотрудничал в парижском эмигрантском еженедельнике (потом ежемесячнике) «Звено», публиковал рецензии, отклики на события культурной жизни Европы, эстетико-философские рассуждения и диалоги. Иностранному легиону, которому было отдано несколько лет скитальческой, полной опасностей жизни, Н. Бахтин посвятит блистательный этюд «Военный монастырь». В последний раз выступит в русской эмигрантской печати в 1931 году в журнале «Числа» с рассуждением «Разложение личности и внутренняя жизнь» — эта статья также вошла в книгу, а вообще со вкусом составленный сборник Н. Бахтина по преимуществу состоит из небольших работ, подготовленных за четыре года сотрудничества в «Звене». Но в стильном, энергичном исполнении Н. Бахтина и расхожие, «летучие» жанры журнального отклика и рецензии обретают черты долговечной литературы.

В 1932 году Н. Бахтин переселяется в Англию, в эмигрантской прессе больше не сотрудничает; умирает в 1950 году в Бирмингеме доктором филологии. В 1963 году по-английски выходит посмертная книга, суммирующая итог его деятельности в качестве англоязычного педагога и лектора. По устным свидетельствам из-за рубежа, Н. Бахтин сразу после войны вступает в британскую коммунистическую партию². В качестве контроверзы этому выбору приведу извлечение из статьи «Антиномия культуры», где Н. Бахтин, чуждаясь здесь каких-либо политизированных доктрин, но пытаясь определить противоречия новейшей культуры, останавливается на «демонологии современности»: «Все мы были свидетелями странной участи одного из таких позднепорожденных демонов. Он родился каких-нибудь полвека тому назад от темного и противоестественного брака гегелевской диалектики и голода. Он долго прозябал, копя силы. И вот, внезапно окрепший, вырвался из мрака и пронесся над нами, более губительный, чем духи ураганов, сметавшие жалкие хижины первобытного человека. Этот демон, который упорно и неустанно овладевает миром, — мы слишком хорошо знаем его имя и его страшную власть над теми, кто им соблазнен».

Думаю, не ошибусь, назвав имя этого демона: марксизм-коммунизм.

Для Н. Бахтина (а он был эллинистом, обучавшимся античной филологии в Петербургском университете, и говорят, у самого Ф. Ф. Зелинского) характерна апология греческой трагедии и, шире, трагического мироощущения как такового. «На вопрос: должна ли быть жизнь принята, несмотря на отсутствие внутреннего ее оправдания? — эллинизм ответило «да». Выяснить, каким образом оказался возможным такой ответ, — значит вскрыть сущность *трагического мирозерцания*... Сущность трагического — в приятии жизни, созерцаемой под знаком уничтожения; трагедия — есть испытание духа зрелищем смерти и ужаса» («Современность и наследие эллинизма»).

В сборнике приведен отчет о четырех лекциях Н. Бахтина под общим названием «Современность и наследие эллинизма» (по обоснованному мнению составителя, автор отчета пользовался материалами лектора). Эти лекции стали заметным событием культурной жизни русского Парижа. Проницательный Г. Адамович, отметив как большую редкость их «подлинную энергию», отозвался об их общем направлении в критическом смысле и, что называется, вскрыл нерв творческого стиля Н. Бахтина:

«Мне, кстати, показалось, что ощущение Бахтина — остро враждебное его эллинизму, т. е. по природе платоновское, галилейское, со стремлением к «безграничности». Но ум восстает против чувства, и наперекор самому себе Бахтин еще утверждает то, чего уже не любит. И еще мне думалось, что, если кто-нибудь отказывается от «вечности», брезгует ею, надменно возвращает свой билет, уверенный, что никакого спектакля и не предстоит и «все это лишь надувательство», — то ему, пожалуй, несдобровать еще и здесь, как это случилось и с Ницше. Отрава, в нем от рождения заложенная, не находя выхода, может погубить его».

² Об этом см. в кн.: Clark K., Holquist M. Michail Bakhtin. Cambridge (USA) — London. 1984, p. 19; а также в статье П. Гуревича и В. Махлина «Век и судьба. К 100-летию со дня рождения Михаила Бахтина» («Независимая газета», 1995, 17 ноября).

«Брезгание вечностью», «надменное возвращение» предлагаемого ею «билета», «отрава» — нельзя оставить без внимания столь серьезные вещи.

Н. Бахтин, как уже видно из цитированного выше диалога, воинствует за конкретно-чувственное, эротическое (в эллинском смысле) узрение вещей в их единственности и неповторимости, против «беспредельности».

«...чему учили нас греки: предел — прекрасен, беспредельное — безобразно. Они знали, что количественная ограниченность — единственный залог качественной насыщенности.

Через ограничение, отметение, выбор воссоздать в себе малое, но завершенное единство — вот путь подлинного творчества, подлинной жизни. Но единственное понимание величия у современности — количественная *безмерность*. Поэтому я и отвергаю современность, и она для меня не путь к извечному былому, но преграда» («О современности»).

В «античных» лекциях мысль Н. Бахтина заострена против одной из заветных тем не только послесократовской Греции, но и позднейшей русской философии — темы всеединства (подлинное эллинство у Н. Бахтина сосредоточено до и вне Сократа — в Гераклите и Анаксимандре, в трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида). Даже Ницше, которому лектор в ряде случаев наследует, обвиняется в том, что тот своей идеей вечного возвращения «вводит новый, чуждый и враждебный эллинству, момент — жажду вечности, искажая тем подлинно трагическую концепцию, укорененную в единственности и неповторимости сущего».

Вызывающе дерзкая мысль Н. Бахтина, как она явлена в этих лекциях, по-моему, не знает аналогов в отечественном философствовании. В «умалении бытия до смысла» виноват не кто иной, как Сократ. Это он нанес смертельный удар основе эллинства — «трагической концепции мира». Назад — туда, где еще не было Сократа, и вперед — туда, где его больше не будет! Своей утопией внесократического возрождения культуры Н. Бахтин ставит грандиозную и абсолютно неразрешимую задачу. «Мы продолжаем жить в мире Сократа: современность есть лишь последний вывод из разрушительной диалектики смыслов... Культура начала развиваться по своей, уже нечеловеческой инерции. Так возникли «чистая» наука, «чистое» искусство. Ритм современности — ритм не человеческий, но ритм чуждой человеку, оторвавшейся от него силы. Ценности восстали на своего создателя: они существуют не для него, а для себя. Основная антиномия современной культуры в том, что, не будучи внутренне обязующей, она стала внешне-принудительной. И в то время как естественный путь культурного восхождения ведет от сложности и многообразия к простоте, мы идем обратным путем — к новой сложности, к варварству»³.

Категоричный, не оставляющий надежд вывод, но, в границах логики автора, — предельно мужественный, предельно честный — этого у Н. Бахтина не отнять. И в симптоматике болезней культуры многое угадано верно.

В статье «Паскаль и трагедия» Н. Бахтин примеряет свою апологию трагического уже не к Сократу, а к христианству. «Христианство а-трагично по самой своей сущности. *Соединить* можно только поддельное христианство с поддельной трагедией». И все же я бы не решился сказать, что философствование Н. Бахтина специально и последовательно антихристианское.

Трудно взаимодействуя с христианским Смыслом, предпочитая ему ницшевское *amor fati*, Н. Бахтин, однако, при обращении к католическому философу Жаку Маритену признает: «...он твердо и уверенно говорит от имени той силы, которая в наши дни оставалась единственной духовной силой среди жуткого кишения идей-ларв и раскрепощенных полуистин, среди трусливого соглашательства всех со всеми...» («„Обращение“ Жана Кокто»).

Эллинство Н. Бахтина язычески религиозно, а философствует он «экзистенциально», делая упор на проблеме человеческого существования и осуществления, вслед за Ницше пытаюсь наличного человека возвести в качественно более высокое состояние. И конечно же, исходя лишь из «утешительных» обетований христианства, не чувствует его глубинных антиномий и вслед за Ницше слишком часто рискует самым главным...

³ Симптоматично, что вскоре М. Хайдеггер в своем знаменитом сочинении «Бытие и время» («*Sein und Zeit*», 1927) заговорит о «забвении бытия» у Платона, начнет искать источники бытия у досократиков, и это впоследствии станет одной из магистральных тем его философствования. (Об этом комплексе идей см., например, в статье Р. Гальцевой «Западноевропейская культурфилософия между мифом и игрой» — в кн.: «Самосознание европейской культуры XX века». М. 1991, стр. 20 — 21.)

Сократ перед смертью искал «очищения поэзией». «Надежнее будет... не уходить, прежде чем не очистишься поэтическим творчеством» (так передает его слова Платон в диалоге «Пир»). Н. Бахтин тоже апеллирует к поэзии, которая, по его броскому замечанию, «есть чистейшее выражение божественной бесцельности самой жизни». Но за этой кажущейся бесцельностью — реальное овладение бытием, «заклинательная формула» — то, что мыслитель считал сверхзадачей творческого усилия, призывая поэтов не растворяться в созерцаемом («чудовищная фикция: безвольное, самодовлеющее, чистое эстетическое созерцание»), не изготавливать «кисленький лирический студень», но «властвовать, двигать, повелевать» («Пути поэзии»). Н. Бахтин говорит об этом с присущей его мысли афористической энергией: «На самом деле, реальность художественного объекта есть не реальность *вещи*, но реальность *силы*: он не указывает куда-то в пустоту абсолюта, но конкретно, осязательно перестраивает живую близкую действительность; он *не сообщает, но повелевает*; это — точка приложения сил, узел энергий, призванных медленно пресуществлять плоть космоса».

Разногласия Н. Бахтина с современной ему культурой слишком обширны, чтобы обо всех можно было сказать. Он не любит психологизма, не любит категорию «внутренней жизни», не любит М. Пруста («я», которое искал Пруст, вовсе не существует, «я» есть только «субъект действия»), не любит самоанализа, не любит XIX век, сделавший самоанализ и внутреннюю жизнь основой своей культуры.

Но это не отменяет того обстоятельства, что Н. Бахтин обладал европейским масштабом мышления — в европейской культуре он ориентируется непринужденно, я бы сказал, пластично. Его реплики в сторону О. Шпенглера, З. Фрейда, П. Валери, Ш. Морраса, Ж. Маритена, других творцов «новой Европы» остры, требовательны, порой язвительно-ядовиты. Одергивал он и «своих» — И. Ильина, Л. Карсавина, а судить умел как «власть имеющий». Понимание культуры как последнего средства самозащиты и самоутверждения человека придает его работам высокую степень интеллектуальной ответственности, пафос культурного строительства, наращивания культурного качества.

Т. Манн говорил о жизни и творчестве Ницше, что они «именно только как явления эстетического порядка и могут быть поняты и оправданы». В известной мере эти слова можно отнести и к нашему эстетике и философу.

Самосознание Н. Бахтина осуществлялось если не под знаком «слепой силы рока», то под тревожной эмигрантской звездой; оно было резко направлено против иссушающих «новую европейскую культуру» рационализма, позитивизма, эклектики, всесмещения, инерционности, утраты упора («Сознание есть и *отрицательная свобода: свобода уклониться от активного выбора...* т. е. предаться бесплодному созерцанию неосуществляемых или неосуществимых возможностей. Это значит *отдаться самосознанию без самоосуществления, т. е. „внутренней жизни“*»). Кое в чем получает подкрепление и его коммунистическая метаморфоза («Идеи искони искали утвердить себя в реальности, требовали власти, нудили к повиновению, создавали очаги строительства и мятежа»).

И все же гораздо существеннее будет сказать другое: Николай Бахтин — один из тех немногих, кто не страшился вопрошать бытие, кто не разучился ставить перед культурой «последние» вопросы. Его страстная сосредоточенность на проблеме творческого осуществления человека — вопреки всякому року, всякому создаваемому цивилизацией внешнему принуждению — своеобразно углубляет русло европейского гуманизма в истекающем столетии.

Олег МРАМОРНОВ.

*

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ГУСТАВА ШПЕТА

Шпет в Сибири: ссылка и гибель. Под редакцией Н. В. Серебрянникова. Томск. Издательство «Водолей». 1995. 335 стр.

Так получилось, что в силу специфики нашего культурного развития отечественная философия стала скорее полноправной частью русской литературы, чем самостоятельной дисциплиной с твердой автономной методологией. Никого не удивляет, когда философ Бердяев называет философа Розанова «самым большим даром в русской прозе». Да и трактаты самого Бердяева носят порой энергичный

художественный характер, а классические литературные персонажи выступают как полноправные философские единицы. Если на Западе Кьеркегор скорее исключение из традиций философствования, то у нас эмоциональность философии — правило, а исключение — «равномерная» философическая наука.

К редким ее представителям следует отнести феноменолога, логика и лингвиста Густава Густавовича Шпета (1879 — 1937). Распространенная точка зрения, что философия перерастает науку и «становится суммой человеческой мудрости, — пишет внук философа, безвременно скончавшийся четыре года назад математик М. К. Поливанов, — решительно противоположна как раз взглядам Шпета. Он считал философию именно наукой... у которой есть свой язык, свой понятийный аппарат... Краеугольный камень философии для него то, с помощью чего познается, обустройствается философский мир, — рациональное знание... Он считал, что настоящая, хорошо добытая, полностью очищенная философская истина — это такой же неизменный продукт человеческого творчества, как математическая теорема».

В «Очерках развития русской философии» (ч. 1, 1922) Шпет проводит такую капитальную и, я бы даже сказал, безжалостную ревизию отечественных философских традиций, что ее, пожалуй, можно сравнить с критицизмом «Путей русского богословия» Г. В. Флоровского. Но ежели Флоровский критикует с позиций свято-отеческих, «византийских», консервативных, то Шпет — рационалист-европеец, который пожалуй что и брезгует нашими отечественными философскими сентиментами. Он весь в броне логики, методологии, научной подобранности.

Тем знаменательней, что в разгар революционного беснования Шпет дважды отказывается от вполне доступной ему эмиграции: Ю. Балтрушайтис предлагал Шпету с семьей литовские паспорта, а в 1922 году мыслителю пришлось воспользоваться своим еще киевским знакомством с Луначарским, чтобы не попасть на «философский корабль» и остаться в России — практически на верную гибель. Мало того, несмотря на, я бы сказал, программный космополитизм убеждений, патриотизм Шпета распространялся так глубоко, что после начала Первой мировой войны он настоял на возвращении на родину из Швейцарии своей первой жены и дочек.

В 20-е годы Шпет работает в руководстве Государственной академии художественных наук; его достаточно «абстрактная», пусть не марксистская, но и не откровенно экзистенциальная философия не встречает непреодолимых идеологических препон — книги, хотя и малыми тиражами, выходят. Но в 1929 году ГАХН закрывают; мизерная пенсия, переводы для заработка — удел Шпета, как и всей недобитой тогда еще «контры» — интеллигенции.

14 марта 1935 года арест и — дело, настолько высосанное из пальца, что приговор сравнительно вегетарианский: пятилетняя ссылка в Енисейск¹.

...Только что изданные «Сибирские письма» Шпета — от первого по дороге в Красноярск до последнего накануне второго рокового ареста — объясняют нам его личность, его душевный строй, пожалуй, выпуклее, чем все его сочинения. Там — плоды высокой профессионально-интеллектуальной деятельности, здесь — сам человек во всей его живой непосредственности. И любое культурное наследие неполноценно без целокупного сочетания того и другого. Хронологически последовательная сплетка писем — род дневника, род невольной исповеди человека перед потомством. Само — без стилизованных литературных красот — время запечатлено в письме, выхвачен кусок жизни, казалось бы, предназначенный утратиться и вдруг¹ — полуслучайно увековеченный. Тем более что письмо, даже и «безответное», вдвойне интересно, ибо высвечивает не только образ автора, но и получателя, адресата: тут сама степень доверительности свидетельствует о многом (представима ли, например, Н. Н. Пушкина без пушкинских писем, хотя, как известно, ни одного ее ответа не сохранилось).

Без письма нет человека, нет эпохи — особенно такой кровавой, как коммунистическая, когда, несмотря на возможную перлюстрацию, писем — по множеству причин — писалось все же больше, чем дневников; а уж ценность их по сравнению с воспоминаниями, где временная аберрация и даже пристрастный идеологический передерг неизбежны, — несравненна.

Все эти достаточно банальные истины лишней раз приходят на ум за чтением писем Шпета. От них идут драматичные тепловые эманации, не остывающие во

¹ В том же году Р. Роллан занес в дневник свое впечатление от Ягоды: «...он напоминает мне Моруа, но более утонченного... И вообще весь — олицетворение мягкости» (см.: Шенталинский В. «Рабы свободы». 1995, стр. 352).

времени. Шпет из философской абстракции превращается в близкого человека. И хотя, как написал Шпет дочке Марине, «короткое молчание или объятие может сказать больше, чем самое энергичное пользование Наркоматом народной связи», именно благодаря этому «энергичному пользованию» мы и сегодня, кажется, слышим явственно биение его сердца.

«На меня, — вспоминает Шпет в письме к сыну Сергею, — когда мне было лет 14, Базаров произвел сильное впечатление. Это был в моей жизни период, когда детские конкретные идеалы, — то есть увлечение каким-нибудь живым лицом, сверстником или старшим и подражание ему, — сменяются рефлексивным идеалом, созданным по книжкам, например, литературных типов и исторических лиц. Ну, так вот, Базаров одно время был для меня таким «идеалом». Повредило мне это только в одном отношении: оттолкнуло на время от искусства, поэзии, красот природы и в таком роде. Зато дало и большой плюс: внушило некоторый жизненный аскетизм, стремление обходиться малым, а главное — «воздержание», вследствие которого, например, я не курил, когда все товарищи курили, а еще важнее — целомудрие (я стал относиться к женщинам, изгоняя в себе всякую похотливую мысль), которое поэту мне и удалось сохранить до совершенно взрослых лет»². К поэзии, правда, у Шпета навсегда сохранилось особое отношение: он недооценивал, например, Ахматову и XIX век явно предпочитал серебряному, а поэзию мировую — русской.

«Еще в изоляторе, — пишет он Л. Я. Гуревич, — я заскучал по французской лирике...»

Его безупречный и педантичный лингвистический слух проявился, между прочим, в таком совете сыну из вышеупомянутого письма: «...не пиши «сформулировать» — правильно сказать просто «формулировать»; надо избегать связывать *русские* приставки с иностранными словами, — сформулировать, проформулировать, прорезюмировать и т. п. не слова, а убления, «помеси», и они не нужны. Соответствующие слова и без приставок выражают то, что нужно».

Шпет совершил, пожалуй, роковую ошибку, добившись через четыре месяца после приезда в Енисейск перевода в Томск, университетский город, где ему обещали работу. (За Шпета ходатайствовали Качалов, Книппер-Чехова, Г. Нейгауз и другие.) Не исключено, что в Богом забытом Енисейске мыслителю и удалось бы отсидеться, как Бахтину в Саранске, в Томске же, каторжанской столице, НКВД не дремало, непрестанно формуя бредовые убийственные дела.

Вот последние записи из последнего — от 26 октября 1937 года — письма жене Наталье Константиновне (в девичестве Гучковой, племяннице известного политика): «У нас зима настоящая; этот снег уже не сойдет. В комнате пока тепло; запотело, — значит, всегда будет замерзать, — только одно окно, которое возле стола с ящиком... На столе появилась (откуда-то!) твоя карточка кругленькая... Ночью, при электричестве, ты на стене особенно хорошо и ярко видна. К сожалению, света-то этого до сих пор нет, хотя объявление в газете сообщало — 25-го в 8 ч. Душевное состояние все то же, но расписывать не хочу, нового ничего не сообщу... Люблю изо всех сил».

За несколько дней до того в Томске расстреляли Николая Ключева. 27 октября — пришли за Шпетом. Ему — космополиту и европейцу — пришили националистическое дело: «принадлежность к офицерской кадетско-монархической повстанческой организации» (?!). Впрочем, и в первый арест энкавэдистские дегенераты предъявили философу руководство «ячейкой русских фашистов, входившей в состав немецкой организации в СССР»³.

² В записях 1931 года Шпет признается: «От подавления эстетического сравнительно рано освободился, но считаю, что все же вышел не полным победителем, ущерб есть. Хуже, много хуже подавление того, что называют «добротой». Идея была: все разумно делать, не обнаруживать сердечности. ...Поведение должно определяться непосредственно добротой и мотивами сердца, а у меня сплошь и рядом не разумность, как воображалось когда-то, а упрямство, раздражение... Да, сердце, сердце, сердце — самое важное в жизни, единственное! — как исказил я себя».

И в ссылке — в письмах к близким и в общении с ними — Шпет как бы наверстывает упущенное.

³ Тот октябрь собрал обильную жатву. 8 октября в Москве был расстрелян Сергей Клычков, за несколько недель перед тем под пытками показавший: «Хочу коснуться дружбы с Ключевым... Наши разговоры были до зевоты однотипны и крайне контрреволюционны. О чем могли говорить два призрака из черной сотни? ...Ведь по духу своему я попросту русский фашист...» (см.: «Растерзанные тени». Избранные страницы из «дел» 20 — 30-х годов ВЧК — ОГПУ — НКВД. Составители Ст. Куняев, С. Куняев. М. «Голос». 1995).

Публикуемые в книге протоколы допросов Шпета носят воистину кафкианский характер. Дело «Союза спасения России» было сварганено начальником Томского НКВД капитаном госбезопасности И. В. Овчинниковым, лейтенантами Е. Е. Липцером и Н. С. Великановым. Допросы вел сотрудник УГБ УНКВД К. Г. Казанцев. (М. К. Поливанов был уверен, что все шпетовские подписи под допросными протоколами, за исключением первой, — поддельны.)

Согласно протоколу допроса от 1 ноября 1937 года, Г. Г. Шпет признался Казанцеву: «По заданию монархической организации я проводил контрреволюционную агитацию среди рабочих и служащих ТГУ, я резко выступал против Стахановского движения... я говорил, что „Стахановское движение — это утонченные методы эксплуатации, придуманные коммунистами”». Я высказывал террористические настроения против руководителей Партии и Правительства. Я говорил, что „скоро настанет время, когда мы будем уничтожать коммунистов и весь актив и я сам лично буду их давить, как мух”».

Под пыткой ли подписана эта ахиня, или подпись вообще поддельна, как считал Поливанов, — установит когда-нибудь профессиональная графологическая экспертиза. 9 ноября тройка Управления НКВД по Новосибирской области постановила: «Шпет (так в протоколе. — Ю. К.) Густава Густавовича расстрелять. Лично принадлежащее ему имущество конфисковать». Расстреляли через неделю — 16-го.

Слабым утешением для тех, кто ищет исторического возмездия, может послужить тот факт, что повинный в уничтожении Клюева, Шпета и многих-многих других — неизмеримо выше его стоявших на антропологической лестнице — Иван Васильевич Овчинников, капитан госбезопасности, 1898 года рождения, сам был расстрелян 19 мая 1941 года.

Шпета уничтожили, но никто об этом не знал. И вот народный артист СССР В. Качалов пишет: «Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович... Мы сознаем всю ответственность нашего обращения к Вам, но мы беспокоим Вас просьбою не только о близком и дорогом нам человеке, — мы считали бы недостойным малодушием не указать Вам на возможную ошибку, допущенную по отношению к человеку, которого мы считаем честным советским гражданином и который своими знаниями может быть чрезвычайно полезен нашей родине. Г. Г. Шпет один из лучших специалистов по Шекспиру, знает 19 языков, был кандидатом в Академию Наук, большой и тонкий знаток театрального искусства — мы сами и покойный К. С. Станиславский неоднократно прибегали к его советам... Нам совершенно ясно, что в 60 лет при общем нервном состоянии и язве желудка условия лагерной жизни равносильны для него высшей мере наказания, к которой он, по нашему глубокому убеждению, советской властью не мог быть приговорен».

Увы, «глубокое убеждение» оказалось ложным, прах Шпета давно уж тлел в безвестной могиле, а Сталин, хоть и не знал ни 19 языков, ни грамотно даже русского, — сам был «одним из лучших специалистов по Шекспиру», намного превзойдя злодейством самых отъявленных его персонажей.

...Составители сборника эпитафиям к нему взяли пассаж из работы Г. Г. Шпета «Внутренняя форма слова» (1926): «Сама смерть, раз она фигурирует в качестве аргумента, имеет разное значение применительно к антропологическому индивиду и социальному субъекту: физическая смерть первого еще не означает смерти его как социального субъекта. Последний живет, пока не исчезло какое бы то ни было свидетельство его творчества».

Оптимистичная фраза! Шпет был одним из «социальных субъектов», составляющих культурную основу России. Революция раскатала ее на атомы, которые ликвидировала поодиночке. Теперь творчество убиенных возвращается и обнаружится. Но означает ли это его новую жизнь? Восстановится ли Россия в тех формах, при которых оно понадобится, потечет по жилам, найдет преемство? Одним словом, не навсегда ли пресеклась духовная эстафета? И станет ли веской составной будущего жертвенное земное бытие страдальцев во всей его национальной конкретике — духовной силе и нравственной красоте?

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

КОРОТКО О КНИГАХ



ИГОРЬ ГЕРГЕНРЕДЕР. Птенчики в окопах. Повесть. — «Грани», № 175 (1995).

ИГОРЬ ГЕРГЕНРЕДЕР. Комбинации против Хода Истории. Повесть. — «Грани», № 177 (1995).

«Была ночь на 12 января 1919. Наш 5-й Сызранский полк стоял в Оренбурге, на который наступали две армии красных: одна с северо-запада, от Самары; вторая — с юга, от Актюбинска. Меньше суток назад наш полк отвели с северо-западного участка, мы встали на квартиры, и вот — тревога...» — так просто и сухо начинается повесть (или большой рассказ) Игоря Гергенредера о «птенчиках», гимназистах-добровольцах, вступивших в борьбу с большевиками. «1918, апрель. В Кузнецк вошел отряд красногвардейский Пудовочкина, — вспоминает юноша, от лица которого ведется повествование. — И тогда стало понятно всё. В один день я увидел десять убийств...»

И именно с этого (невывышенно-го) события начинается вторая повесть в «Гранях», написанная уже от третьего лица. «Апрельским утром 1918 года в Кузнецк вошла вооруженная часть. Человек сто двадцать ехали верхом, примерно триста — на подводах. На передней — кумачовое знамя, белым по красному надпись: «Отряд Коммунистической Красной гвардии „Гроза“». А пониже: „Командующий Митрофан Пудовочкин”».

Что это напоминает, стилистически и содержательно? Конечно, мемуары. Но Игорь Гергенредер, как явствует из редакционной справки, родился в 1952 году (в Оренбургской области, в семье русских немцев, высланных туда во время войны). Печатается с 1985 года. В настоящее время живет в Германии. Тем не менее обе повести — вовсе не «фикшн», не вымысел. Очевидцем и участником описываемых событий был отец писателя.

Редакция «Граней» приводит такую любопытную выдержку из письма Иго-

ря Гергенредера в журнал: «Мой отец прошел рядовым горестный путь Народной армии Комуча от Сызрани до Иркутска, участвовал в бою на реке Салмыш в апреле 1919 года, в сражениях на Тоболе в сентябре того же года и в других боях. Был дважды ранен. Попал в плен к красным в Иркутске, заболел тифом; несколько лет провел в одном из самых первых советских концлагерей. Когда я родился, отцу было уже 50 лет (то есть автор¹ отделен от Гражданской войны всего одним поколением, а не двумя, как большинство его сверстников. — А. В.). Мы жили в Бугуруслане, отец преподавал русский язык и литературу в средней школе. Он рассказывал, — а рассказчиком он был отменным! — мне свою жизнь, я вырос на его воспоминаниях... Отец умер на 89-м году жизни...» Вот на этих отцовских рассказах и основаны две повести И. Гергенредера.

Если бы это были просто записи услышанного, то они уже заслуживали бы, по моему мнению, читательского внимания. Но это — проза. Нельзя сказать, что документальная, поскольку основана не на документах, а на устных источниках. Нельзя сказать, что мемуарная, потому что автор рассказывает не о себе. По той же причине — не автобиографическая. При этом вполне достоверная: отец писателя, выросший в Кузнецке, помнил фамилии почти всех действующих лиц, и в повестях они не изменены. Жанр — быль.

Для беллетристики проза Гергенредера стилистически слишком бедна (но не дурна), но наше априорное знание, что это все не фантазии литератора, оправдывает (намеренную или органическую) бедность и сухость. И безысходность. О чем первая повесть? О том,

¹ Как и я сам (род. в 1955): у моих ровесников отцы родились уже при (внутри) советской власти, у меня — до. Это дает совершенно иное ощущение истории. Старая Россия была «вчера», на расстоянии жизни одного человека. — А. В.

как гимназисты вступили в бой с красным поездом, восемь погибли, пятьдесят восемь замерзли в окопах, один (рассказчик) чудом остался жив. Всё. Во второй, сюжетно более напряженной, горожане, ужаснувшись и даже как-то устав от красной резни, объединились и, в свою очередь, вырезали красный отряд — и тут же послали петицию с выражением своей совершенной преданности советской власти. И как-то обошлось, если это слово тут вообще уместно (впереди их еще ждали десятилетия нового порядка).

Более полнокровно повесть эта выглядит также благодаря неожиданному персонажу — комиссару Костареву, подробно излагающему своему собеседнику, доктору, свою «пассионарную» теорию российской катастрофы (в наши дни можно было бы сказать, что он начитался Льва Гумилева). Авантюрист из богатых дворян, путешественник, участник бурской войны, Костарев считает величайшим русским несчастьем отказ от освоения Американского континента. Россия не сумела или не захотела расширяться до глубин Нового Света и сбросить туда своих пассионариев (термина этого Костарев, конечно, не употребляет) — от уголовников до радикальных интеллигентов. Народу не дали пойти своим великим путем, и огромные силы стали копиться под спудом. Тем не менее еще не поздно обмануть Историю (с большой буквы), направив колоссальную энергию не на самих себя, а на Восток, чтобы Пудовочкины и ему подобные разбойничали в Корее и Монголии, а в тихом Кузнецке просто некому было бы бесчинствовать. Для этого надо обмануть массы миражом невиданного изобилия в Непале, Тибете, Индии и тем изменить русло русской истории, начертанное большевиками. Костарев буквально вынашивает заговор против Хода Истории, и в этом замысле есть место и для красного бандита Пудовочкина. Не могу удержаться, чтобы не процитировать: «Когда я слышу, что народный вождь должен быть честен, что им должен быть порядочный интеллигент, на меня нападает неудержимое чиханье. Все, кто поднимутся спасти Россию от красных, не будучи сами чудовищами в достаточной мере, — обречены!» Я не красный, я черный, признается комиссар Костарев. План, конечно, рухнет еще и по той простой причине, что самого Костарева расстреляют за развал местного ЧК.

Видимо, запас таких историй не исчерпывается у Игоря Гергенредера двумя повестями. Мне прямо-таки видится целая книга подобных рассказов. Как знать, может быть, мы ее еще прочтем.

Андрей Василевский.

*

АННА ЛЕВИНА. Брак по-эмигрантски. — «Звезда», 1995, № 8 — 9.

Популярное, модное чтение, к тому же и деловое пособие, как надо и как не надо жить в Штатах свежим эмигрантам.

Первая повесть Анны Левиной «Приходите свататься» («Звезда», 1994, № 12) понравилась и развеселила. Милый пустячок, почти документальный рассказ о том, что по сватовству выходить замуж эмигрантке в Америке опасно и ужасно оскорбительно. Все эти Эмики, Аркадии, Миши, Володи, попав наконец в страну своих желаний, отщипывают от объемистого ломтя нравов своей среды отнюдь не лучшее — страсть к денежным расчетам в самых не подходящих для этого ситуациях. Задорное, легкое, поучительное чтение. И невольно радуешься, что в нашей России, нищей, раздерганной, несчастной... словом, что у нас с этим вопросом пока все по-другому.

И вот новый роман. Длинный, невероятного затянутый. Итак, приехала семья в Нью-Йорк из Ленинграда. Бабушка, мама, дочка. Живут, естественно, в Бруклине, русскоязычном районе. Бабушка кончила колледж (велфер, о, велфер!), мама — курсы и успешно работает на Манхэттене. Судя по тексту, с деньгами в семействе все в порядке. Квартира замечательная, каждый год ездят отдыхать куда-нибудь на острова, едят только то, что любят. Это, знаете ли, не каждый средний американец может себе позволить.

В нашем же романе в описании продуктов и вообще изобилия еды автор, то есть ее несчастная героиня, не стесняется. Деликатесы с Брайтон-Бич, где все дороже, бесконечные перемены блюд, описанные с поистине женским упоением (в ходу уменьшительно-ласкательные суффиксы). К тому ж частые походы в кино и на модные спектакли на Бродвее.

Между тем это вовсе не обычный стиль жизни для жителей огромного мегаполиса, тем более для свежих эмигрантов. И неловко становится за писа-

тельницу, которая, похоже, не помнит, что творится в ее родной стране.

Повествование ведется то от имени «мамы», то — «дочки». Мама (тема та же, что и в первой повести) страстно мечтает выйти замуж. Ей находят жениха, из «наших», дантиста. Высокий, красивый, дарит букеты, внимателен и чуток. Но пугается, когда надо платить. Даже за кольцо к свадьбе платит невеста. И на свадьбу у дантиста денег нет. Налоги, американские налоги! Обложили. Задушили. Невеста берет в долг у своих друзей 8 тысяч долларов на ресторан. Гости дарят молодым чеки и деньги приблизительно на ту же сумму. Можно отдать долг. Но начинающий муж сгребает все деньги себе — налоги. Вернуть обещает скоро.

Вам интересно? Мне нет. Мне уже ясно про этого дантиста. Так же, как и маминой дочери (параллельно идет соответствующий, более чем разъяснительный текст от ее имени).

Аферист дантист, как и ожидалось, убегает, прихватив и вещи, и деньги. А потом нанимает адвоката, чтобы подать на развод. Вся вторая половина романа посвящена метаниям героини, пытающейся получить обратно деньги. Сердце ее разбито, она в депрессии. Но читатель, чтобы не потерять нить повествования, должен разбираться в чеках, банковских счетах, в американских законах. Героиню обманывают все адвокаты: и «наши», и рассеянная американская адвокатесса Барбара. А долги между тем все растут. Это значит — строжайшая экономия и четыре года ни шагу за границу в отпуск. Обидно? Очень. Жалко? Почти нет. Мне вот жалко наших крупных ученых, которые по ночам развозят на тележках газеты или иной груз, а утром едут в свои академические институты (отказаться от науки, которой отдана жизнь, невыносимо), где получают, если повезет, свои триста тысяч рублей.

Между тем героиня узнает, что ее дантист не просто мошенник, но и гомосексуалист, и психически больной и у него уйма денег. Конечно, перед лицом такой скверны она не может остановиться в своей правой борьбе. Да и разве возможен плохой конец у такого глубоко трогательного романа.

Пока героиня стенает по поводу сволочизма американских законов, продолжая сытно и вкусно есть, ей исправно пишет письма старый друг, ученый человек Слава, подробно описывая свою полуголодную жизнь. Последнее пись-

мо — завуалированные признания в любви. «А Славу я все равно вытащу!» Эта фраза как будто подводит итог роману. Все будет хорошо.

Но нет. Автор не может остановиться. «Мама» заходит к своему доктору. Та рассказывает, что нашла ей замечательного жениха, а он возьми и умри на следующее утро. «Мама» идет по улице, размышляет: «...не везет... взял и умер. Потом махнула рукой и решила, а может, оно и к лучшему».

Что — к лучшему? Что кто-то умер? Что из России будет «вытащен» еще один хороший человек? Теперь ведь для героини ее закон любви — «вытаскивать» из России тех, кому повезет, кого знает и еще помнит наша добрая «мама».

Не получается приятного конца. Бойкое перо, знакомый еще по женской советской прозе напор.

Журнал «Звезда» правильно делает, печатая Левину. Пусть читают, развлекаются, разбираются, решают. Но грустно, что, судя по этому, и не только, роману, Россия так быстро и — повторяю — бойко забывается. Хотя что тут осуждать. Многие для того и ехали, чтобы поскорее забыть и начать жить по иным, замечательным законам.

Галина Башкирова.

*

I. ЕЛЕНА ТОЛСТАЯ. Поэтика раздражения. Чехов в конце 1880-х — начале 1890-х годов. М. «Радикс». 1994. 398 стр.

Нынче в журналах пишут охотно и много о ситуации на книжном рынке, о соотношении «серьезной» и массовой литературы и т. д. Назрел, однако, и несколько иной разговор: о совершенно новом «распределении обязанностей» между ныне существующими издательствами. В последние годы многократно умножилось количество издательств «специализированных», выпускающих книги, рассчитанные на конкретный читательский круг.

Когда-то весь набор издательских единиц в одночасье рождался в кабинетах «ответственных работников». «Производительные силы» жестко распределялись между профессиональными епархиями, результатом было соседство гигантской и безликой «Науки», совокупно выпускавшей в свет продукцию всех академических институтов,

и издательства, заведомо ограниченных в средствах и в тематике выпускаемой литературы («Транспорт», «Радио и связь» и проч.). Впрочем, стремление к разумной специализации, к обретению собственного лица поверх ведомственных барьеров — все это было и в те сонно-стабильные годы. В «Московском рабочем», например, всегда выпускались краеведческие, исторические книги вопреки пролетарскому титулу издательства.

Но вот наступило иное времечко — и изменился самый принцип специализации: как сказали бы присяжные политэкономы недавнего прошлого, из сферы производства она (специализация то есть) все больше перемещается в сферу потребления. На смену административному реестру, выстроенному в полном соответствии с номенклатурой министерств и госкомитетов, пришло размежевание сфер влияния на книжном рынке. От разнообразия издательских проектов рябит в глазах, прежнее распределение функций («по способностям») порою весьма причудливо сочетается с новым («по потребностям»). Вот, скажем, «Юрист» начинает выпускать приметную серию «Лики культуры» — грамотную, с инионовской тщательностью продуманную (однотомники Э. Трельча, М. Вебера, П. Тиллиха...). Вот ученый академической выправки с разбегу бросается в мутные волны книжного бизнеса (питерский издательский дом «Дмитрий Буланин»; прецеденты известны: карьера бывшего университетского профессора М. Стасюлевича, ставшего журналистом и редактором, основавшего впоследствии собственное полиграфическое дело). Вот журнал «Новое литературное обозрение» учреждает серию монографий и сборников авторов своего круга (ср. серию «зондербандов» при «Венском славистическом альманахе»).

Иногда «эдиционную концепцию» цементирует не тематика, не список авторов (как, например, в прекрасном издательстве «Индрик», возделывающем ниву фольклористики, славянской филологии и истории культуры), а попросту личность лидера (читай — владельца). Так, сравнительно немногочисленные издания «Книжного сада» лишь с большим трудом можно объединить в какое-либо логическое целое: академичный «Мандельштамовский сборник» соседствует здесь со жгуче злободневным дневником недавно ушедшего из жизни прозаика. Что ж,

видимо, в основу издательского кредо в данном случае положен как раз принцип пестроты; в обихоженном саду может ведь произрастать самая разнообразная флора...

«Ad Marginem» и «Академический проект», «Гнозис» и «Лабиринт», «Терра» и «Ладомир», «Симпозиум» и «Фоллио» — пришло время систематического изучения тех новых, только еще складывающихся закономерностей, которые царят в сегодняшнем полиграфическом раю². Однако это, как сказал классик, уже совсем другая история... Мы же осмелимся предложить читателю четыре рецензии на книги одного из «новых» издательств, по имени «Радикс», разрабатывающего в основном благодатную проблематику русского Серебряного века³.

Монография Е. Толстой начинается с довольно-таки смелой и жесткой декларации: «Целый ряд произведений Чехова вообще еще никогда не были удовлетворительно прочитаны и поняты». Такое заявление кажется еще более обязывающим, если учесть, что Е. Толстая не стремится ввести в оборот новый, доселе неизвестный архивный (мемуарный и т. п.) материал, что нет в ее книге и масштабных теоретических разработок. А что же все-таки есть? И вообще — много ли может достигнуть автор, оперируя текстами, изученными, казалось бы, вдоль и поперек, просто сопоставляя «биографический и творческий ряды»?

Удивительная особенность книги Е. Толстой: буквально в каждой главе суммирование известных слагаемых ведет к непредсказуемому результату, новизна и нестандартность предлагаемых прочтений заставляют относиться к вступительному кредо автора со всею возможной серьезностью.

Е. Толстая тщательно и подробно освещает обстоятельства, сопутствовавшие замыслам и написанию основных

² Нуждается в продолжении разговор, начатый еще в 80-е годы группой «библиосоциологов» (С. Шведов, Н. Зоркая и другие); см., например, недавнюю книгу: Гудков Л., Дубин Б. Литература как социальный институт. М. «Новое литературное обозрение». 1994.

³ Впрочем, этим не исчерпывается область интересов лидеров «Радикса»; см. наряду с книгой «Серебряный век в России. Избранные страницы» (М. 1993): Топоров В. Эней — человек судьбы, ч. 1. М. 1993; Вайскопф М. Сюжет Гоголя. М. 1993; Левин И. Сочинения. В 2-х томах. М. 1994; и др.

произведений Чехова 1888 — 1895 годов, особое внимание уделяя взаимоотношениям писателя с редакциями влиятельных журналов («Новое время», «Северный вестник», «Русская мысль»), а также личным контактам и интимным эпизодам биографии. Вопрос поставлен ребром: как преодолеть давно осознанную в науке и в читательском восприятии двойственность 1890-х годов, которые представляются то временем Чехова (последнего классика, завершителя традиций великой русской литературы прошлого века), то — напротив — эпохой «предмодернизма» (увертурой к Серебряному веку со всеми его неклассическими коннотациями в области религии, поэтики, политики)? Е. Толстую интересует не просто взаимная «подсветка» творческих манер Чехова и представителей раннего декаданса, автор книги желает обе стороны «застать врасплох» (цитата!), привлечь внимание не к их взаимному безразличию или, наоборот, к непримиримой полемике, но очертить контуры подспудного, видного только «на расстояньи» парадоксального их сотрудничества в противоречиво-едином процессе выработки новой художественной парадигмы. «Замедленный темп следования за событиями» позволяет сформулировать весьма нестандартный тезис: знаменитая «авторская безучастность» Чехова, тщательно им соблюдаемая автономия в литературных спорах эпохи есть не что иное, как позднейший миф. Более того, по мысли Е. Толстой, отправным пунктом чеховского творчества было раздражение по поводу позиций и «направлений» литераторов-современников. «Раздражение и есть главный стимул всей его художественной деятельности», — декларирует автор.

Е. Толстая рисует портрет Чехова, то и дело бросающегося в крайности, поочередно удивляющего консерваторов и либералов. Его всегдашняя бесстрастность порождена вовсе не исходной установкой на сдержанную трезвость суждений и оценок, но проистекает как раз из обостренного желания любой ценой ввязаться в спор, поступить вопреки логике, а потом, в самом разгаре полемики, — еще раз изменить самому себе, перейти линию фронта, сжечь прежние кумиры и поклониться новым. Никто не признает своим — значит, все считают чужим, бесстрастным, холодным, медицински безжалостным, в лучшем случае — меланхолически-замкнутым. Знаменитая чеховская ирония

лишается столь же знаменитой мягкости, она (ирония) не просто обнажает космические пустоты бессмыслицы (об этом уже вдоволь говорено со времен Льва Шестова), но и свидетельствует о личной идиосинкразии автора рассказов и пьес, изживающего собственные биографические коллизии за счет собеседников и литературных героев. Такой вот Чехов.

Не все в построениях Е. Толстой в равной степени убедительно. Скажем, история личных и творческих взаимоотношений Чехова с Мережковским воссоздана свежо и аргументированно, а вот значимость романа писателя с Дуней Эфрос явно преувеличена (впрочем, тема «Чехов и евреи» вообще излагается автором с чрезмерным пафосом).

Что же происходило с Чеховым на протяжении 1888 — 1895 годов? Как выстроить в единую линию его раздражение высказываниями и текстами современников-декадентов и позднейшую роль законодателя мод, мэтра литературного модерна, — роль, неотъемлемую от репутации Чехова после провала-триумфа «Чайки»? Финальный вывод Е. Толстой подсказан всею логикой ее рассуждений: «Чеховское настороженное и недоверчивое противостояние «декадентам» стало его вкладом в грядущую модернистскую культуру».

II. ТАТЬЯНА НИКОЛЕСКУ. Андрей Белый и театр. М. «Радикс». 1995. 205 стр.

Сейчас едва ли возможно воспроизвести в памяти все оттенки восторга, охватившего публику в 1981 году, когда вышел в свет в серии «Литературные памятники» роман Андрея Белого «Петербург». Столь же нелегко реконструировать изумление читателя, раскрывшего последнюю книгу академической «Истории русской литературы» (1983) и увидевшего, что наряду с Горьким и Блоком, Буниным и Куприным персональная глава здесь отведена все тому же автору «Петербурга». За истекшие полтора десятка лет изменилось многое или даже почти все в наших представлениях о литературной жизни начала столетия. Исчезла из поля зрения набившая оскомину доктрина о борьбе реализма со всякого рода мелкими, но неуступчивыми реакционными течениями и школами; многие писатели той эпохи заняли подобающее место в историко-литературных штудиях и концепциях. Многие — но не Андрей Бе-

лый. Этого факта не могут пока отметить ни многочисленные статьи и монографии о поэте, прозаике, теоретике символизма, ни републикации его книг, ни создание камерного, но любовно обустроенного музея, специально посвященного Белому.

Ощущение неизученности, вернее, необъятности наследия писателя до сих пор остается в силе. Слишком неординарна фигура Бориса Николаевича Бугаева, слишком много силовых линий русского Серебряного века проходит по территории его художественного, научного и жизненного творчества. Для фундаментальных исследований и масштабных обобщений еще не пришло время, вот почему столь плодотворным оказывается в нынешних условиях углубление в отдельные периоды, жанры и аспекты его литературной работы, реконструкция деталей биографии Белого, скрупулезная работа над текстами (ср. последнюю монографию А. В. Лаврова, посвященную творческой жизни писателя в 1900-е годы, а также тематический номер «старого» «Литобозрения»).

Книга Т. Николеску вполне адекватно вписывается в контекст современного «беловедения». Проблема, вынесенная в заглавие, вроде бы не относится к числу магистральных — как по количеству созданных Белым чисто драматургических произведений, так и по интенсивности работы писателя над теоретическим осмыслением театральной поэтики. Т. Николеску справедливо полагает, однако, что «ранний интерес Белого к драматургии... может высветить некоторые оставшиеся в тени стороны его литературной деятельности».

Театральное начало, театральность в широком смысле слова — одна из универсальных характеристик самоощущения человека переходной эпохи, человека, оставшегося один на один с необходимостью жить в мире, лишенном прежних идейных ориентиров. В этой связи автор обращается к предсимволистскому движению и рассматривает его как часть общеевропейского культурного процесса. Подобное расширение сферы исследования наряду с бесспорно сильными имеет и свои слабые стороны. Покинув твердую почву конкретных рассуждений о театральных пристрастиях Белого, Т. Николеску нередко вынуждена слишком кратко, порою бегло, неполно говорить о явлениях гораздо более масштабных. Отсюда некоторая, мягко говоря, очевидность многих выводов. Один из возможных

примеров: «В конечном итоге можно сказать, что Белый ценит Вагнера в первую очередь как мага и открывателя огромной роли музыки в том новом содержании искусства, которым он обогатил культуру своего и нашего века». Чересчур стандартно толкуется также один из важнейших культурных процессов рубежа веков — противостояние ранних декадентских настроений позитивистским иллюзиям: «Кризис был ответом на засилие позитивизма, на увлечение материализмом, на бесконечную веру в непобедимую силу науки...» Избавить это суждение от излишней прямолинейности можно было бы только путем углубления в частности. И тогда... Тогда выяснилось бы, что коллизия выглядела гораздо сложнее, что нельзя при ее анализе не учитывать существенность и неотъемлемую важность присутствия позитивистской составляющей во многих предсимволистских текстах. Скажем, Вл. Соловьев не только и не просто боролся «против позитивистов» в «Кризисе западной философии», но и видел в позитивизме (и социализме тоже) «отвлеченные начала», то есть частичные истины, подлежащие включению в «великий синтез».

Избежать поверхностных экскурсов в глобальные проблемы эпохи Т. Николеску лучше всего удастся во второй главе, где речь идет об «апокалиптическом триптихе» Андрея Белого: «Антихрист» (не окончено), «Пришедший» (опубликовано в 1903 году) и «Пасть ночи» (1906). При изучении конкретного текстового материала кажутся вполне уместными обращения к многочисленным «мистериям», появившимся на фоне необыкновенного усиления эсхатологических ожиданий в 1898 — 1903 годах. В последующих главах автор обращается к наследию Белого — театрального критика в первые годы нового столетия, а также к истории его попыток инсценировать «Москву» и «Петербург» уже в 20-е годы. Следует выделить интересные наблюдения над поэтикой поздней драматургии Белого (структура художественного пространства, проблема условности и проч.).

Андрей Белый всегда стремился к немедленному осознанию и формулированию малейших нюансов своей поэтики, к пристальному анализу событий собственной биографии. Театральная теория и практика были важнейшими формами авторского самосознания писателя, который, согласно верному (хотя не

больно-то складному) тезису Т. Нико-леску, «несмотря на первое увлечение, законченным (?? — Д. Б.) драматургом... не стал».

III. И. КОРЕЦКАЯ. Над страницами русской поэзии и прозы начала века. М. «Радикс». 1995. 377 стр.

...И снова книга о Серебряном веке, в которой (в отличие от предыдущей) преобладает стремление автора воссоздать картину целого из отдельных, писавшихся порознь, экскурсов в разные области и периоды литературного движения начала века. В предисловии сформулированы два магистральных методологических принципа, призванных объединить вошедшие в книгу статьи. Первый: необходимо постоянно иметь в виду многообразные связи литературы рубежа веков с классической традицией (см. в особенности главу «Под знаком Гоголя и Достоевского»). И второй: исследование литературных проблем возможно только на фоне осознания общих закономерностей развития прочих искусств: музыки, живописи, архитектуры («Импрессионизм в символистской поэзии и эстетике», «Ивановская метафора „арки“» и др.).

И. Корецкая демонстрирует редкое разнообразие подходов и методик. Скажем, статья «Блок о Достоевском» целиком построена на внимательном изучении помет в тексте романов Достоевского, а также блоковских маргиналий, относящихся к известной статье И. Вернера «Тип Кириллова у Достоевского» («Новый путь», 1903). На фоне всеобщей негативной реакции на позитивизм и рационализм (в том числе, как явствует из помет, на «голый рационализм» Канта) парадоксально сближаются полярные варианты антипозитивистского движения: религиозный и нигилистический. Внимание Блока к кирилловскому понятию «внутреннего бога» многое объясняет в его религиозных сомнениях в пору повсеместного сближения имен Достоевского и Ницше в русской публицистике и литературной критике.

Совершенно иначе, на первый взгляд, построена статья «Об одном стихотворении Мандельштама». И. Корецкая анализирует структуру мандельштамовского текста, уже неоднократно привлекавшего внимание литературоведов («Ламарк», 1932). Однако главная цель исследователя состоит не в открытии неких структурных особенностей

лирической поэтики — автор статьи пытается нащупать законы, действие которых распространяется далеко за пределы художественного текста, в область жизненных жестов и культурных ценностей. По И. Корецкой, «метафорическое «нисхождение» к «кольцецам» и «усоногим» — это своеобразное возвращение билета — было у Мандельштама... актом социального альтруизма», в данном конкретном случае — жестом протеста против официально насаждаемого в 30-е годы социального оптимизма и культа прогресса. Можно спорить с такой трактовкой мандельштамовского «Ламарка», но в продуманности ей не откажешь.

Несколько слов о ключевой особенности научного метода И. Корецкой. В наши дни несомненную остроту приобрело противостояние теоретико-концептуального литературоведения и традиционной истории литературы, базирующейся прежде всего на кропотливых архивных разысканиях. «Кругозор авторов невелик — в архивах они не работают» — такой вот вердикт выносит рецензент «Нового литературного обозрения» одному из недавних литературоведческих сборников (см.: «НЛО», 1995, № 14, стр. 328). Легко сконструировать и противоположного сорта стандартное обвинение («ползучий эмпиризм», «голая фактография» и т. д.). Работы, включенные в книгу И. Корецкой, не содержат броских теоретических деклараций, нет в них и архивных открытий. Однако мал золотник, да дорог: филигранные по точности и обдуманной сдержанности наблюдения И. Корецкой, выполненные в скромном масштабе конкретного литературоведения, существуют в обильном фактическом и источниковедческом контексте.

Немалый интерес представляет также входящий в книгу И. Корецкой цикл работ о Вячеславе Иванове (в особенности статья «Вячеслав Иванов и Иннокентий Анненский»), весьма удачным представляется предпринятое автором аналитическое сопоставление «Грядущих гуннов» Брюсова и «Грядущего Хама» Мережковского. Наконец, следует отметить и обстоятельные очерки о «Мире искусства» и «Аполлоне» — здесь И. Корецкая определяет основные характеристики «нового типа русского журнала», культивирующего как литературную, так и художественную критику, уделяющего повышенное внимание полиграфии.

Наряду с оригинальными исследованиями (назовем еще развернутое сопоставление жанровых характеристик «Петербурга» Андрея Белого с принципами кубизма в живописи) есть в книге И. Корецкой и разделы скорее популяризаторские. Порою сказывается разновременность написания текстов: нет-нет да прорвутся приснопамятные интонации («разгул реакции», «инвективы царизму» и проч.). Однако в целом сборник можно считать достойным итогом многолетних трудов автора.

IV. МАНДЕЛЬШТАМ И АНТИЧНОСТЬ. Сборник статей под ред. О. А. Лекманова. М. «Радикс». 1995. 208 стр. («Записки Мандельштамовского общества», т. 7).

Традиция издания сборников, связанных с «жизнью и творчеством» крупного художника, в России весьма живуча: от уважаемых серий «Пушкин и его современники» и «Пушкин. Исследования и материалы» до эпизодически выходящих на «малой родине классика» книг, включающих новые публикации текстов, статьи и заметки (см., например, два фетовских сборника, изданные в последние годы в Курске). Часто подобные издания служат «научными спутниками» Полных собраний сочинений («Тургеневский сборник», «Достоевский. Материалы и исследования»), хотя, впрочем, это не является правилом: собрание сочинений И. А. Гончарова готовится, а сопутствующее периодическое издание так, к сожалению, и не родилось...

Мандельштамовское общество, вот уже который год существующее при весьма условной государственной поддержке, так сказать «на собственной тяге», ведет издательскую деятельность довольно разнообразную. Кроме двух выпусков собственно «Мандельштамовских сборников» (1991 и 1993; сейчас на подходе третий) вышли в свет воронежские воспоминания Н. Штемпель, брошюра П. Нерлера «Осип Мандельштам в Гейдельберге», сборник Сигизмунда Кржижановского «Страны, которых нет». Несколько книг находятся в производстве, в том числе комментированное издание монографии И. Семенко «Поэтика позднего Мандельштама».

Первый из двух разделов нынешнего сборника, собственно говоря, не нуждается в отклике рецензионного характера. Это классические работы К. Тарановского, В. Терраса, Р. Пшибыльско-

го, М. Гаспарова и Ю. Левина, впервые собранные под одной обложкой, извлеченные порою из довольно экзотических изданий (статья Гаспарова, к примеру, печатается по тексту книги: «Преподавание литературного чтения в эстонской школе (Методические разработки)». Таллинн. 1986⁴). Некоторые работы переведены на русский язык впервые (В. Террас, Н. Нильссон), однако они давно и прочно вошли в мандельштамоведческий научный обиход.

Современный этап исследования многообразных связей поэта с Древней Грецией и Римом представляют статьи, включенные во второй раздел сборника. Вызывает, правда, некоторое недоумение присутствие здесь хорошо известного исследования покойного С. Ошерова «„Tristia“ Мандельштама и античная культура», впервые увидевшего свет в 1984 году. В нынешней публикации статья представлена в более полном варианте и снабжена ценным послесловием М. Гаспарова — это могло бы послужить для составителя дополнительным основанием для ее включения в первый, репринтно-классический раздел книги.

Из других работ выделим лаконичное и строгое исследование О. Лекманова, посвященное «овидиевскому тексту» в лирике Мандельштама. Рассмотрение мотивов изгнанничества приводит О. Лекманова к аргументированному сближению стихотворения Мандельштама «С веселым ржанием пасутся табуны...» и «Вечернего раздумья» Верлена (1888, сборник «Любовь»). Кроме Верлена, по мысли О. Лекманова, Мандельштам, разрабатывая тему изгнанничества, вступает в творческий диалог с «овидиевскими» стихотворениями Пушкина, а также с Иннокентием Анненским, в 1901 году переведшим все то же верленовское «Вечернее раздумье».

В. Швейцер (в сборнике воспроизводится текст ее доклада на Вторых Мандельштамовских чтениях) выдвигает предположение о связи «летейского цикла» 1920 года с мотивами романа Д. Л. Мордовцева «Замурованная царица». Ссылаясь на неопубликованные воспоминания О. Арбениной-Гильдебрандт, когда-то пересказавшей роман Мордовцева Мандельштаму, В. Швейцер выделяет в качестве стержневого

⁴ Отметим, что эта статья параллельно перепечатана в сборнике М. Гаспарова «Избранные статьи» (М. «Новое литературное обозрение». 1995).

для стихотворений «За то, что я руки твои не сумел удержать...» и «Я слово позабыл, что я хотел сказать...» мифологический сюжет о вечной разлуке Энея с невестой Лаодикой, легший в основу «Замурованной царицы».

Статья И. Ковалевой и А. Нестерова «Пиндар и Манделъштам» намечает новые пути исследования поставленной в заголовке проблемы. В этой связи анализируются стихи «На каменных отрогах Пиэрии...» и «Нашедший подкову». Содержательна работа М. Павлова «О. Манделъштам. Цикл о воронежской жажде» (развитие античных мотивов в воронежский период жизни поэта). Впрочем, отдельные наблюдения в этой

статье нередко оказываются более внятыми, нежели выводы: «Подведем итоги. Общая концепция последних стихов Манделъштама, связанных с античной темой, оказывается неутешительной. Утоление тоски по мировой культуре приводит к гибели».

В сборнике, составленном О. А. Лекмановым, больше вопросов, чем ответов. Ясно одно: налицо дефицит современных исследований на заявленную тему — диспропорция между двумя разделами книги очевидна. Впрочем, ценна сама формулировка проблемы — как первый шаг к ее постижению.

Дмитрий Бак.



Опубликованный в «Новом мире» (1995, № 9) рассказ Михаила Кураева «Встречайте Ленина!» получил премию имени С. Довлатова, присуждаемую Довлатовским фондом и журналом «Звезда» за лучший рассказ петербургского автора.

От всей души поздравляем писателя с этой заслуженной наградой!

КНИЖНАЯ ПОЛКА



Г. К. Андерсен. Сказки. Истории. Новые сказки и истории. Подготовка издания Л. Ю. Брауде, И. П. Стреблова. М. «Ладомир», «Наука». Серия «Литературные памятники». 1995. 734 стр. 3000 экз.

А. Н. Арцибашев. Стаканчики граненые. Повести, рассказы. М. «Голос». 1995. 448 стр. 10 000 экз.

Оноре де Бальзак. Физиология брака. Патология общественной жизни. Перевод О. Э. Гринберг, В. А. Мильчиной. Составление и примечания В. А. Мильчиной. М. «Новое литературное обозрение». 1995. 352 стр. 3000 экз.

Практически неизвестные русскому читателю сочинения Бальзака, по замыслу писателя предназначенные для «Человеческой комедии», но не завершённые. Впервые переведённая «Патология общественной жизни» включает в себя «Трактат об элегантно́й жизни», «Теорию походки», «Трактат о современных возбуждающих средствах».

Константин Бальмонт. Колдунья. Сборник. Составление Е. А. Власовой. М. «Яуза». 1995. 192 стр. 20 000 экз.

Александр Бородыня. Шелковый след. М. СП «Квадрат». 1995. 575 стр. 30 000 экз.

В первый сборник прозы Бородыни вошли известные уже читателю повести и романы «Шелковый след», «Мегера в мехах», «Самолет над квадратным озером», «Охотник на ведьм», «Спички».

Наум Брод. СПб. «Ассоциация новой литературы». 1995. 208 стр. 1500 экз.

Книга прозы. Наум Брод — это одновременно и имя автора, и название книги, и данное писателем обозначение жанра, в котором он работает. Книга представляет собой собрание достаточно пространных отрывков психологической прозы, законченных и самостоятельных, но при этом составляющих единое повествование. Проза эта как бы ничем не стеснена, как бы бессюжетна, как бы автобиографична, как бы продолжает средствами русской литературы традицию Пруста, как бы (и действительно) не учитывает, то есть не привлекает внешними эффектами, читателя. Книга эта, первая у Н. Брода, — итог многолетней сосредоточенной работы несомненно одаренного прозаика.

М. А. Булгаков. Собрание сочинений. В 10-ти томах. Составление, предисловие, подготовка текста В. Петелина. М. «Голос». 1995. 20 000 экз.

Том 1. Дьяволиада. Повести и рассказы, фельетоны, очерки. 1919 — 1924. 458 стр.

Том 2. Роковые яйца. Повести и рассказы, фельетоны, очерки. Март 1924 — март 1925. 382 стр.

Том 3. Собачье сердце. Повести, рассказы, фельетоны, очерки. Март 1925 — 1927. 460 стр.

Сергей Есенин в стихах и жизни. Письма. Документы. Составители С. П. Митрофанова-Есенина, Т. П. Флор-Есенина. Общая редакция Н. И. Шубникова-Гусева. М. «Республика». 1995. 608 стр. 15 000 экз.

Джек Керуак. Избранная проза. Киев. «Airland». 1995.

Том первый. В дороге. Перевод В. Когана. 391 стр.

Том второй. Бродяги Дхармы. Перевод Анны Герасимовой, под общей редакцией Светланы Завражной. Подземные. Перевод Светланы Завражной. 327 стр.

Впервые на русском языке романы известного американского писателя, культовой фигуры двух поколений молодежи («битников» и «хиппи»). В качестве Приложения в первом томе помещен очерк Олега Алякринского «Сага о Дине Мориарти (Джек Керуак и «разбитое поколение»)».

Евгений Рейн. Сапожок. Книга итальянских стихов. М. «ПАН». 1995. 72 стр. 2000 экз.

Михаил Соковнин. Рассыпанный набор. М. «Граффити». 1995. 112 стр. 2000 экз.
Первое книжное издание стихов и прозы Михаила Евгеньевича Соковнина (1938 — 1975), поэта из круга «Лионовской школы», известного читателю только по публикациям в парижском журнале «Ковчег» и отечественном — «Московский наблюдатель».

Французский театр. Корнель. Расин. Мольер. В переводах Лозинского и других. Составление Т. И. Сафронова. М. «АРТ + Н». 1995. 510 стр. 10 000 экз.

И. С. Шмелев. Лето Господне. Подготовка текста, послесловие Н. С. Аникиевой. СПб. «Политехника». 1995. 310 стр. 5000 экз.



Петр Аршанов. История махновского движения. (1918 — 1921). Запорожье. «Дикое поле». 1995. 248 стр.

Написанная в 1921 году одним из ближайших соратников Нестора Махно анархистом Петром Андреевичем Аршановым и сочетающая черты исторического исследования и мемуаров работа представляет махновское движение как яркий эпизод национально-освободительного движения на Украине. Печатается по первому (возможно, единственному) берлинскому изданию «Истории...» 1923 года.

В. В. Бибихин. Мир. Томск. «Водолей». 1995. 144 стр.

Курс лекций, прочитанный на философском факультете МГУ весной 1989 года о понятии «мир» как понятии философском.

Э. И. Боброва. Ирина Одоевцева. Поэт, прозаик, мемуарист. Литературный портрет. М. «Наследие». 1995. 156 стр. 1000 экз.

Дело Бейлиса. А. С. Тагер. Царская Россия и дело Бейлиса. Репринтное воспроизведение 2-го издания 1934 года. Исследования и материалы. Составитель Л. Кацис. Москва — Иерусалим. Гешарим. Еврейский университет в Москве. 1995. 556 стр. 5000 экз.

Г. А. Гуковский. Пушкин и русские романтики. (Очерки по истории русского реализма. Часть 1). Подготовка текста и послесловие С. В. Путилова. М. «Интрада». 2000 экз.

Первое за прошедшие тридцать лет издание работ одного из виднейших русских литературоведов Григория Александровича Гуковского (1902 — 1950). Воспроизводит второе издание 1965 года, текст сверялся с первым изданием монографии 1946 года.

В. В. Зеньковский. Психология детства. Екатеринбург. 1995. 348 стр. 6000 экз.

В книгу вошли две ранние работы В. В. Зеньковского: «Психология детства» (1924) и «Социальное воспитание, его задачи и пути» (1918), а также отрывки из воспоминаний В. Ф. Асмуса «В. В. Зеньковский в Киевском университете».

Конфуций. Я верю в древность. Составление, перевод, комментарии И. И. Семеновко. М. «Республика». 1995. 382 стр. 15 000 экз.

Жак Лакан. Функция и поле речи и языка в психоанализе. Перевод А. К. Черноглазова. М. «Гнозис». 1995. 192 стр. 5000 экз.

Доклад известного философа новой волны на Римском конгрессе, читанный в Институте психологии Римского университета 26 и 27 сентября 1953 года. Текст дается параллельно на русском и французском языках.

Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. 1821 — 1881. Том 3. 1875 — 1881. Составители А. В. Архипова и др. СПб. Гуманитарное агентство «Академический проспект». 1995. 614 стр. 3000 экз.

Г. Марсель. Трагическая мудрость философии. Избранные работы. М. Издательство гуманитарной литературы. 1995. 216 стр. 50 000 экз.

Е. М. Мелетинский. Поэтика мифа. Изд. 2-е, репринтное. М. Издательская фирма «Восточная литература» РАН. Школа «Языки русской культуры». 1995. 408 стр. 3000 экз.

Мигающий синема. Ранние годы русской кинематографии. Воспоминания, документы, статьи. Составитель М. И. Волоцкий. М. «Родина», «Титул», Дом Ханжонкова. 1995. 288 стр. 5000 экз.

Макс Нордау. Вырождение. Современные французы. Перевод с немецкого. М. «Республика». 1995. 400 стр. 11 000 экз.

Петров Аввакум. Послания и челобитные. СПб. Издательство СПбГУ. 1995. 318 стр. 500 экз.

Письма. Николай Эрдман. Ангелина Степанова. Предисловие, комментарий В. Вульфа. М. «Иван-ПРЕСС». 1995. 250 стр. 5000 экз.

Плотин. Сочинения. СПб. «Алетейя». 1995. 672 стр. 3000 экз.

Савелий Сендерович. Чехов с глазу на глаз. История одной одержимости А. П. Чехова. СПб. Издательство «Дмитрий Булавин». 1994. 287 стр. 1000 экз.

Убежденный, что доселе никто не смог правильно прочитать Чехова, профессор Корнельского университета (США) Савелий Яковлевич Сендерович пытается открыть «подлинного, доселе нам неизвестного Чехова», определяющей чертой которого является укорененность в русской народной религиозной традиции.

Скульптор Эрзя. Биографические заметки и воспоминания. Составление М. Н. Баранова, В. С. Ионова. Саранск. Мордовское книжное издательство. 1995. 286 стр. 7000 экз.

Учебники платоновской философии. Составитель Ю. А. Шичалин. Москва — Томск. «Водолей». 1995. 160 стр. 2000 экз.

Антология, представляющая сочинения платоников II — VI веков: Альбина, Диогена Лаэртского, Апулея, Алкиноя, Ипполита Римского, Саллюстия и других.

В. Ходасевич. Портреты словами. Очерки. Подготовка текста, комментарии Т. В. Ивановой. М. «Галарт». 1995. 342 стр. 3000 экз.

Автор — сестра поэта Владислава Ходасевича, художница.

Натан Эйдельман. Вьеварум. Лунин. М. «Мысль». 1995. 590 стр. 10 000 экз.

Этот гений — Федор Шаляпин. Воспоминания. Статьи. Составление, вступительная статья, общая редакция Н. Н. Соколова. М. Государственный музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки. Дом-музей Ф. И. Шаляпина. Фортепьянная школа «КЛАВИР». 1995. 400 стр. 5000 экз.



Три издательства, книги которых представлены ниже, — часть деятельности культурного и издательского центра, ведущейся в рамках единой программы «Классики XX века». Так же называется и литературно-музыкальный салон основателей центра Елены Пахомовой, Веры Мурзиной и Руслана Элинина, еженедельно собирающий московских поэтов, прозаиков, критиков и эссеистов в залах при городской Библиотеке им. А. П. Чехова. Основная задача культурно-издательского центра «Классики XX века» — отслеживать и стимулировать новейшие тенденции в современной литературе.

Борис Вангалов. Конец цитаты. (Записки блудного сына. Книга облаков. Точка в виде запятой). **Борис Констриктор.** Уголовник. Графический цикл. М. «ЛИА Р. ЭЛИНИНА». 1995.

Книга-перевертыш. С одной стороны 233 страницы прозы, с другой — 50 листов графики петербургского поэта и художника Б. М. Аксельрода, выступившего в этом издании под двумя псевдонимами.

Максим Гликин. Я — метроль. Стихи. М. «Издание Е. Пахомовой». 1995. 36 стр.

Владимир Климов. Вилли Мельников. У птицы кончились крылья. М. «ЛИБР». 1995. 72 стр.

Стихи Владимира Климова и фотоколлажи Вилли Мельникова.

Игорь Левшин. Жир. (ЖИР Игоря Левшина). М. «Издание Р. Элинина». 1995. 79 стр.

Рассказы и пьесы для чтения.

Владимир Сорокин. Тридцатая любовь Марины. М. «Издание Р. Элинина». 1995. 286 стр.

Первая публикация в России романа Сорокина, написанного в 1984 году.

Сережа Шац. Кастрат Тимофеевич. Рассказы. М. «ЛИА Р. ЭЛИНИНА». 1995. 109 стр.

Составитель С. Костырко.

ПЕРИОДИКА



«Волшебная гора», «День и ночь», «Звезда», «Знамя», «Знание — сила», «Иностранная литература», «Книжное обозрение», «Литература», «Московский пушкинист», «Наш современник», «Независимая газета», «Новое книжное обозрение», «Октябрь», «Проза Сибири», «Сегодня», «Эон», «Юность»

Анна Берзер. Сталин и литература. Главы недописанной книги. Предисловие Инны Борисовой. Публикация, подготовка к печати и примечания Инны Борисовой и Владимира Глоцера. — «Звезда», 1995, № 11.

Анна Самойловна Берзер (1917 — 1994) двенадцать лет проработала в отделе прозы «Нового мира» — все годы редакторства Твардовского. См. о ней также статью Инны Борисовой «Незащищенность» («Независимая газета», 1995, № 135, 6 декабря).

Юрий Бондарев. «Мне казалось, что каждым романом я меняю мир...». — «Новое книжное обозрение», 1995, № 5, 1 — 15 сентября.

На риторический вопрос интервьюера, что будут читать наши дети и внуки в следующем веке и будут ли читать вообще, писатель уверенно ответил: «Будут Бондарева читать! Прочитают все военные вещи Бондарева, а потом спросят: а что же было с интеллигенцией? И прочитают всю тетралогию об интеллигенции...»

Эмилия Бруцкус. Дневник матери-хозяйки. Предисловие и публикация Нины Рогалиной. — «Знамя», 1995, № 11.

Э. О. Бруцкус (1873 — 1952) — жена крупного экономиста и историка народного хозяйства Б. Д. Бруцкуса (1874 — 1938); его фундаментальная работа «Социалистическое хозяйство» была перепечатана журналом «Новый мир» (1991, № 8). Публикуемый дневник охватывает 1917 — 1921 годы.

Алексей Варламов. Партизан Марыч и Великая степь. Рассказ. — «Независимая газета», 1995, № 145, 21 декабря.

Новый рассказ лауреата премии «Независимой газеты» — «Антибукер-95» (за повесть «Рождение», опубликованную в № 7 «Нового мира» за 1995 год).

И. С. Вербловская. От звонка до звонка. Воспоминания ПЗК (1957 — 1962). — «Звезда», 1995, № 11.

Лагерные мемуары. Политзаключенные времен хрущевской «оттепели».

Гюнтер Грасс. Жестяной барабан. Роман. Книга первая. Предисловие Ирины Млечиной. Перевод с немецкого С. Фридлянд. — «Иностранная литература», 1995, № 11.

Знакомство — с опозданием на тридцать шесть лет — со знаменитым романом знаменитого писателя. Полностью будет опубликован в составе четырехтомного Собрания сочинений Г. Грасса, выходящего в харьковском издательстве «Фолио».

Тимур Зульфикаров. Горькая беседа двух мудрецов-златоустов в диких медвяных травах. Поэма. — «Юность», 1995, № 11, 12.

Цитата — почти наугад:

«И дед вдруг засмеялся в травах:

— Ха-ха!.. Америка и Россия — две самые большие области, два кибуца необъятных Израиля... Два легких! два данника! два яйца, две ягодицы израилевых!.. Ха-ха!..»

Поэма посвящена автором светлой памяти Владимира Максимова.

Татьяна Иванова. Под конвоем. — «Книжное обозрение», 1995, № 47, 21 ноября.

Заметки о редакционной «цензуре» на примере собственной публикации в том же «Книжном обозрении» (1995, № 44, 31 октября). Из одного вписанного ей редакцией слова, на первый взгляд вполне безобидного, Т. Иванова «размотала» новую статью — злую, но справедливую.

Фазиль Искандер. Софичка. Повесть. — «Знамя», 1995, № 11.

Новое произведение известного писателя о Чегеме и его жителях. См. также рассказ «Мимоза на Севере» в «Новом мире» (1996, № 3) и два рассказа в журнале «Континент» (№ 85).

Ю. Каграманов. Морис Клавель в «зоне риска». — «Эон». Альманах старой и новой культуры (ИНИОН). Выпуск III (1995).

Об одном из крупнейших мыслителей современной Франции — католическом и одновременно антиклерикальном философе Морисе Клавеле (1920 — 1979).

Руслан Киреев. От замка к общежитию. — «Литература». Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 1995, № 43 (ноябрь).

Эссе известного прозаика. О «маленьких трагедиях» А. С. Пушкина.

Руслана Киреев. Абзацы. — «Октябрь», 1995, № 11.

Пушкин. Шекспир. Шиллер.

Книги о Пушкине, вышедшие в русском зарубежье (1921 — 1941). Материалы для краткой библиографии. — «Эон». Альманах старой и новой культуры (ИНИОН). Выпуск III (1995).

В списке 75 позиций. Тут же статья составителя М. Филина «О пушкиниане русского зарубежья и не только о ней». Одновременно библиография напечатана в сборнике «Московский пушкинист» (ИМЛИ, Пушкинская комиссия), выпуск I. В следующем выпуске «Московского пушкиниста» предполагается опубликовать первую часть журнальных «Материалов для библиографии» (буквы «А — Д»).

Виктор Кузнецов. Убийство Сергея Есенина. Мифы и действительность. — «Наш современник», 1995, № 12.

Автор настаивает на том, что поэт был замучен в застенках ГПУ (называется точный адрес), что все мемуары о последних днях Есенина в «Англетере» — ложь. Сергей Куняев в обширном послесловии более сдержан и критичен по отношению к этой гипотезе. Полный текст исследования В. Кузнецова выходит отдельным изданием.

Михаил Кураев. Жребий № 241. Романтическая хроника. — «Знамя», 1995, № 11.

История семьи. Конец XIX — начало XX века. Дедушка писателя — Николай Никандрович Кураев. Бабушка — Кароля Мария Юзефина Вильгельмовна Шмиц. Много писем из семейного архива.

Михаил Левитин. Плутодрама. — «Октябрь», 1995, № 11.

Новое прозаическое сочинение театрального режиссера и по совместительству — постоянного автора «Октября».

Василий Литвинов. Юбилейная разборка. Как отпраздновали 90-летие Михаила Шолохова. — «Независимая газета», 1995, № 146, 22 ноября.

Обзор последних публикаций о Шолохове (в первую очередь о проблеме авторства «Тихого Дона»): книги Валентина Осипова, Ивана Жукова, Льва Колодного, публикации Николая Федя и В. Васильева в журнале «Молодая гвардия», новомирские публикации А. и С. Макаровых.

Евгений Лукин. Там, за Ахероном. Повесть. — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения (Красноярск). 1995, № 5 — 6 (октябрь — декабрь).

Остросюжетная повесть волгоградского автора. Приключения на том и этом свете. «Подперев свою тачку бульжником, дон Жуан отпустил рукоятки и, надвинув плотнее рваный треух, стал поджидать Фрола. Фрол Скобеев был, как всегда, не в духе...» — это второй круг Ада.

Анатолий Найман. Славный конец бесславных поколений. Рассказы. — «Октябрь», 1995, № 11.

Автобиографические рассказы.

Василий Налимов. Христианин ли я? Как возможна личностная теология? — «Волшебная гора». Философия. Эзотеризм. Культурология. Выпуск III (М. РИЦ «Пилигрим». 1995).

Полемическая работа известного математика и философа В. В. Налимова — о мировом кризисе традиционных (христианских) ценностей. См. также подробную рецензию Олега Мраморнова («Новый мир», 1995, № 10) на мемуарную книгу В. В. Налимова «Канатоходец» (М. 1994).

Андрей Немзер. Взгляд на русскую прозу в 1995 году. — Газ. «Сегодня», 1995, № 242, 23 декабря.

Нужный, но редкий (почти реликтовый) жанр годового литературного обзора.

В. С. Непомнящий. «...На перепутье...». «Евгений Онегин» в духовной биографии Пушкина. Опыт анализа второй главы. — «Московский пушкинист». Ежегодный сборник (ИМЛИ, Пушкинская комиссия). Выпуск I (М. «Наследие». 1995).

Фрагмент будущей книги о романе Пушкина.

Марина Новикова. Символика в литературе. — «Литература». Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 1995, № 9, 25, 43.

Постоянный автор «Нового мира» знакомит читателей с «влиятельнейшими группами символов, пришедшими в художественную литературу из недр мифологии, ритуала, религии, фольклора».

Александр Олейников. «Таракан попал в стакан...». Последние дни Николая Олейникова. — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения (Красноярск). 1995, № 4 (июль — сентябрь).

Документальный очерк о последних, трагических, днях жизни поэта Н. М. Олейникова (1898 — 1937) написал его сын Александр Николаевич.

Ирина Роднянская. Европейский интеллигент. Конфронтация с миропорядком и ее пределы. — «Эон». Альманах старой и новой культуры (ИНИОН). Выпуск III (1995).

«„Малый народ“ инноваторов, критиков, теоретиков и пророков глубинной реорганизации жизни, так сказать „альтернативщиков“, давно поселился и живет в сердце всякого большого народа, причастного историческому движению. Кто же он, этот малый народ в большом, — червь в яблоке или фермент, дающий яблоку созреть и продолжиться в семенах? Увы, и то, и другое сразу».

Татьяна Савицкая. Заговор эпохи Водолея. — «Знание — сила», 1995, № 10.

«Новый век» (New Age) — так называют мощное социальное и культурное движение на Западе, претендующее на создание нового глобального мировоззрения. Т. Савицкая описывает эту новую интегральную идеологию, парадоксально сочетающую авангардизм и архаику, науку и оккультизм, экологию, феминизм и т. д.

Бенедикт Сарнов. «Люблю великий русский стих...». — «Октябрь», 1995, № 11.

Отклик на Книгу Псалмов (Псалтирь) в переводах Наума Гребнева (М. 1994). Работе над книгой переводчик отдал последние годы жизни. Он перевел все псалмы — сто пятьдесят.

Бенедикт Сарнов. Единственный Чуковский. — «Литература». Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 1995, № 44 (ноябрь).

Вопреки сложившимся представлениям о «многих» (по крайней мере шести) Корнеях Чуковских — переводчике, детском поэте, лингвисте и т. д. — Б. Сарнов утверждает, что Чуковский — один-единственный, создавший свой жанр: «Сочинения К. Чуковского».

Александр Солженицын. Интервью для радио Би-би-си к 20-летию выхода «Одного дня Ивана Денисовича». — «Звезда», 1995, № 11.

Интервью было записано в июне 1982 года. Текст публикуется впервые — по оригинальной записи, хранящейся в архиве А. И. Солженицына.

Три интервью с Владимиром Набоковым. Перевод с английского Д. Федосова. — «Иностранная литература», 1995, № 11.

Три интервью: «Плейбой» (январь 1964 года), «Парис ревью» (октябрь 1967 года), «Санди таймс» (июнь 1969 года). Цитата: «Вся слава принадлежит «Лолите», а не мне. Я всего лишь незаметный писатель с непроизносимым именем».

Ирина Усова. Даниил Андреев в моей жизни. Предисловие В. В. Налимова. — «Волшебная гора». Философия. Эзотеризм. Культурология. Выпуск III (М. РИЦ «Пилигрим». 1995).

Ирина Владимировна Усова (1905 — 1985) познакомилась с Даниилом Андреевым в 1937 году. Окончание публикации предполагается в четвертом выпуске «Волшебной горы».

Михаил Успенский. Дорогой товарищ король. Роман. — «Проза Сибири» (Новосибирск). Издательство «Пасман и Шувалов». 1995, № 2.

Сказочная фантастика. Первый секретарь крайкома В. П. Востромырдин добровольно ушел из этого мира и... стал королем в мире волшебном, сохранив на новом поприще менталитет партийного работника.

У. Черчилль. Лев Троцкий, он же Бронштейн. Борис Савинков. Перевод с английского, предисловие и примечания Ричарда Темпеста. — «Звезда», 1995, № 11.

Черчилль — эссеист (нобелевский лауреат по литературе 1953 года).

Составитель **Андрей Василевский.**

Уважаемые читатели!**Старейший литературно-художественный журнал России
«ОКТЯБРЬ»**

до конца 1996 года опубликует на своих страницах:

ПРОЗА**Анатолий АНАНЬЕВ. Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России. Книга вторая.****Юрий БУЙДА. Рассказы.****Ролан БЫКОВ. Дочь болотного царя. Современная сказка.****Игорь ВОЛГИН. «В виду безмолвного потомства...». Достоевский и гибель русского императорского дома. Книга вторая.****Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. Летит себе аэроплан. Свободная фантазия по мотивам жизни и творчества Марка Шагала.****Бахыт КЕНЖЕЕВ. Письма к Господу Богу. Роман.****Владимир КАНТОР. Крепость. Роман.****Руслан КИРЕЕВ. Витгинские легенды. Рассказы.****Сигизмунд КРЖИЖАНОВСКИЙ. Новеллы.****Юнна МОРИЦ. Рассказы.****Анатолий НАЙМАН. Славный конец бесславных поколений. Рассказы.****Юрий НАГИБИН. Дневники.****Олег ПАВЛОВ. Дело Матюшина. Повесть. Записки из-под сапога. Рассказы.****Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ. Сентиментальное путешествие. Повесть.****Григорий ПЕТРОВ. Мать Кирсана-плотника. Повесть.****Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. Сказки для всей семьи.****Михаил ПРИШВИН. Дневник 1938 года.****Михаил РОЩИН. Рассказы.****Генрих САПГИР. Роман.****Юлия СИДУР. Пастораль на грязной воде. Повесть.****Иннокентий СМОКТУНОВСКИЙ. Быть! Документальное повествование.****Павел САНАЕВ. Похороните меня за плитусом. Повесть.****Борис ХАЗАНОВ. Роман. Рассказы.****Асар ЭППЕЛЬ. Рассказы.****ПОЭЗИЯ****Стихи Беллы АХМАДУЛИНОЙ, Ольги БЕШЕНКОВСКОЙ, Сергея ГАНДЛЕВСКОГО, Бориса ЗАХОДЕРА, Бахыта КЕНЖЕЕВА, Виктора КРИВУЛИНА, Льва ЛОСЕВА, Юнны МОРИЦ, Анатолия НАЙМАНА, Вадима ПЕРЕЛЬМУТЕРА, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Виктора СОСНОРЫ, а также подборки стихов молодых поэтов.****ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ****Серебряный век: эпистолярное наследие. Письма Марка АЛДАНОВА, Бориса ЗАЙЦЕВА, Константина БАЛЬМОНТА, ТЭФФИ и других — из Бахметевского архива (Нью-Йорк).****ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ****Статьи видных публицистов, историков, экономистов, философов: Б. АЛЬТШУЛЕРА, С. ДЗАРАСОВА, В. КАНТОРА, В. КАРДИНА, Г. ЛИСИЧКИНА, Б. ОРЛОВА, И. ПАНТИНА, Л. СКВОРЦОВА, Т. ЯРЫГИНОЙ.****«ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ» продолжит знакомство с выдающимися философами Запада.****ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА****Статьи Д. БАКА, Л. БАТКИНА, М. ГАСПАРОВА, А. ЗВЕРЕВА, Е. ИВАНИЦКОЙ, К. КОБРИНА, В. КУРИЦЫНА, М. ЛИПОВЕЦКОГО, Е. ПЕРЕМЫШЛЕВА, Л. САРАСКИНОЙ, Б. САРНОВА, А. ЭТКИНДА.****ДЛЯ ЖУРНАЛА РАБОТАЮТ:****Александр БОРОДЫНЯ, Алексей ВАРЛАМОВ, Владимир ГАЛКИН, Юрий ДАВЫДОВ, Владимир МАКАНИН, Виктор ПЕЛЕВИН, Валерий ПОПОВ, Людмила УЛИЦКАЯ, Марина УРУСОВА и другие.****Следите за нашей рекламой!****РЕДКОЛЛЕГИЯ «ОКТЯБРЯ».**

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА



ПОДПИШИТЕСЬ НА “ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ”!

И она познакомит вас с людьми читающими и пишущими в России, США, Израиле и всех странах Европы. “Литературная газета” — самая престижная газета из изданий, освещающих культурную жизнь России и зарубежья.

Кроме того, наши журналисты обеспечат профессиональный уровень проведения рекламной кампании вашего предприятия или фирмы, найдут правильный подход к характеру потребителя.

Мы оказываем следующие услуги:

- ✓ Оригинальное макетирование текстов прямой и косвенной рекламы.
- ✓ Разработка логотипов и фирменного стиля.
- ✓ Слоганы.

И наконец туристическая служба “ЛГ” предложит вам разнообразные поездки в культурные центры мира.

**Наша реклама — это
кратчайшее достижение
вашей цели!**

Тел/факс: 208-6319.

SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Vladimir Kornilov, Genrikh Sapgir, Semen Grinberg, Elmira Kotlyar and Mikhail Kravtsov.

We are finishing to publish the novel «Medea and Her Children» by Ludmila Ulitskaya (the beginning in No. 3). The issue also presents «The Trap», a novel by Sergei Yakovlev.

In the section «New Translations» we continue publishing of the novel «Heaven Is My Destination» by American novelist Thornton Wilder, translated by A. Gobuzov (beginning in Nos. 2 and 3).

The section «Publicistics» is occupied by the essay «Different Russians» by Yevgeny Starikov.

In the section «Diaries. Memoirs» we are beginning to publish the diaries of 1953 — 1974 by literary critic Igor Dedkov (to be ended in No. 5).

The section «Publications and Reports» presents the material «Yashka Koshelek and Vladimir Lenin» by Vitaly Shentalinsky, based on the KGB's archives.

In the section «Literary Criticism» we are publishing the essay «Muzhiks and Barins. An Old Theme and New Literature» by Pavel Basinsky and the one by Tatyana Kasatkina on «male» and «female» literature.

Valery Senderov critically analyses Patriarch Tikhon's new biography in the section «By the Way».

In the section «Book Review» Vladimir Slavetsky reviews a novel by Pavel Aleshkovsky; Tatyana Kazarina writes on the prose by Gennady Golovin; Oleg Mramornov reviews the collected articles by Nikolay Bakhtin; Yuri Kublanovsky reviews the collection devoted to philosopher G. Shpet.

In the section «Briefly About Books» Andrey Vasilevsky reviews narratives by Igor Gergenreder; Galina Bashkirova reviews a novel by Anna Levina; Dmitry Bak reviews novelties of philological literature.

The issue also presents our traditional sections «Bookshelf» and «Periodics».

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин, А. А. Ким, С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)

Коммерческий директор **В. Д. Васковский**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.12.95 г. Подписано к печати 15.02.96 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать.

Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 22,58 усл. кр.-отг. 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 30.750 экз. Зак. 615. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

В 1996 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

СТЕЛЛА АБРАМОВИЧ. Пушкин и традиция нонконформизма в русской литературе;

С. С. АВЕРИНЦЕВ. О слове в Откровении и слове в поэзии;

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Клетка (повесть);

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, часть третья);

ИНГМАР БЕРГМАН. Исповедальные беседы (роман, перевод со шведского);

В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);

ИОСИФ БРОДСКИЙ. Крики дублинских чаек! Конец грамматики... (стихи);

МИХАИЛ БУТОВ. Повесть;

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Дорога Бог знает куда;

ЛАРИСА ВАНЕЕВА. Рассказы;

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Роман;

БОРИС ЕКИМОВ. Очерки и рассказы;

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. Свобода выбора (повесть);

ИГОРЬ ЗОЛУТУССКИЙ. Путешествие к Набокову;

АЛЕКСАНДР КУШНЕР. Заметки на полях;

ОЛЕГ ЛАРИН. С Егорычем в магазин. Туда и обратно (повесть);

СЕМЕН ЛИПКИН. В первый день (стихи);

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Роман;

ВАЛЕНТИН НЕПОМНЯЩИЙ. Феномен Пушкина и исторический жребий России;

МАРИНА НОВИКОВА. Соблазны; Ужасы (продолжение статей «Маргиналы» и «Символы»);

ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ. Рассказы и сказки;

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Грибники ходят с ножами (повесть);

В. П. ПОПОВ. Паспортная система советского крепостничества;

ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ. Ночные бдения с Иоганном Вольфгангом Гёте (рассказ);

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ. Маканин нового времени;

ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ. Из литературного наследия;

АНТОН УТКИН. Хоровод (роман)

АЛЕКСАНДР ЧУДАКОВ. Чехов между верой и неверием;

ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ. Золотая блесна (северная проза);

АСАР ЭППЕЛЬ. Рассказы;

а также новые произведения АНДРЕЯ БИТОВА, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, ГЕННАДИЯ ГСЛОВИНА, ВАЛЕРИЯ САЛОТУХИ, АНАТОЛИЯ КИМА, МАРКА КОСТЬОВА, МИХАИЛА КУРАЕВА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА, АЛЕКСАНДРА МЕЛИХОВА, ОЛЕГА ПАВЛОВА, ИРИНЫ ПОЛЯНСКОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА и других авторов

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**